

Эжен Фромантен



САХАРА
И
САХЕЛЬ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Эжен Фромантен

САХАРА
И
САХЕЛЬ



Москва
НАУКА

Главная редакция восточной литературы
1990

ББК 26.89
Ф91

Fromentin E.
SAHARA ET SAHEL
(I — Un été dans le Sahara,
II — Une année dans le Sahel)
E. Plon et Cie,
Imprimeurs-éditeurs,
Paris, 1879

Редакционная коллегия

К. В. МАЛАХОВСКИЙ (председатель), Л. Б. АЛАЕВ,
Л. М. БЕЛОУСОВ, А. Б. ДАВИДСОН, Н. Б. ЗУБКОВ,
Г. Г. КОТОВСКИЙ, Р. Г. ЛАНДА, Н. А. СИМОНИЯ

Перевод с французского
А. И. ГОРЯЧЕВА

Ответственный редактор
и автор послесловия
Р. Г. ЛАНДА

Утверждено к печати редколлегией серии
«Рассказы о странах Востока»

Ф $\frac{1805030000-118}{013(02)-90}$ Без объявления

ISBN 5-02-016594-8

© Главная редакция
восточной литературы
издательства «Наука»,
1990

КРАСОТА ПУСТЫНИ В СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА

Эжен Фромантен занимает совершенно особое место в истории французской культуры. Он сумел в равной степени реализовать свой духовный потенциал и в живописи, и в литературе. При этом случилось так, что его искусство сблизило не только две области прекрасного, но и две географические области — Восток и Запад. Эти два сопряжения сфер явились его заслугой, но еще ранее они стали условием его творчества. Весьма рискованно гадать, как сложилась бы судьба Фромантена, не подари ему его величество Случай путешествие в Алжир. Первое путешествие было коротким — оно длилось всего один месяц, — но сыграло решающую роль. Оно заронило в его душу зерно ностальгии, которая потом снова и снова заставляла возвращаться в Африку будущего автора «Одного лета в Сахаре» и «Года в Сахеле». Кто раз побывал в этой замечательной стране, тот не может не испытывать желание увидеть ее вновь. По существу, три поездки в Алжир вместе составили одно грандиозное событие, ярко осветившее всю его в общем достаточно бедную происшестввиями жизнь.

Биография Фромантена началась 24 октября 1820 года в Ла-Рошели в семье главного врача психиатрической больницы. Фромантен-старший любил живопись и на досуге охотно рисовал, что в известной мере предопределило художественные наклонности его сына. Правда, поначалу Эжен больше увлекался литературой, писал стихи, беря за образец сначала поэзию Гюго, потом Сент-Бёва и Ламартина, и лишь перед самым окончанием лицея стал серьезно подумывать о выборе профессии живописца. Однако, как это нередко случалось со знаменитыми впоследствии художниками, писателями, композиторами, актерами, этот выбор встретил решительное сопротивление родителей. Согласно многовековой традиции мужчины из старинного, хотя и не очень богатого, буржуазного рода Фромантенов шли либо в медицину, либо в юриспруденцию. Шарль, старший брат, пошел по стопам отца, а Эжену по всем прикидкам выходило стать адвокатом, судьей или стряпчим. Учился он всегда блестяще, с молодых лет отличался красноречием и, следовательно, мог рассчитывать на блестящую карьеру юриста. Впоследствии, много лет спустя, когда сын уже добился успеха в иных сферах, Фромантен-старший, слушая его разговоры, не переставал сожалеть, что тот не стал адвокатом.

Вначале о выборе полной превратностей профессии художника не могло быть и речи, и в ноябре 1839 года родители отправили Эжена в Париж изучать право. Однако особого старания на этом поприще он не проявлял, а бóльшую часть времени проводил в музеях или, если позволяли средства, в театрах. Лекции, впрочем, он посещал, но в основном только по литературе, искусствоведению, истории, слушал выступления Мишле, Эдгара Кине, Сент-Бёва, Мицкевича. По-прежнему упражнялся он и в рисовании — правда, без учителя. Интенсивная интеллектуальная и художественная жизнь Парижа сыграла немаловажную роль в созревании дарования Эжена Фромантена. По его собственным признаниям, на него оказывала благотворное воздействие сама атмосфера этого традиционно выступающего покровителем талантов города, столь непохожая на атмосферу по-протестантски суровой, замкнутой и по провинциальному душной Ла-Рошели.

В 1843 году он все же получил диплом юриста. Тогда же ему удалось добиться от отца разрешения определиться на учебу в художественную мастерскую. Отец только оговорил за собой право выбрать учителя. Им стал Ремон, известный в ту пору представитель академической пейзажной живописи. В его мастерской начинающий художник пробыл всего несколько месяцев, но успел за это время приобрести необходимые профессиональные навыки, а вместе с ними и известную стабильность творческого импульса. Затем его учителем стал Луи Кабе, убежденный противник академической школы; он в числе других стал родоначальником реалистической французской пейзажной живописи, в которой Фромантена привлекали искренность, естественность и простота, отказ от каких бы то ни было рецептов, систем, предвзятостей.

Более серьезные занятия живописью все же не прекратили споров между отцом и сыном, и дилемма между обеспеченным будущим и неопределенностью, между духовными устремлениями романтически настроенной юности и трезвым практицизмом не была снята. Поскольку успехи Фромантена в живописи первое время были довольно скромны, он не располагал решающим аргументом, который позволил бы родителям разделить его надежды. Наконец такой аргумент появился.

Еще в начале своего пребывания в Париже Эжен познакомился с художником-ориенталистом Шарлем Лаббе, семья которого жила в Алжире, в городе Блида, расположенном недалеко от побережья. В начале 1846 года Лаббе предложил Эжену съездить туда с ним на одно семейное торжество, которое должно было состояться в марте того же года. Повторять приглашение не пришлось: Фромантен высоко ценил заморские акварели Лаббе, а кроме того, его внимание уже давно привлекали восточные мотивы картин Эжена Делакруа, Александра Декана, Проспера Марийя. Его манили залитые солнцем пейзажи, поэзия экзотических странствий, а возможно, и смутная надежда найти там свою собственную тему.

Предчувствие его не обмануло: Алжир стал для него настоящей и

самой главной художественной школой. Уже в одном из первых своих писем оттуда он высказал мысль, что, несмотря на работы его предшественников, Восток еще только предстоит открыть в живописи. Фромантена восхищало все: необъятные просторы равнин, горы, растительность, но прежде всего люди. Особенно его поразила печать достоинства, которой, казалось, были отмечены буквально все арабы, сколь бы жалки ни были покрывающие их лохмотья и рубища.

Первое путешествие в Северную Африку, осуществленное тайком от семьи, длилось чуть больше месяца. За путешествием последовала лихорадочная работа: Эжен стремился выразить в рисунках и картинах свои необыкновенные впечатления от Северной Африки. Главным его приобретением в этот месяц было ощущение внутренней свободы. Теперь он мог рисовать реальный Восток без риска впасть в подражательство. Все это явилось предпосылкой для необыкновенного прилива творческой энергии. «Не знаю, может быть, я и заблуждаюсь,— писал он в одном из писем отцу,— только мое путешествие, новая направленность моих мыслей, великолепный урок, полученный мною в этой стране интенсивного света, ярких красок и громадных форм, прогресс в моей работе, становящийся все более заметным с каждым днем,— все это рождает во мне новый порыв, стимулирует меня и придает мне силы»¹. Проведенная в марте 1847 года выставка, где фигурировали три картины Фромантена, ознаменовала если не триумф, то весьма успешное его вступление в цех художников.

Именно тогда же Фромантена начала преследовать мечта вернуться в Алжир на более длительный срок, чтобы не только собрать материал, но и прямо на месте «добиться прогресса». Реализовать этот замысел ему удалось в октябре 1847 года. И снова его охватило неподдельное восхищение материалом, который ему подарила судьба. «О, великолепная страна! Великолепный, особенный народ!»². Зимой, правда, путешественнику пришлось испытать сильное разочарование: обильные дожди практически не давали возможности работать, что явилось причиной более глубокого продвижения на юг, в Сахару, но иным маршрутом, чем тот, который описан в появившейся пять лет спустя книге. На этот раз путь лежал сначала на восток по далеко не безопасному в это время года морю, а затем через Константину и Бискру. Поездка оказала на Фромантена благотворное действие. «Сейчас,— писал он,— я в большей мере являюсь художником, чем когда бы то ни было. Мир пустыни снизошел на меня»³.

Путешествие завершилось в мае 1848 года. По возвращении во Францию ему снова пришлось пережить тянувшийся несколько месяцев кризис взаимоотношений в семье, возникший из-за последней, но самой

¹ *Fromentin E. Lettres de jeunesse. P., 1909, с. 182.*

² Там же, с. 270.

³ Там же, с. 330.

настойчивой попытки родителей отвратить его от карьеры художника. Выставка 1849 года, где были представлены новые алжирские полотна Фромантена, окончательно санкционировала признание его мастерства, таланта и авторитета. Однако этот успех отнюдь не гарантировал материального благополучия. Картины продавались дешево, денег не хватало, даже когда он жил один, а после женитьбы в 1852 году денежные затруднения еще более усугубились. К тому же и природа Франции не слишком часто жаловала его вдохновением. Ему нужны были новые сюжеты, но того же типа, к которому он уже успел приучить публику, поскольку новые темы могли бы отпугнуть покупателей, а это грозило катастрофой. И мысли его опять обратились к Африке.

В октябре 1852 года он снова отправился в Алжир, на этот раз с женой. В течение некоторого времени его резиденцией был Мустафа, пригород Алжира, превратившийся впоследствии в один из районов столицы, затем он переехал в Блиду и, наконец, отправился в глубь страны, за Атласские горы, отделяющие и защищающие плодородную, ласковую приморскую равнину от суровой Сахары. Именно это путешествие, хотя и с включением нескольких реминисценций прошлого, дало ему основной материал для двух замечательных книг: «Одно лето в Сахаре» и «Год в Сахеле». События второй книги как бы обрамляют поездку в Сахару, длившуюся с мая по август. Фромантен стал первым художником, забравшимся так далеко в глубь Алжира. Это путешествие явилось своего рода поиском абсолюта. Необходимо было удостовериться, что для него, художника, в Алжире больше нет тайн, что он может жить и работать даже в выжженной пустыне, причем в самый жаркий сезон, когда температура в тени достигает днем 60°.

За то, что художник не испугался опасностей и трудностей, Сахара щедро расплатилась с ним. Она одарила его массой впечатлений и воспоминаний, хвативших ему на всю жизнь, а также позволила сделать очень интересные, оригинальные открытия, касающиеся особенностей воздействия яркого освещения на пейзаж. Вот, например, какими наблюдениями он делился с одним из своих корреспондентов: «О свете сложилось весьма неправильное представление, поскольку, как мне кажется, обычно его считают желтым, что является ошибкой. Чистый полуденный свет, не будучи окрашен никаким облаком и никаким туманом, имеет белый цвет; мало того, что он лишен способности окрашивать, он обладает свойством обесцвечивать предметы. Эту особенность интенсивного света наблюдаешь, когда попадаешь на Юг, и вот уже целый год я мучаюсь над тем, как передать этот эффект»⁴.

В октябре Фромантен возвратился во Францию. В дальнейшем его популярность как художника-ориенталиста постоянно росла, но не настолько быстро, чтобы обеспечить ему безбедное существование. Полотна продавались, но по-прежнему дешево. Поэтому трудности эконо-

⁴ *Fromentin E. Correspondance et fragments inédits. P., 1912, с. 20.*

мического порядка стали одной из причин, которые заставили Фромантена реализовать возникший, очевидно, еще в Африке замысел об опубликовании путевых заметок. Однако для обращения к литературе имелись и сугубо эстетические соображения. О них он рассказал в предисловии к третьему изданию своей книги. В эпоху своих алжирских путешествий он, по его словам, был еще сравнительно малоопытен как художник и взялся за перо отчасти из-за того, что не надеялся воспроизвести на полотне все богатство алжирских красок и все многообразие алжирского быта. Надо сказать, что художник подходил к своему творчеству достаточно критически, порой уничтожая свои полотна. «Я обращаюсь со своими картинами так же, как Сатурн обращался со своими детьми»⁵, — выразился он однажды.

Желание Фромантена рассказать литературным языком о поразивших его воображение сценах и пейзажах можно объяснить еще и тем обстоятельством, что живопись бессильна передать звуки, запахи и ряд других моментов реального мира, которые интенсивно присутствуют в его книгах об Африке. Пример Фромантена-художника, взявшегося за перо, интересен теми теоретическими выводами, которые можно было бы извлечь при сравнительном анализе потенциальных возможностей изобразительного искусства и словесности, со времен лессинговского «Лаокоона» и по сей день неизменно привлекающем внимание исследователей.

Немалую роль здесь, очевидно, сыграла и специфика призвания Фромантена. В его прозе сильно выражено аналитическое начало, которое нелегко реализовать в живописи. С трудом мирился он и с невозможностью передать в живописи временное измерение. Красноречивы в этом отношении те случаи, когда Фромантен старался запечатлеть одни и те же эпизоды и на полотне, и в книге. Когда он захотел изобразить эффект сирокко с помощью кисти, то нарисовал сгибаемые ветром финиковые пальмы, двух закрывающих лица всадников с развевающимися бурнусами и их топчущихся на месте, остановленных «ураганом песка и огня» коней. Картина получилась впечатляющая и живая, но нечто существенное все-таки осталось за ее рамками. Осталась вне изображения неподвластная живописи изнурительная длительность сирокко, дующего по несколько дней, — сильного, сухого, горячего ветра Сахары, тяжело переносимого даже на побережье. Сколь бы ни был счастлив союз двух муз, абсолютно равноправным он все же быть не может. Поэтому, несмотря на удачливую судьбу художника, уже в молодости добившегося признания, последующим поколениям все же более привычен образ Фромантена-писателя. Впрочем, кажется уже и сам Фромантен привык видеть себя, особенно под конец жизни, больше литератором, чем художником.

Однако, несмотря на действительно имевшее место соперничество

⁵ Там же, с. 22.

муз, в данном случае большой интерес представляет не оно, а взаимодополняемость двух способов видения. Главное своеобразие и достоинство «Одного лета в Сахаре» как раз в том и состоит, что эта книга была написана живописцем, чей профессионально натренированный глаз видел тысячи мелочей, на которые, может быть, не обратил бы внимания даже достаточно наблюдательный писатель, не говоря уже о путешественнике-любителе. Благодаря этому запечатленные в книге картины обрели особую рельефность, наполнились особой жизнью красок. Вот, например, рассказчик въезжает в деревню, и эта деревня окрашивается в цвет золота, ее обрамляет зелень деревьев, усыпанных белыми весенними цветами, по улице идет девушка в великолепном красном костюме, над головой простирается голубое небо, уже тронутое пурпуром заката, и так далее, и все детали пейзажа, все атмосферные явления, все портреты предстали в своей конкретной завершенности.

Фромантена-живописца нередко сравнивали с Делакруа. Это сопоставление позволяет лучше понять своеобразие каждого из них. Если сильную сторону полотен Делакруа составляет драматическое действие, то картины Фромантена привлекают своим лиризмом. Первый концентрирует свое внимание на действии, второй — на внешней среде. Поэтому, например, те же самые арабские скакуны у одного поражают своей мощью и выразительностью, а у другого — той гармонической взаимосвязью, которая возникает между ними и пейзажем. Картины Фромантена настолько наполнены поэзией и светом, что его можно назвать «самым лиричным из художников», используя его собственные слова о Рубенсе. О легкости и лучезарности фромантеновских картин красноречиво сказал Теофиль Готье: «Вроде бы ветер, эту вещь, не имеющую ни формы, ни цвета, нарисовать невозможно; и однако же в картине Фромантена „Край оазиса“ он дует совершенно явственно»⁶.

Именно такую цель и ставил перед собой художник, стремясь в своих картинах к тонкой и верной передаче наблюдаемых в знойной пустыне и в степной зоне эффектов воздуха и света и одновременно к тому, чтобы характерные человеческие фигуры играли в произведении такую же важную роль, как и пейзаж. Как правило, картины Фромантена, среди которых хотелось бы выделить такие, как «Мавританские похороны» (1853), «Охота на газелей» (1857), «Улица Баб-эль-Гарби» (1859), «Соколиная охота» (1863), «Арабские курьеры» (1864), «Арабский лагерь» (1865), «Охота на цапель» (1869), «Алжирская фантазия» (1869), «Страна жажды» (1870), свидетельствуют о том, что художник успешно справился со своей задачей.

Обычно драматический эффект восточных картин Делакруа многим обязан сочетанию насыщенных красных и зеленых тонов, у Фромантена же преобладают белый, зеленый и голубой цвета. Именно эти цвета, как он считал, характерны для пейзажа Сахеля. Правда, подоб-

⁶ Цит. по: *Assolant Georges. Eugène Fromentin. P., 1931, с. 4.*

ное мнение не может не вызывать некоторое удивление. Эти цвета действительно исчерпывающе характеризуют гамму города Алжира и во многом объясняют его обаяние. Амфитеатром спускающийся к морю, белый благодаря сверкающим на солнце строениям, зеленый из-за обилия деревьев, купающийся в голубом небе и лазурном море, Алжир с полным правом может претендовать на звание одного из красивейших городов мира.

Исключительно красива также и равнина Сахеля, сравнительно неширокой полосой тянущаяся с востока на запад между морем и горами. Только краски там богаче, а главное — они там несколько иные. Особенно странным кажется то, что Фромантен не упоминает красного цвета, разнообразными оттенками которого радуется глаз богатая красноземами плодородная алжирская земля. Тайна подобного умолчания со стороны художника, очевидно, имеет несколько вариантов объяснения.

Может быть, сыграл свою роль эффект первого впечатления: Фромантен впервые приехал в Алжир весной и увидел белое цветение деревьев, а не буйные краски осени, которые в яркий солнечный день так удачно дополняют первозданную яркость земли. Не исключено, что сыграло свою роль и то обстоятельство, что во времена Фромантена земля там меньше обрабатывалась и, следовательно, чаще скрывалась под травяным покровом. И, наконец, можно также допустить, что художнику-лирику гамма красных цветов не очень импонировала.

В книгах Фромантена, так же как и в его картинах, доминируют мягкие, приглушенные тона. Такое свойство его прозы обнаружится сразу, как только читатели ознакомятся с «Одним летом в Сахаре».

Эта книга является, несомненно, документом. Однако на нем лежит сильный отпечаток личности писателя. Письма, из которых составлена книга, написаны не в Сахаре, а лишь месяцы и годы спустя, уже во Франции, по путевым заметкам и эскизам, и, стало быть, живая действительность в них подверглась литературной обработке. Это несколько не повредило убедительности и достоверности книги. Скорее наоборот, поскольку, отказавшись рабски копировать детали, автор сумел представить обобщенный, синтетический образ действительности. Фромантен обладал прекрасно развитым чувством избирательности, позволявшим писателю оперировать только тем материалом, который отвечал его эстетическим целям и оставлял достаточно свободы воображению.

Как известно, для живописца уже сам процесс созерцания содержит момент обобщения, устранения того, что кажется случайным и незначительным. Аналогичную эстетическую функцию выполняла и феноменальная память писателя. Именно благодаря этим качествам фромантеновского таланта, усиленным профессиональными упражнениями, его книга столь не похожа на записки многих профессиональных путешественников, старательно инвентаризировавших все попадавшие в поле их зрения предметы. Как оказалось, отказ от случайного, несущественного при повышенном внимании к характерному обусловил и

большую поэтичность образов. При этом, хотя Фромантен и формировался как художник и писатель в эпоху расцвета романтизма, тяготевавшего к внешним эффектам, его собственную манеру письма в обоих видах искусства отличала классическая строгость. Язык его прозы чист и прост, и выразительность его достигается не показной красотой стиля, а гармонией между словами и тем, о чем они повествуют. Будучи романтиком в той мере, в какой он полагался на субъективное начало, на собственные внутренние резервы вдохновения и таланта, Фромантен одновременно преодолевал каноны романтической эстетики, учась ремеслу у предшественников, а искренности у природы.

Основа метода Фромантена и в живописи, и в литературе — симпатия к предмету изображения и доскональное его изучение, независимо от того, идет ли речь о пейзаже или о слившихся с этим пейзажем людях. Его пронизательность была тесно связана с изначальной доброжелательностью и отсутствием предвзятости по отношению к алжирцам.

Еще в первый свой приезд в Африку он писал: «Я хочу настолько подробно изучить повседневную жизнь и обычаи, чтобы все это стало для меня столь же привычным, как наша европейская жизнь. Я думаю, что очень мало кому из путешественников хватало желания или времени понаблюдать за этим вблизи. Живущие здесь европейцы либо не утруждают себя надлежащим размышлением, либо слишком ко всему привыкли. Существует такая же поэзия арабской домашней жизни, как существует поэзия французского очага. Меня поражает именно поэтическая и сокровенная сторона вещей, и именно ее сущность я хочу уловить»⁷. Добрая воля Фромантена в стремлении познать интересующие его вещи выразилась не только в наблюдениях и «надлежащих размышлениях», но и в серьезных попытках изучить арабский язык.

Внося в описание путешествия по Африке свое художническое восприятие в тех случаях, когда речь идет о пейзаже, предметах и красках, Фромантен проявляет себя как квалифицированный психолог, когда речь заходит об обычаях, нравах и индивидуальных портретах. Надолго остаются в памяти описания этикета жителей пустыни, национальных танцев, местных блюд, одеяний различных народов. Сильной стороной таланта Фромантена была его способность своевременно менять регистры повествования. Он умело включал в рассказ эпизоды-интерлюдии, внося в него тем самым разнообразие. Эти вкрапления помимо стимулирования интереса выполняют и важную информационную функцию: благодаря им читатель узнает многие детали жизни алжирцев.

Интересны психологические наблюдения, в которых прослеживается взаимосвязь между особенностями общественных отношений, пейзажем и национальным характером. Особый интерес книга эта должна представлять для историка арабской культуры: зная современные обычаи алжирцев, он может сравнить их с записками Фромантена. Даже

⁷ *Fromentin E. Lettres de jeunesse*, с. 240.

такие, казалось бы, не имеющие значения сведения, как, например, неприятие арабами в прошлом веке кофе, чая и табака, могут оказаться интересными, если учесть, что для современных алжирцев кофе, а для их соседей, марокканцев, чай являются, по существу, национальными напитками.

Писателя особенно восхищает арабское гостеприимство. Есть в его рассказах о жителях пустыни своеобразная романтическая приподнятость. В таких случаях он даже склонен несколько идеализировать восточные обычаи как более естественные и человеческие по сравнению с западными.

Он останавливается, в частности, на тех знаках внимания, которые местные жители оказывают гостю, «посланцу бога», сохраняя при этом простоту в обращении. Писатель говорит о «библейской» простоте обычаев жителей Сахары. Одной из наиболее ярких изображенных в книге сцен подобного рода является сцена обеда у Си Джелали, каида селения Эль-Гуа. Не без некоторой наивности Фромантен высказывает даже пожелание, чтобы европейцы позаимствовали лучшие из арабских обычаев.

Симпатия — доминирующее чувство фромантеновской книги — проявляется во всем. Автор, например, выражает восторг по поводу бесстрашия и выносливости погонщиков каравана верблюдов, сопровождавших путешественника. В другом месте писатель одобрительно отзывается о патриотизме арабов, о их любви к родной земле. Не раз он говорит о величии арабского народа. Особенно настаивает автор на такой характеристике местных жителей, когда речь идет об отказе от благ цивилизации и о слиянии с природой. Хотя, как правило, Фромантен избегает говорить о политике, в его повествовании нередко произвольно возникают политические мотивы, в частности, в тех случаях, когда сравниваются французский и арабский национальные характеры.

Писателя уже тогда пугали негативные социальные явления, сопровождавшие технический прогресс в Европе.

Когда Фромантен сталкивается с неприемлемыми для него явлениями, его речь окрашивается обертонами юмора. Таковы, например, его замечания о фатализме, когда он лишается из-за нечестности слуги Ахмеда половины своих наличных денег. С большим уважением отзываясь об алжирских женщинах, выполняющих в доме самые тяжелые работы, он не может не осудить мужчин, отлынивающих от работы.

Правда, как оказывается, их лень не является чертой национального характера, а представляет собой дань архаическим общественным отношениям. Те же самые мужчины берут на себя абсолютно всю работу, когда в доме появляется гость. С юмором пишет автор и об удивительной способности местных жителей поглощать немыслимое количество пищи после более привычных для них долгих постов, когда они довольствуются очень скудным рационом.

Мировоззрение Фромантена достаточно демократично и лишено

националистических предрассудков. В позиции Фромантена нет ничего колониалистского, но, пожалуй, не занимает он и антиколониалистской позиции. Тем не менее, стремясь объективно описывать события и факты, он в ряде случаев способен вызвать антиколониалистские чувства у читателя. Нельзя, например, без возмущения читать рассказ о резне, устроенной французскими колониальными войсками в Лагуате. Соотечественники автора предстали в этом эпизоде как убийцы и мародеры.

Фромантена-писателя критики иногда без должного на то основания причисляли к романтическому направлению. Однако интерес к Востоку у автора «Одного лета в Сахаре» принципиально отличается от того интереса, который был свойствен романтикам. Это не жажда экзотики, не жажда контрастов, не страсть к живописности во что бы то ни стало. И его книги, и его высказывания по проблемам эстетики убеждают, что он ориентировался на реалистическое изображение действительности.

Характерно в этом отношении замечание в «Одном лете в Сахаре» о торжественном выезде халифа Си Шерифа. Автор признается, что его меньше интересуют «театральные эффекты жизни», связанные с войной, охотой, парадами, чем «созерцание нищей семьи кочевника, подвергающейся жизненным испытаниям».

Сейчас литературное творчество Фромантена предстает в неразрывном единстве трех жанров: записок путешественника, беллетристики и работ по искусствоведению. Каждому из них соответствует отдельная эпоха в жизни писателя. «Год в Сахеле», вторая книга путешествий, вышла в 1859 году. События, описанные в ней, не продолжали и не предваряли событий первой книги, а обрамляли их. В ней предстает северный, приморский Алжир — города Алжир, Блида и их окрестности.

Смена сюжета повлекла за собой и смену общей тональности описаний. Поэзия жгучего африканского лета сменилась здесь спокойными описаниями зеленых равнин и живописных гор, обильно увлажняемых туманом и субтропическими ливнями. Эпические, библейские мотивы в «Сахеле» сменяются пасторальными. Здесь рассказчик не путешествует, а фланирует почти что празднично в поисках живописных деталей пейзажа, городов и людей. Природа здесь утрачивает свое величие и становится уютной, соизмеримой с бытом, а не с приключениями.

Насколько долго Фромантен шел к славе живописца, настолько быстро достиг он успеха литературного. Эти две книги принесли автору признание не только публики, но и писательских кругов. Восторженно его книги были встречены Сент-Бёвом, Жорж Санд, Теофилом Готье. Жорж Санд обратила внимание прежде всего на поэтичность образов Фромантена и на производимое ими впечатление достоверности, а Сент-Бёва восхитили наблюдательность и способность к проницательному анализу, отсутствию у автора претенциозности, сочетающаяся с глубокой простотой, разнообразие стилистических ресурсов. При этом мнения разделились: Жорж Санд, в частности, высказала явное предпочтение

«Году в Сахеле», а Сент-Бёв заявил, что ему больше импонирует «Одно лето в Сахаре». По-своему были правы оба: если вторая книга отличается большей тщательностью литературной отделки, то в первой больше единства, непосредственной жизни.

Книга «Одно лето в Сахаре» очень удачно выполнила для Фромантена функцию литературной инициации. Сама жизнь и подсказала начинающему писателю темы, и обусловила форму. Путешествие задавало повествованию ритм движения каравана, в котором отразились монотонная оголенность пустыни, жар раскаленного солнца, необъятное небо, дневные остановки и ночные бивуаки. В определенной мере «Год в Сахеле» представляет новый этап становления прозы Фромантена.

В этой книге, несомненно, нет той компактности и того органического единства, отличавших ее предшественницу, но даже сама эта некоторая рыхлость структуры, свидетельствующая о намерении выйти за рамки записок путешественника, предвещает выход к новым формам. Кстати, ни «Одно лето в Сахаре», ни «Год в Сахеле» не скованы узко понимаемой достоверностью. Иными словами, иногда события, о которых рассказывается как об имевших место в жизни самого писателя, в действительности происходили с совершенно другими лицами. Так, жертвой ограбления, описанного в «Одном лете в Сахаре», был совсем не Фромантен. Это в основе своей романное начало было еще более развито в следующей книге: именно такой данью художественной прозе стали многие эпизоды «Года в Сахеле», рассказывающие об алжирских женщинах.

Спорадическое включение в заметки путешественника элементов художественной прозы, а также размышлений об искусстве позволяет сказать, что в этих двух книгах уже содержалось в зародыше все творчество Фромантена.

«Год в Сахеле» выявил некоторые качества таланта Фромантена, не бросавшиеся в глаза при чтении его первой книги. Поначалу у читателей могло сложиться впечатление, что ему удастся изображение только экзотических пустынных пейзажей и сцен кочевой жизни. Новая книга показала, что его перо способно столь же непринужденно воссоздавать разнообразные картины оседлой жизни. А главное, она показала, что Фромантену чужда рабская покорность изображаемому предмету, что он может, оставаясь предельно объективным, вносить в описательную прозу личностное, поэтическое начало. «Он не стал рабом ни собственного стиля, ни собственной темы,— писала Жорж Санд,— у него, по-прежнему остающегося хозяином собственной индивидуальности, отчетливо ощущается мощь мечтательной и созерцательной души, повенчанной, если можно так сказать, с вечным зрелищем природы»⁸.

Нельзя не вспомнить и еще об одном суждении, относящемся к той же эпохе и принадлежащем выдающемуся французскому поэту и

⁸ Цит. по: *Gonse Louis. Eugène Fromentin, peintre et écrivain. P., 1881, с. 142.*

искусствоведу Шарлю Бодлеру, в котором он характеризует одновременно и Фромантена-художника, и Фромантена-литератора. «Среди завоевавших известность молодых имен прежде всего отметим г-на Фромантена. Его трудно назвать только пейзажистом или жанровым художником. Вольная и гибкая фантазия этого живописца не вмещается в столь узкие рамки. Его творчество не ограничивается также и областью путевых зарисовок, ибо в этом жанре есть немало примеров прозаичности и бездушия, в то время как г-н Фромантен обладает одной из самых поэтичных и утонченных натур, какие я только знаю. Его живопись, мудрая, уравновешенная, мощная, явно восходит к Эжену Делакруа. В работах г-на Фромантена мы находим такое же, как у Делакруа, и столь редкое само по себе, естественное и проникновенное понимание колорита. Ослепительный свет и зной, которые вызывают у некоторых нечто вроде тропического безумия, заставляя все их существо сотрясаться в приступах неукротимой лихорадки, наполняют его душу невозмутимой и мягкой созерцательностью. Это скорее экстаз, чем фанатизм. Возможно, я и сам не чужд томления по солнцу, ибо от этих лучезарных холстов исходят пьянящие пары, которые затем изливаются в моем сердце смутными желаниями и запоздалой тоской. Я ловлю себя на том, что завидую этим лежащим в синей тени людям, в чьем взгляде, застывшем где-то на полпути между сном и явью, выражается, если он вообще что-либо выражает, лишь любовь к покою и счастью, навеянная ослепительным сиянием неба. Душевному складу г-на Фромантена присуща некоторая женственность — как раз настолько, чтобы смягчить силу грацией. Однако он обладает, притом в большой степени, и другим, отнюдь не женским качеством — умением схватывать крупинки прекрасного, рассеянные по всему свету, умением выслеживать красоту, где бы она ни таилась, затерянная в самой гуще заурядности и ущербности. Поэтому нетрудно понять, как ему дорого благородство патриархальной жизни и с каким интересом разглядывает он людей, чей облик еще отмечен чертами древней героики. Не одни только яркие ткани и искусная чеканка оружия пленяют его глаза, но главным образом величавость и патрицианское гордое изящество, отличающие вождей могучих племен. Такими предстали перед нами лет четырнадцать назад североамериканские индейцы, привезенные художником Кэтлингом: при всей плачевности их нынешней судьбы они будили в нашей памяти образы Фидия и Гомера. Но стоит ли распространяться по этому поводу? К чему объяснять то, что г-н Фромантен так хорошо объяснил сам в двух чудесных книгах — „Лето в Сахаре“ и „Сахель“. Читатель знает, что г-н Фромантен рассказывает о своих путешествиях как бы дважды — он описывает их словом так же умело, как и кистью, везде сохраняя самобытность своего стиля. Художники прошлого тоже любили пробовать силы в двух разных областях искусства, любили пользоваться двумя орудиями для выражения своей мысли. Г-н Фромантен оказался на высоте и как писатель и как художник,

и обе ветви его творчества столь упруги и плодоносны, что, задумай кто-нибудь срезать одну, дабы придать больше силы другой, выбор был бы очень затруднительным: велик ли будет выигрыш — неизвестно, но ради него пришлось бы многим пожертвовать»⁹.

По совету друзей Фромантен, ободренный счастливой судьбой двух книг, в 1859 году сделал первые наброски романа «Доминик», который был опубликован три года спустя сначала в журнале, а затем и отдельной книгой. Сюжетную основу его составила история любви юного главного героя и замужней женщины, закончившаяся их отречением от счастья во имя долга. Отречение стало как бы девизом Доминика и в профессиональной жизни: ему не удалось осуществить своих намерений — стать беллетристом, потом публицистом, и он примирился со своей судьбой деревенского помещика, отца семейства, мэра своей деревни, человека без иллюзий.

В определенной мере история Доминика явилась проекцией собственной биографии писателя. В ней воспроизведена история реальных взаимоотношений юного Эжена и подруги его детства — креолки Жени-Каролин-Леокадии Шессе. Девушка была старше его на четыре года, рано вышла замуж за другого человека, что и явилось источником психологического конфликта в душе будущего писателя, а затем и его героя.

Есть ряд общих моментов, в изначальном замысле «Доминика» и книг об Алжире. В обоих случаях литература пришла на помощь, чтобы рассказать о том, что невозможно выразить средствами живописи. В первом из писем к Жорж Санд Фромантен писал, что он хотел с помощью воспоминаний вновь вернуться в пору своей юности и выразить в книге ту лучшую часть самого себя, которой никогда не суждено воплотиться в картинах.

Так же как и в ранних произведениях, в «Доминике» много внимания уделено описаниям природы. Например, осенний пейзаж, на фоне которого происходят обе встречи рассказчика со своим героем, предопределяет элегическую тональность всего повествования. Природа здесь — важный позитивный элемент; она сообщает произведению философичность. По форме роман является записками охотника, поскольку преамбулой к основному сюжету служит описание сцены охоты.

Не исключено, что Фромантен читал перевод произведения Тургенева, на который могла обратить внимание Жорж Санд. По своему характеру, однако, Доминик больше походит на идеальных героев из второго тома «Мертвых душ», чем на дворян из тургеневских рассказов. Он добр, щедр, рачителен, не боится рисковать своими деньгами в сельскохозяйственных экспериментах, чтобы затем поделиться опытом с крестьянами руководимой им общины. Иногда Фромантена упрекали за конформистское, сугубо неромантическое поведение его персонажа,

⁹ Бодлер Шарль. Об искусстве. М., 1986, с. 216—217.

примирившегося с обстоятельствами. Однако, по-видимому, здесь следует говорить в первую очередь об искренности писателя в той мере, в какой зеркало автобиографического романа отразило кризис его собственного мировосприятия, завершившегося стоическим принятием судьбы, отказом от недостижимых идеалов. Такова была логика поведения многих людей той эпохи. В определенной мере в этом даже проявился реализм Фромантена. «Доминик» — не совсем романтическое произведение. Как и в своих путевых записках, писатель избегает в романе показной эффектности, а порой даже сознательно приглушает тона. Так, история драматической первой любви выглядит здесь даже менее романтично, чем та, реальная, которая имела место в жизни самого писателя и закончилась ранней, скоропостижной смертью возлюбленной. (Роман был переведен на русский язык в 1977 г.)

Правда, у романа Фромантена можно обнаружить больше связей с классицизмом, нежели с реализмом. Автор не ставил своей целью изображать действительность во всем ее многообразии, а скорее наоборот, стремился устранять из поля зрения читателя все лишние, отвлекающие внимание детали реальности, которые могли бы нарушить строгую схему предельно обобщенной, почти вневременной истории любви, подобной историям принцессы Клевской и юного Вертера.

Типично классицистической является также и главная тема книги — борьба любви и долга. От классицизма унаследовано и симметричное расположение фигур в книге: по одну сторону от героя стоит труженик Огюстен, а по другую — легкомысленный Оливье: вознагражденная добродетель и наказанный порок. Все это, впрочем, свидетельствует не только об уважении к традициям, но также и о складе характера Фромантена с его отчетливо выраженной аналитичностью, с преобладающим влиянием интеллекта над эмоциями. При этом, однако, писатель не пожелал во всем следовать классикам, не захотел, например, подчиниться строгим законам композиции, а предпочел построить свою книгу как серию отдельных сцен и картин, связанных между собой лирическими отступлениями и аналитическими рассуждениями. Это был тот самый структурный принцип, который он раньше применил в книгах об Алжире, а впоследствии в «Старых мастерах».

После «Доминика» в литературной деятельности Фромантена наступил значительный перерыв. Слава его как живописца упрочилась, материальное положение укрепилось, но при этом ему приходилось очень много трудиться в ущерб здоровью. Он нередко рисовал картины в нескольких экземплярах, что сказывалось на их качестве. С течением времени, по мере того как в процессе художественной практики формировались его эстетические идеи, все чаще у него появлялось желание высказаться по поводу живописи, и в частности картин Делакруа.

Только нежелание писать о современниках, связанное с опасением так или иначе их обидеть, а также отсутствие времени удерживали его от этого шага. Случай высказать свое мнение о современной и классиче-

ской живописи ему представился в 1875 году, когда по совету одного из друзей он отправился в путешествие по Бельгии и Голландии с целью написать серию очерков о фламандской и голландской живописи. Поездка длилась всего месяц, но была настолько насыщена впечатлениями, что из них родилась целая книга.

Путешествие это подвело итоги многолетним размышлениям, и поэтому вскоре написанная книга «Старые мастера» сочетала в себе зрелость суждений с живостью непосредственных впечатлений. Так же как и предшествующие книги, она явилась результатом синтеза опыта художника и наблюдений писателя. Не ставя целью систематически исследовать художественные школы Бельгии и Голландии, не пытаясь классифицировать тенденции и направления, Фромантен остановил свое внимание на личностях нескольких живописцев и попытался выразить свое собственное, сугубо индивидуальное восприятие их творчества.

Вначале рассказ идет о фламандцах, где авансцену повествования занимает Рубенс, затем автор делится своими впечатлениями о голландской школе, завершая свою книгу рассмотрением шедевров Рембрандта. Вольная форма изложения материала превосходно гармонирует с исходной мыслью произведения, согласно которой любое творчество является выражением субъективной истины художника. В разработке этого постулата романтической эстетики Фромантен выступил продолжателем Делакруа и Бодлера.

Однако было бы столь же неправильным чрезмерно подчеркивать романтические истоки эстетики Фромантена, как и солидаризировать с нередко встречавшимися в зарубежной критике радикальными противопоставлениями ее эстетике Ипполита Тэна. В отличие от Делакруа и Бодлера Фромантен без устали призывал учиться у природы, а живая, непринужденная манера изложения и внешняя произвольность подачи материала отнюдь не являются решающими признаками литературного импрессионизма и пренебрежительного отношения к науке, хотя в книге и налицо отказ от классификации живописи по жанрам и сюжетам.

Фромантен выразил и здесь не только романтические веяния своей эпохи, но и рационалистические традиции предшественников. Кроме того, ему отнюдь не было свойственно игнорирование исторических и социальных факторов. Поэтому его противостояние Тэну отражало лишь несовпадение в манерах изложения — литературной и академической — идей, порой весьма близких тэновским.

По структуре изложения «Старые мастера» несколько напоминают «Одно лето в Сахаре». Здесь тоже задан маршрут, отраженный в названии частей: Бельгия, Голландия, снова Бельгия. Некоторые главы названы: Брюссель, Мехелен, Антверпен, Гаага, Схевенинген, Вейвер, Амстердам. Может даже показаться, что структуры, собственно, и нет, а есть только разгул топонимики, подчиняющей себе воображение художника. То, что аморфность книги лишь кажущаяся, становится очевидным при сопоставлении двух главных ее частей: обе они открывают-

ся экскурсами в историю; рассказу о том или ином художнике, как правило, предшествует описание той среды, в которой происходило формирование личности и становление таланта. О том, что повествование выходит далеко за рамки рассказа о дорожных впечатлениях, говорит и широкое использование техники сравнительного искусствознания. Путешествие лишь завершало огромную предварительную работу, что подтверждается многочисленными высказываниями автора.

«Можно ли, не побывав в Голландии, но зная Лувр, составить себе правильное представление о голландском искусстве? Да, несомненно. С точки зрения общего облика школы, ее духа, характера, совершенства, разнообразия ее жанров... Лувр дает почти полный исторический обзор и, следовательно, неисчерпаемый источник для изучения»¹⁰. Таким образом, как и в прошлые времена, жанр записок путешественника послужил Фромантену лишь формой, за которой скрывалось нечто новое, до него не существовавшее.

Впрочем, пожалуй, в еще большей степени, чем этой форме, единство «Старых мастеров» обязано методологии критического анализа. Эта книга — пример искусного сочетания исследования и полемики. Она обращена не в прошлое, а в будущее. Рассматривая фламандскую и голландскую живопись, писатель хотел проверить правильность оценок шедевров, освященных традицией и временем, чтобы по возможности внести в них уточнения и обсудить проблемы современной французской живописи, которую он стремился уберечь от упадочнических тенденций, направить на верный путь через познание духа и истоков искусства былых времен.

Для методологии Фромантена характерен подход, при котором рассказ о впечатлениях от конкретных произведений так дополняется биографической, психологической, социологической и исторической информацией, а также перечислением существующих мнений, что помогает выявить проблему, нуждающуюся в разрешении. Так, встреча с Рубенсом в Брюссельском музее позволяет поставить вопрос об итальянском влиянии, которым искусствоведы традиционно объясняли достижения художника. Фромантен же мягко, но настойчиво проводит мысль о том, что главным компонентом его гения была не «итальянская выучка», а фламандские истоки. Именно в этой связи он призывает обратить внимание на Адама ван Норта, одного из учителей Рубенса, бунтаря и «единственного из живописцев, оставшегося фламандцем в то время, когда фламандцев по духу во Фландрии уже не осталось»¹¹.

По этой же причине, противопоставляя уже сложившимся академическим традициям итальянцев школу жизни, Фромантен настаивает и на том, что главными учителями художника были природа и родной город, где на набережных Шельды он мог найти неиссякаемый материал

¹⁰ Фромантен Эжен. Старые мастера. М., 1966, с. 147.

¹¹ Там же, с. 32.

для своих громадных полотен. Он сравнивает Рубенса с режиссером, который руководит, ставит декорации, создает роли, но в качестве актеров берет не профессиональных артистов, а людей с улицы. «Он брал их такими, какими они существовали вокруг него, в современном ему обществе, из всех слоев и классов, при необходимости из всех народностей — принцев, воинов, церковников, монахов, ремесленников, кузнецов, лодочников, преимущественно людей тяжелого труда»¹². Просто-народный акцент, пронизательно подчеркивал писатель, связав искусство Рубенса с массами, стал одним из главных условий проявления в его творчестве национального фламандского гения. Все эти замечания небезынтересны для понимания эстетических принципов самого Фромантена, выделявшего в искусстве Рубенса те черты, которые были свойственны ему самому.

Фромантен не декларирует принципов Тэна, но стремится обстоятельно исследовать влияние различных социальных и политических факторов на искусство, иногда непосредственно связывая закономерности развития последнего с историческими событиями. Весьма радикально, например, звучит его суждение об истоках голландского искусства:

«Для того чтобы родился на свет голландский народ и чтобы голландское искусство увидело свет вместе с ним, нужна была революция (вот почему история этого народа и этого искусства так убедительна!), притом революция глубокая и победоносная»¹³. Именно благодаря успешной буржуазной революции голландское искусство стало заметно отличаться от фламандского. Она обеспечила голландцам свободу и процветание, но, изменив верования и подавив прежние потребности, подорвала саму основу прежней живописи. Поскольку стали ненужными изображения как античных, так и евангельских сцен, голландская живопись стала портретировать саму Голландию, ее людей, их нравы, поля, улицы, площади, небо и море. В своем критическом и историческом обзоре фламандской и голландской живописи Фромантен стремится выявить принципы, объединяющие школу, и приходит к выводу, что голландскую живопись характеризуют честность, следование законам подражания, прозаический реализм, тогда как итало-фламандской школе свойственны поиск героического идеала и стремление к драматическим эффектам.

Итальянскую и фламандскую живопись Фромантен называет «мертвыми языками», которые еще понятны, но не имеют перспективы. Поэтому именно к новаторскому, революционному в своей основе искусству Голландии пошла в учение французская живопись в 30—50-е годы XIX века. «Исходя от Рейсдаля с его водяными мельницами, запрудами и кустарниками, то есть исходя от чувства вполне голландского

¹² Там же, с. 79.

¹³ Там же, с. 115.

и выраженного в голландских формах, французская школа достигла того, что, с одной стороны, в лице Коро создала чисто французский жанр, а с другой — подготовила будущее для еще более универсального искусства в лице Руссо»¹⁴. Именно с принципами, воплощенными в живописи Теодора Руссо, главы барбизонской школы, связывал Фромантен свои надежды на преодоление кризисных тенденций во французской живописи.

Поскольку анализ отдельных картин и теоретические выводы, касающиеся отдельных школ, обрамлены в книге записками путешественника, то, естественно, в ней немало внимания уделено и описанию процессов восприятия живописи, тоже зависящих от сложной системы факторов, вступающих во взаимоотношения друг с другом. По существу, это произведение является также и учебником, простым и удобным руководством по эстетическому воспитанию. Неудивительно поэтому, что «Старые мастера» сразу же после выхода в свет были признаны шедевром художественной критики и по сей день остаются во Франции одной из наиболее читаемых книг по искусствоведению.

«Старые мастера» открывали перед Фромантеном путь к новому миру деятельности, а в известной мере и путь к освобождению. С некоторых пор ему была в тягость его репутация художника-ориенталиста, навсегда прикованного к одной тематике. Не раз он предпринимал попытки сломать сложившиеся у почитателей его таланта и у критики стереотипные представления о своем искусстве, обращаясь для этого то к античным сюжетам, то к пейзажам современной Италии. В этих условиях творчество постепенно превращалось в ремесло, в изнурительную, не приносящую радости работу из-за денег. И так же постепенно в душе художника назревал бунт против того, что стало его счастливой судьбой.

Поэтому новый вид деятельности явился для Фромантена средством преодоления внутреннего кризиса и должен был иметь многообещающее продолжение. А планы у него были грандиозные. Он, например, хотел написать книгу о Лувре. Однако замыслам не суждено было сбыться. 26 августа 1876 года Фромантен умер от совсем легкой, как поначалу казалось, простуды. Здоровье его никогда не было особенно крепким, а потом к болезням добавилось переутомление.

Литературное признание Фромантена реализовалось в трех ипостасях: автора книг о путешествиях, романиста, искусствоведа. Однако между этими тремя ипостасями резкой границы не существовало, и переход от одного жанра к другому осуществлялся без скачка. Так же как и в двух его африканских книгах, в романе «Доминик» много места уделено описаниям природы, а в записках путешественника почти столько же внимания, что и в романе, уделено психологии, портретным зарисовкам. В свою очередь, в «Старых мастерах», книге о голландской

¹⁴ Там же, с. 180.

и фламандской живописи, сохраняется элемент книг странствий. Мало того, искусствоведение предваряется некоторыми рассуждениями об искусстве уже в первой его алжирской книге.

Свободная, эссеистическая, даже чуть-чуть импрессионистическая форма повествования «Старых мастеров» служит еще одним звеном, связывающим эту книгу с предшествующими. Кроме того, в своем исследовании законов искусства Фромантен идет от личности, от психологии, от характеров художников и разбивает тем самым историю живописи на романские эпизоды. А гораздо раньше, еще до того, как он написал свою первую книгу, даже еще до своего самого первого путешествия в Алжир, Фромантен учился воспринимать красоту Востока как искусствовед, с помощью библейских образов, запечатленных в мировой живописи. Прежде чем оценить живописность рубищ жителей пустыни, он оценил красочность лохмотьев рембрандтовского «Блудного сына». Таким образом, замкнулся круг: понимание красоты пустыни и ее обитателей требовало предварительного знания голландской живописи, а созданная много лет спустя теория светотени у Рембрандта требовала досконального знания световых эффектов, которые дала художнику Сахара.

Верно, конечно, что в конце жизни, стремясь к самообновлению, Фромантен попытался отдалиться от восточной тематики, но Восток навсегда остался с ним в качестве одного из главных компонентов его жизненного опыта. Поскольку все в его художественной и писательской практике начиналось с Востока, то этот опыт подспудно присутствует также и в «Доминике», и в «Старых мастерах». При этом его симпатия к Востоку не была той неразборчивой страстью, которая требует все новых и новых впечатлений. Фромантен оказался однолюбом: когда в 1869 году он посетил Египет, сердце его учащенно забилося не при виде мрачных римских развалин и грандиозных памятников древнеегипетской старины, а при виде каравана верблюдов, асуанских базаров, напоминавших ему Лагуат, закатов, похожих на те, что наблюдал он в былые времена в Алжире; египетские пальмы напомнили ему алжирские, а песчаные дюны воскресили образы Сахары. Он находил, что головной убор египетских всадников недостаточно выразителен и нет у них того благородства в осанке, которое он находил у алжирцев.

В. А. Никитин

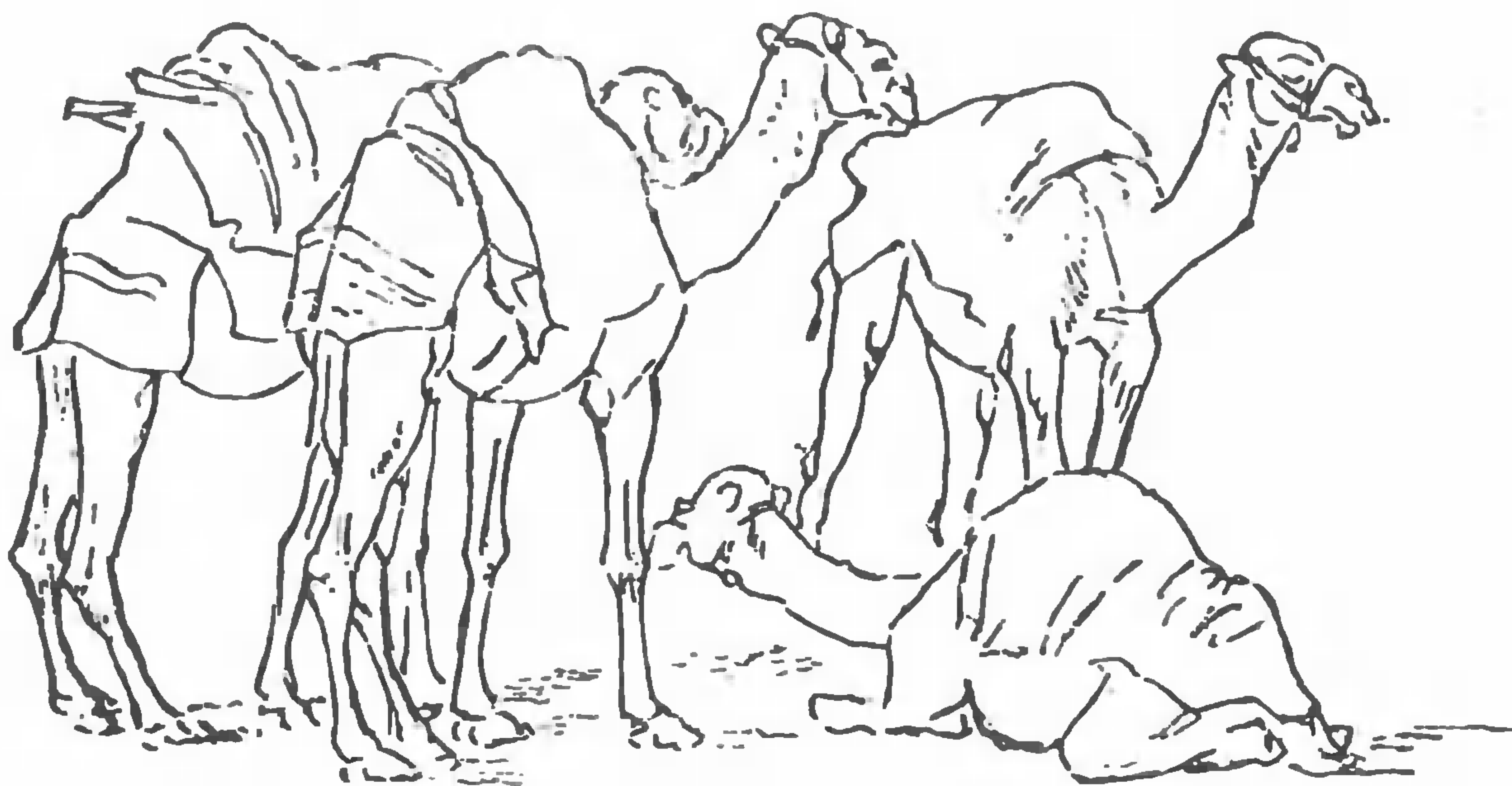
*Посвящается
Арману дю Менилю*

Любезный друг, посвящая тебе мои дорожные воспоминания, я лишь возвращаю письма, значительная часть которых по праву принадлежала тебе до того, как стать книгой. К тому же обращаю твое внимание, что эти записки носят частный, личный характер; они публикуются под покровительством дружбы, которая делает наши имена неразделимыми.

Париж, 15 октября 1856 года. Э. Ф.

Одно лето в Сахаре





Предисловие к третьему изданию

Эта книга уже принадлежит иной эпохе, и, откровенно говоря, мысль о новом ее появлении через столько лет могла прийти лишь автору. Прежние читатели, если ему удалось их сохранить, новые, если они появятся, найдут, возможно, такое решение странным и несвоевременным, поэтому автор чувствует себя обязанным изложить свои мотивы на нескольких страницах.

Книга «Одно лето в Сахаре» вышла в 1856 году. Автор не был профессиональным писателем; к нему отнеслись снисходительно, поскольку он сумел как-то справиться со своей задачей. Были приняты во внимание его искренность, непритязательность и даже простодушие, проявившиеся при прикосновении к такого рода искусству. Книга выдержала два издания. Чувствовалось, что автор больше не будет писать, и это послужило последней причиной того, что хвалебные отзывы иссякли.

Эта книга в значительной степени утратила бы свою ценность, если бы содержала только записи путевых впечатлений, ведь страна, представшая некогда взору путешественника, очень изменилась и уже потеряла притягательную силу неизведанного, включая и те местности, которые когда-то казались таинственными. Эти заметки более не могут привлекать новизной, не соответствуют нынешнему положению дел; поблек эффект неизвестности. Да и какой читатель, хоть немного знакомый с последними исследованиями, заинтере-

суется заброшенным уголком французской Африки¹, бегло осмотренным сторонним наблюдателем, теперь, когда перед всеми нараспашку лежит огромный мир и нужны далекие путешествия, необычайные приключения или глубокие знания, чтобы поразить, увлечь и просветить читателей. Добавлю еще, что, если бы единственным достоинством книги была возможность вновь увидеть очаровавшую меня страну и вспомнить живописные места, людей и предметы, я бы остался равнодушен. Много лет отделяет нас от описанных событий, и теперь уже почти не имеет значения, о какой стране идет речь, о пустыне или о густонаселенных районах, о жарком солнце или о зимних холодах. Для меня эти записки сохраняют интерес, поскольку в них отразился мой личный, мне одному свойственный взгляд на мир, мои чувства и манера выражения. Эта книга говорит о том, каким я был, и я узнаю в ней себя. Вспоминаю, каким я мечтал стать, все невыполненные обещания самому себе и намерения, которым не суждено было осуществиться. Вот в чем для автора, перечитавшего свои записки, смысл его юношеских книг, только поэтому он и дорожит ими. В то время, когда мной овладело желание писать, я был безвестен, очень неопытен, но стремился творить, а потому мне жилось нелегко.

В Алжир я ездил несколько раз, пробирался в глубь страны, подолгу жил на одном месте. Алжир полностью соответствовал моему душевному состоянию, что побудило меня принять, если не избрать его предметом изучения и внезапно решило мою дальнейшую судьбу в большей степени, чем я мог тогда это представить, и — признаться — в большей степени, чем я желал.

Я вынес из путешествий живые воспоминания, а не сухие факты и горел желанием воспроизвести увиденное, чего бы мне это ни стоило. Убежден, что нет неинтересных и скучных тем, есть только холодные сердца, рассеянный взгляд и безразличные писатели. Новизна темы ничуть меня не смущала. Мне не казалось дерзким писать о Востоке после стольких великих и интересных писателей: я был уверен, что смогу заставить слушать себя, если буду занимателен, правдив и искренен.

Случай предоставил мне тему, оставалось отыскать

¹ Имеется в виду Алжир, завоеванный Францией в 1830—1847 гг.—
Здесь и далее примеч. пер.

форму. Орудие, оказавшееся у меня в руках, так плохо подчинялось мне, что я готов был совсем от него отказаться. Обилию, живости, достоверности моих впечатлений не соответствовали мои жалкие средства выражения. Недостаток мастерства подсказал мне необходимость поиска новых средств, заставил испытать перо.

Да простят мне читатели возвращение к тому, как зарождалась эта книга: рядом с мольбертом, в полутьме мастерской, среди густых теней, которые восточное солнце, постоянно находящееся в зените, словно ослепительный мираж, не всегда могло осветить. Я начал работу, и мне показалось интересным сравнить два способа выражения, которые похожи один на другой меньше, чем обычно полагают. Я упражнялся в изображении одних и тех же пейзажей, переводя на язык литературы наброски, накопившиеся в походной папке. Мне предстояло увидеть, насколько сходны или различны два разных искусства, что станется с идеями, которые я должен передать, когда из мира форм и красок я перейду в мир слов. Я не мог упустить такой редкий случай и был рад проделать этот опыт.

Существовало мнение — и я склонен был ему верить, — что наш французский лексикон слишком ограничен и не соответствует требованиям новой «живописной» литературы. На самом деле, обращали на себя внимание вольности, к которым в течение последнего полувека прибегала эта литература, чтобы быть занимательной и удовлетворять современные вкусы и чувство восприятия. Описывать, а не рассказывать; живописать, а не намечать в общих чертах; живописать прежде всего, то есть подбирать более сильные, контрастные, яркие, полные реальной жизни выразительные средства; пристально изучать изменчивую природу во всем ее разнообразии, и в обычных и в самых причудливых ее проявлениях, — вот вкратце какие обязательства принимали на себя литераторы, которых называли описателями, в силу овладевшей ими любви к путешествиям, любознательности и жажды открытий.

Это течение вводило и живопись и литературу от их естественного пути. Основное внимание уделялось окружающей среде, а человек оставался в тени. Казалось, уже давно ясно и четко сказано все, что нужно, о его внешности и страстях, остается только показать его перемещения на фоне разных стран и еще не изведанных

земель. Эта поразительно живая школа, представителей которой отличают удивительная наблюдательность и обостренная чувствительность, уже обновила в значительной степени и довольно успешно французскую живопись. Эта школа, как и все другие, имела своих мастеров, последователей и почитателей. Их отличал ясный и точный взгляд, выявивший тысячи неизвестных ранее подробностей, богатство палитры, характерность рисунка. Живая природа впервые смогла рассмотреть свое довольно верное отражение и узнать себя в бесчисленных превращениях. В этих словах уживаются ложь и истина. Истина искупала ошибки, заблуждения не умаляли достоинства достоверности. Требование кстати и некстати копировать природу порождало на каждом шагу слабые произведения; только если счастливая судьба наделяла художника даром вызывать сопереживание, возникали вдохновенные, значительные полотна. Стоит ли удивляться, что изящная словесность откликнулась на этот мощный поток, который вызвал у чувствительных, мечтательных, пылких и не менее зорких современных писателей желание также обогатить свою палитру и наполнить ее красками.

Я не решусь порицать их; их работы блестящи, они проявили столько умения, старания, гибкости и таланта, чтобы добиться признания. Но все же, если внимательно присмотреться к этому течению, стремительному только в своих глубинах, отстранившись от воспоминаний о нескольких великолепных книгах и очарования некоторых других, возникает вопрос, была ли необходимость так расширять средства искусства, которое развивалось само по себе и не без успеха. В конце концов я пришел к выводу, что такой нужды не было.

Вне сомнения, изобразительное искусство живет по своим законам, имеет определенную сферу приложения и условия существования, являясь одним из пластических искусств. Я обнаружил не менее серьезные основания для того, чтобы литература могла оставаться самостоятельным видом искусства. Идея может быть выражена любым из двух способов в зависимости от выбора средства постижения действительности. И вот, остановившись на литературной форме, я не почувствовал ограниченности ее возможностей. Интеллектуальные формы существуют наравне со зрительными, но на зрительное восприятие и на разум воздействуют по-

разному. Книга всегда к вашим услугам, чтобы, не повторяя сделанного живописцем, выразить то, что осталось за рамой картины.

Приступив к работе, я сразу же получил подтверждение справедливости своих наблюдений. Работа принесла мне безусловные и неоспоримые доказательства. В моих руках оказались два совершенно отличных друг от друга орудия. Оставалось лишь выяснить круг возможностей каждого. Доля живописца оказалась настолько ограниченной, насколько огромной сфера писателя. Я твердо решил не путать орудия труда, меняя профессию.

Это была приятная работа, которая почти не стоила мне усилий и доставляла удовольствие. Я избрал форму писем, поскольку она давала большую свободу, позволяла понять самого себя и избавляла меня от необходимости придерживаться строгой системы в повествовании. Если бы эти письма писались изо дня в день и непосредственно в места событий, они выглядели бы иначе и, возможно, не будучи более точными и живыми, утратили бы нечто, что можно назвать преломленным в моем сознании отображением или живой душой вещей. Необходимость писать вдали от места событий и спустя месяцы и годы, не имея иной поддержки, кроме памяти, и в особой форме сжатых воспоминаний дала мне понять в большей степени, чем любое другое испытание, в чем истина искусства, которое вдохновляется природой, что нам дает сама природа и чем ее наделяет наша чувствительность. Мне была оказана ею неоценимая услуга. Именно природа заставила меня искать истину не в точности и строгой копии. Точность, доведенная до скрупулезности, — несравненное достоинство, когда речь идет о передаче информации, учебе или копировании, — становится второстепенным фактором в произведении такого жанра, если только его большая часть достоверна, меньшая дорисована воображением, а время само отбирает воспоминания — одним словом, если искусство проникло в повествование.

Я не стану настаивать на своей точке зрения: подход к решению вопроса и авторские приемы не всем интересны. Скажу лишь, что подбор слов, как и красок, был для меня очень полезен. Не буду скрывать, как я радовался, когда, подобно некоторым художникам, чьи полотна выразительны при всей строгости их палитры, мне удавалось создать живой и яркий образ при помощи

простого слова, часто самого употребительного и затертого, даже бесцветного, если его взять вне контекста. Человек, не будучи мастером пера, так же как и мастером кисти, проходил одновременно два курса обучения, насыщенные интересными уроками. Общеупотребительный словарь нашего удивительно живого и экспрессивного языка казался мне неисчерпаемым в средствах. Я сравнивал его с участком плодородной земли, которую можно беспредельно разрабатывать вглубь, не расширяя сам участок, и получать при этом желанный урожай. Часто я задавался вопросом, что такое «неологизм», и, отыскивая объяснение в удачных примерах, обнаружил, что неологизм — это всего-навсего новое употребление известного слова.

Эти замечания малополезны, если речь идет о книге, в которой преобладает идея, а рассуждения передают обычную работу ума. В рассказах же и картинах, чьи темы заимствованы из воспоминаний живописцев, описанные приемы становились необходимостью. Те впечатления, которые особая, цепкая память художника и проницательный взгляд, охватывающий предмет со всех сторон, сохранили после длительного путешествия, я старался возродить средствами письма. Я транспонировал, словно музыкант, переносящий звук на определенный интервал. Я желал добиться ясности, чтобы ничто не смущало читателя, не оскорбляло его вкуса: четкости линий без излишнего нажима; спокойного, а не напряженного колорита; сильных эмоций взамен конкретных представлений. Одним словом, повторяю: автором постоянно владела забота, чтобы перо не казалось кистью живописца, а краски палитры не заливали слишком часто письменный прибор.

Закончив книгу на одном дыхании, я опубликовал ее, почти ничего не меняя. Я заметил недостатки, бросающиеся в глаза, раньше, чем мне на них указали; одни нарочно, другие из-за неумения я не стал исправлять, читатели же изволили отнести мои огрехи на счет простительного отсутствия опыта.

Книгу хорошо приняли. Я сказал бы, что успех был неожиданным, но опасаясь преувеличить интерес, проявленный читателями, и допустить бестактность, преуменьшив чувство благодарности, испытанное автором. Я встретил доброжелательность, которой никогда не забуду. Я никак не ожидал столь одобрительных отзывов, даже не решался надеяться на них, я был поражен,

глубоко тронут, неизмеримо счастлив и еще более утвердился в своем отношении к жизни. Я отнюдь не принимал свидетельства расположения за королевскую грамоту братства, выданную первоклассными писателями дебютанту, который никогда не войдет в литературное сословие. Я видел в оказанных мне знаках внимания предупредительную, доброжелательную, изысканно учтивую снисходительность, допускающую на короткое время в избранный круг случайного пришельца, вряд ли способного задержаться там надолго.

Один из тех людей, чье неожиданное покровительство мне особенно дорого, умер в расцвете сил, заняв в «живописной» литературе почетное место. Романист, поэт, критик, путешественник — человек, страстно увлеченный утверждением новой, редкостно богатой формы искусства, — обладал твердой рукой, изысканным стилем и удивительно точным взглядом. Достаточно одаренный, чтобы попытаться соединить два искусства, взаимопроникновение которых стало частым явлением благодаря его усилиям, он был, может быть, чуть излишне уверен в том, что достиг цели; будучи в глубине души очень осмотрительным человеком, он всегда прекрасно осознавал поставленные задачи, а осознав, с блеском справлялся с их решением. Одним из последователей он был назван безупречным — в том смысле, что если он и не может служить всем и во всем примером, то все же отдельные страницы его произведений отмечены блестящим мастерством.

Другой с удивительной легкостью вынес на своих плечах бремя сорокалетнего непрерывного труда и заслуженной славы — к чести французской изящной словесности. В день выхода в свет моей первой книги именно он протянул мне руку помощи. Я не знаю, какое будущее можно предсказать неизвестному автору, оказавшемуся под покровительством известного имени, но хорошо знаю, что, впервые опершись на эту почти величественную руку, почувствовал, сколько в ней доброты к молодым и сколько вселяющей уверенность мягкости к слабым².

Мне кажется, я сказал все, что хотел. Может быть, этого слишком много, а может быть, недостаточно. В ро-

² Должно быть, Э. Фромантен имеет в виду Теофиля Готье (1811—1872) и Шарля Огюстена Сент-Бёва (1804—1869).

мане, опубликованном несколькими годами позже, личная сторона предшествующих произведений была воспроизведена в иной форме, и на этом я успокоился.

О путешествиях, совершенных впоследствии, я решил ничего не писать. Мне пришлось бы говорить о новых местах почти так же, как я писал о давно известных. К чему? Что толку в новых картинах, если восприятие остается прежним?

Сейчас мне открылось совсем иное поле для наблюдений. Отныне я посвящаю себя занятию, к которому меня влекут скорее привычки, чем вкусы. Оно ново для меня. Полагаю, мне будет что сказать относительно волнующих меня вопросов. Я накопил немало впечатлений и знаний и могу высказать некоторые предположения. Тема — это совершенно ясно — будет весьма деликатной для профессионала, ставшего критиком, от которого будут требовать, и не без причины, меньше слов, а больше доказательств. Дозволено ли мне касаться темы, таящей в себе столько искушений и терний? До сих пор я полагал, что она для меня запретна.

У всякой книги, хоть сколько-нибудь достойной прочтения, найдется свой читатель, ощущающий внутреннее родство с произведением. Так иногда рождается дружба, крепнущая с возрастом книги, с воспоминаниями об ушедшем времени, когда читатель был столь же молод, как и любимая книга. Кругу старых известных и безвестных друзей я и адресую третье издание настоящей книги.

Париж, 1 июня 1874 года

Э. Ф.





I

Из Медеа в Лагуат

Медеа, 22 мая 1853 года



Любезный друг, я полагал писать к тебе лишь после первого перехода, но вынужденное бездействие, в котором я пребываю, заставляет меня безотлагательно сесть за путевой дневник. Начинаю повествование для того только, чтобы скоротать время и поддержать «этот внутренний огонек» (о котором говорит Жан-Поль), позволяющий не замечать, что делается вокруг. Со дня нашего расставания я нахожусь в центре настоящей бури. Она, без сомнения, захватила и тебя на обратном пути во Францию, ведь ветер, весь пропитанный морской влагой, напоминающий мистраль, пришел к нам с Севера.

Хотя наступил май, зима — ты помнишь — еще не ушла с белых вершин Музайя; хочется верить, что она в последний раз посетила уже зацветшие поля.

Сорок лье отделяют нас от Уарсениса; представь, что все это пространство и великолепные пирамиды гор окутывает густой туман. Что касается соседнего Заккара, то очень редко — в те моменты, когда дождь ослабевает, — сквозь его редющую завесу проглядывает двойной рог этой горы отвратительного оттенка разведенной туши, с размытыми очертаниями.

Внезапно вернувшиеся дожди застали нас за последними приготовлениями. Мы уже со всеми попрощались, вьючные мулы были нагружены — и тут пришлось от-

пустить сопровождающих нас верховых; я оказался заточен в гостинице, и вид аистов, мрачно торчащих на краю своих гнезд, служит мне единственным развлечением в нетерпеливом ожидании просвета в небе, напоминающем небо Голландии.

Вынужденный поддерживать свой готовый угаснуть пыл разнообразными мыслями, обращенными в прошлое или опережающими события, я охотно предался воспоминаниям; ими, за неимением лучшего, тебе и придется пока довольствоваться. Впрочем, эти воспоминания могут послужить предисловием к заметкам, в которых я надеюсь позже наверстать упущенное и рассказать тебе о празднествах Солнца.

Ты знаешь, наверное, небольшой офорт Рембрандта, выполненный в пылкой, стремительной манере, дышащий необычайной силой, как все, созданное воображением самобытного гения, с несравненным колоритом; то ли это последний отсвет закатного солнца, то ли вспышка молнии. Композиция очень проста: три взъерошенных дерева с мрачными стволами и листвой; слева, насколько хватает глаз, равнина; открытое небо, на которое наплывает тяжелая грозовая туча; и на равнине два едва различимых путника, гонимых ветром³.

В этом офорте все трудности жизни путешественника и что-то еще таинственное и трогательное, что меня всегда очень занимало. Иногда, всматриваясь в него, я даже видел только мне одному понятный смысл: именно дождю я обязан тем, что узнал пять лет назад страну вечного Лета. Отчаянно стремясь укрыться от дождя, я наконец нашел ничем не омраченное солнце.

Это случилось в 1848 году, в феврале. В тот год не было перерыва между ноябрьскими и затяжными зимними дождями, которые лили три с половиной месяца почти без передышки. Я переезжал из Блиды в Алжир, из Алжира в Константину и не мог найти такого уголка на побережье, куда бы не проникла губительная зима. Я искал место, где она была бы не властна. Именно тогда я подумал о Пустыне. Размытая дождем дорога шла по Кудиа-Ату, и время от времени я видел на ней вереницы людей с загорелыми лицами и верблюдов, груженых финиками и другими дарами природы. От этих людей шло тепло, принесенное в складках грязных бурнусов. Утром мы двинулись по направлению к Бискре,

³ «Три дерева». 1643. Офорт.

переходя вброд речушки, вышедшие из берегов. Через пять дней, 28 февраля, я оказался в селении Эль-Кантара, на границе равнины Телль, изнуренный, продрогший до мозга костей, но с твердой решимостью больше не останавливаться, пока не увижу настоящего южного солнца.

Эль-Кантара охраняет вход в ущелье, единственные ворота, через которые можно проникнуть из Телля в Сахару. Это узкий проход, словно созданный руками человека, в огромной скале в три или четыре сотни футов высотой. Над щелью переброшен мост, сооруженный еще римлянами. Перейдя мост и сделав сотню шагов по теснине, вы спускаетесь по крутому склону в очаровательную, окруженную лесом из двадцати пяти тысяч пальм деревушку, по которой протекает глубокая речка. Вы — в Сахаре.

Перед вами два ряда золотистых холмов, которые через двенадцать лье сменяются плоской малой пустыней Ангад, посланницей Великой Пустыни. Эль-Кантара — первая деревушка на пути в Сахару. От ветров пустыни она частично защищена лесом, от северных ветров — скалами. У арабов существует поверье, что гора задерживает все тучи, идущие из Телля. Дождь умирает на ее вершине, а зима не переходит чудесный мост, который разделяет два времени года — зиму и лето, два края — Телль и Сахару. Доказательством этого является цвет горы, с одной стороны черный, олицетворяющий дождь, с другой — розовый, там, где царит хорошая погода.

Это был наш предпоследний переход, последний должен был привести нас в Бискру. Холодное утро; при пробуждении в наших легких ксурских *⁴ палатках термометр показывал — 1 °. Спустя пять лет помню тот день в мельчайших подробностях. Еще немного, и он стал бы поистине роковым: мой друг А. С. едва не прострелил себе голову, передавая мне ружье, которое обычно носил я; после случившегося я его разрядил, дав себе слово больше не пользоваться им. Какая-то холодность возникла между нами; с момента происшествия мы ехали молча. В тот пасмурный день местность, окружавшая нас, была необычайно тоскливой. Мы пробирались по каменистой, лишенной травы дороге, зажатой между мрачными скалами. Иногда при нашем

⁴ Здесь и далее слова, отмеченные звездочкой, см. в Глоссарии.

приближении с выступа скалы медленно взмывал орел и кружил над нашими головами. Небо, затянутое серыми облаками, отдыхало от дождя, но ветер на севере не стихал, он проникал в ущелье, казалось преследуя нас. Его едва слышное, но настойчивое дыхание доставило нам много волнений.

Меня заинтересовали необычные звуки, раздававшиеся за моей спиной. Они напоминали жалобный звон колоколов, звучащих не совсем в унисон. Звон был так слаб, что казалось, он доносится издалека, и так печален, что весь день я не мог найти себе места. Только на следующий день, когда он возобновился, я открыл его причину: это ветер гудел в пустых стволах моего ружья. Наконец мы достигли ущелья; было без нескольких минут шесть.

Впереди ехал на своей хромой лошади доктор Т. Протяжно напевая псевдоарабскую песню, новую для Хедуджа, он первым достиг места, снял шляпу и закричал нам: «Господа, поклонимся этой земле!»

Правда ли, что первая колонна военного французского корпуса, которая в 1844 году перешла знаменитый мост, замерла в немом восторге, а музыканты в восхищении заиграли? Я знаю об этом лишь с чужих слов, но в тот вечер зрелище, открывшееся нашему взору, заставило поверить в это.

Пальмы — я увидел их впервые; небольшая деревушка золотистого цвета, утопающая в зелени и белых весенних цветах; девушка в ярком красном одеянии и экзотических ожерельях пустыни с амфорой на обнаженном бедре, идущая нам навстречу в сопровождении старца, это была первая девушка, которую мы здесь встретили, со светлой кожей, красивая и сильная в своей ранней зрелости, еще ребенок, но уже женщина; старик усталый, но не обезображенный преждевременной старостью — вся пустыня представала предо мной при этом первом знакомстве во всех проявлениях своей красоты.

Поразительное зрелище. Но самым удивительным было небо: заходящее солнце окрашивало в золото и пурпур, расцвечивало тысячами огней небольшие облака, отделившиеся от огромного черного занавеса над нашими головами, будто пенная кайма на берегу спокойного моря. Дальше простиралась синева, а за ней из бездонных глубин, сквозь неизведанную и прозрачную чистоту проступала голубизна небес. Над цветущей

деревушкой поднимались теплые пары с неясными запахами, и слышались волшебные звуки музыки; слегка покачивались финиковые пальмы, пронизанные лучами заходящего солнца, журчание бегущих под тихими сводами леса ручьев сливалось с легким шепотом листвы, пением птиц, звуками флейты. В это время невидимый муэдзин затянул вечернюю молитву, четырежды повторив ее на все стороны света; он пел с такой страстью, с таким чувством, что все, казалось, замерло в благоговейном трепете.

На следующий день та же красота, тот же повсеместный праздник. И тогда я позволил себе заглянуть в северную часть деревни, и случай сделал меня свидетелем необычного явления. Небо над этим уголком деревни было мрачно и напоминало огромный бушующий океан, последняя волна которого обрушилась на горный гребень. Но гора, как мощный риф, опрокинула ее в открытое море, и по всему восточному склону Сахарского Атласа промчался водяной вихрь, вызывая водовороты. Небо было иссечено серыми струями низвергающегося потока, а в самой глубине виднелась вершина горы, покрытая легкой изморосью. В долине Метлили дождь лил как из ведра, в пятнадцати лье от нее шел снег. Над нашими же головами улыбалась вечная весна.

Мы достигли пустыни в чудесный день, и во время всего моего длительного пребывания в Сахаре я не видел больше ни капли дождя.

Таким лучезарным оказалось, любезный друг, начало путешествия в Зибан. Неожиданный переход из одного времени года в другое, своеобразие местности, новизна впечатлений — перед нами словно поднялся грандиозный занавес; внезапное явление Сахары, куда мы проникли через золотые ворота — Эль-Кантару, оставило навсегда волшебные воспоминания.

Сегодня я уже больше не жду, да и не желаю никаких неожиданностей; мое вступление в пустыню произойдет гораздо проще, без удивления — все здесь уже знакомо; без сюрпризов — на моем однообразном пути больше не лежит Эль-Кантара.

Чтобы знать заранее, к чему готовиться, я тщательно изучил карту Юга от Медеа до Лагуата, но не как географ, а как художник.

Вот о чем она поведала мне: до Богара — горы; от Богара — разные равнины, которые все зовутся Саха-

рой: солончаковые, песчаные, каменистые, холмистые, поросшие альфой; за двенадцать лье от Лагуата — пальма; наконец, Лагуат, обозначенный более крупной точкой на пересечении бесчисленных ломаных линий, расходящихся во всех направлениях к городам с неизвестными, порой полусказочными названиями; затем вдруг бескрайняя равнина на юго-востоке, где нет ничего, ее название — Блед-эль-Аташ (Страна жажды) — заставляет задуматься.

Многие отступили бы перед однообразием подобного маршрута. Признаюсь тебе, что именно это однообразие и привлекает меня.

У меня вполне определенная цель.

Если я ее достигну, она сама скажет за себя; если нет, стоит ли говорить тебе о ней?

Знай лишь, что я страстно люблю голубой цвет и сгораю от желания вновь увидеть безоблачное небо над лишенной тени пустыней.

Эль-Гуа, 24 мая, вечер

Расстояние от Медеа до Богара по дороге, избранной нами, составляет четырнадцать лье — на два лье короче, чем по кружному пути. Наша дорога почти прямая, насколько это возможно в труднопроходимой местности. Кажется, более сократить путь нельзя, если только не брать подъемы штурмом, как укрепления, и не скатываться кубарем при спусках. Проводник увлекает нас в глубь гор по крутой тропе, едва намеченной прошедшими здесь пастухами или естественным стоком дождевых вод, что, однако, не мешает продвижению каравана легко груженных мулов и осторожных лошадей.

Горный массив, который мы преодолели за пять часов, представляет собой беспорядочное скопление конических холмиков, изрезанных глубокими, узкими оврагами. На дне каждого оврага, у ручьев или ключей, изобилуют олеандры. Склоны покрыты густыми зарослями кустарника, а на верху холмов расположились величественные дубы, пробковые дубы и хвойные деревья. Дымок, тянущийся над лесом и приносящий разнообразные запахи, редкие зеленые квадратики ячменных полей указывают на присутствие в этом уединенном месте арабов-земледельцев. Но не видно ни самих хозяев полей, ни их хижин, откуда тянется дымок. Ни души. Не слышно даже собачьего лая. Арабы не

любят показывать свои жилища, как не любят называть свои имена, говорить о своих делах, сообщать цель своего путешествия. Им неприятно любое проявление навязчивого любопытства. Вот почему они строят свои жилища в самых неприметных местах; почти так же устраивают засаду — чтобы можно было самим наблюдать, не будучи замеченными. Из глубины невидимого убежища араб следит за дорогой, за проходящими по ней людьми, отмечая их число и с беспокойством определяя направление движения. Если же кто-то намеревается осмотреть местность, устроить привал или направляется к жилищу — поднимается тревога. Иногда подозрительный деревенский житель незаметно провожает вас взглядом и не теряет из виду, пока не утратит всякий — реальный или надуманный — интерес к вам.

Все привычки араба-земледедца подчинены целой системе предосторожностей, а его отношение к собственности может быть объяснено постоянной неуверенностью. Даже ведя оседлый образ жизни, он чувствует себя владельцем лишь того, что непосредственно находится в его руках. Он предпочитает движимое имущество, так как его легче обменять, скрыть, даже сделать вид, что оно не твое. Земля же, наоборот, слишком обременительна. Любая земельная собственность кажется ненадежной и вызывающей. Засеянный участок подчеркнуто занимает лишь клочок земли. Араб не желает расширять его и возделывать прилегающие земли, он старается сохранить голое пространство перед своим домом, чтобы никто не догадался о его владениях. Ничто не имеет более невзрачного вида, чем местность, заселенная арабскими племенами. Вряд ли возможно занимать меньше места, производить меньше шума, более скрытно вторгаться в пустыню.

Мы продвигаемся в тишине и с трудом, вцепившись в лошадиные гривы, преодолеваем тяжелые подъемы, каждый из которых отнимает у нас целый час. Из-под копыт лошадей вспархивают козодои и лесные горлицы, изредка выводки серых куропаток. Иногда совсем рядом раздается звонкий крик дрозда, и мы видим маленькую черную птицу, выющую над зарослями. Жарко, в воздухе пахнет грозой, облака с темно-синими разрывами, усеявшие небо, отбрасывают огромные тени на прекрасную страну, окрашенную в зеленый цвет. Не могу выразить, сколь величественна эта мирная

картина. На вершине каждого холма я оборачивался, чтобы полюбоваться видневшимися на горизонте голубоватыми пиками Музайя. Однажды в узком проходе я увидел клочок равнины и над ней в тумане нечто голубое, что походило на море, Средиземное море, которое, мой друг, здесь я называю Северным морем и которое когда-нибудь с сожалением назову Африканским морем, как в древности. Время от времени на северо-западе, на светлом плато, где вырисовывались дороги, показывалась Медеа. В последний раз я увидел Медеа в три часа дня и попрощался с ней. Она выделялась красноватым пятном, испещренным беловатыми точками, над тремя ярусами поросших лесом холмов. Я смутно различил два или три минарета, господствующие над городом, и, кажется, узнал рядом с казармами тот, который не нравился тебе. И сразу же вспомнил наших аистов. Затем я еще раз взгляделся в горизонт. Не знаю, какие невидимые нити, идущие от моего сердца, натянулись сильнее, но только в этот момент я по-настоящему понял, что уезжаю, что мне предстоит нечто отличное от простой прогулки.

За четыре часа пути мы не сделали и пяти лье, но подъем закончился. Через полчаса спуска по пологому склону меж густых зарослей моя лошадь радостно оживилась, и передо мной открылись поляна с белым домом, окруженным соломенными хижинами, несколько черных палаток и наш кавалерийский авангард, который уже располагался бивуаком.

Лагерь в эту ночь был разбит в Эль-Гуа, называемой также Ла Клерьер, у резиденции Си Джилали Бель-Хадж Мулуда, каида * племени бану хасан. Резиденция — укрепленное строение, которое наше правительство возводит в глубине страны, — административное здание для вождя племени, в случае войны оно служит оборонительным форпостом, а в мирное время — гостиницей для путешественников. Резиденция не является постоянным местом пребывания вождя, но находится он там или нет — двери обычно охраняются несколькими французскими пехотинцами, выделенными соседним гарнизоном. Более значительные и мощные укрепления называются борджами *. Резиденция в Эль-Гуа представляет собой скромную кордегардию: двор с четырьмя павильонами по углам окружают невысокие стены с бойницами; массивная дверь окована железом. По ту сторону дома возвышается большое ореховое дере-

во с шарообразной кроной, кругом хозяйственные постройки, обсаженные кустарником. Сквозь ветви огромного дерева проглядывали небо и тяжелые грозовые облака, нависшие над холмами, окрасившимися в коричневый цвет,— все это создавало картину, мало похожую на восточную, но понравившуюся мне именно потому, что напоминала Францию. На юге все заволочили тучи, на севере и западе под нами простирались бесчисленные холмы, чередовавшиеся с небольшими долинами, с рощицами, лугами и редкими возделанными полями. Холмы укрыла тень, лес окрасился в цвет бронзы, поля обрели изысканную бледность молодых всходов, контуры лесов очертились сеткой голубых теней. Это походило на трехцветный ковер с неравномерно подстриженным ворсом: совсем коротким — там, где поля, густым пушистым — там, где леса. Поражает полное отсутствие впечатления дикости природы, даже мысли не возникает о соседстве львов.

Две арабские палатки, поставленные для нас, служат убежищем для людей и укрытием для багажа. Места ровно столько, чтобы не испытывать неудобств. О нашем гафла * я расскажу тебе, когда он соберется в полном составе, готовый к длительному путешествию, когда мы сменим горных мулов на верблюдов, когда господин Н.— ты его знаешь,— наш хабир *, соберет всех всадников и слуг. Верблюды, запасные палатки и эскорт ожидают нас в Богари, куда мы прибудем завтра вечером. Сейчас же наш небольшой караван имеет самый обычный вид, в нем перемежаются бурнусы и одежда французского покроя, а погонщики мулов идут совсем не тем размеренным и терпеливым шагом, какой присущ погонщикам верблюдов, этим неутомимым путникам пустыни.

Восемь часов вечера, мы вернулись в палатки после ужина у каида. Си Джилали дал в нашу честь торжественный ужин — диффу *. Он специально приехал в резиденцию из племени, живущем в нескольких лье отсюда, чтобы принять нас. Невозможно удостоиться большей гостеприимности на пороге арабской страны. В нашем радушном хозяине я обнаружил те черты горца, которые мы отмечали еще в Медеа и любовались ими, если помнишь. Он с честью может представлять свою страну, как герой на фронтисписе книги. У него красивое, загорелое лицо, смелое и решительное; с него не сходит улыбка, позволяющая увидеть великолепные зубы, боль-

шие нежные глаза. На нем два бурнуса — черный и белый. Черный бурнус редко можно увидеть у арабов прибрежных племен, эта одежда, как мне сказали, исчезает и на Юге, но зато широко распространена в районах между Медеа и Джельфой, которые мне предстоит проехать. Черный бурнус делается из грубой шерсти или из верблюжьего волоса, он так тяжел, толст, жёсток на ощупь, что кажется фетровым, он просторнее, чем бурнус из белой шерсти, и ниспадает с плеч, образуя одну-две строгие фалды. Высокие люди кажутся в нем шире и ниже ростом, но приобретают царственную поступь и величественную осанку. К этому почти монашескому одеянию, напоминающему мантию священника, добавляются капюшон вроде клобука, отброшенный на спину, красные сапоги для верховой езды, четки из темного дерева, сафьяновый, потертый, с засунутыми за него пистолетами пояс на талии и, наконец, длинный шнурок; на него нанизаны деревянные амулеты и мешочки из красной кожи, и спускающийся на хаик * джериди * из тонкой шерсти, подбитый шелком; никаких вышивок, бахромы, кистей, золотых застежек — такова была строгая одежда нашего хозяина. Си Джилали происходит из военной аристократии, его отец Си Хадж Мулуд совершил паломничество в Мекку. В его жилах, как ты можешь понять, течет кровь фанатика и воина. Это тридцатилетний мужчина, вернее, молодой человек, которого заставили так рано созреть усталость, высокое положение, может быть, война, а то и просто солнце этой страны. Если к нему приглядеться повнимательнее, то замечаешь, что выражение его глаз, полных огня, не всегда соответствует улыбке на его лице, которая порой лишь проявление вежливости.

Мы обедали в небольшой комнате (без мебели, но с французским камином) с облупившимися стенами, хотя дом был новый. Камин топился, палаточный ковер, слишком большой для комнаты, был подогнут у одной из стен так, что служил нам как бы спинкой дивана; освещалась комната единственной свечой в руках слуги, исполнявшего роль подсвечника, он неподвижно сидел на корточках перед нами. Какой бы скромной ни была столовая, как бы плохо ни был освещен ковер, служащий столом, прием пищи у арабов всегда значительное событие.

Мне незачем напоминать тебе, что диффа входит в ритуал гостеприимства. Приготовление ее освящено

традицией и является частью этикета. Чтобы больше не возвращаться к этому, вот основное меню диффы по самому строгому церемониалу. Сначала один-два целиком зажаренных барана. С них еще капает горячий жир, когда их приносят нанизанными на вертела. На ковре стоит длинное деревянное блюдо; вертел водружается как мачта посреди блюда, а принесший вертел берет его как лопату и ударом голый пятки по крупу барана сбрасывает его на блюдо. Вся туша испещрена длинными надрезами, сделанными перед жаркой. Хозяин дома подает лучший кусок самому важному гостю. После этого к делу приступают остальные. К барану подают горячие масляные лепешки. Затем следует рагу из баранины и сухих фруктов, обильно политое соусом, сильно приправленным красным перцем. В заключение на большом деревянном блюде на ножке, как у кубка, подают кускус *. Напитки: вода, свежее молоко (*халиб*), кислое молоко (*лябан*); кислое молоко идет к трудноперевариваемым кушаньям, свежее — к острым. Мясо едят без ножа и вилки, разрывая его руками, соус берут единственной деревянной ложкой, которую пускают по кругу. Кускус можно есть руками или ложкой, но, как правило, его скатывают правой рукой, делают комочек и проглатывают, быстро протолкнув большим пальцем. Обычно каждый берет его со своей стороны блюда, проделывая ямку. У арабов даже принято оставлять середину, так как на нее как бы снизойдет благословение неба. Питье — молоко или вода — подается в одной большой чаше. На этот счет я знаю еще один местный завет: «Тот, кто пьет, не должен дышать в чашку с напитком; когда надо перевести дыхание, он должен отнимать ее ото рта, а затем может продолжать пить». Я подчеркиваю слово «должен», чтобы сохранить повелительный смысл.

Если ты помнишь главу «Гостеприимство» в прекрасной книге генерала Дома о Великой Пустыне, то знаешь, что среди арабских обычаев трапеза и угощение имеют первостепенное значение и что диффа — прекрасный урок правил хорошего тона и взаимного великодушия. Надо заметить — это обусловлено не общественным долгом, совершенно чуждым этому анти-социальному народу, но божественным указанием: если изъясняться их языком, подобное отношение к путешественнику объясняется тем, что он считается посланником бога. Их приветливость зиждется, таким образом,

не на условностях, а на религиозных принципах, почтительно соблюдается, как все, что относится к святыне, и исполняется как религиозный обряд.

Поэтому вовсе не смешно, когда сильные мужчины в военном облачении и с амулетами на шее с серьезным видом занимаются мелкими хозяйственными делами, которые в Европе являются обязанностью женщин, когда их крепкие руки, огрубевшие от ношения оружия и управления лошадью, прислуживают вам за столом: режут на тонкие ломтики мясо, предлагают лучшие куски бараньей туши, наливают воду и подают после каждой смены блюд полотенце для рук из набивной шерсти. Знаки внимания, которые в нашем обиходе показались бы ребяческими, даже смешными, здесь становятся трогательными из-за контраста между обликом мужчины и таким использованием его силы и достоинства.

Когда подумаешь, что мужчина, который из лени или от избытка домашней власти возлагает на женщин выполнение тяжелых обязанностей по хозяйству, старается лично услужить гостю, то приходится согласиться, повторяю, что это прекрасный урок нам, людям с Севера. Не является ли подобное гостеприимство мужчин по отношению к мужчинам благородным, братским, единственным, которое, по арабской пословице, вверяет «бороду иноземца в руки хозяина?» Впрочем, об этом уже много говорено, разве что кроме незначительных подробностей; приглашенный имеет право, испытывая максимальную удовлетворенность, выказывать в обществе признаки полноты желудка. Это согласно нашим правилам приличия не дозволяется даже детям, и нам трудно поэтому понять и тем более извинить этих суровых людей, которые никогда не дают повода к насмешкам. Но не надо забывать, что таковы здесь обычаи и что все совершается с самой удивительной непосредственностью.

Кофе, чай и табак подаются только чужеземцам-христианам и совершенно неизвестны в ксурах и дуарах * арабов Юга. Уважающий себя араб обычно воздерживается от этих продуктов. Многие бедняки вообще их не пробовали. Существует ошибочное представление, что каждый араб имеет трубку, как мавр или турок. На самом деле курят далеко не все мавры. Я знаю таких, которые смотрят на курение как на порок, почти равный пороку потребления вина; эти суровые методисты усердно

посещают мечеть и носят одежду из шерсти и шелка без золотой или серебряной отделки.

Одиннадцать часов. Заканчиваю письмо, всматриваюсь в темноту этой первой ночи на бивуаке. Воздух уже не влажен, но земля совсем мокрая, наши палатки покрыты росой; высокая луна освещает горизонт за лесом. Наш бивуак погружен в полную темноту. Только что у костра, разведенного между палатками, перешептывались арабы, рассказывая что-то друг другу — конечно, не анекдоты Антара, что бы ни говорили об этом путешественники, вернувшиеся с Востока. Теперь оставленный костер погас и распространяет по всему лагерю слабый запах смолы. Наши кони время от времени вздрагивают от любовной страсти к невидимой, воспламенившей их кобыле, а их пронзительное ржание похоже на звуки трубы. Сова, где-то скрывающаяся, издает через равные промежутки времени среди полной тишины единственную ноту — клю! — напоминающую громкий вздох.

Богар, 26 мая, утро

Если мне не чудится, моему взору открылась африканская Африка, какой ее представляешь дома; значит, дальнейшее путешествие в пустыню не даст мне ничего более значительного. Прибыв сюда, я сделал настоящее открытие: рядом с Богаром, единственным пунктом, название которого было мне известно и который представлял для меня всю страну, я обнаружил другую местность, о ней никто не говорит, вероятно, потому, что она не имеет стратегического значения, а возможно, из-за ее поразительного бесплодия. Эта местность, ничем не напоминающая ту, что я знал, носит как бы уменьшительное название от Богар — Богари.

Богар — французская цитадель (нечто вроде аванпоста), расположившаяся на вершине высокой горы, поросшей темными вечнозелеными соснами. Богари — небольшая арабская деревушка, вцепившаяся в спину голого холма, залитого солнцем. Они расположены друг против друга на расстоянии в три четверти лье, разделены рекой Шелиф и узкой безлесной долиной. Я не стал подниматься в Богар: то, что я увидел снизу, показалось мне печальным, холодным, может быть, любопытным, но скучным, как бельведер. Что касается Богари, к счастью для нее едва пригодной для жизни арабов, — это

воистину земля Хама. Но не будем опережать события; я еще вернусь к этому. Я надеюсь, что, когда мы пересечем долину реки Шелиф, за этими голыми холмами, закрывающими горизонт с юга, которые мы должны преодолеть сегодня, перед нами откроются удивительные картины.

Первая часть пути из Эль-Гуа, откуда мы вышли вчера с восходом солнца, проходит не через кустарник, среди которого поднимались рощицы, как накануне, а через красивую дубраву и большие поляны, поросшие густой травой, откуда открывается вид на страну, покрытую густыми лесами, отливающими на солнце то голубым, то зеленым. Все вокруг необыкновенно красиво. В местности, где звонко отдается эхо, мечтаешь об охоте, о лае охотничьих собак.

Неожиданно подъем кончается, открывается горизонт, и вашему взору с высоты птичьего полета во всю ширь предстает уже не столь веселая серо-желтая долина, обожженная зноем. Она заключена между двумя рядами холмов, справа еще покрытых кустарником, а слева почти голых, с несколькими чахлыми сосенками.

Долина названа по имени маленькой речки с узким руслом — Уэд-эль-Алкум, неровные крутые берега которой поросли то здесь, то там олеандрами и другими красивыми растениями, но совсем нет деревьев; речка впадает в Шелиф у подножия Богара. Именно здесь на заре светлого и прозрачного дня я увидел первые палатки и стада верблюдов и с восторгом ощутил, что добрался наконец до патриархов.

Старый Хадж Мелуд, похожий на своего предка Ибрагима, Ибрагима Гостеприимного, как называют его арабы, ожидал нас со своей змалой *; его сын Си Джилали специально приехал, чтобы проводить нас туда, где находится вся огромная семья. Хадж Мелуд принимал нас, по обычаю, рядом с дуаром, в больших палатках для гостей (гюятен эль-дьяф *), в окружении многочисленной свиты и с соответствующими случаю церемониями. Мы много ели и пили кофе из маленьких зеленых чашечек, на которых было начертано по-арабски: «Пей с миром». В самом деле, я никогда не видел ничего более мирного, более располагающего к питью с миром, не видел ничего более простого, чем картина, представшая перед нашими глазами.

Наши просторные палатки, между прочим, с красными и черными полосами, как на Юге, стояли на ма-

леньком голом плато, на берегу реки. Их откинутые завесы, приподнятые палками, отбрасывали на голую площадку два квадрата тени, единственные на всем пространстве, испепеленном солнцем, по которому оно рассыпало дождь бледных золотых лучей. Стоя в квадрате серой тени и возвышаясь над всем вокруг, Си Джилали, его брат и отец — все трое в черном — безмолвно присутствовали на обеде. За ними на солнцепеке полукругом сидели на корточках люди в грязно-белых одеждах без складок, безмолвные, неподвижные, с полузакрытыми глазами. Слуги, одетые в белое и столь же безмолвные, неслышно сновали между палаткой и кухней, оттуда поднимались две струйки дыма, словно два жертвенных дымка. В дополнение ко всему я мог видеть в проем двери уголок дуара, кусок реки, табун лошадей, подале стада коричневых верблюдов с тонкими шеями, лежавших на бесплодных холмах, и землю, голую, как пустыня, светлую, как поля созревшего хлеба. И среди всего этого лишь клочок тени, где отдыхали путешественники, и легкий шум, доносившийся из палатки.

Картине, которую я пишу с натуры, не хватает величия, размаха и безмолвия. Мне хотелось бы запечатлеть ее самыми яркими красками и описать самыми простыми словами, но ограничусь одной фразой, в которой заключено все: «Пей с миром».

Долина Уэд-эль-Алкум сужается и оголяется к югу; через три часа пути она выходит к Шелифу и между Богаром и Богари пересекается, как я тебе писал, с другой долиной, совершенно безводной, идущей с востока на запад. Богар виден оттуда как сероватое пятно среди зелени на острой вершине горы. Деревушка же Богари, взгромоздившаяся на скалу, открывается слева лишь при вступлении в долину Шелифа, в глубине унылого, но сверкающего на солнце пейзажа. Поразительно, я никогда не встречал ничего подобного, даже не мог себе представить ничего более дикого — употребим это слово, хотя мне и нелегко его выговорить. Обидно будет, если им станут пользоваться все, и так уж им злоупотребляют; к тому же слова грубы: они не выражают оттенков и обозначают только самый общий признак. Охарактеризовать действие солнца на эту пылающую землю, назвав ее желтой, — значит все испортить и обезобразить. Лучше уж совсем не говорить о цвете, ограничившись словами «очень красиво», оставляющими тем, кто не видел Богари, свободу выбора оттенков.

Белая деревушка с коричневыми и лиловыми вкраплениями стоит над оврагом, образующим сток, где чудом сохранились две-три зеленые смоковницы и столько же мастиковых деревьев, как бы выточенных из куска порфира или агата, так богата их палитра — от оттенка винного осадка до кроваво-красного. Если не считать нескольких кустиков вдоль водосточных каналов, в Богари нет ни деревьев, ни травы. Песчаная в некоторых местах почва гола, как пепелище. Наш лагерь расположился у самой деревушки на утрамбованной площадке вроде базарной площади, где останавливаются караваны, приходящие с Юга. Со вчерашнего дня мы живем здесь в обществе ястребов, орлов и ворон.

Здесь приема нам не устраивали. Страна бедна. Вынужденные сами заботиться о своих развлечениях, мы пригласили на сегодняшней вечер из Богари танцовщиц и музыкантов.

Деревушка Богари служит местом торговых сделок и складом для кочевников, в ней много красивых женщин, прибывших сюда из районов Улед-Наиля, Аразлия и других, где нравы легкие, и девушки, как правило, ищут счастье в соседних племенах. У жителей Востока существуют прелестные слова, маскирующие истинный род занятий этих женщин, и я, за неимением лучшего, буду называть их танцовщицами. Итак, перед красной палаткой, служащей нам столовой, зажгли большие костры и послали человека в деревню. Все там уже спали, так как было десять часов, и, наверное, нелегко было разбудить этих бедных людей. Нам пришлось прождать час, прежде чем мелькнул свет — яркая красная звездочка, передвигавшаяся в темноте в стороне деревни, затем мелодичный звук арабской флейты нарушил ночную тишину и известил нас, что приближается праздник.

Пять-шесть музыкантов с тамбуринами и флейтами, столько же скрытых под вуалями женщин и многочисленные сопровождающие, которые сами себя пригласили на веселье, появились наконец у наших костров и образовали большой круг. Бал начался. Это не было похоже на полотна Делакруа. Все цвета исчезли, остались лишь контуры, либо затушеванные смутными тенями, либо прочерченные широкими полосами света, несравнимыми по фантазии и смелости. Нечто в стиле «Ночного дозора»⁵ Рембрандта или, скорее, его незавершенных офор-

⁵ «Ночной дозор» (Рота капитана Франса Баннингакока и лейтенанта Виллема ван Рейтенберга). 1642. Амстердам, Рейкс-музей.

тов. Головы в белых уборах, будто отсеченные наотмашь ударом резца, руки без тел, движущиеся кисти без рук, сверкающие глаза и белые зубы на почти невидимых лицах, часть одеяния, вдруг оказавшаяся на свету (а другой словно вовсе нет) и случайно выхваченная невероятной игрой матовых и чернильно-черных теней. Вызывающие головокружение, неизвестно откуда исходящие звуки флейты перекликались с ударами четырех кожаных барабанов, выделявшихся на самом освещенном месте круга огромными золочеными дисками, казалось, они подрагивают и звучат самостоятельно. Костры, куда подбрасывались сухие ветки, потрескивали, искрились, окутывались клубами дыма, расцветенного раскаленными угольками. И вне этой странной сцены не было видно ничего: ни лагеря, ни неба, ни земли, повсюду — вверху, внизу, вокруг — царил мрак, крошечная тьма, известная, наверное, только потерявшим зрение.

Танцовщица, за которой наблюдали все присутствующие, двигалась ритмично, изгибаясь всем телом и часто притоптывая, она то запрокидывала голову в томном бессилии, то вытягивала и развертывала, как при заклинании, свои красивые руки (кисти рук, как правило, у них очень хороши). Несмотря на слишком явный смысл танца, эта танцовщица, пожалуй, могла бы с равным успехом играть как сцену из «Макбета», так и совсем другое. Это другое — в сущности, вечная любовная тема — дало каждому народу материал для фантазий и побудило все народы, кроме нашего, создать свои национальные танцы.

Тебе знаком мавританский танец. Он интересен богатством костюма. Но в целом танец безвкусен, а то и просто непристойен.

Арабский танец — танец Юга — реально выражает с целомудренной грацией и с несравненно более отработанной игрой жестов пылкую драму, наполненную нежными перипетиями, без пошлостей, неприемлемых для арабской женщины.

Танцовщица сначала показывает, как бы поневоле, свое бледное лицо в обрамлении тяжелых кос, заплетенных с шерстяными нитями, пряча его наполовину под покрывалом, потом отворачивается, как бы смущаясь под взглядами мужчин, — все это с нежной улыбкой и изысканным притворством стыдливости. Затем, подчиняясь все убыстряющемуся ритму, она становится смелее, ее поступь оживляется, жесты становятся резче.

И вот начинается патетическое действие между нею и невидимым возлюбленным, который говорит с ней звуками флейт; женщина убегает, она прячется, но вот нежное слово ранит ее в самое сердце! Она подносит к нему руку — не для того, чтобы пожаловаться, а чтобы показать, что она поражена, а другой, обольстительным жестом, с сожалением отстраняет своего возлюбленного. Теперь следуют лишь порывы, смешанные с сопротивлением; чувствуешь, что она привлекает, желая защититься, ее тонкое, гибкое и ласковое тело изгибается, выражая крайние переживания, и ее руки, выброшенные вперед для последнего отпора, бессильно опускаются.

Я краток, а пантомима очень длинна и продолжается, пока музыканты, уставшие не меньше танцовщицы, не обрывают свою игру ужасной какофонией флейт и тамбуринов наподобие последнего аккорда органа.

Нашу танцовщицу нельзя назвать красавицей, но она обладает грацией, необходимой для танца, и умеет носить длинное белое покрывало и красный хаик, на котором в изобилии сверкают украшения. Когда же она простирала обнаженные руки, украшенные по локоть браслетами, и шевелила длинными, тонкими кистями с видом сладострастного ужаса, она была просто восхитительна.

Испытывал ли я чувство, равное удовольствию местных жителей? Во всяком случае, картина, явившаяся предо мной, останется в моих воспоминаниях наряду с образом прядильщицы, о которой я столько раз рассказывал тебе. Не знаю, в каком часу закончился праздник. Судя по всему, он мог продолжаться до утра. Утром я узнал, что один из наших людей позволил себе грубую выходку по отношению к танцовщице, та ушла, и обе стороны расстались, крайне недовольные друг другом, после обмена оскорблениями и угрозами.

Спустя час мы оседлали лошадей, чтобы отправиться дальше и заночевать в Улед-Моктаре. Через четыре лье мы очутимся на самом юге — в настоящей Сахаре.

Как я уже говорил, здесь мы оставляем мулов и двигаемся дальше караваном из двадцати пяти верблюдов, ожидающих нас со вчерашнего дня, терпеливо лежа у наших палаток.

Среди множества людей, заполнивших наш бивуак, я начинаю различать тех, кто отправился с нами. Погонщики мулов привязывают свои сандалии, всадники надевают свои длинные красные сапоги со шпорами. Это все люди с юга: из Улед-Моктара, Улед-Наиля, Агуати

и так далее. Коричневые бурнусы принадлежат махзенам * из Лагуата, мрачным всадникам в грязных хаиках, питающимся бог весть чем, спящим где придется, тощим, как их лошади, и, однако, совершающим на этих животных, не знающих усталости, невероятные переходы.

Мы навьючиваем верблюдов. Эти хорошо сложенные животные, менее крупные, но более легкие и быстрые, чем верблюды Телля, приспособлены для перевозки грузов. У них живые глаза и тонкие ноги. Они ужасно режут, когда им на спину взваливают тюки. Как я узнал от нашего башамара *, это они жалуются на судьбу. Они говорят тому, кто затягивает на них ремни: «Подложи подушки, чтобы не поранить меня».

Джельфа, 31 мая

Вчера мы прибыли в Джельфу после пятидневного перехода по бесконечной равнине. Хорошая погода, иногда облачная, но достаточно теплая, убедила меня в том, что мы уже пять дней в Сахаре.

Географически Сахара начинается в Богаре, иными словами, здесь заканчиваются гористые, пригодные для обработки или, точнее, для возделывания земли, называемые Теллем. Ты знаешь, что о происхождении слов «Телль» и «Сахара» нет единого мнения. Генерал Дома, даже учитывая открытия последних восьми лет, в своем труде «Алжирская Сахара», не утратившем значения и поныне, предлагает этимологию, которая нравится мне по причине арабского происхождения и в целом удовлетворяет меня. В племени тольба считают, что слово «Сахара» происходит от арабского «сухур» — трудноуловимый момент перед рассветом, когда в период поста еще можно есть, пить и курить. Слово «Телль» происходит от «тали», что означает «последний» ⁶. Таким образом, Сахара — огромная и плоская страна, где сухур имеет особую ценность, а Телль — соответственно гористая страна за Сахарой, куда сухур приходит последним. Что бы там ни было, Сахара, безусловно, не означает «пустыня». Сахара — название огромной равнинной территории, в одних местах необитаемой, а в других — густонаселенной. Ее еще называют Фиафи, Кифар или Фалат — в зависимости от того, населена она, или заселяется на период после зимних дождей, или необитаема

⁶ Вся эта этимология ошибочна. См. Послесловие.— *Примеч. ред.*

и непригодна для жизни. Впрочем, от Богара до Фалата, иначе говоря, моря песков, которое начинается только за Туатом, в сорока днях пути от Алжира, очень далеко. Я расскажу тебе об очень пустынных местах, но ты знай, что речь идет еще не о Фалате, или Великой Пустыне.

Еще на одно необходимо обратить внимание, и я покончу с географией. Сахара заселена двумя народами: оседлым, живущим в городах и ксурах, расположенных в местах, где имеется вода, и кочевым, арабами-завоевателями, живущими в палатках. Первые — земледельцы, вторые — пастухи. Общие интересы объединяют эти два народа, что, однако, не мешает арабам презирать соседей в обмен на ответное презрение. Они сообща владеют оазисами. Житель ксура возделывает словно арендатор сад кочевника, кочевник, в свою очередь, следит за общими стадами, отгоняет на зимние пастбища, а летом отправляется на базары в Телль, чтобы купить зерно для тех и других. Занимая, таким образом, пространство в две-три сотни лье, одни — оазисы, другие — лежащие между ними равнины, пригодные для жизни после дождей, многочисленные жители рассредоточены на огромных просторах Сахары, которую, как ты понимаешь, совершенно ошибочно называют пустыней и где, предполагали, водились самые химерические живые существа, кроме человека, самого реального и многочисленного из них.

Сделав это отступление, я возобновляю свои дорожные записи на бивуаке Богари с того момента, когда я тебя оставил, чтобы оседлать коня.

В путь мы двинулись только в полдень: с соблазнами Богари арабские путешественники расстаются особенно неохотно, я понял это по необычной медлительности приготовления к отъезду. Наконец по сигналу башмара ревущее стадо вьючных верблюдов поднялось. Мы галопом проскакали в голову каравана, и через несколько минут опустевшая деревушка скрылась за первым холмом, безмолвная, как и при нашем прибытии, суровая, несмотря на живой блеск оштукатуренных стен, и еще более тихая, чем на рассвете под белым полуденным саваном. Почти тотчас мы вступили в долину Шелифа.

Эта долина, или скорее неровная каменистая равнина, усеянная холмиками и изрезанная промытыми рекой оврагами, безусловно, одна из самых удивительных местностей. Я не видел ничего более причудливого

и столь колоритного; даже после Богари это небывалое зрелище.

Представь себе горячие камни на выжженной земле, утрамбованной сухими ветрами. Мергельная земля, гладкая, как гончарные изделия, почти сверкает, так она гола, и кажется настолько обожженной, будто только что вынута из огня гончарной печи. Никаких признаков растительности: ни травы, ни даже чертополоха. Плоские холмы, словно примятые чьей-то рукой или изрезанные по чьей-то фантазии остроконечным кружевом, изогнуты, как рога или лезвие косы. В середине лежат узкие долины, такие же голые и чистые, как ток для зерна. Кое-где торчат причудливые холмы совсем уж мрачного вида; на их вершинах лежат неправильной формы глыбы, словно упавшие аэролиты на куче расплавленного песка,— и все из конца в конец, насколько хватает глаз, не красное, не совсем желтое, не темное, но цвета львиной шкуры. Шелиф, который через сорок лье к западу станет тихой и красивой, приносящей пользу рекой, здесь извилистый, зажатый в каменные тиски ручеек, зимой превращающийся в бурный поток, а с наступлением лета пересыхающий до последней капли. Он промыл себе в мягкой почве холма грязное русло, которое походит на траншею, и даже в самые сильные паводки не спасает нищую, снедаемую жаждой, пересыхающую долину. Его крутые берега так же бесплодны, как и все вокруг, можно заметить лишь приютившиеся у русла редкие стебли олеандров, отмечающие уровень половодья, запыленные, грязные и угасающие от жары в глубине траншеи, палимой полуденным солнцем. Впрочем, ни лето, ни зима, ни солнце, ни роса, ни дожди, которые заставляют зазеленеть даже песчаные и соленые почвы пустыни, ничего не могут сделать с этой землей. Все времена года бесполезны для нее: каждое приносит ей только муки.

Мы затратили три часа, чтобы пересечь поразительную местность. День был безветрен, а воздух настолько неподвижен, что даже проход каравана не всколыхнул его. Пыль, поднятая всадниками, клубилась, не поднимаясь, под брюхом вспотевших лошадей. Небо было великолепным и угрюмым, тяжелые облака цвета меди грузно плыли по лазури, почти столь же неподвижные и дикие, как сам пейзаж.

Вокруг ничего живого, только с большой высоты благодаря царящей вокруг тишине изредка доносились

хлопанье крыльев и голоса птиц. Это стаи черных ворон, словно рой мошкар, кружили над самыми высокими холмами, а ниже летали бесчисленные стаи белых острокрылых птиц, полетом и жалобными криками напоминающих куликов. Иногда вдали появлялся орел с коричневыми полосами на животе или ягнятник-бородач с оперением в черных и светло-серых пятнах, они медленно прорезали пустынное небо, осматривая все вокруг, и, как усталые охотники, возвращались в лесистые горы Богара.

За Богари, за чередой симметричных холмов и долин — последней границей Телля — через узкий проход попадаешь наконец на первую равнину Юга.

Перед нами открылась огромная перспектива: добрых двадцать четыре—двадцать пять лье плоской земли, совершенно ровной и гладкой, выжженная равнина зеленовато-желтого цвета, расчерченная полосами серых теней и тусклого света. Грозовая туча, вставшая над ней, делила равнину надвое и мешала нам определить ее границы. Лишь в просветах клочковатого тумана, в котором, казалось, слились земля и небо, можно было угадать линию гор, идущих параллельно Теллю с востока на запад, с семью пиками в центре цепи; эти семь голов и дали ей имя Себа-Руус.

Перейдя перевал, наш небольшой караван развернулся на равнине и опять построился в походном порядке, который мы приняли в начале пути. Мы шли с севера на юг прямо к Себа-Руус и должны были достигнуть ее только послезавтра.

Впереди едут всадники числом около тридцати, позади верблюды, подбадриваемые пронзительными окриками и свистом погонщиков, впереди всех наш хабир, затем господин Н., чья крупная белая лошадь всегда опережает других на несколько сотен метров, хотя идет шагом, рядом с ними, почти вплотную, двое или трое верховых слуг — красивых молодых людей в белом на вертких кобылах белой и серой масти, но снаряженных небрежно, как на прогулку, и почти без оружия, лишь один везет двуствольное ружье своего хозяина и его широкую джебиру * из рысьей шкуры на луке своего седла.

Меня можно найти чаще всего в стороне или рядом с самыми молчаливыми спутниками, это позволяет мне оставаться наедине с собой, либо часами разглядывая проплывающие мимо белые бурнусы, лоснящиеся от

пота крупы лошадей, седла с красными дужками, либо наблюдая за приближающейся рыжей тучей верблюдов, следующих в походном порядке, с вытянутыми шеями, на страусиных ногах, и живописной поклажей, водруженной на их спины.

Кроме сопровождающих всадников и слуг с нами едут три амина мзабитов со свитой; они, надо думать, должны разрешить политические осложнения, возможные в области Мзаб. Один из них — рослый и суровый, в боевом снаряжении — гордо восседает на красивом черном коне в богатой серебряной сбруе, покрытом пурпурным бархатом и широким куском пунцовой материи.

Второй, амин Бени Изген, — маленький старичок с приветливым лицом, добрыми глазами, с белой вьющейся бородой и беззубым ртом.

Третий, которого зовут Си Бакир, — человек средних лет, с открытым, веселым лицом, очень маленький, но необычайно тучный — восседает коломом на небольшом муле в чистой попоне, на толстом матрасе из джерби вместо седла. Это добрый и состоятельный буржуа, владелец мавританских бань в Алжире. Его сын учится в Берриане. Он с равной любовью рассказывает о своем сыне, своих банях и знаменитых финиках, растущих у него на родине.

Одет он по-домашнему: на ногах добротные шерстяные носки и туфли из черной кожи. У него нет никакого оружия. Он обороняется только от солнечных лучей, и орудием защиты ему служит соломенная шляпа, самая большая, какую я когда-либо видел, огромная, как зонт от солнца; он снимает или надевает ее в зависимости от того, ясное ли небо или затянуто облаками.

Си Бакир относится ко мне дружески, и мне нравится путешествовать в его обществе. Он знает по-французски столько же, сколько я по-арабски, что делает наше общение очень забавным, но вряд ли полезным.

В восемь часов, когда уже совсем стемнело, мы прибыли на место бивуака и спешили среди палаток племени улед-моктар, где намеревались провести ночь.

Ни продолжительность перехода (мы сделали три лишних лье), ни недостаток воды с самого утра не отвлекли Си Бакира от милой беседы, он досказывал несколько туманную историю появления его состояния и обещал мне рассказать во время следующего перехода о своем сыне. Любезный старик скрепил нашу завязавшуюся дружбу тем, что почтительно придержал мое стремя, ког-

да я слезал с лошади, от чего я тщетно пытался отказать.

На следующий день, в полдень, после небольшого пяти- или шестичасового марша, мы разбили лагерь в Айн-Узера; это был печальный бивуак — самый печальный, без сомнения, на всем пути — на берегу зловещего илистого болота, ощетинившегося зеленым тростником среди беловатых песков. Айн-Узера расположен в низменной части равнины, которая простерлась на пятнадцать лье на север, на девять лье на юг, а на востоке и западе границ ее вообще не было видно. Многочисленные серые грифы и стаи ужасных ворон хозяйничали у источника в момент нашего появления: неподвижные, со сгорбленными спинами птицы выстроились рядами по берегам водоема. Издали я принял их за людей, которые, как и мы, спешили напиться. Понадобился ружейный залп, чтобы рассеять этих хищных бродяг.

В этой суровой стране источник всегда встречаешь как благодеяние, даже когда вода в нем теплая и зловонная, как в тоскливом болоте Айн-Узера. С благодарностью черпаешь воду и чувствуешь себя счастливым, наполнив бурдюки для завтрашнего перехода, заведомо зная, что на пути не будет ни одного источника.

Птицы улетели, и мы остались одни.

Насколько хватало глаз, равнина была пустынна, и наш бивуак скрылся в складках местности. Все же к вечеру подошел маленький караван из пяти верблюдов и трех погонщиков и остановился рядом с нами, на самом берегу источника. Развьюченные верблюды принялись щипать траву, три путника сложили в одну кучу все телли * и улеглись рядом. Они не разожгли огня, вероятно, им нечего было готовить. Наутро мы едва различили этот караван уже в лье от нас на юго-востоке.

В усталости ли было дело или в странном воздействии местности? Не знаю, но весь этот долгий хмурый день мы проспали в палатках. Я был подавлен первым впечатлением от пустынной страны. Вряд ли мое чувство можно сравнить с впечатлением, которое производит прекрасная страна, смертельно пораженная и приговоренная к вечному бесплодию. Это уже был не костистый скелет Богари — ужасный, странный, но по-своему стройный, а нечто огромное, бесформенное, почти бесцветное, ничто, пустота, забытая богом; ускользающие контуры, смутные очертания; позади, впереди, повсюду

земля покрыта бледно-зеленым покрывалом с сероватыми, зеленоватыми или желтоватыми пятнами. С одной стороны возвышалась Себа-Руус, семь голов, едва освещенная тусклым заходящим солнцем, с другой — высокие горы Телля, еще менее четкие в бесцветном тумане, и надо всем небо в тучах, хмурое, с белесыми пятнами, откуда солнце уходило без торжества, как бы с холодной улыбкой. В глубоком безмолвии только легкий ветерок, пришедший с северо-запада и медленно несущий нам грозу, вызывал шорох в зарослях болотного тростника.

Целый час я провел, лежа у источника, наблюдая эту бледную страну и бледное солнце, прислушиваясь к легкому и грустному ветерку. Даже наступление ночи не могло сделать местность более глухой, унылой и заброшенной.

Во время перехода или у источника в тот день удалось подстрелить: гангу — красивую куропатку с красным клювом и лапками, интересной серо-желтой окраски с каштановым ожерельем (мясо у нее жесткое, неприятное на вкус); большую, с перепончатыми лапами птицу перламутрово-серого цвета, с черными головой, клювом и лапками, с длинными и острыми, как у чайки, крыльями; маленького круглого болотного кулика, более серого, чем кулик во Франции; горлицу; двух вяхирей аспидно-лазурного цвета, которых я впредь буду называть голубыми голубями; и, наконец, двух прекрасных уток, более крупных, чем наши, в красивом оперении абрикосового оттенка.

Мы находимся в Айн-Узера, преодолев более половины равнины. Остается восемь или девять лье до следующей стоянки — Гельт-эс-Стель. Веселое утреннее солнце, предстоящий переход к горе и менее голой равнине, оживленной разбросанными кое-где фисташковыми деревьями, даже Айн-Узера, ставший на рассвете менее мрачным, — все это оживило и меня.

Итак, несмотря на длинную и не слишком приятную остановку под палящим солнцем среди зарослей альфы, несмотря на такой же, как вчера, завтрак, почти без воды, я добрался до перевала Себа-Руус, открывавшего путь в долину Гельт-эс-Стель, свежим и почти довольным.

Здесь местность полностью изменила свой вид, кажется, что сбился с дороги и вернулся на Север. Склоны гор со странными очертаниями — вместо скал каменная россыпь — поросли соснами. В долине тоже много сосен

и довольно красивых дубов, и растут они не на плодородной равнине Улед-Наиль, а на пути в пустыню.

Здесь мы встретили небольшой отряд французских солдат, строивших караван-сарай.

За три долгих дня, проведенных в переходах и на стоянках, на этой равнине, предвестнице южных пустынь, мы видели в первый день дуар кочевников, во второй — мальчика, пасущего в зарослях альфы стадо худых, низкорослых верблюдов, и трех путешественников, с которыми уже встречались у источника, в третий — никого.

Здесь, на перевале, я встретил солдата-сапера; он сидел на дереве и обрубал ветви. Я испытал истинное удовольствие, услышав из листвы французское приветствие, и попросил показать мне дорогу к источнику. Сапер ответил, что я найду его, пройдя еще пол-лье по ложине, там, где увижу две большие смоковницы, три палатки, окруженные соломенными шалашами, и каменщиков за работой. Указания были точны. Больше в Гельт-эс-Стеле ничего примечательного отметить не удалось. Я должен добавить, что деревья здесь, хотя их и много, будто камни, скорбны и безжизненны. Зимой в этих местах выпадает много снега, а летом стоит невыносимая жара.

Я чуть не забыл рассказать о гостеприимстве, которое оказал нам господин Ф. де П., молодой офицер инженерных войск, заточенный в Гельт-эс-Стеле со своим небольшим отрядом солдат-строителей. Его миссия тяжела, но он находит утешение в надежде, что через полтора или двести бессонных ночей безмолвие пустыни откроет ему свои тайны, а скука отступит пред его терпением.

За Гельт-эс-Стелем снова попадаешь на равнину и с трудом различаешь на горизонте, как при выезде из Богари, цепь небольших гор, тянующихся с востока на запад и сливающихся с голубизной неба. Отбросим — это не уменьшит интереса к путешествию — круглые подушки гор Гельт-эс-Стеля, и от Богара до Соляных скал останется однообразное пространство в тридцать четыре — тридцать пять лье, которое сохраняет, несмотря на различие почв, определенную окраску. Самые близкие к нам равнины желтоватого цвета, уходящие вдаль, имеют серо-фиолетовые тона, и все завершает полоса пепельного оттенка, такая тонкая, что на картине пришлось бы передать ее одной чертой, — именно она определяет глубину пейзажа, и за ней угадываются ог-

ромные пространства. Местность же, наоборот, очень разнообразна, там встречаются то болота, то пески, как на подступах к Соляным скалам, то она покрыта густыми зарослями альфы или полынью, морским портулаком (ктафом) и пахучим розмарином, реже — колючими кустарниками, а иногда дикими фисташковыми деревьями.

Фисташковое дерево — дар провидения в этой стране без теней. Оно густое, ветвистое, ветви его растут вширь, а не вверх и образуют настоящий зонт от солнца до пятидесяти-шестидесяти футов в диаметре. Оно дает небольшие красные плоды, собранные в грозди, сочные и кислотоватые; ими, за неимением лучшего, утоляют жажду. Каждый раз, когда караван проходит мимо одного из этих красивых деревьев с темной лоснящейся листвой, все собираются вокруг него, верховые погонщики становятся коленями на спины верблюдов, чтобы достать до ветвей, рвут плоды и бросают их горстями товарищам; верблюды, вытянув шеи, тоже насыщаются плодами и листьями. Белые полуденные лучи наталкиваются на круглую шапку кроны. Снизу все кажется черным. Голубые блики пронизывают кое-где сеть ветвей. Вокруг пылает выжженная равнина. Сероватая пустыня скрылась под рыжими брюхами сгрудившихся дромадеров — короткая передышка. Затем по резкому свистку башамара животные поднимаются, и караван возобновляет свой путь под палящим солнцем. Альфа — полезное растение, оно служит кормом для лошадей; на востоке из нее плетут разные изделия, а в Сахаре — циновки, шляпы, сосуды, горшки для молока и воды, большие блюда для фруктов и прочее.

В зарослях альфы прячутся зайцы, кролики, ганги. Но я не знаю растительности более наводящей тоску на путешественника, а она, к сожалению, завладевает равниной на многие лье. Представь себе невзрачные пучки травы, растущие там и сям на бугристой земле, видом и цветом напоминающие низкорослый тростник, волнующиеся, словно волосы, при малейшем дуновении ветра, который в альфе постоянен. Издали заросли альфы кажутся огромной нивой, поблекшей, не успев налиться золотом. На близком же расстоянии видишь, что они образуют лабиринт, бесконечные меандры, по которым можно продвигаться лишь зигзагами, спотыкаясь на каждом шагу. Усталость от ходьбы усиливается обескураживающим видом однообразной зеленой,

как болото, степи перед глазами, лишенной каких бы то ни было ориентиров, так что приходится наваливать кучи камней, чтобы обозначать дорогу. В зарослях альфы никогда не бывает воды, и ничто другое не может расти на этой сероватой песчаной почве.

Я предпочитаю почвы каменистые, сухие, жесткие, солоноватые, поросшие розмарином и полынью,— там чувствуешь себя хорошо, идти легко, цвет растительности приятен, хотя она совсем бесплодна, и можно увидеть целый мир копошащихся под ногами, ползающих, убегающих и извивающихся друзей солнца, проводящих долгие сиесты на теплом песке. Бесчисленное множество ящериц. Они похожи на наших самых маленьких степных ящериц и двигаются с ловкостью, которая, кажется, удвоилась от радости жизни под ярким солнцем. Крупные пресмыкающиеся встречаются редко. У них лоснящаяся кожа, желтое брюшко, спина в крапинку, изящная вытянутая головка, как у ужа. Иногда растянувшаяся, так что издалека ее можно принять за корявый сук, или свернувшаяся вокруг стебля полыни гадюка поднимает головку при вашем приближении и, не теряя вас из виду, с достоинством уползает в свою нору. Крысы величиной с небольшого кролика, ловкие, как ящерицы, лишь показываются и тут же исчезают в ближайшей норе, будто у них нет времени выбрать убежище, а возможно, они везде чувствуют себя как дома. Я едва успевал разглядеть маленькие белые крапинки на серой шкуре, когда они убегали от нас. Но среди этого бессловесного народца, уродливого и ядовитого, на этой бледной земле, среди серой полыни и портулака летают и поют жаворонки, как во Франции. Та же величина, то же оперение, те же песни. Этот вид хохлатых жаворонков не объединяется в стаи, а живет парами. У нас их видишь печально прохаживающимися по заброшенным полям, а чаще на обочинах больших дорог, вблизи камнедробильщиков и пастухов. Они поют в самое тихое время суток, когда почти все птицы замолкают, вечером, незадолго до захода солнца. С вершин облетевших миндальных деревьев отвечают им другие осенние певцы — малиновки. Эти два голоса со странной нежностью передают октябрьскую грусть. Один из голосов более мелодичен и похож на песнь-плач, другой — глубокий и страстный.

Я спрашиваю тебя, что делают здесь, в Сахаре, сладкоголосые птицы, воскрешающие во мне все то, что

я люблю на родине? Для кого поют они здесь, в соседстве со страусами, с угрюмой компанией антилоп, бубалов, скорпионов и рогатых гадюк? Кто знает? Возможно, без этих птиц некому было бы приветствовать восходящее солнце. *Аллах акбар!* — «Аллах — велик, и нет выше его».

В утренний час, когда меня охватили воспоминания, эти и другие, о стране, которую я увижу вновь, «если будет угодно богу», мы добрались почти до середины равнины, и в поле нашего зрения возникли дуар и огромные стада, принадлежащие племени улед-диа, входящему в более крупное племя улед-наиль. Дуар улед-диа — первый, встреченный нами в Сахаре после ночной стоянки в лагере племени улед-моктар.

В это время года кочевники начинают перебираться на летние пастбища и равнина пустеет.

Мы направились прямо к палаткам. Было жарко, а нам предстояло еще пройти огромное пространство желтого песка, сверкающего между горой и нами, — тяжелый переход в полдень под безоблачным небом.

Встречает нас каид. Мы разнуздываем лошадей и сразу же усаживаемся передохнуть в тени. Нас угощают финиками и верблюжьим молоком. Мы обходимся без воды, которая здесь еще бóльшая редкость и противнее, чем в других местах.

Дуар, едва ли не самый меньший из поселений кочевников, насчитывал не более пятнадцати-двадцати палаток, но сохранил суровый вид настоящих сахарских стойбищ; непосвященные могли в миниатюре увидеть жизнь кочевников в часы отдыха.

Красные с черными полосами палатки живописно поддерживаются множеством жердей, укрепленных переплетением растяжек и колышками; внутри навалена вперемежку кухонная утварь и хозяйственные вещи, военное снаряжение хозяина палатки, каменные жернова для размола зерна, тяжелые ступки для растирания перца, деревянные блюда (*сахфа*) для замешивания кускуса, решето для его процеживания, сосуды с отверстиями для приготовления кускуса, миски, сплетенные из альфы, дорожные мешки, или телли, вьючные седла верблюдов, ковры, ткацкие станки, широкие железные скребницы для расчесывания немытой верблюжьей шерсти и прочее. Среди беспорядочно разбросанных, грязных и потемневших вещей выделяются один-два квадратных сундука яркого цвета, с медными замочными

скважинами, обитые по углам позолоченными гвоздями: в них хранятся женские украшения — самое ценное в хозяйстве. Вокруг истоптанная, избитая копытами земля, в которой не осталось даже корней травы, грязная, покрытая всяческим мусором, отбросами и скелетами животных, с черными подпалинами на месте костров. Для приготовления пищи служат очаги, сложенные из трех камней в вырытой в земле яме. Кругом навалены кучи сухого кустарника, и на трех составленных шалашом палках висят черные бурдюки с длинными клочьями шерсти. Вокруг бескрайняя равнина со свободно пасущимися верблюдами, которые вечером собираются по звуку рожка и укладываются спать внутри дуара. Вот что представляет собой кочевое жилье, где кочевник Сахары проводит половину жизни. Мужчина ничего не делает, ибо «работать постыдно». Женщина поддерживает порядок в палатке, за всем присматривает, пока бдительный пес, терпеливый, суровый и подозрительный, как и его хозяин, несет дозор. Вторая половина жизни проходит в пути. В другой раз я расскажу тебе о племени в походе — увлекательном зрелище, которое воспроизводит здесь, на наших глазах, в двух шагах от Европы, переселение Израиля.

Но пусть эти последние слова, написанные под настроение, не обязывают меня к большему, чем я хотел сказать. Они верны лишь наполовину. Я затрагиваю один из вопросов искусства — вопрос, по-моему не имеющий решения, но давно поставленный, обсуждающийся и пока остающийся без ответа. Итак, раз уж я решился рассмотреть вопрос о местном колорите применительно к определенному порядку вещей, то хочу объяснить то, что может вызвать споры по поводу сравнения, которым я воспользовался. Вот уже второй раз я обращаюсь к Библии в этих заметках; ты можешь подумать, что я путешествую в настоящей стране Ханаана, только не столь изобильной, и на каждом шагу встречаю то богача Лавана, то великодушного Вооза.

Действительно, писали, более того, пытались доказать экспериментально, ты знаешь об этих попытках, что живопись старых мастеров искажила Библию, что священная книга погибла в их руках и что если и возможно хоть частично воскресить мертвую ныне святыню, то лишь поехав на Восток и понаблюдав там воочию картины библейской древности.

Это мнение опирается на аргумент верный сам по

себе, что арабы, почти полностью сохранившие обычаи древних народов, должны также лучше, чем кто бы то ни было, сохранить не только нравы, но и костюмы, тем более что их костюм обладает двумя преимуществами: во-первых, он так же красив, как греческий, и, во-вторых, имеет более характерный местный колорит. При этом обычно добавляют, что Рахиль и Лия, дочери пастыря Лавана, одевались не так, как Антигона, дочь царя Эдипа, что мы вообразаем их в совершенно иной среде, в ином виде и совсем под другим солнцем; тем не менее одно бесспорно: библейские патриархи должны были жить, как ныне живут арабы: пасти, как они, своих овец, укрываться в таких же шатрах из шерстяных тканей, перевозить свое имущество на таких же верблюдах и так далее.

Вот мое мнение по этому вопросу: гении всегда правы, талантливые люди часто ошибаются.

Рядить Библию в театральные костюмы — значит уничтожить ее, подобно тому как нарядить полубога — значит превратить его в человека.

Привязать к ней реальные пейзажи — значит изменить ее дух, превратить книгу, предшествующую всей истории, в учебник истории. Так как всякая идея должна так или иначе получить облачение, великие мастера поняли, что приблизиться к истине возможно лишь упростив форму, то есть совсем отказавшись от местного колорита. *Et ego in Arcadia...* И вот я в Аркадии...

Греки ли это? Аркадия ли? Да и нет: нет, что касается драмы; да — в смысле вечной трагедии человеческой жизни.

Итак, правда в картинах, написанных о нашем происхождении, возможна лишь в самых общих чертах; и, безусловно, следует отказаться от иллюстрирования Библии или делать это так, как Рафаэль и Пуссен.

Заметь, что мое мнение укрепляется, чем дольше я путешествую по стране, которая, казалось, должна была убедить меня совсем в обратном.

Но неужели нельзя ничему научиться у народа, который, признаю, заставляет часто и произвольно вспоминать Библию? Нет ли в нем того, что приводит в движение душу и уносит мысль к картинам прошлых столетий?

Да, этот народ обладает истинным величием. Величие принадлежит только ему, ведь, единственный среди цивилизованных народов, он сохраняет простоту своей жизни, своих нравов и кочевий. Он прекрасен вечной красотой

сменяющихся времен года и местностью, окружающей его. Он прекрасен более всего тем, что, не представляя в наготе, почти совсем освободился от излишних оболочек, как это и понимали мастера прошлого в простоте их великой души.

Он единственный обладает чудесной привилегией сохранять как аромат далеких времен наследие того нечто, что называют библейским. Но это проявляется лишь в самых неприметных и скромных сторонах его жизни. Он более всего прекрасен тем, что, не оставаясь голым, избавился от рожденных цивилизацией мишурных оболочек, скрывающих древнее библейское наследство — религиозное смирение и в то же время величие духа,— и сохраняет его в первоизданном виде. Именно поэтому он чаще, чем другие народы, свободно и легко разрывает сковывающую оболочку арабского костюма и поднимается до эпических подвигов большого общечеловеческого содержания. При виде полуобнаженного пастуха в моем воображении возникает Иаков. И наоборот, я утверждаю, что в бурнуса Сахары или машла Сирии можно представить только бедуинов.

Если мне впредь придется воскликнуть: *О Израиль!* — то, приняв мои пояснения, ты поймешь, о чем идет речь, и не станешь меня перебивать. Теперь я продолжу свой путь.

Я без сожаления умолчал бы о бивуаке у Соляной скалы, хотя вода, взятая за солончаками, хороша, дров довольно и удобна стоянка на берегу реки Уэд-Джельфа под очень красивым тамариском.

И все же несколько слов о скале. Это двуглавая гора, образованная нагромождением странных камней всевозможных оттенков серого цвета — от сиренево-серого до беловато-серого. С нее сбегает бесчисленные ручейки молочно-белого цвета, которые сливаются в два канала, заполненные до краев солью, необыкновенно похожей на гашеную известь. Кажется, что гору свело конвульсиями, так она вздыблена, изрезана, искорежена. Это не просто красиво, а великолепно. Три огромных орла парят на уровне середины этой горы и кажутся не крупнее ворон.

Уже почти наступила ночь, когда наконец мы ступили на голое плато Джельфы. Дом халифа — большое сооружение, резко возвышающееся над окружающими его низкими стенами,— смутно виднелся в конце поднимающейся-

ся равнины сероватой массой, несколько более светлой, чем совсем темная земля, но более темной, чем небо, еще освещенное отблесками уходящего дня. Слева, очень далеко в складках долины, где сверкали два маленьких красных огонька и откуда еле доносился лай собак, угадывался дуар, поближе, наверное, с болота, лежавшего между дуаром и плато, доносилось кваканье многочисленных лягушек. Остальная часть плоского горизонта, над которым господствовал одинокий бордж Си Шерифа, мирно отдыхала в прозрачной коричневой тени. Яркие белые звезды зажигались по всему небосводу; воздух был свеж и влажен, обильная роса смягчила землю под копытами лошадей. Я ориентировался на белеющую дорогу, ведущую к дому; всадники на несколько минут опередили меня, а я оставил позади своего слугу вместе с караваном.

Итак, я один приблизился к воротам борджа и въехал во двор, не зная, куда направиться. С обеих сторон от монументальных, широко распахнутых ворот я заметил людей, примостившихся на ночлег у стен возле своих лошадей; показавшийся мне очень просторным двор был пуст; моя лошадь, почуяв близость конюшни, заржала. В глубине двора виднелось крыльцо с несколькими ступенями, ведущими на высокую галерею, поддерживаемую белыми столбами; из приоткрытой двери в правом углу галереи лился свет, а из полуосвещенного окна первого этажа, выходящего во двор, слышались голоса.

Я спешил к крыльцу и, бросив поводья кому-то, вынырнувшему из темноты, пошел на свет и поднялся в дом. Я успел заметить, что человек, которому я бросил поводья, не спешил их подхватить, и различил причудливую маленькую фигурку в заостренном кверху колпаке. Вскоре одно вечернее происшествие открыло мне ошибку, которую я совершил, приняв самого святого человека борджа за слугу.

Мы ужинали в большой чистой белой комнате, где ничего не было, кроме камина из черного мрамора, богатых южных ковров, закрывавших окна, и круглого стола, за которым сидели гости. Блюда были арабскими, но стол, весело освещенный свечами, был накрыт по-французски; на красивой белой скатерти были безукоризненно расставлены приборы, разложено столовое серебро, стояли четыре графина со свежим молоком и четыре — с лимонадом. Халиф Си Шериф, крупный, толстый человек с редкой бородой, с невозмутимым лицом и глазами навы-

кате, небрежно одетый в простой белый халат без бурнуса, как мусульманский отшельник, сидел во главе стола и наливал себе обеими руками сразу в один стакан лимонад и молоко. Его брат Белькасем, изнеженный молодой человек с усталым лицом, не садился за стол, а отдавал распоряжения. Комната была полна арабских слуг, снующих туда-сюда, но руководил всеми худой тунисец в белом тюрбане, с живыми глазами, тонко очерченным ртом, «высокомерным» носом, бледный как смерть, легкий, ловкий, расторопный, с манерами белки и лихорадочно-возбужденным видом — необыкновенный и драгоценный слуга, единственный, видимо, в доме халифа, кто умел обходиться с фарфором и прислуживать по-французски.

Итак, приехав в Джельфу, столицу племени уледнаиль, я увидел большой дом, затерянный в пустыне, более чем в пятидесяти лье от Богара, почти в тридцати двух лье от Лагуата; столовую, переполненную запахами мяса и наводненную людьми, разносящими блюда; стол, накрытый по-европейски, за которым говорят по-французски; важную особу в домашнем платье, серьезно занятую составлением сладкого шербета. Я был в центре огромного торгового племени, богатого и развращенного, чье название звучало на всех дорогах Сахары, символизируя для меня все достопримечательности пустыни.

Местность, в которой я теперь находился, граничит на северо-востоке с Бусаадой, на юге — с ксурами Лагуата и с Уэд-Джеби, а на западе доходит почти до Джебель-Амура. Прислуживающие за столом арабы, вытиравшие тарелки подолами хаиков вместо салфеток, возили шерсть на базары Юга и могли мне рассказать все о Северной Сахаре от Шарефа до Туггурта, от Джельфы до Мзаба, до Метлили, до Уарглы.

И, наконец, передо мной в лице халифа предстал один из самых значительных князей — по своему состоянию, по рождению, по высокому политическому положению и по славному военному прошлому. Господин Н. пытался научить Си Шерифа пользоваться вилок и ножом. Халиф охотно предавался этому развлечению, как детской игре, добродушно проявляя неловкость, которая казалась мне нарочитой, но нисколько не подрывала его достоинства.

К середине обеда появилось новое лицо; я тотчас же узнал его по головному убору и необычному внешнему виду. У него было маленькое, съезжившееся тельце, гряз-

ное, уродливое, ужасное. Он двигался так, словно не имел ног, хаик, как шлем, скрывал лицо, а шляпа без полей напоминала огромный кулек. Насколько я мог заметить, на его груди болталось множество кожаных мешочков, а на животе — полдюжины больших тростниковых флейт, которые, раскачиваясь, постукивали друг о друга; он опирался на сучковатую палку, волочащийся по земле бурнус скрывал его ноги. Никто, кроме меня, казалось, не обратил на него внимания. Он подошел к столу и через плечо Си Шерифа протянул руку к его тарелке. Я с беспокойством посмотрел на улыбающегося господина Н.; Си Шериф даже не повернулся, а только перестал есть. Белькасем заметил мое удивление и сказал почтительно и серьезно: «Дервиш, мусульманский монах, безумный, а значит, святой». Мне не требовалось более подробного объяснения, ибо я знал, какое почтение оказывается сумасшедшим в стране арабов, и поэтому старался не выказывать недовольства той бесцеремонностью, с которой тот держал себя во время обеда. Он бродил вокруг нас, бормоча какие-то бессмысленные слова, упорно требуя табаку. Ему дали табаку, но он требовал его вновь и вновь, подходя к каждому с протянутой черной рукой, с неистовством повторяя слово «табак» хриплым, прерывистым голосом, похожим на лай. Его мягко отстраняли, успокаивали, делая знаки замолчать; у всегда невозмутимого Си Шерифа было суровое выражение лица, и он явно следил, чтобы ни один слуга не обидел его. Все же, когда тот стал слишком навязчив, тунисец взял его за руку и осторожно повлек к двери. Бедный безумец, уходя, кричал:

— Почему, Мохаммед? Почему, Мохаммед?

И еще долго из-под галереи доносилось его бормотание. Си Шериф, без сомнения, был очень раздосадован тем, что мы оказались свидетелями этой сцены, но в отличие от него не усмотрели глубокого смысла. Необходимо все же отметить, что никто из нас не забылся.

У арабов напрочь отсутствует ложный стыд, что позволяет им избегать неловкости в ситуациях, которые могут показаться европейцу смешными, поэтому я ничуть не удивился, но почувствовал ревность к их превосходству над нами даже в области суеверий. Я вспомнил встречу с одним из вождей племени Восточной Сахары, возвращавшимся домой в сопровождении блестящих всадников, везя дервиша на крупе своей лошади. Вождь, изящный, необыкновенно красивый молодой человек, был одет

почти с женской изысканностью, свойственной сахарцам из Константины. Дервиш, тщедушный старец с отпечатком безумия на лице, ехал в простом халате цвета бычьей крови, надетом прямо на голое тело, и покачивал своей уродливой непокрытой головой с пучком длинных седеющих волос в такт движению лошади. Он обхватил молодого человека поперек тела и, казалось, сам худыми пятками управлял животным, обремененным двойной ношей. Я поздоровался с юным вождем, он мне ответил и пожелал благословения неба. Старик ничего не сказал и пустил лошадь рысью.

У дервиша Джельфы нет прошлого. Я не знаю даже его имени. Мне рассказали, что часть года он проводит у Си Шерифа то в змале, то в бордже. Он не доставляет особых хлопот, питается без посторонней помощи тем, что находит под рукой. У него нет прибежища, и ни днем, ни ночью никто точно не знает, где он. Иногда ночами дервиш бродит то по двору, то по саду, то по деревне, когда все двери уже закрыты. Его бурнус и лядунки набиты подобранными тряпками и объедками. Порой среди ночи можно услышать, как он пробует одну за другой свои флейты. Ни холод, ни солнце — ничто не властно над неприхотливым телом этого человека. Лицо, иссеченное морщинами, уже не может постареть; возраст истощает старца незаметно, так же как дряхлый ствол, давно лишенный листвы; смерть подбирается к нему с ног, и все же он всегда в пути, изредка присаживается, но почти никогда не ложится. Однажды он упадет и больше не поднимется, тогда его душа присоединится к покинувшему его рассудку.

Джельфа, того же дня, пять часов

Сегодня выдался необыкновенный день, доставивший нам истинное наслаждение. Я провел его в бивуаке, то рисуя, то делая записи, растянувшись под полотняным навесом. Я люблю, чтобы вход палатки был с южной стороны. Даже на привале я стараюсь не терять из вида этот волшебный край земли, покрытый яркими бликами света. Одни мои товарищи разошлись, другие еще не пробудились после сиесты. День погружен в состояние глубокого покоя, и, оставшись один, я наслаждаюсь легким теплым ветерком, дующим с юго-востока. С того места, где я лежу, взору открывается почти половина горизонта — от дома Си Шерифа, откуда не доносится ни звука, до выцветшего участка земли, на котором

вырисовывается группа коричневых верблюдов. Предомной весь наш лагерь, освещенный солнцем: кони, багаж и палатки; в тени палаток отдыхает несколько человек, они сидят кружком, но не разговаривают. Случается, вяхирь пролетает надо мной, я вижу его тень, скользящую по гладкой земле, и слышу хлопанье крыльев, так глубока тишина, царящая вокруг. В тишине заключено неувловимое очарование этой одинокой и пустынной страны. Она придает душе равновесие, незнакомое людям, живущим в постоянной суете, не угнетает, а располагает к легким мыслям. Полагают, что тишина есть отсутствие шума, равно как темнота — отсутствие света, но это — заблуждение. Если возможно сравнить слуховые ощущения со зрительными, то тишина, охватывающая огромные пространства, скорее напоминает прозрачность воздуха, которая делает восприятие более четким, открывает нам неизведанный мир едва различимых шумов и дает простор невыразимой радости, охватывающей нас. Всем своим существом я проникаюсь счастьем кочевой жизни; у меня всего в достатке, хотя вся моя дорожная кладь помещается в двух сундуках, привязанных на спине верблюда. Лошадь моя улеглась рядом с хозяином на голой земле, готовая по моему желанию увезти меня хоть на край света. Мое жильё обеспечивает мне тень днем, убежище ночью, я вожу его с собой и уже теперь готов думать о нем с сожалением.

Температура кажется мне еще относительно низкой, но, будь она даже десятью градусами выше, я с охотой перенесу жару, если воздух будет оставаться сухим, легким, столь же пригодным для дыхания, как в этой горной стране. До настоящего времени термометр не показывал выше 30—31°. Сегодня в палатке в два часа дня был отмечен максимум 32° в тени. Необыкновенно яркий, но рассеянный свет не вызывает у меня ни раздражения, ни усталости. Он омывает вас, как воздушный океан, неощутимыми потоками. Он обволакивает, но не ослепляет. Сияние неба смягчается нежными голубыми тонами, цвет огромных плато, покрытых уже поблекшей травой, необычайно мягок, сама тень растоплена отблесками света — глаза не испытывают никаких трудностей, лишь разум позволяет осознать, насколько интенсивен этот свет.

Может быть, ты не знаешь, что с момента вступления в Сахару мы все время шли вверх и теперь находимся на высоте восьмисот метров над уровнем моря. Плато под-

нимается совершенно незаметно и определяет сток вод — на восток и на запад, хотя повсюду, кроме этих мест, воды текут с юга на север и с севера на юг. Климат Телля распространяется по этой возвышенности через всю Сахару почти независимо от географической широты, вследствие чего зима в Константине мягче, чем в Алжире, хотя они находятся на одной широте. Подъем продолжается: Лагуат находится на высоте шестисот метров, Бискра — семидесяти трех.

Дальше на восток Сахара опускается ниже уровня моря, и между Лагуатом и Бискрой простирается бассейн реки Уэд-Джеджи, текущей с Джебель-Амура. Она орошает Зибан и теряется в большом Шотте Туниса.

Надеюсь, этого обзора достаточно, чтобы объяснить тебе противоречия здешнего климата, о котором трудно судить с первого взгляда. Может быть, ты поймешь теперь, почему на широте Эль-Кантары мы могли жечь костры из сосновых и дубовых сучьев, нарубленных в ущелье Соляной скалы, на берегу Уэд-Джельфы.

С нынешнего дня исчезла не только северная, но и вообще какая бы то ни было растительность. Она угасает на вершинах каменистых холмов, оставшихся позади, и, надеюсь, окончательно, ведь именно в наготе предстает истинное лицо Сахары. Я даже пожелал, чтобы во всей стране, которую мне предстоит увидеть, не встретилось больше ни деревца. Местность, где мы разбили лагерь, привлекает меня своей бесплодностью. Огромное то зябкое, то выжженное пространство лишь чуть прикрыто травой. Короткая, редкая трава — какой-то злак, проросший после зимы, — увядая, становится серой. Она образует подшерсток с отдельными, гнущимися на ветру стебельками. Среди былинки свет ведет свою увлекательную игру, видно дрожание теплого воздуха, как над печкой. Насколько позволяет взгляд, не видно ни одного пучка травы выше лошадиного копыта. Земля твердая, словно пол, трескается, но не рассыпается. Наши верблюды вытянули свои длинные шеи в сторону показавшегося на юге, на довольно еще большом расстоянии, зеленого уголка и уныло бредут между двумя бесплодными холмами. Эта радостная надежда будет поддерживать их до завтра, ведь нас опять ожидают заросли альфы. Я четко различаю серый треугольник на зеленом фоне — одну из тех каменных пирамид, служащих маяками в степи, когда на горизонте нет ориентира, а на дороге не встретишь следов караванов.

Пятно альфы едва заметно на фоне пейзажа, который я вряд ли смогу нарисовать, но картина, безусловно, должна быть светлой, вялой и блеклой. Восхитительная и неуловимая природа способна одновременно детализировать и обобщать. Мы же в лучшем случае можем резюмировать и счастливы, когда нам это удастся! Ограниченный ум предпочитает частности. Лишь мастера творят в согласии с природой, они так долго ее наблюдали, что могут сделать понятной. Они познали благодаря ей секрет простоты — ключа к разгадке великих тайн. Природа показала им, что самое главное в искусстве — выражать, а в достижении этой цели лучшие средства — самые простые. Она дала понять, что мысль быстра и не нуждается в пышных одеяниях. Не удивляйся сказанному. Отныне я преклоняю колени пред великими мастерами и надеюсь, что с каждым днем становлюсь чуть более достойным говорить о них. Воспоминания о них сопровождают меня в пути. Именно в Джельфе, в палатке среди арабов племени улед-наиль, наблюдая на фоне исторического простодушия величественных людей, облаченных в черное и белое, я как никогда ясно понял уроки мастеров. Надо ли мне было уезжать так далеко от Лувра в поисках этого откровения — видеть вещи в простоте, — чтобы познать их истинную и великую форму?

Джельфа, того же дня, семь часов

Весь день тонкие нити испарений вились над горизонтом, подобно нитям белого шелка. К вечеру они сначала рассеялись, а потом образовали маленькое золотистое облако, медленно и одиноко дрейфующее в сторону заходящего солнца по лазурной глади. Словно наполненный ветром парус, тающий вдали и опадающий при входе в порт, оно уменьшается по мере приближения к светилу и вскоре совсем исчезнет в его сиянии. Жара спадает, свет смягчается: он медленно отступает перед надвигающейся ночью, которой не предшествовала даже легкая тень. До последней минуты дня Сахара ярко освещена. Ночь наступает внезапно, как потеря сознания.

Семь часов. Бивуак очнулся от дневного оцепенения. Здесь по-прежнему царит спокойное движение людей, разжигающих костры и готовящих вечерний кофе. Многие молятся, стоя на коленях лицом к востоку. К ужину все собираются и усаживаются на коврах; наши кони, едва им задали ячменя, весело стряхнули с себя груз солнца, который покорно несли двенадцать часов.

Лишь дом Си Шерифа остается безмолвным. Без голубоватого дымка, поднимающегося в углу крыши, он кажется необитаемым. Этот печальный блокгауз — цитадель нашего халифа — построен только в ноябре прошлого года.

Надпись, высеченная на камне над входной дверью, гласит, что дом был выстроен за пятьдесят дней под руководством генерала Рандона солдатами экспедиционного корпуса генерала Юсуфа. Другие надписи — многие из них могут уже служить эпитафиями — представляют собой перечни подразделений с именами старших офицеров, принимавших участие в строительстве. Имя капитана Бессьера, геройски погибшего во время штурма 4 декабря, украшает пристройку в правом углу оборонительной стены.

Это жилище является одновременно резиденцией халифа, караван-сараям и крепостью. Мощный двор просторен: здесь мог бы укрыться в случае необходимости небольшой караван. Он представляет собой двойной ряд навесов, под которыми легко разместится сотня лошадей. Позади разбит едва наметившийся сад. В центре вытянутого четырехугольного двора, отделенного от сада дорогой, возвышается трехэтажное здание, снабженное, к сожалению, со всех четырех сторон только французскими окнами. Оно имеет свой скрытый внутренний двор, куда вход запрещен, но мне все-таки удалось туда заглянуть.

Первый этаж предоставлен в распоряжение путешественников. Личные апартаменты халифа, комнаты его кузена и его младшего брата Белькасема находятся на втором и третьем этажах; там же, но не знаю, в какой части строения, живут их жены со служанками.

Часть окон защищена решетками, но нет ни одного, в котором не были бы разбиты одно или несколько стекол, что несколько не удивляет, ибо известно наивное отношение арабов к ним. Большинство арабов никогда не видели стекол, поэтому, не видя препятствия, они стараются просунуть руку сквозь них. Си Шериф говорит только об ущербе, причиненном ветром, делает вид, что очень дорожит этими стеклами, на самом же деле, как человек, привыкший к жизни в палатке, он нимало не обеспокоен и с удовольствием дал бы развалиться всему борджу, если бы небольшой гарнизон солдат-строителей, размещенный в одной из пристроек, не имел своей задачей поддержание сооружений в порядке.

По вкусу ли Си Шерифу резиденция, которую старались сделать пригодной для жизни? Привыкнет ли он чувствовать себя здесь так же хорошо, как в своем племени? Такое впечатление, что он рассматривает пребывание в этом доме как политическую необходимость, приезжая сюда лишь в те часы, когда его вызывают, или для приема гостей.

У него есть независимо от официальной резиденции настоящее жилище на соседнем с Соляной скалой пастбище, где пасутся огромные стада овец и, как мне сказали, шесть тысяч верблюдов. Он разрывается между шатром и каменным домом и берет в бордж только лошадей, военную свиту и жену. Я говорю «жену», потому что речь идет об одной только госпоже Си Шериф, чья история, как великое множество историй в этой стране, довольно романтична. Впрочем, она закончилась вполне счастливо, хотя пролог был весьма мрачен. Будет ли нескромностью передать ее? Эта женщина — испанка. Уже ушедший из жизни человек, скоропостижная смерть которого так и не была объяснена, привез ее с младшей сестрой в дейру Абд аль-Кадира за несколько лет до того, как эмир подчинился Франции. Обе женщины были очень красивы. Абд аль-Кадир выдал старшую за Си Шерифа, в то время своего халифа, вскоре ставшего нашим, а младшую — за брата Си Шерифа. Обе после заключения союза с французами покорились новой судьбе своих мужей и никогда не пытались расторгнуть брак, к которому были принуждены. Они переняли не только манеру одеваться, но и арабский язык, забыв свой родной. Жена Си Шерифа живет в настоящее время в бордже.

Сегодня утром я видел их сына; ему можно дать самое большее четыре года. Он был на уроке в основанной и оплачиваемой Си Шерифом общественной начальной школе, которой управляет талеб *. Босоногий ребенок был одет как самые бедные его товарищи, в белую, довольно несвежую рубаху. Господин Н., добрый друг малыша, привез ему в подарок из Алжира французский шейный платок, деревянную саблю и рубашку из тонкой шерсти. Что касается сестры мадам Си Шериф, то она никогда не бывает в Джельфе. Она предпочитает жить в палатке и никому не уступает забот о кочевом хозяйстве и управления стадами. У Белькасема две жены, которые слывут красавицами, — вот все, что я знаю о его домашних делах. Вторую жену он взял всего несколько дней назад. И мне показалось во время вчерашнего обеда, что

я уловил смысл шуток о необычайной бледности и худобе новобрачного, причина которых — недавняя свадьба. Сам я не видел гарема, верхних покоев, скрытых за решетками. Я только встретил двух довольно некрасивых, но хорошо сложенных негритянок, когда они набирали воду в колодце в саду; пока бедный сумасшедший расхаживал по лишенным зелени аллеям, они дразнили его, корчась от смеха и сверкая зубами.

Бордж — я называю его так, чтобы приукрасить, — несмотря на его угрюмый вид среди пустыни и на то, что своим новым фасадом и крышей из желтой черепицы он неприятно напоминает казарму, заставляет все же думать о роскошной жизни и даже о феодальных нравах. Окованные железом ворота открыты весь день. В конюшнях стоит немало лошадей. Слышны их ржание и стук копыт; они приходят в волнение всякий раз, как новый всадник въезжает во двор. Каждый новый прибывший едет прямо к крыльцу и спешивается у него. Халиф, сидящий на скамье в тени галереи и рассеянно перебирающий четки, позволяет обнять себя всем прибывшим и дает им аудиенцию. Все торопятся заключить его в объятия, поцеловать в большую голову, обмотанную белой тканью. Обычно с ним говорят стоя, но приближенные присаживаются рядом, и часто люди в лохмотьях, самые бедные в племени, свободно беседуют с князем, будто они его фавориты. Высокое общественное положение имеет у арабов огромное значение, но оно не исключает своеобразной непринужденности общения хозяина и слуги. Что касается дистанции, устанавливаемой фраком, то ее не существует. Я видел удивительные человеческие типы с глазами льва на лицах мумий. Аудиенция окончена, гость уходит, волоча свои длинные шпоры, берет поводья измученной лошади, которая с пеной на губах, с кровоточащими боками ожидает хозяина, не сходя с места, словно деревянная лошадка. Доброе и отважное животное. Едва человек кладет ему руку на шею, чтобы потрепать гриву, глаза разгораются, и дрожь пробегает по всему телу. Всаднику не нужно прищипывать коня. Конь наклоняет голову, заставляя звенеть медь и серебро сбруи, затем отбрасывает шею назад, грациозно изгибается — и вот уже летит, унося всадника, словно Цезаря-победителя, отлитого в бронзе.

Впрочем, бордж не всегда спокоен и наполнен, как ныне, мирными посетителями. Как в средневековых замках, так и здесь бывают свои тревоги и свои шумные

торжества. Время от времени отправляется на охоту молодой Белькасем; брат не разрешает ему участвовать в военных походах. Он выезжает в полном снаряжении: с соколом, вцепившимся в кожаную перчатку; со сворой борзых, с сокольничими в праздничных нарядах, со своими странными пажами. Если же появляется враг или надо наказать какое-то беспокойное племя, то сам Си Шериф выезжает из борджа в боевом убранстве. У ворот собирается отряд арабской конницы. Две или три сотни всадников теснятся вокруг трехцветного знамени — красно-зелено-желтого; все в боевом снаряжении — хаик перекинут через плечо, ружье в руке, — они ждут появления халифа. Халиф выходит в сапогах со шпорами; на нем лишь тяжелый патронташ, из-за которого торчат блестящие рукоятки длинных пистолетов. Рядом с ним двое черных слуг несут: один — прямую саблю в украшенных резьбой ножнах и длинное ружье, отделанное перламутром, другой — соломенную шляпу, отороченную шелком. Си Шериф не спеша садится на большую белую кобылу, круп и ноги которой окрашены в розовый цвет, красивым движением отбрасывает назад свой бурнус и освобождает правую руку, чтобы ею действовать при необходимости и править лошадью. Наконец он подает сигнал и увлекает за собой отряд, выезжая вперед со знаменосцем, оруженосцем и самыми верными людьми, и, если опасность близка, галопом направляется туда, где возникла угроза.

Ты видишь, что бордж может вызвать в памяти тот исторический уклад, который давно исчез из нашей жизни. Я же предпочитаю нравы палаточной жизни этому кавалерийскому спектаклю, каким бы захватывающим он ни был. Меня привлекают путешественники, а воинами я почти не интересуюсь. В этой стране, полной истинного величия, кажутся малозначительными театральные эффекты жизни, заполненной охотой, смелыми военными предприятиями, торжествами, придворным ритуалом, — все это в конечном счете трогает меня меньше, чем созерцание нищей семьи кочевника, подвергающейся жизненным испытаниям.

И все-таки я счастлив тем, что встретил на своем пути бордж Джельфы. Арабский народ разнороден, он многообразнее наших представлений о нем. Сейчас я наблюдаю его с самой блестящей стороны, речь идет о наиболее цивилизованной его части, чья малоизученность делает ее особенно интересной для исследователя.

Хамра, 1 июня 1853 года

На рассвете мы свернули палатки. Несмотря на ранний час, Си Шериф и его брат уже были на ногах, чтобы проводить нас. Вскоре мы весело двинулись в путь, словно после целого дня отдыха. Наверное, я единственный, кто немного сожалел о Джельфе, где получил от своих наблюдений в одиночестве больше удовольствия, чем любой из моих спутников, я даже отклонился от маршрута, чтобы в последний раз увидеть покинутое место; над ним еще поднимался легкий белый дымок от оставленных нами костров. Постоянные странствия не изменили моих ощущений при расставании, я быстро привязываюсь к тем местам, которые пусть мимолетно, но принадлежали мне, в большей степени, чем дома, где я останавливался, и никогда не забываю их. Спустя годы я помню в мельчайших деталях то место, где как-то вечером поставил палатку и откуда уехал наутро. Я вспоминаю уголок, где стояла моя «постель» — трава или щебень, — кустик, откуда выскочила ящерица, камни, мешавшие мне спать. Никто, возможно, кроме меня, там никогда не был и не будет, сегодня я и сам навряд ли смогу отыскать это место.

Мы взяли направление на маяк. Менее чем через полчаса мы подошли к нему и вступили в заросли альфы. Как я и предвидел, дорога шла через небольшие зеленые плато, совсем одинаковые, с тоскливым постоянством тянущиеся одно за другим с севера на юг. Те же пирамиды возникают на горизонте на большом расстоянии друг от друга, какая-нибудь из них всегда находится в поле зрения. На протяжении четырех часов пути меня со всех сторон окружала зеленая, словно засеянная щавелем земля. Под голубым небом, когда знаешь, что ты в Сахаре, этот весенний цвет неприятно удивляет. Контраст неожиданный и совершенно неестественный. Я уже рассказывал тебе об альфе и снова возвращаюсь к ее описанию, чтобы еще раз проверить свои новые впечатления.

В десять часов мы остановились в глубоком русле реки. Летом спрашиваешь себя, где же река, которая смогла промыть подобное русло. Сейчас она маленький ручеек, почти иссякший, но не пересохший, не шире двух шагов. Вода рождается с легким шипением среди кресс-салата, затем в нескольких шагах теряется или, вернее, уходит в песок. Я никогда не видел источника, дававшего бы жизнь столь короткому ручейку, так спе-

шащему исчезнуть. Это предупреждение, понятное всем путешественникам; я заметил, что края водоема не истоптаны, хотя сейчас сезон встреч караванов на его берегу. Мы взяли ровно столько воды, сколько нам нужно. Я сам с великой осторожностью наполнял бурдюки из козьей шкуры чистой, свежей, почти прозрачной водой. Лошадям не дали пить из источника. Повсюду русло реки завалено прокаленными осколками белых скал, рассыпающимися, как каменная известь при обжиге; они невыносимо блестели на солнце.

К одиннадцати часам жара усилилась. Безоблачное небо начало затягиваться белесыми полосами, словно прозрачной тканью, похожей на огромную паутину. Поднялся южный ветер, довольно слабый, пока мы были в укрытии, но, выйдя на равнину, мы сразу почувствовали, что это настоящий сирокко. Ему понадобилось два часа, чтобы заявить о себе в полную силу. Сначала чередовались то теплые, то редкие свежие порывы ветра. Ветер бил мне прямо в лицо, и я мог с точностью определить его температуру, силу и продолжительность. Постепенно интервалы между порывами становились короче: я чувствовал, что они приходят с нарастающим постоянством, но по-прежнему остаются прерывистыми и неровными, как учащенное, лихорадочное дыхание больного. Сама земля прогревалась, по мере того как это странное дыхание становилось все более частым и жарким. Хотя солнце уже скрылось, а моя тень была едва различима на земле, освещенной тусклым светом, мне казалось, что я еще ощущаю горячие лучи разъяренного светила. Небо окрасилось в рыжий цвет без единого голубого проблеска. Горизонт заволочла темная, свинцовая завеса. Наконец дыхание пустыни стало равномерным, словно жар из пышущего очага. Казалось, что жар исходит отовсюду: от ветра, солнца и особенно из чрева земли, горящей под копытами моей лошади. Бедное животное устало бороться с ветром, но больше всего страдало от раскаленного воздуха, поднимавшегося к его брюху. Что касается меня, если бы я не устал от сидения в седле, то испытывал бы истинное блаженство, чувствуя, как меня обволакивает зной, который не мог истощить мои силы и любопытство путешественника; я был доволен, даже когда мне пришлось вдыхать этот ураган песка и огня, пришедший из пустыни.

Так незаметно я прибыл в Хамру. Хамра — скопление трех десятков нищих глинобитных хижин: жалких, раз-

рушенных, покосившихся, кажущихся покинутыми. Они почти слились с желтоватыми скалами, высокая гряда которых охватывает деревню с запада. С восточной стороны приютилось несколько маленьких, довольно свежих садилов, поразивших меня своей яркой зеленью. Сирокко ожесточенно набросился на эту бедную зелень, устоявшую перед солнцем; пыль ливнем обрушилась на листву; свинцовый день все окрасил в цвет пепла, придав и без того тоскливой картине суровый и жуткий вид.

Два здоровенных парня в лохмотьях, истощенные и на вид совсем одичавшие, — как я подумал, единственные жители этого селения — подошли посмотреть, как мы устанавливаем палатки, потом уселись на корточки на плоской скале, похожей на дольмен⁷, в ста шагах от нас и внимательно наблюдали за нами. Почти все деревья в садилах абрикосовые; я заметил еще, проезжая верхом вдоль низкой стены, смоковницу, красивый гранатовый куст и несколько лоз карабкающегося вверх винограда, но ни одной пальмы. Я надеялся встретить тут пальму, обозначенную на карте в нескольких лье от Лагуата. Наверное, увижу ее в Сиди-Маклуф.

К счастью, несколько арыков, прорытых вокруг садилов, доставляли нам прямо к палаткам прекрасную воду, приятную на вкус и не слишком теплую, что принесло нам большое облегчение.

В это время подул самый горячий и жестокий ветер. Он чуть не опрокинул мою палатку. Бакир и его спутники были погребены на несколько минут под своей и, кажется, даже решили не ставить ее больше. Нам пришлось удвоить число веревок и укрепить колья. Благодаря невысоким стенам ограды, давшей нам укрытие, мы все же смогли разжечь костер и приготовить ужин. Я пишу, а мои руки ощущают тепло очага. Уже почти совсем стемнело, хотя нет и шести часов. Наши лошади стоят неподвижно, с опущенными головами, повернувшись крупом к ветру. Верблюды отказались от корма: едва освободившись от груза, они улеглись тесной группой, прижавшись брюхом к земле и вытянув шею на песке.

Иногда в воздухе появляются просветы, тогда я различаю между двумя горами с обрубленными вершинами, правая из которых почти совсем скрыта и находится, вероятно, в пятнадцати-восемнадцати лье, неуловимую линию горизонта. Она увлекает меня в мечты. Неужели мы скоро будем в пустыне?

⁷ Д о л ь м е н ы — один из видов мегалитических памятников.

Ветер не стихает, жара ничуть не спала. Минуту назад, в семь часов, светлое небо быстро потемнело. Спустилась ночь. Ни одной звезды. Полная темнота. Лишь можно различить двух белых лошадей, привязанных в шести шагах от палатки. Все огни и почти все костры погасли. Только что донесся вой шакалов, сбившихся в стаю вблизи бивуака, я даже вышел в нелепой надежде подстрелить их. Никто не спит, но так тихо, что я не слышу никаких звуков, кроме шуршания ветра в складках палаток и в листве садовых деревьев.

2 июня 1853 года, привал, десять часов утра

Утром стало намного тише; на улыбающемся небе появилось солнце. Дул легкий ветерок; мы по-прежнему продвигались по равнине, поросшей альфой, и остановились у русла реки, на этот раз совершенно высохшей. Предвидя, что здесь не найдем ни капли воды, мы наполнили бурдюки еще в Хамре. Сейчас десять часов, и сирокко принимается дуть с теми же, что вчера, может быть, даже более угрожающими симптомами. Он очень неприятен и осыпает нас песком. Завтракаем, лежа на животе под еще не зацветшими олеандрами. Хлеб, к которому мы имеем возможность добавить луковицу (единственную свежую пищу, добытую в Хамре), так зачерствел за десять дней путешествия по Теллю, что его приходится размачивать в воде. Мы не можем развести огонь и вынуждены обойтись без кофе. К тому же всем не терпится скорее добраться до караван-сарая Сиди-Маклуфа, поэтому лошади остались взнузданными, а верблюды избавились лишь от двух полных бурдюков и двинулись дальше. Отвага погонщиков верблюдов восхищает. Какие необыкновенные люди. На первый взгляд самые ленивые на земле по своей природе, но, когда необходимо, они лучше всех переносят усталость; пристрастные к обильной пище, они легко обходятся без еды, будто совсем в ней не нуждаются. Погонщики идут ровным широким шагом благодаря эластичности коленных суставов, присущей прекрасным ходокам; когда верблюды переходят на рысь, бегут рядом с ними, и если садятся на верблюда, то лишь на две-три минуты; скуку длинных переходов они убаюкивают однообразной, протяжной песней вполголоса; редко можно увидеть, чтобы они тащились с усталым видом, еще реже — застать их за едой. Иногда на ходу некоторые вынимают

горсточку муки из жареных зерен (*руина*), запас которой держат в мешке из дубленой козьей шкуры (*мезуэд*) или в грязном капюшоне своего бурнуса, смешивают ее с водой в ладони и скатывают в шарики — эта горсточка муки, смоченная водой, обычно заменяет им обед.

В нашем караване есть ребенок, он возвращается из Богара на родину, в оазис Мзаб, с отцом, главным погонщиком каравана. Ему еще нет шести лет, поэтому его везут на верблюде. Взгромоздившись на высокое седло, он беспечно восседает на нем целый день, как в гнезде, совсем не спускаясь на землю, держась руками за веревку, натянутую между тюками. Когда я проезжаю мимо него, он делает мне дружеский знак, здороваясь или прощаясь. Верблюд шагает, будто не ощущая хрупкого существа, приютившегося на его спине. Вечером ребенка снимают на землю, он бежит в лагерь, заглядывает на кухню и засыпает между двумя мешками с хлебом. Не думай, что знакомство с суровой жизнью пустыни вредит его крепкому здоровью. Он совсем круглый, с огромным животом и маленькими глазками на полном лице, залитым румянцем, заметным даже сквозь загар и толстый слой пыли. Он будет похож на своего земляка Бакира, станет таким же упитанным и жизнерадостным.

Я заметил, и очень кстати, ведь именно он оторвал меня от записей, что еще ничего не рассказывал тебе о нашем спутнике Мохаммеде аш-Шаамби. Мохаммед — тот самый шаамби, который предоставил генералу Дома часть сведений о Центральной Сахаре — от Метлили до Хаусы, в чьи уста авторы «Великой Пустыни» вложили рассказ героя книги о путешествии. В нем ничего примечательного, я даже мог не обратить на него внимания, если бы не известность, которую принесла ему эта прекрасная книга, единственная одиссея о Великой Пустыне. Чудаковатый, но славный малый, рослый, сухощавый, с крючковатым носом, затянутый ремнем, в сапогах. Он коротко подстрижен, ходит переваливаясь, как акробат, с выражением недовольства на лице. Мне сказали, что в прошлом году я мог видеть его в Париже, где он выступал на ипподроме в каком-то арабском представлении — кажется, со страусами. Говорят, он любит летние балы и целый сезон был звездой Шато-Руж. Господин Н. сообщает мне эти подробности, и я сразу их записываю, затем он зовет Мохаммеда и просит станцевать перед нами. Тот не заставляет упрашивать себя, снимает и отбрасывает в сторону сапоги со шпорами и в длинных

чулках из красной кожи принимается под мелодию кадрили демонстрировать свое мастерство. Танец представлял собой великолепный гротеск и исполнялся с непередаваемой фантазией. Этот танцор в облачении воина, этот дикарь, подражающий Бридиди, совершал прыжки, напоминающие запретный здесь танец и великолепные маскарады Гаварни^в. Контрастность местности, выбор времени, слепящий песок, неспособный прервать неистовый танец, ветер, развевавший хаик Мохаммеда, наши арабы, внимательно наблюдавшие за пляской, но лишь слегка удивленные и не улыбающиеся, наконец, пустыня в двух шагах — вот контрасты, которых не придумаешь. Мне в голову приходили многочисленные вопросы. Откуда он явился? Куда направляется? Если, как я полагаю, Мохаммед возвращается в Метлили, он сможет рассказать о красавице Месауда мадемуазель Паланкен.

Раз уж я по ходу рассказа даю портреты путешественников, скажу несколько слов и об одном из слуг. Без него галерея образов будет не полной: в ней не будет хватать самого молчаливого и, возможно, самого обаятельного персонажа. Это один из слуг господина Н. Его забавное имя Йа-Йа надо произносить как два отчетливо отдельных слога, подчеркивая конечные «а» легким придыханием. Йа-Йа — стройный юноша довольно высокого роста с беззаботно небрежными движениями. У него еще нет бороды, только легкий пушок, и грустная улыбка в уголках губ; он бледен, как индеец, большие глаза без блеска темными пятнами выделяются на его лице. Этот юноша слишком кутается в свои белые одежды, словно женщина. Кавалерийские сапоги ему не идут, а бурнус лишает грации. Едва соскочив с лошади, он разувается, расстегивает пояс и вытягивается на земле. Нельзя сказать, что он изнежен, ведь он не жалуется на усталость, нельзя и назвать его щеголем, хотя он любит натирать себя мускусом. Йа-Йа не курит, но скручивает нам сигареты; не пьет кофе, но готовит лучший из тех, что нам доводилось пить; он женат, но никогда не говорит о женщинах; регулярно молится и очень щепетилен в отношении религии, что не помешало бы ему позволить изрубить себя на куски за господина Н. Он редко показывается из палатки, проводя в ней все время привала. В пути он едет впереди со своим господином и везет ягдташ из рысьей шкуры и ружье. Он осторожно правит

^в Поль Гаварни (1804—1866) — французский график.

своей худой кобылкой, держась так, чтобы всегда быть в распоряжении господина Н. Мы тренировались в стрельбе в цель: оказалось, что никто не стреляет лучше его. Мне сказали, что Йа-Йа родом из небольшой деревушки в окрестностях Богара. Он оставил свою жену, чтобы следовать за господином Н. на Юг, и уверяет, что умрет от тоски, если ему придется расстаться с хозяином. В Лагуате его собираются вновь женить, чтобы облегчить добровольную ссылку.

Йа-Йа сопровождают, в свою очередь, два изысканно одетых друга, которые, как и он, происходят из хороших семей, но очень отличаются от него. Самый молодой напоминает уроженца Парижа, хотя он коренной житель Сахары. Его зовут Маклуф, как мусульманского марабута, давшего имя месту, где мы собираемся заночевать, и — прости нам простую походную шутку — мы называем его не иначе как святой Маклу или господин Маклу. К своей большой досаде, он должен управлять мулом, груженным кухонной утварью, но просто невероятно, чего ему удастся добиться от этого упрямого животного; господин Маклу скорее искалечит беднягу, чем останется с ним в арьергарде. Он говорит, что по рождению достоин лучшего верхового животного, чем мул, и заявляет, что имеет право ехать вместе с всадниками; ему обещали дать лошадь, когда будем въезжать в Лагуат.

В глазах арабов хороший конь возвышает человека. Не существует символа, внушающего большее уважение: почтения достоин лишь тот, кто отмечен условным знаком общественного положения, состояния или власти; отстать от других — значит признать, что ты следуешь за хозяином. Всадники презирают наших слуг и в то же время сами соглашаются служить нам. Впрочем, тем самым они мстят за собственную подчиненность. Арабы, находящиеся в услужении, получают удовольствие, заставляя служить себе кого-нибудь, еще более бедного. Угнетение и суровое обращение здесь полностью отсутствуют — это род взаимного подчинения; оно поднимает достоинство каждого и всем по очереди дает возможность вкусить от сладости власти. Вот самая заметная черта характера арабов, которым присущи хитрость и тщеславие. Покорность арабов притворна, их добродушие показное, поэтому для укрепления нашего влияния необходимо использовать их стремление показать собственную значимость. Я прекрасно понимаю, что подрываю уважение к себе, отказываясь от их услуг.

Видел бы ты троих наших слуг — великолепного Али, его брата Брахима и Сид Эмбарека. Они претендуют на первенство среди слуг.

На спине Сид Эмбарека покачивается огромная шляпа с черным страусиным пером. Он никогда ее не надевает. Зато голову Али неизменно украшает шляпа. Он и так очень высок, но с помощью колоссального головного убора увеличивает свой рост до восьми футов; самая крупная лошадь выглядит под ним кобылкой саранчи. Сид Эмбарек путешествует в полном военном снаряжении: ружье, пистолеты, ятаган за поясом, длинная джебара из шерстяной ткани с бахромой, завязанной кое-где узелками. Али странствует налегке, будто кто-то другой везет его амуницию, в простой выцветшей, но еще очень красивой малиновой куртке, расшитой золотом, в рваном хаике из очень тонкой ткани, в арабских туфлях из лакированной кожи на босу ногу. Его джебара — самая широкая и разукрашенная — волочится по земле. Мне показалось, что я заметил бриллиант у него на мизинце. Забавно, что эти двое очень похожи друг на друга, несмотря на все их ухищрения. У обоих вздернутые носы, нет бороды, белые, слишком крупные зубы и большие дерзкие глаза. К тому же оба равно ленивы, хвастливы, прожорливы, грубы и любят вино. Рассчитывать на услуги Сид Эмбарека или Али, на их помощь совершенно безнадежно. Со вчерашнего дня лошадь Али заболела, ее могли заменить ему, только если бы кто-нибудь согласился уступить свою; ведь заставить мы никого не могли. Итак, на протяжении нескольких лье я был свидетелем плачевного зрелища: Али, оттертый на задний план, тащился среди багажа на самом худом и невзрачном муле. Сид Эмбарек воспользовался ситуацией, чтобы подстегнуть свою черную кобылу и опередить всех соперников. К счастью для Али, рядом находился его брат Брахим, выделявшийся болезненной худобой, замкнутостью, вкрадчивым, с хитринкой выражением лица. Брахим был на лошади, Али убедил его совершить обмен. И вот с самого утра Али гонит галопом тощее животное, которое казалось мертвым в руках брата, а Брахим ждет случая обменять мула на лошадь.

Я развлекаюсь портретами. Прав ли я? Я их не выбираю, а просто срисовываю и сам удивляюсь тому, как далеки они от идеала и как разнообразны; сначала замечаешь лишь своеобразие костюмов, оно пленяет и заставляет забыть о людях; затем задерживаешь внимание

на характерных чертах всей расы и, чтобы не спутать ее с другой, придаешь всем персонажам одинаковую осанку, изящество и стандартную красоту. И лишь позже удастся создать образ человека с чертами араба, только ему присущими страстями, недостатками и смешными сторонами. Ошибаюсь ли я, стараясь запечатлеть обычную жизнь с ее расплывчатыми и неуловимыми чертами? Не настало ли время покончить с барельефами, рассмотреть этих людей в лицо и воссоздать их образ мыслей? И все же не стоит ли избегать низкого, как и уродливого? Не мне удастся осуществить то, что я замыслил, но я не могу предпочесть реальной действительности, стоящей передо мной, великолепие неодушевленных статуй.

Сиди-Маклуф, 2 июня 1853 года

Погода не изменилась со вчерашнего дня, ветер, если это только возможно, стал еще более резким. Мы прибыли на место; силы людей и животных на исходе. Багаж разгрузили, как смогли, все скидывая, срывая подпруги — верблюды были ожесточены и не хотели ждать.

Караван-сарай построен на песчаном скалистом плато на краю оврага, где находятся источники. В овраге стоят пять пальм, их макушки видны еще издали над поверхностью равнины. Три из них, растущие из одного корня, ободраны, полумертвы, совершенно желтые. Ветер, производящий адский шум в их ветвях, взъерошил их наподобие вывернутого зонтика. Они ужасны и выделяются мертвенно-бледным пятном на фоне совершенно черного неба. Слева от караван-сарая, рядом с тремя пальмами, находятся небольшая мечеть и кладбище. Белая, прямоугольная, с рогами по углам, мечеть увенчана вместо луковичного конусообразным куполом. У ее стен замечаешь множество тесно прижавшихся друг к другу могил, громоздящихся и налезających одна на другую: толпа мертвых теснится, стремясь устроиться поближе к святому. Сюда приезжают хоронить из самых отдаленных мест, и я с ужасом думаю, что и мои кости могут оказаться в этой земле. Напротив мечети груды камней, камни и на дне оврага, и на его высокой противоположной стороне, а на горизонте виднеется зазубренная гряда скал, разорванная в середине. Направо гора, которая была едва заметна из Хамры. Здесь она принимает грандиозные размеры и представляется огромной глыбой грязно-стального цвета. Я лишь мельком взглянул на все это: ветер и песок буквально не дают открыть глаза.

Багаж и упряжь свалили в кучу перед дверью караван-сарая, и нескольких арабов оставили сторожить их; остальные спустились в овраг. Жилищем на эту ночь избран фондук *.

Лучше ли там, чем под открытым небом? Если решусь, то попытаюсь проверить. Караван-сарай — это огромный двор, огороженный четырьмя стенами. С двух сторон устроены крытые галереи для лошадей, а в четырех углах — помещения для путешественников. Я не выбирал себе комнату и попал не в наименее подверженную действию ветра. Ни окон, ни засова на двери. Беспрерывно врывающийся ветер приносит тучи песка. Я попытался прибить к притолке одеяло, но тщетно; так или иначе, эта предосторожность была бы бесполезной, и я смирился с видом песка, скапливающегося на моих ящиках и коробках, засыпающего меня с ног до головы; казалось, мне грозит быть заживо погребенным. Говорят, что Сиди-Маклуф кишит скорпионами и особенно страшными гадюками, которых арабы называют эфа. Мне советовали осматривать комнату перед сном.

Только что пришел Али, таща на спине седло и конскую сбрую. Он загнал кобылу Брахима и оставил ее труп в полулье отсюда; его обвиняют в том, что она подохла от усталости и от безжалостных ударов. Он защищается и рассказывает, что ехал медленным шагом, оберегая лошадь от ветра, когда она вдруг свалилась на бок. Он хотел поднять ее, чтобы ослабить подпругу, но она не двигалась: глаза были открыты, язык болтался, и изо рта текла кровь. Он оставил ее только через час, когда тело уже совсем остыло. По его мнению, ее задушил *шели* (сирокко). Итак, Али лишился лошади. Что он будет делать завтра? Разве только опять уговорит Брахима, и Брахим пойдет пешком.

Привал, 3 июня 1853 года, девять часов утра

Мы приближаемся к Лагуату. Он покажется через пять часов. Мне не верится, что в восьми лье отсюда находится большой город, затерянный в пустыне, как островок, где, впрочем, живут так же просто, как повсюду, не заботясь о впечатлении, которое производят, не думая о любопытстве, которое вызывают. Города Франции держатся друг за друга, почти подают друг другу руку через пригороды, сообщаются через деревни; из города в город попадаешь по хорошим дорогам, проезжая через густонаселенную местность, и не удивляешься,

встречая повсюду людей. А здесь мы уже семьдесят пять лье едем по бездорожью и ни одного селения вокруг.

Мы остановились на равнине, среди высохшей альфы и колючего кустарника. Слезаем с лошадей, оцепеневшие от холода, с онемевшими руками; ночью ветер изменил направление с южного на северное: сирокко сменился мистралем. Солнце уже высоко, но мы страдаем от холода, как мартовским утром. Прибывшие первыми подожгли кустарник, и ветер разнес огонь на сто метров вокруг. Пожар погаснет сам за неимением пищи или когда прекратится ветер.

Слева от нас уходит вдаль гряда красноватых холмов, справа — параллельная ей более высокая гряда с зазубренными вершинами. Ни там, ни там нет ни малейших признаков растительности. Долина, протянувшаяся между ними, около лье в ширину; она неровна, пересечена глубокими рытвинами; хотя на первый взгляд кажется однообразной, вблизи видны заросли кустарника, а далее она обнажается и зеленоватый оттенок постепенно переходит в розовый и золотистый цвет, цвет гор.

Лагуат, 3 июня, вечер

Обрати внимание, где я пишу эти заметки. Можешь порадоваться, я достиг цели путешествия, но давай заново пройдем по дороге из Сиди-Маклуфа, с того места, где мы остановились сегодня утром, и позволь медленно провести тебя до входа в пустыню. Эмоции, которыми отмечено это событие, многое теряют, если их не ожидаешь. Чего-то не будет доставать в описании моего прибытия в эту удивительную страну, если не скажу о крайней усталости, с которой мы тащились.

Я не знаю названия горы, расположенной слева, та, что справа, зовется Джебель-Мила. Она тянется на запад и кажется особенно угрюмой, подставив под высокое солнце свои голые склоны, совершенно лишённые тени. Ее отчетливо видный гребень напоминает пилу с широкими зубьями. Каждый выступ состоит из нагромождения скошенных слоев, на каждом лежит отдельная глыба, тоже завалившаяся набок. Это причудливое «сооружение» повторяется с самой точной симметрией. Интересно, что все горы и скалы, попадавшиеся на нашем пути с утра, имеют одно и то же строение, будто поднятие земной коры одновременно перевернуло все пласты и наклонило их в одну сторону.

Никогда, по-моему, я не видел столь длинной горы;

вот уже три часа я ехал вдоль нее, а создавалось впечатление, что топчусь на месте. И хотя ее конечность, казалось, была где-то рядом, я еще не проделал и четверти пути. Ветер почти стих, солнце сияло вовсю, местность становилась все суше, а воздух из холодного, каким он был утром, — обжигающим. Передо мной простиралась бесконечная долина, переходящая на горизонте в небо, не оставляя места для города, я же знал, что Лагуат построен на скалах, кроме того, долина уходила на запад, и город должен был возникнуть слева, а не передо мной. Всадники поскакали вперед, уже с час, как я потерял их из виду в пылающей дымке горизонта и перестал слышать ружейные выстрелы, возвещающие о приближении к Лагуату. Единственным моим спутником оказался изнуренный жарой слуга, который даже не интересовался, в каком направлении мы движемся.

Я присоединился к небольшому каравану верблюдов, груженых зерном. Караван взял влево и начал подниматься по холмикам желтого песка. Я оставил долину и последовал за ним. Чувствовалось, что Лагуат где-то рядом и осталось сделать лишь несколько шагов, чтобы достичь его. Пески обступили меня со всех сторон; многочисленные, совсем свежие следы то и дело попадались на нашем пути. Блеск воспламененного бесплодного пейзажа придавал еще более необыкновенный вид небу цвета чистого кобальта. Наконец дорога пошла под уклон и прямо перед собой, но еще очень далеко, над равниной, залитой светом, я увидел небольшую гору из белых камней с многочисленными темными точками, придававшими черно-фиолетовый оттенок внешним контурам города с оборонительными башнями; внизу простиралась чаща холодного зеленого цвета, компактная, слегка ощетинившаяся, как колосющееся поле. Слева, почти на одном уровне с городом, возникла фиолетовая гряда камней, появилась вновь справа и закрыла горизонт. Эта крутая гряда четко выделялась на фоне серебристо-матового неба и походила, если не считать цвета, на безбрежное море. От города меня отделяли песчаные просторы и нечто беловато-серого цвета, напоминающее русло реки раза в два шире Сены. Местами на ее берегах виднелись зеленые пятна растительности — возможно, тростника. Впереди человек из нашего эскорта отдыхал верхом, пригнувшись к лошади, ожидая караван, оставшийся далеко позади; его лошадь низко опустила голову и не двигалась.

Вот штрих за штрихом я нарисовал точную картину, представшую перед моим взором. Позже я буду жить воспоминаниями, которые смягчат, возможно, слишком резкие мазки этого полотна. Сегодня я воспроизвожу, ничего не меняя, то, что отпечаталось, как портрет, в моем сознании. Я не был ослеплен, у меня было время укрепить душу, чтобы окинуть одним верным взглядом и запечатлеть всю картину, сохранив ее в памяти навсегда. Я долго разглядывал черноватый город, плоский горизонт, одинокого белого всадника на белом коне в раскаленном безмолвии, безоблачное небо; затем мой взгляд, уставший от света, упал на маленькую коричневую тень, лежащую под ногами лошади, и задержался на ней. Я вспоминаю, что четыре года назад, когда я впервые увидел пустыню, она предстала передо мной в мягком вечернем свете. На сей раз я приехал, как того и желал, в послеполуденный час, когда нет тени.

Мы выехали из дюн и вступили в это подобие речного русла, ведущего к городу, к его северо-восточной части, где расположены сады. По песку, под низким, давящим, свинцовым небом двигаться было тяжело. По мере приближения к городу справа открывался оазис: зеленые султаны пальм выделялись все более четко; затем мы увидели вторую горку, усеянную, как и первая, черными домами; башен отсюда не было видно; между горками возвышался белый монумент; правее — скопление розовых скал, увенчанное небольшой мечетью; еще дальше вправо — нечто вроде крутой пирамиды, более высокой и розовой, чем все остальное; в промежутках проглядывала фиолетовая пустыня. Таким предстает Лагуат с северной стороны; первое его появление было скорее видением, второе, более продолжительное, позволило нарисовать полную картину, ничего не упустив. Место, откуда я наблюдал город, называется Рас аль-Уйюн (Глава источников). Там берет начало Уэд-Лекье — единственный ручей, который орошает Лагуат.

Уже вблизи садов мы увидели приближающегося к нам всадника во французской форме и ботфортах. Заметив, что я отстал, и полагая, должно быть, что я сбился с дороги, он галопом подскакал ко мне, поздравил с прибытием и предложил проводить до города.

Объезд садов я завершал уже с господином С., офицером турецкого батальона, моим любезным проводником. Первое, о чем мы заговорили, это об осаде. Я догадался по многочисленным следам, что здесь находился

большой бивуак; можно было точно определить места, где были установлены палатки, почерневшие от кухонь участки с огромными кучами пепла и головешками, длинные протоптанные дорожки, отверстия от колышков; навоз, остатки подстилок указывали на кавалерийский бивуак. Господин С. объяснил мне, что здесь стоял лагерь генерал Пелисье, и указал на левом берегу Уэд-Лекье место лагеря дивизии Юсуфа. Перед нами открылась песчаная равнина, где 21 ноября произошло жаркое сражение. Затем он рассказал мне о жестокой схватке 3 декабря, о штурме 4 декабря и о кровавой бойне, которая последовала за взятием города, поведал о потерях наших и противника и предупредил, что, возможно, я почувствую в городе зловонный запах, а сам Лагуат покажется мне заброшенным. Господин С. вел учет убитых: он сам руководил погребением трупов противника в колодцах. Наши погибшие были захоронены не лучше; за неимением заступов, могилы копали неглубоко и лишь слегка засыпали, так что на поверхности земли обнаруживали трупы, вырытые за ночь собаками. Надо было привыкнуть ходить по останкам и повсюду видеть кости скелетов. Только что мой провожатый обнаружил труп зуава. Он мне его показал. Руки бедного солдата были вытянуты вдоль туловища, голова откинута набок и приподнята песком, как подушкой, верхняя часть тела превратилась в мумию; на нем сохранились красные брюки и лохмотья гетр на ногах, погруженных в песок, казалось, что он выбирается из земли, перед нами как бы «воскресение из мертвых», — во всяком случае, именно так изображают этот момент на картинах. Чуть дальше виднелась высохшая голова, затвердевшая, как камень, и на всем пути то тут, то там белели кости.

Пески довели нас до Восточных ворот, и мы вошли наконец в город.





II Лагуат

3 июня 1853 года, вечер



Почти всем арабским городам, особенно городам Юга, предшествуют кладбища. Обычно это огромные пустыри перед городскими воротами, где замечаешь лишь множество маленьких камней, сложенных в определенном порядке. Все проходят через него с таким же безразличием, как и по дороге. Единственное отличие этого кладбища в том, что вместо уголка отдохновения я нашел здесь поле битвы; я почувствовал предостережение в тишине

неподвижного воздуха черного и немногочисленного города, распростертого под палящим солнцем, и с первого взгляда понял, что город, куда я собираюсь войти, полумертвый и погибает насильственной смертью.

Восточная часть Лагуата почти не пострадала. Внешние стены едва повреждены несколькими ядрами, атака велась с противоположной стороны. Ворота, не подвергавшиеся обстрелу, сохранили свои тяжелые створы, залатанные железом, огромный деревянный засов и наружную подпорную арку из пальмовых стволов. Ворота сделаны в массивной, с неисчислимыми бойницами башне. Издалека их можно принять за черную квадратную дыру, выделяющуюся на светлом фасаде башни, с небольшим квадратом света — начало улицы, которая видна через ворота. Крытый ход имеет десять

шагов в длину; углубления со скамьями в два ряда, устроенные с обеих сторон в толще башни, образуют нечто вроде вестибюля с сиденьями или, точнее, местами для спанья. При необходимости «вестибюль» превращается в караульное помещение.

Часовой турецкого батальона в синей куртке и белом тюрбане присел в тени, зажав ружье между ног. Остальные четверо солдат охраны спали на каменных лежаках, подложив руку под голову. Услышав топот наших лошадей, часовой медленно встал и отдал честь. Остальные едва пошевелились, чтобы показать, что они на посту.

За воротами начиналась улица — узкий коридор между серыми, почти черными стенами, в которых не было окон, а вместо дверей зияли прямоугольные прорезы, обведенные по краям известью; внизу нестерпимый блеск белокаменной мостовой с едва различимой тенью на правой стороне, вверху темно-синее небо, ни одного прохожего, никого в дверях, гнетущая, как жара, тишина.

— Вот Лагуат в полдень, — сказал мне господин Н., указывая на солдат и улицу.

Большинство дверей было закрыто; отмеченные пулевыми отверстиями и следами штыковых ударов, казалось, были заперты, как говорят во Франции, по случаю смерти хозяев. Немногие двери, оказавшиеся открытыми, вели в лишенные дневного света прихожие или во дворы, похожие на конюшни. Под темными портиками домов, полных страшных воспоминаний, там и сям спали люди.

Улица, уходившая, извиваясь, в глубь города, была довольно неровной. Камни, которыми она была вымощена или, скорее, просто выложена, имели звучность и блеск мрамора. Справа и слева в нее впадали переулки, следующие один за другим: те, что слева, вели в верхний город и упирались в длинную стену из белого известняка; те, что справа, обрывались, открывая приятный вид на зеленые вершины деревьев оазиса. Перед нами в глубине этой узкой улицы, палимой солнцем, виднелась многоярусная западная часть города — скопление карабкающихся вверх сероватых домишек, среди которых выделялись два белых строения. Над террасами поднимались верхушки нескольких пальм, совершенно неподвижных из-за безветрия. Эти тощие пальмовые букеты, выделявшиеся смутными силуэтами на фоне голубого неба, напоминали все же о прелестях Востока.

Улица была столь узкой, что наши кони не всегда могли идти бок о бок. Господин Н. ехал впереди, указывая мне концом хлыста отверстия от пуль в дверях, трещины в стенах, опустевшие дома.

Чуть дальше показались лавочки и кофейни с навесами над улицей, создающими тень. На скамьях, покрытых циновками, расположились курильщики, хозяева кофейни поливали водой камни перед входом. Компания, собравшаяся здесь на небольшом пространстве, где, казалось, нашло прибежище все живое в городе, состояла из спаги *, кавалеристов Махзена и нескольких одетых в белое арабов: праздновали их возвращение.

Среди них я узнал моих товарищей по путешествию: Али, Эмбарека и маленького Маклуфа. Последний в сапогах со шпорами с несвойственным ему мужественным видом пил кофе; двое слуг сидели на корточках за шашечной доской.

Господин Н. провел меня прямо в дом коменданта, стоящий на площади, где протекает ручей, откуда берут воду жители, и он же служит водопоем для животных. У входа на площадь возвышается огромная пальма, прямая, как мачта. В середине мирно дремлет стадо желтоватых верблюдов. Вокруг них и в тех местах, где появилась тень, виднеются вытянувшиеся вдоль стен белые фигуры спящих арабов, закутанные в бурнусы... По дороге, впереди нас, под палящим солнцем идут, стуча по земле босыми пятками и оставляя в пыли влажный след, старая женщина в лохмотьях с бурдюком на плече и маленькая полуодетая девочка с миской в руках и воронкой из пальмовых волокон на голове.

Солнце испепеляющее; кожа седельной кобуры обжигала руки; повсюду царила величественная тишина — в гарнизоне время сиесты: солдаты заперты приказом в казармах до двух часов, когда прозвучит сигнал подъема.

— Вот дом коменданта, — сказал мне господин Н., остановившись перед прямоугольным сооружением с разноцветным фасадом, — и ваш, вероятно, — добавил он, указывая на высокую стену из серой глины с двумя отверстиями, затянутыми тканью.

Справа к стене дома прижалась пушка, нацеленная в центр площади.

4 июня 1853 года

Вчера, в два часа, я устроился в «доме для гостей» и сказал бы, что уже привык к нему, если бы не сохранил почти полностью привычки жизни на бивуаках. Я храню воспоминания о предыдущих путешествиях, когда мне приходилось ночевать в самых неожиданных условиях, начиная с гнезда скорпионов в Бушагруне до Дар-Дияфа в Тольге, где моими соседями по комнате были молодой страус и антилопа; и все же я не перестаю удивляться убогости убранства моего здешнего жилища. А оно еще было специально отремонтировано, чтобы принимать почетных иностранцев, и при нем даже собираются устроить арабскую канцелярию.

— Я очень рад,— сказал мне предупредительно господин Н., проводив меня туда,— что вам досталось одно из лучших помещений в Лагуате.

Я застал там целый полк подметальщиков-арабов, убиравших комнаты, то есть выметавших с террасы во двор и со двора на улицу огромную кучу навоза, сухой соломы и пыли.

В этом доме имеется двор, на первом этаже — четыре помещения, одно из которых служит конюшней, на втором — две неплохие комнаты и еще два полуразрушенных чулана, где поселили двух моих слуг: одного я нанял, чтобы он служил мне переводчиком, проводником и камердинером, а другого — для ухода за лошадьми. О галерее с тремя окнами говорить не стоит, я охотно уступаю ее мышам и ящерицам.

Несколько слов о состоянии жилища. Представь высокие закопченные стены с зияющими в двадцати местах проломами, которых, вероятно, недостаточно, раз все двери от входа с улицы до моей комнаты распахнуты настежь; я чувствую себя здесь в меньшей безопасности, чем на проезжей дороге. Самый закопченный угол во дворе рядом с пальмой принадлежит кухне; мы нашли здесь кучу золы, остывавшей с 4 декабря, и четыре прокаленных камня, образующих печь. Огонь не повредил старого дерева, оно растет прямо у стены и наполовину прикрывает мрачный внутренний дворик широким веером пожелтевших листьев. На второй этаж ведет крутая лестница без перил в двадцать пять ступенек; она так узка, так ветха, так необычна, что мне пришлось досконально изучить ее, чтобы без опаски взбираться по ней ночью. Я прекрасно помнил место, где не хватало двух ступенек, а также что пятая расщеплена

пополам со стороны двора и представляет собой сомнительную точку опоры, что двадцатая и двадцать третья вдвое выше всех остальных, что, наконец, на всем протяжении лестницы можно ступать лишь на пальцы, когда поднимаешься, и на пятку, когда спускаешься. В комнате слуг отсутствует половина потолка и половина пола: две дыры — над головой и под ногами — находятся одна под другой. Не снаряд ли прошел весь дом насквозь? Что же произошло шесть месяцев назад на этом самом месте, где сегодня я пишу свой дневник? На домах арабов столько шрамов, что вообще трудно понять — а в Лагуате сложнее, чем где-либо в другом месте, — время ли, небрежность или рука неприятеля нанесли эти раны. И, наконец, маленькая комнатка с белыми стенами, с земляным утрамбованным полом, который превращается в грязь, когда я разбрызгиваю по нему бидон воды, чтобы прибить пыль; окно, затянутое упаковочной тканью, закрепленной на раме; дверь, замаскированная попоной; брезентовая складная кровать на двух ящиках, бурнус, служащий мне одновременно одеялом и матрасом; вместо подушки торба, набитая ячменем, — вот, дорогой друг, моя резиденция со всей утварью художника и путешественника, где я сам себе приказал ожидать наступления сильнейшей жары.

Проявив чуть-чуть ловкости, я мог бы устроиться с большими удобствами и еще больше уединиться. Но зачем? Личная безопасность беспокоит меня меньше всего, трудно предположить, что мой жалкий скарб соблазнит кого бы то ни было: мои пистолеты останутся в саржевых чехлах, пока их полезность не будет мне доказана. В общем, несмотря на сожаление о бесконечно более радостной жизни в палатке, я все-таки испытываю душевную легкость, чувствуя себя лишенным всего, а в сущности и ни в чем не нуждаясь.

Вечером я поднялся на террасу, чтобы наблюдать заход солнца и одновременно изучить местность.

Обратившись лицом к северу, я увидел площадь, лежащую под моими ногами, дом коменданта, ручей и место для стирки белья: дальше раскинулся оазис. Далеко за оазисом, с северо-запада, где садилось солнце, на северо-восток тянулись один за другим три ряда холмов: первый — окрашенный в бронзу и золото, второй — лиловый, третий — цвета аметиста. Самая близкая гряда — продолжение дюн Рас аль-Уйюн, и там в складке сверкающего песка сероватое русло, по которо-

му я ехал утром; вторая — Джебель-Мила, я узнал ее по бесконечной горе; вдоль нее я ехал довольно долго; наконец, последняя, самая дальняя, носит очень точное название, которое радует слух, — Джебель-Лазраг (Голубые горы).

Справа, на скальной равнине, развернулась восточная часть города в форме почти правильной пирамиды бурокрасного цвета: ее вершиной является Восточная башня.

Дома на площади закрывают вид слева. В южной стороне города видны сады и от самого дома уходящие вдаль рощи финиковых пальм, возвышающиеся над беспорядочной массой прочей зелени.

Дом коменданта, выделяющийся среди других арабских сооружений почти европейским расположением окон и побелкой фасада, служил в прошлом мавританской баней, которую последний халиф Бен Салем за несколько лет до своей смерти приказал выстроить итальянским мастерам. Рядом я заметил невысокое разрушенное строение, когда-то окрашенное в белый цвет, с вытянутыми отверстиями окон, увенчанное тонким железным крестом, — это старая мечеть, превращенная в церковь. Чуть левее, на террасе бесформенной глинобитной лачуги, прогуливалась фигура в черном платье, в широкополом черном головном уборе. Это обитель священника, а невзрачная фигура — местный кюре.

Площадь представляла собой яркое зрелище: разнообразие костюмов и непривычные звуки на этом чисто африканском фоне, напомнившие мне суету французского гарнизона. Кавалерийские кони пили из ручья по соседству с ослами, верблюдами и худыми арабскими кобылами, которых привели оборванные конюхи; чуть дальше столпились люди, наполнявшие различные кувшины, бидоны, фляги, черные бурдюки, бочки. Военные свистки слышались во всех уголках города.

Сумерки длились недолго: оранжевые блики на мгновение осветили запад над темными горными массивами, и сразу все обесцветилось. Легкий туман, стлавшийся над землей, потянулся кверху по стволам финиковых пальм и задержался в их султанах, принявших холодный зеленый оттенок. Ночь наступила почти внезапно.

Мне хотелось провести этот вечер в одиночестве, и, как только окончательно стемнело, я вернулся в свою комнату. В ней было жарко, термометр показывал 31⁰. Небо было великолепно, никогда я не видел столько звезд и таких крупных; я с трудом отыскал Большую

Медведицу среди мириад звезд почти одинаковой величины и яркости.

Мне было слышно, как слуга привел лошадей и спутал их, затем по каменной лестнице простучали тяжелые и легкие шаги.

— Спокойной ночи, господин,— сказал мне М., проходя мимо моей комнаты.

— Пусть твоя ночь будет доброй, *сиди* *,— сказал Ахмед. И дом погрузился в тишину.

Поднялся ветер, пальмы зашумели, как море, этот шум сопровождался отдаленным лаем собак, клекотом грифов и кваканьем лягушек; покрывало над дверью ежеминутно приподнималось, будто кто-то порывался войти.

В десять часов кавалерийский рожок сыграл под моим окном сигнал «гасить огни», тягучий и нежный мотив, заканчивающийся резкой нотой, слышной издалека.

«Надо же,— подумал я,— я еще не совсем вне Франции!»

Музыкант повторил мотив, введя в ритурнель модуляцию причудливого вкуса, и несколько минут наслаждался игрой, словно сигналил для собственного удовольствия.

Я лежал на брезентовой кровати, поглядывая при свете свечи на свои дорожные вещи, на черный потолок и размышляя о странности моего нового положения, потом встал и сквозь щели в стене заметил огонек в глубине комнаты Ахмеда: араб курил перед сном.

Рожок умолк. Другие рожки ответили ему из разных концов города более слабыми, но четкими звуками; постепенно легкие ноты духовых инструментов рассеялись, и слышен был только шум пальм. Я вдруг почувствовал какую-то сердечную слабость, мне стало грустно; задув свечу, я улегся на подстилке и подумал: «Что, собственно, произошло? Разве я не в собственной постели? Не у себя дома? Почему я не могу уснуть?»

К несчастью, уснуть мне так и не удалось, я был слишком разбит усталостью, да еще в «доме для гостей» вместе со мной оказались другие гости, на чье присутствие я вовсе не рассчитывал.

Июнь 1853 года

Сегодня утром меня проводили к небольшой мечети Сиди эль-Хадж Айса — театру военных действий 3 декабря и, чтобы сразу же покончить с событиями, чуж-

дыми моим мыслям, я расскажу тебе, насколько возможно кратко, об увиденном — о следах сражения и местах — свидетелях осады.

Лагуат протянулся с востока на запад на трех холмах, образовавших скалистый хребет, который разделяет равнину на севере и бескрайнюю пустыню на юге. Северный склон застроен домами, на южном, более крутом, местами отвесном, строения расположены на значительном расстоянии друг от друга, между каменистым склоном с одной стороны и длинной желтой дюной — с другой.

На крайних холмах находится по башне, они вместе с другими укреплениями использовались для обороны во время осады. Средний увенчан просторным и прочным белокаменным сооружением без наружных окон, в котором сейчас устроен госпиталь.

Эта бывшая резиденция халифа Бен Салема называется Дар-Сфа (Дом на скале) — из-за огромного скального пьедестала, где довольно смело водружен этот дворец-крепость.

Дар-Сфа разделяет город на две почти равные части и занимает главенствующее положение над ранее враждебными кварталами — Халафом на востоке, Улед-Серреном на западе, каждый из которых имел своих вождей, свое управление, свои интересы. Они перестали воевать, только когда объединились под началом центральной власти в Дар-Сфа. Сохранились еще пограничная стена и дверь в древнеегипетском стиле, отпиравшаяся или запиравшаяся в зависимости от того, в состоянии мира или войны находились две маленькие ревнивые республики, всегда готовые расстрелять друг друга через эту стену.

Традиция междоусобиц, длившихся, пожалуй, три столетия, полулегендарна и составляет в некотором роде мифологию Лагуата. Я знаю, что перестрелки между кварталами от башни Серрен до башни Халаф продолжались приблизительно до 1828 года — периода, когда партия Ахмеда Бен Салема, последнего халифа, казнила Лакдара, вождя Улед-Серрена, и стала полноправным хозяином города. Через десять лет, в 1838 году, борьба возобновилась. В то время великие события происходили на Юге: Абд аль-Кадир уже девять месяцев расстреливал из пушек город Айн-Махди, который оборонял Теджини, мусульманский священник, вождь западных ксуров. Сторонники Бен Салема приняли сторону Тед-

жини, тогда Абд аль-Кадир вмешался и поддержал побежденную партию Улед-Серрена.

В борьбу включились, в свою очередь, и кочевые племена: воинственные соседи Лагуата из племени ларба поставляли наемников то одной, то другой из воюющих сторон, а иногда тем и другим сразу.

Последовал ряд налетов, осуществленных сторонниками Бен Салема, халифами эмира, каждый налет заканчивался резней и поспешным бегством на Юг. Сначала сторонники Бен Салема спасаются у бени мзаб, оставив Лагуат мусульманскому священнику Аль-Арби; позднее уже Аль-Арби, вождь набравшей силу партии Улед-Серрена, вынужден был уйти из города и запереться в четырех лье от него, в небольшом ксуре Эль-Ассафия, с тремя сотнями пехотинцев, последней горсткой армии, которую ему доверил эмир. После бесчисленных стычек у стен города были даны одно за другим три сражения; в последнем войска эмира потерпели поражение, и это довершило уже покачнувшееся дело Айн-Махди, стоило жизни Аль-Арби и окончательно утвердило власть рода Бен Салем.

Наконец, в 1844 году Ахмед просит у французского правительства инвеституры Лагуата и получает подтверждение титула халифа.

До этого момента все происходило в тысяче пятистах лье от Франции и без нашего участия. Впервые мы появились здесь после обращенного к нам призыва; именно тогда с Севера прибыли по узкому проходу, теперь тебе известному, авангарды экспедиционного корпуса.

В начале прошлого века, а может быть, раньше, так как в этой истории я не могу отвечать ни за одну дату, мусульманский священник по имени Сиди эль-Хадж Айса, ожесточившийся против своих сограждан, не знаю, за какое тяжкое оскорбление, нанесенное богу, может быть какой-нибудь танец вокруг золотого тельца, сказал им:

— Я вас обрекаю на взаимопожирание, как львов, заточенных в одну клетку, до того дня, когда придут христиане (я полагаю даже, что он сказал французы), эти укротители львов, чтобы покорить и обуздать вас.

В 1844 году старый пророк, похороненный в том месте, куда я тебя сейчас веду, под мечетью, которая носит его имя, услышал лишь далекие звуки фанфар; армия приблизилась к городу, разбила лагерь, осмотрелась и... покинула страну. А в 1852 году ему уже пришлось услышать пушечные выстрелы совсем близко, так как в ме-

чети была размещена батарея и на его гробнице установлена французская пушка.

Между этими событиями имели место факты, о которых я ничего не знаю. Бен Салем умер, его место занял один из его сыновей; мы имели при халифе представителя, что-то вроде регента. Однажды стало известно, что Бен Салем, французский наместник и вся канцелярия сбежали чуть ли не в нижнем белье в Джельфу и наш противник, шериф Уарглы, занял город. Именно в это время отряд французов, вышедший из Медеа, возводил в Джельфе комендантский дом; я рассказывал тебе о нем. Работа была быстро завершена, и войска двинулись на Лагуат. Через двадцать дней другой отряд прибыл из Эль-Абиода по северо-западному дефиле⁹, и почти сразу же началась осада. Между этими двумя событиями, 21 ноября, произошло кавалерийское сражение, следы которого я обнаружил в необыкновенно красивом месте.

Кроме двух башен, скорее привыкших угрожать друг другу, нежели обороняться от внешнего врага, город имеет еще на случай осады прямоугольник зубчатых стен с бойницами. К тому же с флангов его защищают сады; наконец, восточная башня намного возвышается над равниной и пустыней, господствуя над всей местностью. Над западной же башней (Серрен) возвышается мечеть Сиди эль-Хадж Айса, она венчает четвертый холм (на трех лежит город) и находится на расстоянии ружейного выстрела от укреплений, на уровне верхней крепости Дар-Сфа, образуя четвертый угол прямоугольника, три остальных угла представляют башня Серрен, Дар-Сфа и башня Халаф.

Вот так, любезный друг, место погребения святого человека стало — он этого никак не мог предвидеть — театром ужасной битвы. Он предвещал катастрофу, но забыл сказать, что ему будет больно этому содействовать.

Во время кровопролитного сражения, длившегося целый день, мечеть брали и сдавали несколько раз. Это слабое место в обороне самоотверженно защищали. Не слишком крутой, но сложный для подъема холм оцетинился крупными камнями; за каждым мог свободно

⁹ Д е ф и л е — узкий проход между препятствиями (горами, озерами, болотами и т. п.), используемый обычно для задержания противника обороняющимися войсками.

укрыться человек. К нему подошли с юга; вершина и весь противоположный склон были усеяны бойцами, лежащими за камнями и стреляющими наверняка. Приходилось держать на прицеле каждый камень и одновременно карабкаться вверх, иногда вступая и в рукопашную схватку. Такая война по душе арабам; со времен Зааджи они не вели ее ни с большей яростью, ни столь успешно. Только с третьей попытки французам удалось устроить огневой заслон, простреливая весь северный склон, закрепиться в мечети и выбить противника из этого замечательного редута.

Став хозяевами положения, французские солдаты вломились в минарет, закатили туда орудие и проделали амбразуру, пробив стену со стороны города. Пушка, установленная в чреве этого небольшого памятника, размером четыре квадратных метра, открыла огонь по восточной башне. Бруствером ей служила спешно сложенная стена.

Тогда весь город взялся за ружья и осыпал, в свою очередь, свинцом белую цель — минарет, — в центре которой зияла черная дыра, откуда вырывались ядра в клубах дыма; все плато, отважно обороняемое, несмотря на огромные потери со стороны французов, было буквально изрешечено пулями. В этот момент мы принесли многочисленные жертвы на алтарь победы.

Штурм города стоил нам не слишком много людей: в садах не было оказано сопротивление; отчаянная борьба, словно пламя, перекидывалась от дома к дому, но была непродолжительной и тяжелой только для арабов. Из двух с лишним тысяч трупов, подобранных на следующий день, более двух третей было найдено в городе. Уличная война страшна: человек теряет рассудок.

Было около восьми часов, когда, пройдя вдоль Дар-Сфа, обогнув с юга старые стены Серрена, мы добрались до вершины маленького плато, сверкающего на утреннем солнце всеми оттенками розового цвета. Вокруг ни души; мы осторожно карабкались по склону, лейтенант Н. рассказывал мне об осаде, а я внимательно слушал.

Не было ни одного камня, не израненного множеством пуль и не выщербленного, как мишень в тире. У большинства отбиты края, ведь стреляли не в камень, а в голову или тело, высунувшиеся из-за него. Мечети доста-

лись три ядра, выпущенные из города: одно ободрало угол, второе выбило кусок штукатурки из купола, а третье прошило стены насквозь на высоте шести футов над землей. Я забыл сказать, что эта мечеть представляет собой небольшой гипсовый куб с конической крышей и ажурными выступами с каждого угла; некогда белые, стены ее основательно пожелтели.

Внутри мечети когда-то были выведены затейливые арабские надписи. Наши солдаты соскоблили их ножом, и теперь стены покрывает список офицеров, убитых и раненных в сражениях. Один из списков, датированный 3 декабря, показался мне любопытным; он явно написан разными людьми, создается впечатление, что в этот реестр заносились имена павших солдат по мере их гибели; снизу подведена черта, возможно, это сделано ночью, когда дневной список был закончен. Рядом, как бы на следующей странице книги ведения учета смертей, читаем: 4 декабря, затем чуть ниже, будто желая указать на небольшую передышку, которую дала смерть, крупными буквами начертано: генерал Бускарен.

— Смотрите,— сказал мне лейтенант, став перед дырой, некогда служившей амбразурой для пушки,— здесь погиб бедный Милло. Кто бы мог подумать? Он получил пулю в лоб именно через эту дыру. Какое невезение! Смерть остальных,— добавил он,— можно было предвидеть. Что вы на это скажете?

Он показал мне и укрепление, и совершенно открытое место, где мы служили прекрасной мишенью.

— Здесь,— продолжал он,— лежит майор Моран, здесь — храбрец Франц, добрый товарищ, здесь — Бессьер.

На плоском камне стояло: «капитан Бессьер, первый полк зуавов, такой-то батальон, такая-то рота, 3 декабря».

Там, на склоне, где уже нет камней, покоится генерал Бускарен. Он спускался бегом со своим штурмовым отрядом и повернулся, чтобы крикнуть: «Вперед!»

— Поле боя было так узко, что можно без преувеличения сказать: каждый квадратный фут земли здесь действительно наш, ведь он нам так дорого достался, он впитал в себя не одну каплю достойной сожаления крови.

Мы долго сидели у подножия мечети против амбразуры, почерневшей от пороха. Город лежал у наших ног, справа и слева — сады, за ними — бескрайние просторы

пустыни, охваченной огненными лучами восходящего солнца. Уцелела только восточная башня. На месте бастиона Улед-Серрен, разрушенного, а затем стертого с лица земли, возводится французская цитадель.

Слышны удары заступов, рабочие обтесывают и распиливают камни, саперы звучно стучат кирками о скалу; вереницы осликов, нагруженных песчаником, спешат к бреши.

В десять часов произошел взрыв. Предупреждающая барабанная дробь разогнала рабочих, площадка опустела. Через несколько минут прозвучало второе предупреждение; почти тотчас же последовало пять или шесть взрывов, похожих на выстрелы тяжелой артиллерии; одновременно такое же число менее громких взрывов раздалось в стороне восточной башни, которую тоже решили уничтожить. Эхо не повторило взрывов; они сухо прозвучали в чистом, прозрачном утреннем воздухе, мы почувствовали лишь легкий толчок почвы под ногами. Высокие клубы дыма, смешанного с пылью и камнями, взметнулись в голубое небо; израсходовав свою энергию, дым развеялся, и на землю посыпался дождь картечи, а несколько крупных обломков исчезли из вида, чтобы, со свистом пролетев по огромной параболе, врезаться в город. Ветер, захватив облако дыма, погнал его на юго-запад; скоро на идеально чистом небе остались лишь едва различимые рыжие пятна, и тишина вновь обрушилась всей своей тяжестью на встревоженную на одно мгновение пустыню.

Бреши была заделана; мы возвращались через Баб-эль-Гарби (Западные ворота) и поднялись внутрь укреплений, чтобы посетить маленькое кладбище, где похоронены офицеры, убитые при осаде или умершие от ран. Пока нет памятника, который будет здесь воздвигнут, небольшой квадратный участок с могилами окружен простой скамьей. Нет даже надписи с указанием имен похороненных здесь без различия в званиях и с равным правом на соболезнование. Они полегли в бою и покоятся между пороховым погребом и укреплениями, откуда пришла их смерть, на расстоянии выстрела, как я сказал, от места своей гибели.

— Теперь можно идти в город, — говорит лейтенант, увлекая меня по улице, лежащей за Баб-эль-Гарби.

Мы следуем по дороге, проложенной пулями и штыками наших солдат. Каждый дом — свидетельство ожесточенной борьбы. Здесь развернулось более жаркое сраже-

ние, чем у Восточных ворот. Лавина атакующих ворвалась с этой стороны и только потом распространилась на восток.

— Что здесь было! — сказал лейтенант, — дай бог, чтобы вы никогда не узнали ничего подобного.

Я знаю, о чем умолчал лейтенант. Войска продвигались, утопая в крови; сотни трупов валялись на земле, загромождая проход. В средней части улицы, по которой мы идем, расположены два мрачных свода в пятидесяти шагах один от другого; они достаточно высоки даже для верблюда.

— Под вторым сводом, — рассказывал мне лейтенант, — груды тел достигали перекрытия, поэтому пришлось сначала расчищать проход. Когда был разобран верхний слой убитых, обнаружили тело великолепного негра; почти обнаженный, с непокрытой головой, он лежал на трупе лошади, все еще сжимая в руке сломанное ружье, которым пользовался как дубинкой. Его грудь была изрешечена пулями, словно его расстреляли по приговору суда. Он последним покинул свой пост, отступая шаг за шагом, но не прекращая сопротивления, — бедный малый! — будто у него за спиной оставались жена и дети. В конце концов, не в силах продолжать оборону, негр вскочил на коня и бежал с мыслью прорваться через Баб-эль-Шерги, но врезался в роту, направлявшуюся на соединение со штурмовыми отрядами. Искалеченное животное рухнуло под негром и перегородило дорогу, положив начало баррикаде. Через полчаса завал превысил человеческий рост.

К уборке трупов приступили только через два дня. Знаешь как? Пользовались фуражными веревками, кордой для лошадей; люди впрягались вместо мулов, чтобы любой ценой избавиться от мертвых; их складывали в кучи, сваливали в колодцы, где и как могли. В один из колодцев, который мне показали, сбросили двести пятьдесят шесть трупов, не считая животных. Говорят, что над городом долго витал запах смерти, и я не уверен, что он полностью исчез. Но провидение подарило этой стране очень здоровый климат; в случае грозы, говорят, можно опасаться просачивания дождевых вод, но если эта угроза и реальна, то она уменьшается изо дня в день из-за крайней сухости и скоро станет совсем иллюзорной.

— Смотрите, — сказал лейтенант, остановившись у дома самого плачевного вида, где живет еврейская

семья,— вот жалкая лачуга, которую я не могу видеть без боли в сердце.

Пока мы шли дальше, он рассказал мне следующую историю, печальное воспоминание об одной из жестоких превратностей войны.

В этом доме до взятия города жили две очень красивые женщины из племени наиль. Экспедиционный корпус стоял у стен Лагуата, и за несколько месяцев до осады лейтенант Н. проник в город; с ним был сержант из его роты. Лагуатец, служивший им проводником, привел их к двум женщинам; они встретили французов совсем не как врагов. Одну звали Фатима, другую — Мириам. Лейтенант и его товарищ по приключению сохранили нежные воспоминания о ночном посещении; уходя из Лагуата, они подумали: «Если мы когда-нибудь вернемся, у нас уже будут друзья в городе».

4 декабря, во время штурма, лейтенант вспомнил о женщинах. Он был в передовой роте и, следовательно, одним из первых ворвался в город.

Сначала он выполнял свой долг: руководил людьми, увлекая их вперед, но через какое-то время понял, что пора сдерживать распалившихся солдат. Впрочем, каждый предпочитал действовать по своему усмотрению, и вскоре командир остался один со своим сержантом. Им одновременно пришла мысль броситься к дому Фатимы. Они с трудом смогли его узнать. На улице шла ружейная перепалка: сражение перекинулось в центр города. И все же они достигли цели, но слишком поздно.

Перед дверью один солдат торопливо перезаряжал винтовку, штык был красным, кровь стекала по стволу. Два других выбежали из дома, засовывая на ходу в свои «кепи» платки и женские драгоценности.

— Зло свершилось, мой лейтенант,— простонал сержант,— стоит ли входить?

Они вошли.

Бедные женщины лежали распростертые, без движения; одна — на мощеном дворе, другая — внизу под лестницей, откуда она скатилась головой вниз. Фатима была мертва, Мириам — при смерти. С их голов были сорваны повязки. Ни серег в ушах, ни браслетов на ногах, ни заколок на хайке. Жалкие остатки одежды едва держались на поясе вокруг обнаженных бедер.

— Несчастные! — проговорил лейтенант.

— Грязные воры! — воскликнул сержант, первым заметивший, что на женщинах не было украшений.

Во дворе они нашли топившийся очаг, блюдо с готовым кускусом, веретено с намотанной на него шерстью и небольшой пустой сундучок с оторванной крышкой. На галерее лежало тело мужчины — голова и руки свисали с террасы, — застигнутого при попытке к бегству после сопротивления, которое, наверное, и вызвало резню. Мириам, умирая, выронила пуговицу, сорванную с мундира убийцы.

— Вот она, — сказал лейтенант и показал ее мне.

Зная лейтенанта, я не удивился тому, что он придает такое значение этой реликвии.

Когда все трупы зарыли, в городе остался лишь гарнизон в тысячу двести человек. Выжившие в этом пекле арабы, бежали и рассеялись на Юге. Шериф, которому как-то удалось спастись, бежал только на следующую после штурма ночь. Раненный — многие сначала считали его убитым, — он совершил переход из Лагуата в Уарглу. Женщины, дети — все покинули родину. Даже собаки, обезумевшие, лишившись хозяев, оставили город и больше не возвращались. Какое-то время здесь царила ужасающая пустота, более грозная, чем соседство враждебного и едва сдерживаемого населения. В первый же вечер неизвестно откуда налетели тучи ворон и грифов. До сражения тут вовсе не было этих мерзких птиц. В течение месяца они летали над городом, как над бойней, в таком огромном количестве, что приходилось неоднократно устраивать их отстрел. Наконец пожиратели падали убрались прочь. Но ружейная пальба, следовавшая за грохотом осады, нарушила спокойствие садов, откуда улетели, не выдержав шума, тысячи пальмовых голубей; таким образом, опустел и оазис. Охоту запретили, и теперь много горлиц вернулось. Уцелело среди общей шумихи несколько одиноких грифов; они остались жить на восточных возвышенностях, словно в ожидании новой добычи.

Город заселяется вновь, но очень медленно. Возвращающиеся жители устраиваются в нижних кварталах. Они стараются не шуметь и занимать как можно меньше места. На все конфискованное имущество временно наложен секвестр. Из огромной военной добычи — ковров, оружия, украшений, — обильной, но, надо признаться, не слишком ценной, в Лагуате не осталось почти ничего, даже в руках победителей. Все дома, от самого бедного до самого богатого, пусты; все говорило о том, что население оставило этот город.

— По совести, они неплохие люди,— говорил мне лейтенант, указывая на группы арабов, которые поднимались с земли при нашем приближении и почти тепло приветствовали нас.— Они уже не способны открыто возмущаться, но еще могут вредить.

Вы видели вечерние улицы? Во Франции их называли бы разбойничьим притоном. У нас мстят сразу же или забывают обиду; тут все по-другому, не знаешь, как долго может таиться злоба. Глядя на арабов, можно подумать, что они не способны помнить, но не поручусь, что в один прекрасный день им не захочется свести счеты и получить несравненное удовольствие, набив мне живот камнями или содрав с живого кожу, чтобы натянуть ее на барабан. Пока что: господь написал, Сиди эль-Хадж Айса объявил.

Июнь 1853 года

Как все города в пустыне, Лагуат построен по простому плану, смысл которого в сокращении свободного пространства ради увеличения тени. Это лабиринт улочек, проходов, тупики, фондуки, окруженные аркадами. В густой сети тесных переулков, где тщательно старались увеличить количество поворотов, чтобы оставить меньше шансов солнцу, существуют только две прямые улицы, служащие главными артериями движения: одна — на севере, другая — на юге.

Та, о которой я хочу рассказать, начинается у Баб-эш-Шерги и ведет к Баб-эль-Гарби, пересекая город с востока на запад приблизительно в средней части холма, она одновременно отделяет верхний город от нижнего и объединяет их. Узкая, ухабистая улица вымощена белым камнем, сверкающим под полуденным солнцем. Надо обладать дерзостью арабских всадников, чтобы пустить по ней лошадь в галоп, а когда, не дай бог, сталкиваешься с караваном верблюдов, приходится либо поворачивать назад, либо пролезать на четвереньках между ног животных, либо ждать в дверном проеме, пока караван пройдет, что иногда может продолжаться целый час, хотя в нем бывает не более трех десятков тяжело навьюченных животных. Легко отличить по повадке верблюдов из кочевых племен, никогда не видавших города. Они настороженно оглядывают высокие стены и, если случится задеть их, страшно пугаются. Зачастую верблюд, возглавляющий караван, отказывается идти вперед и замирает, дрожь пробегает по всему каравану, испуган-

ные животные жмутся друг к другу, сбиваются в кучу, улица оказывается не просто перегороженной, а запруженной на значительном участке, и перед вами возникает непреодолимое препятствие, оцетинившееся ногами и торчащими в разные стороны головами, к которому невозможно без страха приблизиться. Слышны крики и рев, доносятся стоны и жалобное мычание. Представь теперь, что происходит под сводами, когда встречаются два каравана.

Эта улица к тому же еще и торговая, чуть ли не единственная, где открыты лавочки, кофейни, мастерские галантерейных изделий, магазинчики тканей и портновские заведения мзабитов. Кроме того, в самых глухих уголках прячутся узкие, задымленные лавчонки, где худые старики с острыми бородками раздувают угли ручными мехами и бьют молотками по наковаленкам, зажатым между пятками, выделявая мелкие металлические вещицы вроде свинцовых солдатиков. Эти старики очень грязны, на головах у них черные тюрбаны; заметь, ни один араб не присядет возле них. Их жены покрывают голову яркими, пестрыми платками, некоторые из них красивы и печальны, но надо признать, лишь очень отдаленно напоминают библейскую Рахиль.

Эти крошечные мехи вроде кузнечных, наковальни в два пальца шириной, горстка металлических опилок в глиняных чашечках — вот и все оборудование для изготовления украшений: гребней, ручных браслетов из нечистого серебра, филигранных застежек для ожерелий, булавок для хаиков.

Мзабиты, как и евреи, занимаются торговлей в этой стране, где торговля и кустарное производство считаются равно презренными занятиями. Как и евреев, их легко узнать по внешнему облику: цвет лица, как у мавров, красивые глаза, круглое лицо, небольшая полнота, которая изобличает породу торговцев и лавочников, обосновавшихся в городе. Мзабитов упрекают в том, что они предпочитают торговлю войне и занимаются ростовщичеством. Они вежливы и общительны с иностранцами. В других районах и в крупных центрах, где торговля в почете, их считают очень честными, и все сменявшие друг друга правители предоставляли им привилегии. Мы в этом отношении лишь последовали политике турок. Впрочем, соотечественников моего друга Бакира, мзабитов, арабы называют евреями пустыни.

Все дома в Лагуате сделаны из земли, которую берут

в садах, заливают водой, потом разделявают на бруски и сушат на солнце. Высушенные бруски укладывают рядами, как кирпичи, и вместо известкового раствора скрепляют и обмазывают жидкой грязью. Среди сооружений землистого цвета выделяются своей белизной только Дар-Сфа да старые бани Бен Салема. Все остальное серого цвета, но превращается на рассвете в розовый, в полдень становится фиолетовым, а вечером — оранжевым. Одни двери обведены по периметру известью; над другими изображена кисть руки, окрашенная в синий цвет; над третьими — разноцветная шахматная доска, клеточки которой расцвечены красными, голубыми и зелеными точками.

Всего четыре месяца назад в Лагуате шумели два оживленных рынка: в каждом квартале свой, возле ворот. Теперь эти обширные участки, где, говорят, едва размещались торговцы города-посредника, можно узнать лишь по земле, утрамбованной за долгие годы толпами людей и животных. Лагуат, перевалочный пункт между востоком и западом, между Теллем и пустыней, служил также местом обмена и складом; это было не только причиной его процветания, но и единственным смыслом его существования. Я пошел посмотреть место рынка в квартале Улед-Серрен. Сначала моему взору предстала голая равнина, пожираемая солнцем. Потом в глубине, у стены сада, я различил кучку людей, по-видимому разговаривавших о делах. Там же было несколько овец, две молочные козы, вымя одной из них изучал покупатель-араб, и пара кур, точнее, петух и курица; в Лагуате не было домашней птицы, но после завоевания пытаются акклиматизировать кур. Рядом два или три лагуатца, не принимавшие участия в торге, смотрели на парившего высоко в небе грифа. Хищная птица чужала скотобойню, но, должно быть, тоже нашла рынок очень изменившимся.

Я говорил тебе о площади, названной Большой площадью в отличие от двух фондуков, столь же пустынных, как и рынки. Благодаря ручью она является единственным оживленным местом в Лагуате вместе с кварталом кофеен и улочкой, где с наступления рамадана я провожу вечера в компании местных молодых щеголей.

Ручей, без которого оазис погиб бы, к счастью, никогда не иссыкает. Он берет начало в одном углу площади, пересекает ее под палящими лучами солнца и скрывается в другом, за стеной сада. Илистая, черноватая

канавка не способна скрасить вид всеобъемлющей засухи. Ручей, да не обвинят меня в неблагодарности, лишь усиливает жажду.

Воду набирают два раза в день, в основном с трех часов пополудни до наступления ночи. Оживление начинается, как только немного спадает дневная жара. Одна за другой женщины города спускаются к источнику в сопровождении девушек и целой свиты разновозрастных детей.

Разочарование — первое чувство, испытанное мной при виде белеющих фигур без украшений, одетых в лохмотья, покрытые пылью. Я вспоминал пестрые одежды женщин, живущих к югу от Константины: серые и белые покрывала, черные тюрбаны, пурпурные шерстяные шнуры, вплетенные в волосы, знаменитые красные хаики, хаик-ахмер, на котором сверкали разнообразные золотые украшения, гребни, браслеты, шкатулки, зеркала. Я вспоминал женскую улицу Тольги — два ряда прелестных лиц вдоль нее, словно высеченные барельефы. Я воскрешал в памяти яркие наряды, игравшие в лучах солнца, на фоне лилового песка дорог или среди темной зелени абрикосовых деревьев, и девушку, хорошо одетую, в богатых украшениях, поставившую свою палатку под пальмами Сиди-Укба; у нее был единственный недостаток: она приехала из Дра-эль-Гемель (Блошинных гор) в Туггурте.

С тех пор, уплатив дань сожаления, я почти забыл, что рассчитывал увидеть совсем иное. Ныне я уже не могу сказать, что суровое облачение не подходит этому краю, и навряд ли пожелаю добавить привлекательности. Местный наряд чрезвычайно прост, и описать его можно несколькими словами. Он состоит из хаика, покрывала, тюрбана, иногда набрасывается еще длинная женская накидка, или мехлафа.

Хаик — легкая и непрочная хлопчатобумажная ткань неопределенного цвета, среднего между белым, желтым и серым, — похож на тунику на греческих статуях, скрепляется застежками на груди или плечах и стягивается поясом на талии. Покрывало из той же ткани, еще более сомнительного цвета, подкладывается под тюрбан и образует апостольник. Оно закалывается на шее, расходится на груди, спускается по бокам, закрывая сзади все тело с головы до пят. Иногда оно длиннее, чем хаик, и производит впечатление королевского плаща. Косая и строгая линия от самого верха до нижнего края покрыв-

вала восхитительна, и при ходьбе складки колеблются самым изящным образом. Тюрбан делается из более светлой хлопчатобумажной ткани с цветными полосами по краям, иногда с бахромой; он наматывается, как турецкий, так, что один конец свисает на ухо, спереди низко надвигается на лоб до самых бровей. Головной убор считается тем красивее, чем больше и небрежнее намотан. Длинная женская накидка и выходное покрывало не обязательны. Их носят женщины побогаче и, полагаю, самые красивые. Наконец, когда женщины не ходят босиком, то надевают ботинки или кожаные чулки со шнуровкой, расшитые цветным шелком и красным сафьяном, вроде тех то ли азиатских, то ли греческих башмаков, которые можно видеть на ногах женщин на картинах художников Возрождения.

Теперь представь себе под легким покрывалом, изобилующим складками, рослых женщин с мужественными формами, с подведенными черным, немного раскосыми глазами, с волосами, ниспадающими волнами под покрывалом или обрамляющими косами вялые, болезненные, бледные лица, кажется не способные ни оживиться, ни еще больше побледнеть; обнаженные до плеч руки в браслетах до локтя: серебряных, костяных или резных из черного дерева. Иногда из-под приоткрывшегося хаика выглядывает высокая грудь или крутое бедро. При ходьбе женщины держатся прямо, поступь у них мягкая, бесшумная; наконец, им присуща какая-то величественная неуклюжесть; присев на корточки, они принимают позу обезьяны, а стоя — положение статуи.

В конечном счете красивых женщин не так много, но еще меньше не имеющих выразительной и величественной осанки.

Только здесь и нигде больше можно рассуждать о красоте лохмотьев. Надо заметить, что эти драпировки издали часто вводят в заблуждение, оказываясь вблизи жалкой ветошью. Но свободные одеяния арабов не имеют ничего общего с безнадежной нищетой ветхой одежды. Плохо ли, хорошо ли прикрыты их тела, они всегда полны достоинства и тем самым сродни богам.

Между девочкой и женщиной здесь нет переходного возраста; арабская девушка — это маленькая девочка. В десять лет — невеста, в двенадцать — жена, к шестнадцати женщина может уже трижды стать матерью. Все времена жизни смещены. Два едва различимых периода — детство и старость — и между ними летний

расцвет, так же быстро наступающий, как и блекнувший. Маленькие девочки одеты, как их матери; более изношенная, чем у матерей, и менее скрывающая тело одежда их не смущает. Вместо тюрбанов они носят платки, а нередко головным убором служит копна коротко остриженных волос, окрашенных в красный цвет. Некоторые девочки красивы, почти все милы; в них сочетаются достоинства взрослых женщин в миниатюре и пугливая приветливость диких детей. Я нигде не видел столько прелестных ножек, столько безупречных рук, не встречал столько грустных улыбок, соседствующих с самым веселым смехом.

Одну из них, Фатиму, я буквально преследовал, но она так и не согласилась на мою просьбу постоять спокойно шагах в четырех от меня, попозировать. Ты знаешь презрение арабов к моей профессии; у девочек оно выражается в том, что они относятся ко мне с большим подозрением.

Фатима ходит всегда с непокрытой головой, копна неухоженных волос обрамляет детское личико; голова словно огромный шар на тонкой шейке над хрупким телом. У нее огромные черные глаза, которые почти совсем закрываются, когда она улыбается; вместе с тем ее лицо может выражать ярость, как у дикой кошки. Когда я встречаю ее на дороге к источнику, она в первый момент теряется, не знает, что предпринять: вернуться домой, броситься бегом к площади или подойти и взять из моей руки деньги, которые я протягиваю ей на ладони, как горсточку зерен птице, намереваясь ее приручить. Чаще всего побеждает жадность, но ценой каких усилий! Дабы понять, до какой степени девочка ненавидит меня в такие минуты, надо видеть, как она подходит короткими шажками, но держась прямо, с высоко поднятой головой и смело устремленными на меня большими глазами, излучая отвагу, растерянная и злая, боязливо наблюдающая и в то же время переполненная гневом. Она догадывается, что я расставил ловушку, и смутно чувствует, что меня забавляет ее испуг. Едва она хватает деньги, как ужас — ведь она рискнула так близко подойти, радость от удачи — ведь ей удалось ускользнуть, боязнь, как бы я не погнался за ней, что же еще? — все это вместе заставляет ее сломя голову бросаться наутек. Безразлично, по какой улице, лишь бы убежать, она летит, размахивая пустым бурдюком, со взрывом прерывистого смеха, который одновременно выражает удовольствие

и пароксизм ужаса. Когда же мы встречаемся у источника, она тут же выдает меня женщинам и детям, и я слышу многократно повторяющееся шепотом неблагозвучное арабское слово, означающее «художник»; я долго его путал с другим, значащим «вор». Поднимается тревога; мне остается только покинуть площадь, так как совершенно ясно, что женщины приходят в отчаяние, когда я смотрю на их детей. У других девочек в возрасте Фатимы такой печальный вид, что они напоминают воплощение юной скорби.

Одна из них с простой повязкой на прямых волосах, с выпуклым лбом и молчаливым взглядом напоминает мне «Меланхолию» Альбрехта Дюрера.

Склонившись над темной водой, подставив спины жаркому солнцу, женщины и дети с подобранными выше колен хаиками, отброшенными назад покрывалами набирают воду, через воронки наполняют бурдюки и завязывают их, когда они разбухают. Весь этот мирок копошится, движется, теснится, но так немногословен, что многих можно принять за немых. Взбаламученная вода распространяет в воздухе иллюзию свежести, а влажная пыль пахнет грозovým дождем. Каждую минуту подходит новая семья, а предыдущая, запасшись водой, медленно возвращается в верхний город: женщина, согнувшаяся вдвое под тяжестью бурдюка, похожего на огромный черный пузырь, и маленькая девочка с воронкой из пальмовой соломы на голове — таков, видно, обычай — или с миской из коры в руках.

В гуще толпы, расплескивая воду, крутятся самые маленькие ребятишки с бритыми непокрытыми головами, ведь не все могут позволить себе роскошь купить детям феску. Слишком короткие или слишком длинные рубахи вот-вот готовы сползти с детских плеч. Большой живот, тонкие ноги, землистый цвет лица и, прости мне одну не слишком приятную местную деталь, гроздь мух в уголках глаз, в ноздрях и на губах делают этих мальцов, созревающих медленнее, чем их сестры, малоприятными созданиями. Удивляешься, как из них вырастают красивые и воинственные мужчины.

Иногда тяжелая обязанность доставлять воду в гору ложится на ослика с худым хребтом, лохматого, как коза, которого тычками в незаживающие раны на шее подгоняет ребенок, сидящий на нем между двумя бурдюками. Постепенно солнце опускается за пальмовую рощу и освещает лишь дальний угол площади. Первый план

погружается в не приносящую облегчения тень, где нельзя ясно различить ни одного цвета, только пурпурные фески нескольких мальчиков продолжают сверкать, точно маки-самосейки. В это время в противоположной от источника стороне наблюдается совсем иная картина. Я говорю о ней только потому, что она связана с ручьем.

Прежде чем уйти из города в сады, ручей делится на два рукава, предназначенные для попеременного отвода воды направо и налево через строго определенное время. Каждый землевладелец имеет водоотвод от основного канала своего квартала и может, таким образом, пользоваться несколько раз в неделю одним из рукавов этой маленькой речки, называемой Уэд-Лекье. Плотины стережет хранитель вод, назначенный муниципалитетом. Этот распорядитель воды далеко не последняя личность в городе. Я вижу его постоянно, ведь плотина находится перед моим домом; отдыхает он обычно на моем пороге, наслаждаясь тенью от моей стены. Лишь в полдень он укрывается под сводом и вполне дружески приветствует меня, когда я прохожу мимо. Это старик с седеющей бородой, этаким Сатурн, вооруженный киркой вместо косы, с песочными часами в руке. Узелки на веревочке, привязанной к часам, означают, сколько раз часы были перевернуты. Каждый день я нахожу старика на одном и том же месте перед двумя унылыми канавами, одна из которых суха, а другая полна воды. Он смотрит, как течет вода, и одновременно следит за тем, как сыплется песок, отмеряющий время, перебирая трясущимися пальцами свои странные «четки», каждый узелок которых соответствует четверти часа. Я никогда не видел лица более спокойного, чем лицо человека, обреченного складывать, узелок за узелком, четверти часа своей жизни. Веревочка кончается — значит, сады уже «напились» и пора менять направление ручья. Тогда он поднимается, разбивает киркой одну перемычку, а другую заделывает камнями, землей и соломой из хлева, затем снова усаживается у стены и возобновляет свои невеселые подсчеты.

Июнь 1853 года

В арабской семье такой уклад жизни, что редко удается увидеть вместе мужа, жену и детей и приходится наблюдать их по очереди. То, что я мог бы сказать о тяжелом положении арабской женщины, не ново, ты знаешь ее судьбу в браке: она — мать, кормилица, работница, ремесленник, конюх, служанка и даже домашнее вьюч-

ное животное. Жизнь мужчины, который в поразительно несправедливом разделении труда присвоил себе роль супруга и хозяина, протекает, как сказал какой-то географ в хорошем настроении, «за курением трубки и в полной праздности». Определение это верно лишь наполовину, если применить его к мужчинам этой страны, так как арабы Юга не употребляют табака, о чем я тебе уже, кажется, говорил; лишь изредка встретишь молодых людей с небольшими трубками из красной глины, курящих текрури. Я бы сказал для точности: «в поисках тени и полной праздности».

Город пустыни, как видишь, это сухое и выжженное солнцем место, которому провидение в виде исключения подарило воду и где предприимчивый человек создал тень. Источник, где собираются женщины, уличная тень, приютившая спящих мужчин, — вот банальные приметы, характеризующие Восток. Тут найдешь мужчин во всех тенистых уголках, под сводами, на площадях, на улицах — повсюду, только не дома. Супруги оказываются вместе только во время еды и ночью.

Улица Баб-эль-Гарби — один из моих «бульваров». В ожидании, когда жара вынудит меня оставить город и уйти в сады, я провожу там почти все время. К часу дня тень начинает слабо вырисовываться на мостовой; она еще не достигает ног сидящих у стены, человеку же, стоящему в полный рост, солнце обжигает голову; надо присесть и вжаться в стену. Земля и стены ужасно накаляются от солнечных лучей; собаки издают жалобный вой, когда им приходится пробегать по мостовой, раскаленной, как металлический противень; все лавки, на которые попадает солнце, закрыты; дальний западный конец улицы колеблется в дымке; в воздухе вибрируют глухие шумы; их можно принять за тяжкие вздохи задыхающейся земли. Постепенно из приоткрытых дверей появляются бледные и угрюмые фигуры в белом с видом скорее изнуренным, нежели задумчивым; они выходят, прищурившись, с опущенной головой, держа над собой покрывало, дающее тень для всего тела под отвесным солнцем. Один за другим эти люди устраиваются у стен, сидя или лежа, когда находят удобное место. Так мужья, братья, молодые люди заканчивают свой день. Они начали его на левой стороне улицы, продолжают на правой — это единственное различие в их вечерних и утренних занятиях.

В два часа все жители Лагуата выходят на улицу.

Как художник, я могу отметить, что в противоположность Европе в пустыне картины пишутся с темным, теневым центром и залиты светом по краям. Нет ничего более таинственного, чем такие полотна с эффектом, обратным полотнам Рембрандта. Тебе знакома эта тень страны света. Она невыразима — нечто смутное и прозрачное, бесцветное и окрашенное, — словно глубокая вода. Она кажется черной, но когда долго смотришь на нее, то удивляешься, насколько все ясно видно. Уберите солнце, и эта тень сама станет дневным светом. Фигуры плывут в какой-то светлой атмосфере, растворяющей контуры. Посмотрите на людей, устроившихся в тени: их белая одежда почти сливается со стенами, голые ступни едва различимы на земле, только лица выделяются коричневыми пятнами на расплывчатой картине. Можно подумать, что это обжигаемые солнцем статуи, вылепленные из одного материала с домами. О том, что это все-таки живые люди, отдыхающие в тишине, говорят лишь шевелящиеся складки одежды, струйка дыма, срывающаяся с губ курильщика текрури и обволакивающая его клубящейся пеленой.

Детей на улице нет; они редко выходят из дома и решаются появиться лишь на пороге, готовые сразу же спрятаться при виде чужих. Старики малочисленны, и, что бы ни говорили о продолжительности жизни в Сахаре, Несторы почитаются только потому, что здесь редки белые бороды. В этой части рассказа уместно повторить то же наблюдение, которое я сделал, описывая возраст женщин. Между мужчиной и мальчиком едва различим юноша; между мальчиком с непокрытой головой и его старшим братом, еще безбородым, но уже носящим мужской гает и обутым в тмаги, с трудом выделяешь подростка.

Все постоянные обитатели улицы Баб-эль-Гарби достигли возраста воинов, но, видя, как редки их жесты в моменты апатии, как вялы их лица и движения, как они на пальцах задают друг другу вопросы и отвечают, не открывая рта, глухим арабским «да», легким наклоном головы или опусканием век, послушав их разговор, когда они все-таки разговаривают, можно принять этих молодых людей за глубоких старцев. От них веет безразличием и в то же время достоинством, которое принимает эпический характер. Я нахожу, что, за одним или двумя известными исключениями, величие этого народа не представлено в жанровой живописи нашего времени. Едва

забрезжив на горизонте, силуэт араба стал принадлежностью маскарада. Этот человеческий тип набил нам оскомину своей банальностью, прежде чем мы его как следует узнали. Помнишь, однажды нам довелось увидеть странные плотные фигуры арабов с курносыми лицами, нечесаными волосами, в небрежной грубой одежде, словно сошедших с медальонов колонны Траяна, загорелых и равно похожих на старый мрамор и на бронзу?

Они разбили красные палатки на открытой площадке, ощетинившейся сухими стеблями кукурузы; тощие лошади и дромадеры с узловатыми ногами бродили на солнце между жердями; по виду людей и животных было ясно, что они пришли издалека, с нищих земель с суровым и жарким климатом. Эти пришельцы с Юга, поразившие тебя, словно нечто необычное даже в арабской стране,— настоящие арабы. В тот день ты лишь смутно различал маленькие фигуры на фоне бесконечного, однообразного пейзажа, ныне я хочу показать тебе арабов четко, словно на портрете, оправленном в раму, какими вижу их вблизи. Рама так мала, что они кажутся гигантами. Когда кто-либо останавливается, то перегораживает улицу своим широким одеянием, отброшенным назад. При встрече они обнимаются или здороваются за руку. Когда они проходят, слышен мягкий шорох сандалий; решив отдохнуть, они присаживаются, завернув одну руку в бурнус, оставив свободной правую, чтобы отгонять мух, перебирать четки, расчесывать бороду. Несколько минут уходит на обмен традиционными вежливыми вопросами:

— Как дела?

— Хорошо. А у тебя?

— Прекрасно.

Беседа окончена, воцаряется молчание, даже если собеседники бодрствуют. Отдыхают они во всех возможных положениях. Одни спят, свернувшись в клубок и уткнувшись подбородком в колени; другие, опираясь затылком и спиной о стену, запрокинув голову, разбросав руки ладонями кверху, вытянувшись всем телом и ровно поставив ступни, погрузились в глубокий сон, похожий на апоплексию; третьи, укрывшись с головой, подобно умирающему Цезарю, лежат на животе, и на белом камне мостовой выделяются их коричневые ноги и серые пятки; четвертые, опершись на локоть, поддерживают рукой подбородок, погрузив пальцы в бороду. Чуть в стороне

дремлют молодые люди, грациозно прижавшись плечом к плечу и держась за руки.

Все эти сонные лица отмечены величественными чертами; даже одуревшие от зноя, они сохраняют скульптурную красоту, а неправильные штрихи не нарушают впечатления сильного наброска. Борода, редущая к вискам, обрисовывает челюсть; невозможно представить лучшее сочетание бороды и цвета кожи: у европейца черная борода на светлом лице кажется накладной, у арабов незаметно переходит в темную кожу и является неотъемлемой частью лица. Нос у чистокровного сахарца прямой и расширяющийся книзу; если есть небольшая примесь негритянской крови, то это мясистые, выпяченные губы; наконец, скулы и надбровные дуги — все крепкое, широкое, кажется созданным сверхъестественной силой.

В больших темных глазах, когда поднимаются ресницы, вспыхивают искорки, пробегают дикие огоньки, черный зрачок расширяется и заполняет глазное яблоко, так что едва остается более светлая точка во внешнем уголке глаза и точка цвета крови во внутреннем, будто две черные дырки в спокойной маске, через которые время от времени огненными струями может вырываться душа.

Костюм достаточно известен, нет смысла его описывать. Названия не имеют значения: гандура, хаик, бурнус, гает и так далее — нет ничего более простого, весь наряд сводится к трем кускам ткани, надетым один поверх другого: нижняя рубашка, которой не видно, покрывало, обрамляющее лицо и два или три раза обернутое наподобие шарфа вокруг тела, закрывающая все тело накидка с капюшоном, который иногда надевают на голову. Все из тяжелой плотной белой материи, образующей крупные складки. Покрывало, удерживаемое на голове серым шерстяным шнурком, увеличивает голову вширь, а не в высоту. Таким образом, мужчина задрапирован под стать женщине. Его костюм представляет собой самое простое и величественное одеяние, которое я когда-либо видел. Эта одежда достойна патриархов, рядом с ней военная форма и официальный костюм сахарцев имеют фантастический вид, как говорят арабы, то есть вид обманчиво роскошный, немного напоминают театральный реквизит. В руках они держат не трубки, а четки из финиковых косточек, нанизанных на шерстяную нить с добавлением нескольких стеклянных бусин и кусочков неотшлифованной ляпис-лазури, к этим четкам

подвешен маленький костяной гребень или амулет. Четки висят на груди, и правая рука непрерывно перебирает косточки. Оружия они не носят, только к поясу подвешивают маленький железный нож для бритья в кожаном футляре. Всадники надевают большие сапоги и соломенную шляпу с кожаным ремешком, в руке они держат длинное ружье, а под седло засовывают (или вешают на плечо) саблю — турецкую, кабийскую, испанскую или тарги *. Хотя различия в одежде незначительны, нет более непохожих друг на друга людей, чем пеший и верховой житель пустыни. Определить, в чем их различие, сложно, но, может быть, тебе будет понятней, если я скажу, что первый скорее исторический тип сахарца, второй — современный. Пеший араб может сойти за человека любого народа и времени — библейской эпохи, древнего Рима или Галлии, только в его облике чуть заметны черты восточной расы, а выражение лица свойственно людям пустыни. Можно поместить его в любую малую или большую картину, и эта фигура не вызвала бы возражений у Пуссена.

Всадник, сжимающий бока своей изнуренной лошади, то привстающий на стременах, отпуская поводья, и с гортанным криком пускающий ее в галоп, то мчащийся, пригнувшись к ее шее, одной рукой вцепившись в луку седла, а в другой держа ружье, — это житель Сахары. Его не спутаешь даже с сирийским наездником. Верховой сахарец своеобразнее своего пешего собрата. Впрочем, речь идет не о том, чтобы предпочесть одному другому: один — это история, другой — жанр; «Еврейская свадьба» сохраняет свою ценность даже после «Семи священных таинств». Зачем я приехал сюда? Кого я надеюсь здесь найти? Араба или человека?

На днях я наблюдал, как от площади к Баб-эль-Гарби устремился отряд из полусотни арабских всадников. Дело было утром; отряд спешно вызвали, получив известие, что торговый караван с Юга, идущий в Телль, пошел на запад, в обход Лагуата. Все седлали лошадей у своих дверей и собирались в назначенном месте. Видно было, как они выезжают из глубины улицы, пересеченной в двадцати шагах от меня сводом, наклоняются на мгновение, чтобы проехать под ним, затем вновь появляются, уже стоя на стременах, пускают лошадь в карьер и летят, словно ветер. Улица так узка, что всякий раз я ощущал движение воздуха от проносящейся мимо лошади, и так круто спускается к площади, что лошади при-

ходится напрягать ноги. Мостовая звенит под копытами, слышно позвякивание железных стремян и длинных шпор, а человеческий торс кентавра не шелохнется. Всадники улыбались друзьям, мимо которых проезжали, глаза их горели, а длинным ружьем они потрясали так, словно вот-вот собирались воспользоваться им. Обычная, довольно часто встречающаяся картина: всадник мчится галопом по улице, но именно в Лагуате — не могу объяснить причины — она особенно поразила меня. Это была одна из самых красивых картин с всадниками, которые мне доводилось видеть, и я был свидетелем того, как преобразились лентяи, оказавшись в седле.

Июнь 1853 года

Благодаря лейтенанту Н. — моему спутнику во время прогулок и, пожалуй, другу — я начинаю заводить знакомства. Меня приветствуют при встрече и называют не *сиди*, а лейтенантом, как его; недостает только, чтобы местные чиновники, привыкшие видеть нас вместе и не понимающие, кто я такой на самом деле, оказывали мне военные почести. У лейтенанта Н. немало друзей в городе, он изучил этих людей, помнит, кто их предки, знает историю каждого, их семейные дела, родственные узы; он в некотором роде врач для больных, защитник для самых бедных; в этом качестве, хотя его и побаиваются, помня, как строго он наказывает за провинности, он вхож в большинство домов, двери которых закрыты для прочих; я высоко ценю эту привилегию, так как он любезно позволяет и мне пользоваться ею.

Лейтенант Н. прекрасно понимает, чего стоит дружба арабов, и называет их «лжедрузьями». Среди его «лжедрузей» старый охотник на страусов и газелей; он первый запросто впустил меня в свой дом, поскольку возраст и внешность его жены не могли дать ему пищу для ревности. Характер у него жизнерадостный, настроение всегда хорошее, он любит пофилософствовать и пренебрегает некоторыми предрассудками, как человек, который после долгих размышлений понял суетность жизни и смеется над земными тревогами.

Судя по седым волосам и бороде, охотнику за пятьдесят. Внешне он похож на волка: маленькие глазки прикрыты сморщенными, воспаленными веками без ресниц, острый взгляд, как стрела, пронизывает человека насквозь.

Он немного хромает на одну ногу. Хромота — ре-

зультат огнестрельной раны бедра, он, однако, объясняет свою хромоту иной причиной. Охотник еще очень бодр, как старый кабан, не поддающийся смерти. Если бы он рассказал о своей жизни, рассказ, вероятно, был бы длинным и, безусловно, полным не одних охотничьих приключений. Я знаю только, что родом он не из Лагуата, что долгие годы провел среди племени шаамба, занимаясь рытьем артезианских колодцев и охотой; еще он говорит об Уэд-Гире и Джебель-Амуре так, словно ему знаком каждый уголок пустыни от границы Туниса до Марокко, но больше всего он любит говорить о порохе, со всей страстью человека, который всю жизнь пользовался им. Он живет в нижнем городе, в конце тихой улочки, рядом с садами. Сначала я думал, что его нищенское жилище из самых бедных, пока не убедился, что оно ничем не отличается от остальных. На фоне общего безделья и запущенности трудно определить истинную степень нищеты.

Впрочем, это жилище слишком любопытно, чтобы им пренебречь: оно выразительно завершает портрет этого полного контрастов народа. Жилые строения, в которых ютятся обычно две или три семьи, окружают с четырех сторон прямоугольный двор, каждое состоит из одной, максимум двух полутемных комнат, куда день входит через единственную, всегда открытую дверь. Дверь низкая и впускает солнце только утром и вечером, когда его лучи падают совсем косо, так что в комнату проникают только его отблески; черные стены покрыты толстым слоем чего-то вроде битума, напоминающего осевшую копоть, хотя обычно огонь разводят во дворе. Потолок, скрытый в вечном полумраке, служит убежищем для всяких омерзительных насекомых. Когдаходишь в пустой двор, заваленный нечистотами, сначала не видишь никого, разве только край одежды женщины, исчезающей в черной дыре двери. Слышен тихий сухой стук, напоминающий равномерные удары отбойного молотка, доносящийся изо всех комнат через равные промежутки времени; затем с трудом различаешь стоящий в каждой комнате в квадрате света, отмеренном дверью, большой ткацкий, грубо сколоченный станок, опутанный натянутыми нитями, среди которых бегают коричневые пальцы и движутся острые зубья металлического инструмента, похожего на гребень; понемногу глаз привыкает к полумраку, и наконец удается различить за сетью белых нитей причудливый силуэт сидящей работницы-ткачихи и

ее большие глаза, изумленно смотрящие на непрошеного гостя.

После захвата города ткачество стало домашним делом и свелось к выделке одноцветных грубых тканей да изготовлению предметов первой необходимости: шерстяных хаиков, дешевых бурнусов, джерби, то есть покрывал. Иногда несколько сидящих рядом женщин с грудными младенцами на коленях работают над одним куском материи; ткань растянута во всю ширину комнаты, так что середина ее находится напротив двери, а оба конца — в полумраке углов. Сидящие на корточках женщины прижимаются спинами к стене и или ударяют по ткани, чтобы уплотнить ее, или прореживают ткань, под ногами везде мотки шерсти. Самая старшая сидит в стороне, чешет грязную шерсть широкой железной скребницей. Худенькие девочки, еще более бледные, чем их матери, взобравшись на высокие скамейки, стоящие по углам, работают на маленьких прялках, украшенных перьями страуса; с кончиков их желтых пальчиков свисают до земли длинные нити, крутящиеся и сворачивающиеся под тяжестью веретена. Совсем уж маленькие дети дремлют в углах нагишом, только лица их прикрыты тряпками от мух.

Трудятся все, за исключением тех, чей возраст освобождает их от работы. Ткачихи почти не разговаривают. Со лбов скатываются капельки пота; чем сильнее жара, тем бледнее становятся лица. Каждая семья имеет во дворе собственный уголок у почерневшей от дыма стены, где готовится пища; рядом отведено место для еды. Тут лежит пустой бурдюк, рядом раздутый и полупустой — с молоком, который встряхивают время от времени; на земле же валяются деревянные блюда, солдатские котелки, несколько грубых глиняных мисок, лоскуты телли, обрывки джерби, черепки, обглоданные кости, очистки овощей, разные объедки. На всем этом кишат миллионы мух, земля от них черная и шевелится, как живая. Вообрази теперь раскаленное добела солнце, которое освещает квадрат двора, и приводит в движение этот бесчисленный рой; вход во двор сторожит желтый пес с лисьим хвостом, с вытянутой мордой и прямыми ушами, который то и дело тьякает, готовый прыгнуть на зазевавшегося прохожего. Добавь неопишуемый запах нагретых нечистот при постоянной температуре 40—42° и, может быть, получишь представление — за исключением запахов, ведь я тебя щажу, — о домах, куда мы с лейтенантом Н. отправляемся наносить визиты.

День проходит в полной тишине. Мужчин дома нет, женщины работают, самые маленькие дремлют, собаки бодрствуют. Ни песен, ни шума; отчетливо слышно непрерывное жужжание мух, особенно когда стихает стук станков. Иногда ястреб появляется в квадрате голубого неба, заключенного между серыми стенами двора. Его тень, плывущая по земле, заставляет сторожевого пса поднять голову и разразиться хриплым лаем. Птица камнем падает вниз, хватая что-нибудь из отбросов, взмахивает крыльями и взмывает ввысь; она поднимается широкими кругами и, набрав большую высоту, замирает, так что едва можно различить желтое пятно с темными точками, совсем неподвижное, словно чучело золотой птицы с распростертыми крыльями прибито на синем фоне.

Вечером зажигаются костры, бурдюки наполняются водой, готовится ужин; мужчины возвращаются, и вся семья собирается на краткие минуты вместе под прекрасным ночным небом, почти таким же светлым, какое иногда бывает в Европе.

Вчера после обеда мы пришли к охотнику на страусов и застали его за трапезой. Солнце только что зашло, над террасами начали распространяться редкая рыжеватая дымка и зловонные пары. Один и тот же запах пищи исходил из всех домов.

Улицы опустели, на них можно было встретить лишь таких бедняков, которые не ужинают даже во время рамадана. Одноглазый старик был в веселом настроении, и мы проболтали с ним об охоте более двух часов. Лейтенант Н. питает слабость к старому бродяге, разделяя его страсть к охоте. Разумеется, речь идет не о псовой охоте с африканскими борзыми *слуги*, наш друг занимался только охотой с засидкой. Он принадлежит к многочисленному классу пешеходов пустыни. Навряд ли он взбирался когда-нибудь на лошадь, разве только на верблюда. Ноги у него не такие, как у тех, кто ездит верхом. Когда старик рассказывает о своем охотничьем снаряжении, он сопровождает свое повествование пантомимой: указывает на здоровую ногу и зрячий глаз, как бы давая понять, что всегда обходится собственными силами. Как человек, пришедший из страны страусов, он с явным презрением относится к здешнему краю. Страусы действительно редки в районе Лагуата, они появляются здесь лишь в периоды сильной жары, когда на всем Юге нет воды и жажда заставляет их мигриро-

вать в поисках источников. Они добираются только до Рас-аль-Уйюн, но не остаются там, а только проводят ночь. В такое время гигантских птиц можно встретить на востоке, у источников Эль-Ассафии, на западе, на дороге к Джебель-Амуру и в зарослях Решега, но они здесь долго не задерживаются, их приходится терпеливо выслеживать и ждать подходящего момента. Зато газели изобилуют на всем протяжении Ксурских гор, везде, где есть хоть немного травы, особенно розмарина.

Тебе известно пристрастие газелей к сильно пахнущим растениям, встречающимся в этом климате, и знаком тот «продукт», который собирают в местах их обитания. Маленькие коричневые катушки, более или менее пахучие в зависимости от употребляемых газелями растений, очень ценятся арабами; их смешивают с табаком и применяют как ароматические курения. Их терпкий запах напоминает мускус. Достаточно провести вечер перед кофейней Джериди, чтобы понять, что Лагуат находится в центре страны газелей. Именно этой сравнительно жалкой добычей должен был довольствоваться наш охотник с того времени, как обосновался в этом городе и обрек себя на жизнь, которую рассматривает как ссылку или заключение. Как всякий старый солдат, утешающийся во время легкой перестрелки рассказами о больших войнах, в которых он участвовал, наш друг молодеет, когда говорит о страусах, а когда произносит слово *делим* (страус-самец), мы понимаем по особому ударению, что только сейчас пойдет настоящий рассказ о приключениях, достойных охотника-ветерана. Если слушатель не лишен воображения, то, клянусь тебе, в компании такого рассказчика можно совершить чудесное путешествие. Я слушал его, и передо мной приподнимался занавес, открывая чудесный и далекий мир, целую новую страну. Возникали удивительные картины. Еще более угрюмая местность, длинные переходы по безводному бездорожью, ни деревца — негде укрыться от солнца, горячие дюны, где птицы откладывают свои яйца, вокруг причудливые, крупные, как львиные, следы; затем засада в течение солнечного дня и ночи с долгим бодрствованием среди вечно безмолвия, иногда несколько суток подряд в горячих песках в ожидании благоприятной ночи; неуловимая точка — маленький человек, затерявшийся в огромном пространстве, выслеживает добычу. И в центре полот-

на — героическая борьба между страстью охотника и праждебной ему пустыней. Одноглазый старик воссоздавал сцены своей жизни, сквозь гротеск воспроизведения просматривалась правда. Длинная дубинка, *джерид*, служащая ему опорой, заменяла ружье. Он начинает движение со здоровой ноги, припадая на больную, и переваливается при каждом шаге, но забываешь, что он хромает, — столько энергии и движения в походке инвалида; возникает мысль о пружине, помогающей ему при ходьбе; он идет вперед импульсивно и безостановочно. Старик — прекрасный ходок, кажется, что рана сделала его еще более неутомимым. Его хаик торчит за спиной. Единственный глаз, вынуждающий чаще поворачиваться в одну сторону, чем в другую, ищет следы; раздутые ноздри улавливают запахи; торчком стоящие уши прислушиваются к звукам. Вдруг он падает на живот, прижав свое «оружие» к телу, и застывает. Не забудь, что вся эта сцена разыгрывалась в двух шагах от группы женщин, в том углу двора, где семья только что обедала. Костер, поддерживаемый верблюжьим навозом за неимением дров, отбрасывал лишь слабый свет. Женщины, не знаю, по какой причине собравшиеся вокруг — ведь и ночью тут нечем дышать, — грустно смотрят почти неразличимыми в темноте глазами на затухающий костер. Детей, спящих у стены, совсем не видно. Глубокая тишина царит во дворе, и ни лейтенант, ни я не хотим нарушить ее. Через минуту старый охотник приподнимается на локте и ползет, упираясь подбородком в землю, вытянувшись, как ящерица; незаметно палка перешла в левую руку; он долго прицеливается, осторожно, с уверенностью человека, который не хочет упустить такой редкий случай, и наконец стреляет, то есть громовым голосом воспроизводит звук выстрела: бум! В мгновение ока он вскакивает на ноги и принимается прыгать. Я подумал, что старик сошел с ума, так энергично он исполнял свою роль или, скорее, роли: подражал одновременно раненому страусу и охотнику, бегущему за ним; размахивал обеими руками, изображая огромные крылья птицы, бьющие по земле; наконец он сделал последний бросок, испустив короткий крик тревоги, радости овладения добычей, нагнув голову, словно упершись в страуса, затем повернулся к нам и громко рассмеялся. Глазки его разгорелись, рот широко открылся в приступе радости, и я увидел блестящие зубы, похожие на клыки хищника.

— Что вы скажете об этом хищнике? — спросил меня лейтенант.

— Скажу, что, хоть хромой и одноглазый, он, наверное, прекрасный охотник.

— Вот уж не знаю, — сказал лейтенант, — одно известно — у него в теле сидит пуля.

Во дворе, в сторонке, сидел человек в бурнусе; он вошел во время представления и не проронил ни слова.

Только собравшись уходить, мы его увидели.

— А, это ты, Тахар, добрый вечер, — сказал лейтенант. — А кто же сторожит воду?

Старик встал, ответил, что такой-то, пожелал нам доброго вечера и снова сел. Охотник проводил нас до улицы, призывая на нас благословение неба.

— Разве хранитель воды из этой семьи? — спросил я, когда мы остались одни.

— Это брат одноглазого, — ответил лейтенант. — Трудно поверить, правда? Еще один возвратившийся эмигрант, но он порядочный человек.

— Вы его знаете?

— Первый раз мы встретились четвертого декабря, ночью, за оградой у Баб-эш-Шет, где, как я вам рассказывал, вырвали клочок из моей шинели. Сражение в городе уже закончилось, перестрелка продолжалась только в пальмовой роще. Тахар, его сын и еще один старик прятались за стеной, откуда стреляли по французам, и бросились бежать. Я сказал сержанту: «Стреляй в молодого». Юноша покатился, как кролик, затем вскочил и бросился прочь. Приближалась ночь, играли сбор, преследовать его было бесполезно. Один из стариков был смертельно ранен, и мы взяли только Тахара. Он не хотел сдаваться, но в конце концов я его убедил, и он позволил увести себя. Однако на следующий день он убежал, и правильно сделал, по-моему. Через два месяца его нашли бродящим в окрестностях. Старик был в лохмотьях и босиком, бедняга искал своего сына. Его пощадили, и он поселился у брата, вернувшегося в Лагуат несколькими днями раньше. Позже я устроил его на службу. Тахара все успокаивали, говорили, что сына вернуть нельзя, что его, наверное, похоронили вместе с другими. — Если только он не остался на холме, — добавил лейтенант. — Там валялось много трупов, четырнадцать тел в скалах было брошено на растерзание собакам — их никто не подобрал.

Когда мы расставались, кто-то из проходивших мимо

поздоровался приятным голосом. Это был флейтист Аумер, весь в белом, в хаике, поднятном на египетский манер, и без бурнуса. Он беспечно пересекал площадь, направляясь к кофейне. По виду и голосу его можно было принять за женщину. Он шел коротать время к Джериди.

— Аумер, флейта с тобой? — крикнул лейтенант.

— Да, *сиди*, — ответил издали Аумер.

— Тогда пойдем за ним, — сказал я, — раз уж нам обоим не хочется возвращаться домой, останемся у Джериди до ночи.

Аумер — необычный тип. Из всех молодых красавцев города он самый элегантный и самый приветливый. Ему присущи грация, огонь и еще более редкое качество — беспечная веселость. Большой рот, прекрасный цвет лица, негустая бородка, глаза, казалось созданные для улыбки, — все это придавало ему вид человека, всегда пребывающего в хорошем расположении духа. Говорят, он надежен, смел, отважен, прекрасный воин и великолепный наездник. Но настоящее место флейтиста — в мавританской кофейне, где мы его видим каждый вечер, небрежно одетого, бледного из-за поста, играющего на тростниковой флейте стройные мелодии с многочисленными кадансами или танцующего под аккомпанемент собственной песни вялый танец альмей Юга. Когда он верхом, он утрачивает свое очарование музыканта и танцора и приобретает обычный вид арабского всадника. Я не знаю, может ли его одурманить пороховой дым, но звуки флейты производят на Аумера сильное действие. Он предпочитает собственную музыку, она приводит его в состояние, близкое к опьянению.

На соседней улице пьют кофе. Несмотря на поздний час, у кофейни и табачной лавки Джериди сидят двенадцать фигур в белом, рядом с каждым чашка кофе, некоторые с сигаретами, издающими сильный запах мускуса, босые ноги упираются в противоположную стену узкой улицы.

Я уже рассказывал тебе, что кофейня Джериди — самое посещаемое в Лагуате место, где собирается кружок надушенной и наряженной молодежи. У Джериди курят больше и развлекаются чуть дольше, чем где бы то ни было. Табачную лавку уже закрыли, кофейня освещена лишь красным отблеском очага: время около полуночи. Легкий ветерок заставил шелестеть две или три пальмы в конце улицы; их черные веера неясно выделя-

ются на фоне фиолетового неба, усеянного бриллиантами. Млечный Путь расположился над нашими головами, как раз вдоль улицы, заливая ее лунным полусветом.

Аумер играл на флейте — сначала довольно равнодушно, затем все с большим теплом и, наконец, с подлинной страстью. Я видел только покачивание его тела и рук, странное покачивание головы; музыка лилась непрерывно в течение часа, то громче, то еле слышно, словно звуки извлекались на последнем дыхании. Все молчали, только Джериди сновал туда-сюда, забирая пустые чашки, принося полные; он снял сандалии и ходил неслышно, как ходят арабы, когда не хотят произвести шума. Время от времени протяжный голос певца, вдохновленного нежным мотивом, сливался под сурдинку с воркованием его свирели.

Это были прекрасные часы. Спокойная ночь, умиротворяющий блеск звезд. Так приятно сознавать себя живущим на земле, размышляющим в полном согласии со своими чувствами и мечтами; не припомню, чтобы мне приходилось испытывать столь полное удовлетворение жизнью и переживать такие глубокие чувства, как в тот вечер, слушая восхитительную музыку Аумера.

Лейтенант сосредоточенно курил сигарету, откинув голову назад; я видел его большой, чистый и плоский лоб, серьезное лицо и закрытые глаза. Возможно, он задумался. Я наклонился к нему и спросил:

— О чем вы думаете?

— Ни о чем,— ответил он.

— А что вы скажете об этой ночи?

— Скажу, что ко всему привыкаешь. Мой любезный друг,— продолжил он,— если бы в те теплые ночи, когда я бодрствовал вне дома в хорошем расположении духа, я думал бы о чем-то, то стал бы слишком большим философом для солдата.

Затем он обратился к Аумеру:

— Мой маленький Аумер, может быть, ты станцуешь?

Аумер передал флейту соседу, закрыл нижнюю половину лица, развязал свой муслиновый шарф и опустил его к ногам, как платье, затем, взявшись обеими руками за концы шарфа, начал танцевать. Танец Аумера в точности повторял женский танец, но чуть насмешливо, что очень развлекало непритязательных зрителей.

Постепенно это представление завершилось: песни были исчерпаны; некоторые ушли, другие вытянулись на скамьях; сам Джериди давно уже посапывал, лежа

поперек улицы, касаясь головой и ногами порогов двух своих лавочек. Ночь становилась свежее; в воздухе чувствовалось какое-то дрожание. Я взглянул на часы: половина четвертого.

Июнь 1853 года

Погода великолепная. Жара набирает силу, но пока только возбуждает меня, вместо того чтобы оглушить. Вот уже восемь дней, как ни одного облачка не видно на горизонте. Небо чистого ярко-синего цвета заставляет думать о предстоящей длительной засухе. Горячий ветер с востока дует с перебоями утром и вечером, но всегда слабо, будто лишь для того, чтобы поддерживать легкое покачивание листьев пальм, похожих на индийские панки *. Уже давно все облачились в легкие куртки и широкополые шляпы. Вся жизнь протекает в тени. Я не хочу соблюдать сиесту — это значило бы ради сомнительного удовольствия, которое дает отдых, потерять один из самых прекрасных часов дня. Хуже моей комнаты для послеобеденного сна нет; причины я объясню тебе как-нибудь вечером, когда у меня не будет лучшего занятия, чем жаловаться на судьбу. Как бы ни был притягателен отдых в тени, я отказываюсь от него и продолжаю в самый полдень общаться с ящерицами в песках, бродить по вершинам холмов или ходить по городу.

Уроженцы Сахары обожают свою страну, и я готов разделить их страстную привязанность к родной земле. Пришельцам с Севера Сахара кажется опасной страной, где умирают если не от зноя и жажды, то от тоски. Некоторые удивляются, встретив меня в Лагуате, почти все единодушно убеждают не оставаться здесь более нескольких дней, пугая бесцельной тратой времени и сил, риском потерять здоровье, и, что хуже всего, не находят здравого смысла в моем поступке. Но я остаюсь в этом краю, прекрасном своей простотой, который мало чем может очаровать, но способен так же сильно взволновать, как любая другая страна. Действительно, эта беспощадная и суровая страна заставляет человека, впервые попавшего в пустыню, посерьезнеть, но слишком многие склонны путать это влияние Сахары со скукой. Эта холмистая страна растворяется в бесконечном равнинном пространстве, освещенном вечным светом. Пустота и печаль — вот два слова, дающие точное представление об этой удивительной земле, пустыне; почти всегда одинаковое небо, всеобъемлющее безмолвие, чистый

горизонт и в центре нечто вроде затерянного города, погруженного в пустоту; немного зелени, островки песка, несколько скал, беловатых, известковых или черных, сланцевых, на берегу огромного пространства, похожего на море; слишком мало разнообразия. Всегда одинаковое, пожирающее все вокруг солнце встает над пустыней и садится за холмами. Песчаные дюны меняют место и форму под действием южного ветра. Короткие зори, продолжительный, давящий полуденный зной, почти полное отсутствие сумерек, буйство света и жары, жгучие ветры, которые придают ненадолго пейзажу грозный вид и производят на путника удручающее впечатление, и преобладающая, лучезарная неподвижность, застывшая угрюмость хорошей погоды, некая бесстрастность, спустившаяся с небес.

Первое впечатление от этой исполненной огня мертвой картины, написанной солнцем, простором и безлюдьем, разрывает сердце. Его ни с чем нельзя сравнить. Постепенно глаз привыкает к величественной строгости линий, к пустоте пространства, к обнаженной поверхности, и если еще сохраняешь способность чему-то удивляться, то лишь потому, что не перестаешь восхищаться неизменными эффектами и с живым волнением воспринимаешь обычные картины. До сих пор я не встречал ничего поразительного, что соответствовало бы распространенному мнению об этой стране. Ни необычно яркий свет, ни более прозрачное и голубое, чем в Алжире, небо не вызвали у меня ни малейшего удивления. Небо сухой и жаркой страны совершенно не похоже — я нарочно подчеркиваю это — на небо Египта, земли орошаемой, заливаемой и нагреваемой одновременно. Египет — это большая река, просторные лагуны, влажные ночи, вечные испарения, поднимающиеся с земли. Сахара — это ясная безводная равнина, это бурая или белая почва, розовые горы на фоне огромного ослепительной синевы пространства. Когда заходящее солнце золотит небо, пустыня становится фиолетовой, с легким свинцовым отливом. Красивых миражей я не видел. Если не дует сирокко, горизонт всегда ясен и четок. Утром горизонт и небо разделяет пепельная полоса, которая растворяется к середине дня, неторопливо истаявая в воздухе. Далеко на юге, там, где лежит оазис Мзаб, заметна неровная линия тамарисковых роц. В этой части пустыни ежедневно возникает легкий мираж, приближающий роци и увеличивающий их размеры;

иллюзия настолько поразительна, что лишь посвященные могут в ней разобраться.

Лучшие часы, о которых потом я буду больше всего сожалеть, я провожу на холмах, чаще у основания Восточной башни. Передо мной открывается огромный свободный со всех сторон горизонт; ничто не останавливает взгляд. Мой наблюдательный пункт возвышается надо всем; под ногами у меня горы, город, оазис и пустыня. Я стою на своем посту утром и в полдень и возвращаюсь сюда вечером; я всегда один, лишь изредка ко мне подходят случайные путники, привлеченные белым пятном моего зонтика и, конечно, удивляющиеся моему пристрастию к возвышенным местам. Обзорная площадка, окруженная стенками, куда добираться со стороны города по довольно крутому склону, загромождена камнями. С южной стороны спуска нет, скала отвесно обрывается, а внизу лежат сады. Я прихожу сюда сразу после восхода солнца и встречаю местного часового, который спит под башней. Очень скоро караул снимают, так как его выставляют только на ночь. Ранним утром все кругом ярко-розового цвета с оттенком персикового; город усеян точками теней, и несколько маленьких белых гробниц на опушке пальмовой рощи довольно весело сверкают на фоне угрюмой местности в короткие мгновения свежести и улыбаются восходящему солнцу. Слышны смутные шумы и что-то вроде пения, так что убеждаешься: пробуждение — это радость во всех странах мира.

Каждый день в одно и то же время раздаются крики бесчисленных птиц. Это ганги, прилетающие из пустыни к источникам. Они летят над городом, разделившись на группы, словно в боевом порядке. Птицы летят быстро, различаешь взмахи их острых крыльев, слышишь странные и беспорядочные крики, громкие или тихие в зависимости от высоты полета. Я по-настоящему волнуюсь, узнавая издали авангард ганг; пересчитываю стаи птиц, их число почти всегда одинаково; ганги летят в одном направлении — с юга на север, на меня, пересекая город по диагонали. Их перья, окрашенные солнцем, закрывают на время голубое небо светящимися золотыми песчинками; я слежу за ними взглядом до Рас-аль-Уйюн и теряю их из вида, когда они достигают оазиса, но часто продолжаю слышать их призывные крики, пока последняя стая не садится у источника — как правило, в половине седьмого. Через час крики птиц

возобновляются на севере. Те же стаи пролетают одна за другой над моей головой, в том же порядке и в том же количестве, возвращаясь на свои пустынные равнины; на этот раз шум не обрывается, а постепенно затухает в тишине. Можно сказать, что утро кончилось и единственный улыбающийся час дня прошел между прилетом и возвращением ганг. Пейзаж из розового уже стал буро-красным; в городе меньше маленьких теней, он сереет, по мере того как поднимается солнце: чем ярче оно светит, тем темнее кажется пустыня, только холмы остаются красноватыми. Если с утра дул ветер, теперь он стихает; теплые испарения начинают распространяться в воздухе, словно рождаясь из песка. Через два часа играют отбой; все замирает, и с последним звуком рожка начинается полдень.

Я больше не опасаясь посетителей, так как ни у кого, кроме меня, не возникает желания провести сиесту на солнцепеке. Светило поднимается, урезая тень башни, и останавливается прямо над моей головой. Мое убежище — солнечный зонтик, создающий узкую полосу тени. Я прячусь под ним, стоя на песке или на сверкающем песчанике; начатый рисунок свертывается в трубочку под солнцем; коробка с красками трещит, как горящие поленья. Больше ни звука. Четыре часа — время покоя и невероятного оцепенения. Город спит подо мной немой фиолетовой массой. На террасах, где выставлено для сушки множество плетенок с маленькими розовыми абрикосами, ни души. Здесь и там черные дыры, обозначающие окна и двери; тонкие линии темно-фиолетового цвета указывают, что на всех улицах города остались лишь одна или две узкие полоски тени. Линии более интенсивного цвета очерчивают контуры террас, помогают отделить одно от другого глиняные строения, скорее нагроможденные, чем выстроенные на трех холмах.

По обе стороны города раскинулся оазис, такой же безмолвный и оцепеневший под тяжестью полдня. Он кажется совсем маленьким и жметя к городу, словно желая не столько оживить его, сколько защитить в случае необходимости. Я окидываю взором весь оазис и вижу два зеленых квадрата, окруженные длинной стеной, наподобие парка и ярко выделяющиеся на бесплодной равнине. Хотя он разделен на множество участков — миниатюрные фруктовые сады, в свою очередь окруженные стенами, — с этой высоты он кажется сплошной

скелетной скатертью, отдельных деревьев не различаешь, видны только два яруса леса: первый — темная зелень с круглыми кронами, второй — веера пальм. Кое-где издали видны небольшие поля ячменя — прогалины среди зеленой листвы, заваленные соломой ярко-желтого цвета, и редкие поляны сухой, пыльной, пепельной земли. С южной стороны несколько холмиков песка, занесенного ветром, перебрались через стену — это пустыня пытается завоевать сады. Деревья не шелохнутся; в гуще леса, можно предположить, прячутся птицы, спящие в ожидании второго, вечернего пробуждения.

В этот час, как я заметил еще в день приезда, пустыня превращается в темную равнину. Солнце, стоящее в центре, вписывает ее в световой круг, и лучи равной интенсивности падают отвесно вниз, одновременно достигая самых скрытых уголков. Это уже не свет и не тень; перспектива, обозначенная неуловимо меняющимся светом, не позволяет определить расстояния; все равномерно окрашивается в коричневые тона; перед нами простирается пятнадцать — двадцать квадратных миль однообразной местности, гладкой, как пол. Кажется, что на ней должен быть заметен любой, чуть выступающий предмет, но ничего не видно; даже невозможно сказать, где песок, где земля, а где каменистые участки. Неподвижность этого твердого моря поразительна. Видя его, начинающееся у твоих ног, затем распространяющееся на юг, восток, запад без протоптанных дорог, без наклона, спрашиваешь себя, что же это за безмолвная страна, одетая в неясные тона, как бы цвет пустоты, куда никто не приходит, откуда никто не уходит, граница которой — прямая и четкая полоса на горизонте. Даже если не знаешь этого, то чувствуешь, что она не кончается у горизонта, простор, открывающийся перед глазами, лишь выход в открытое море.

Добавь к мечтам о необъятных просторах очарование названий, которые знаешь по карте, мысль о местностях, которые должны находиться там-то и там-то, в таком-то направлении в пяти, десяти, двадцати, пятидесяти днях пути: одни давно известны, другие только обозначены, третьи совсем новые. Прямо на юг лежит земля Бени Мзаб с конфедерацией семи городов, три из которых, говорят, так же велики, как Алжир, с сотнями тысяч пальм, дающих нам лучшие в мире финики. Затем земля Шаамба, край купцов и торговцев, соседей Туата. И далее оазис Туат, огромный архипелаг в Саха-

ре, плодородный, орошаемый, густонаселенный, граничащий с владениями туарегов. Далее земля туарегов, обширная, неизвестных размеров, установлены лишь ее крайние точки: Томбукту и Гадамес, Тимимун и земля хауса. Затем земля негров, лишь пограничная часть которой более или менее известна, мы знаем два-три города и столицу королевства. Озера, леса, море слева, возможно, еще большие реки, невероятные перепады погоды на экваторе, причудливые плоды, чудовищные животные, овцы без шерсти, слоны, а что еще? Дальше все неясно: немереные расстояния, неуверенность, сплошные загадки. Передо мной расстилается загадочная земля — странное зрелище под ярким полуденным солнцем. Я бы именно здесь поместил египетского сфинкса.

Напрасно будешь озираться, вряд ли заметишь хоть один движущийся предмет. Иногда цепью черноватых точек небольшой караван навьюченных верблюдов медленно ползет по песчаному склону; его обнаруживаешь, только когда он достигает подножия холмов. Кто эти путники? Откуда держат путь? Они прошли незамеченными по всей местности, лежащей у меня перед глазами. Вдруг от земли тонкой нитью поднимается ввысь песчаный смерч, закручивается спиралью, пробегает некоторое расстояние, прижимаясь к земле, и через несколько секунд исчезает. Медленно текут часы. День кончается, как и начался, красными всполохами на янтарном небе, длинными языками пламени, окрашивающими в пурпур горы, пески, скалы на востоке. Тень приносит отдохновение той части страны, которую жара утомляла в первую половину дня. Сама природа испытывает облегчение. Воробьи и горлицы принимаются петь в кронах пальм. Город как бы воскресает: на террасах появляются люди и начинают встряхивать плетенки; на водопой ведут животных, слышно ржание лошадей, рев верблюдов. Пустыня становится похожа на золотистую пластину. Солнце спускается за фиолетовые горы, ночь готова раскинуть свое покрывало.

Я возвращаюсь после проведенного на солнцепеке дня опьяненный обилием света, поглощенного во время двенадцатичасового погружения в солнечную ванну. Хотелось бы объяснить тебе мое состояние. Я ощущаю некую внутреннюю ясность; она не проходит с наступлением вечера и продолжается во время сна. Я не перестаю мечтать о свете; закрывая глаза, вижу огни, лучащиеся шары или отблески отраженных лучей, разгорающиеся,

словно приближается заря. Ночь отступает, она не существует для меня. Впечатление дня даже в отсутствие солнца, призрачный отдых, пронизанный вспышками света, как летние ночи метеоритами,— этот необычный кошмар не дает мне раствориться в темноте, все это очень похоже на лихорадку. Но я не чувствую никакой усталости. Я хотел этого состояния и не жалею.

Ночь, конец июня 1853 года

Любезный друг, я сегодня очень испугался, так как в течение часа думал, что ослеп. Является ли мое состояние следствием последних солнечных дней? Виноват ли ветер пустыни, который дует уже трое суток без передышки и будоражит кровь? А может быть, перенапряжение? Устали глаза или утомился мозг? Я думаю, всего понемногу.

Я рисовал на террасе, парящей над оазисом, с видом на пустыню под прямыми ударами солнца, рисовал, несмотря на ветер, вздымающий тучи песка, на плиты, обжигающие ступни, на стены, к которым невозможно прикоснуться. Коробка с красками падала с колен, и я работал, как ты можешь себе представить, месивом из красок и песка.

Вдруг все окрасилось в голубые тона. У меня потемнело в глазах, а через пять минут я потерял зрение.

Каждую секунду новый смерч пыли проносился над оазисом и обрушивался на город. Пальмы гнулись к земле, как пшеничные колосья.

Я посидел четверть часа с закрытыми глазами, создавая иллюзию отдыха и слушая страшное завывание ветра, хозяйничающего в султанах пальм. Когда я рискнул открыть глаза, то обнаружил, что действительно почти ослеп. Угасающего зрения едва достало, чтобы закрыть коробку с красками, спуститься на ощупь по разрушенной лестнице и войти в дом.

Заслышав мои неуверенные шаги, заржала лошадь. Мой слуга-француз уже три дня лежал больной в конюшне, сломленный жарой. Я услышал его крик:

— Это вы, месье?

— Да, я, не поднимайтесь.

Ахмеда я отпустил на один день.

Дом, покинутый слугами, показался мне особенно мрачным. Комната была наполнена невыносимым жужжанием мух и писком мышей, суетливо снующих из угла в угол. Стояла удушающая жара; я взял нож и про-

дырявил полотняные оконные занавеси. Сил едва хватило, чтобы добраться до складной брезентовой кровати. Я смутно слышал, как протрубили шесть часов, и понял, что день на исходе. В конце концов мне удалось заснуть.

Проснувшись, я с большими усилиями зажег свечу. Я вижу! Еще чувствуется огромная тяжесть в голове, будто она стала вдвое больше, но страх прошел. Теперь я могу посмеяться над ним и признаться тебе в своей слабости.

Одиннадцать часов. Я заделал, насколько возможно, дыру в окне, чтобы сдержать порывы ветра, рвущегося в комнату. Я пишу на коленях при колеблющемся свете свечи, порождающем сумасшедшие пляски теней на белых стенах. Ни разу в течение месяца мое жилище не представлялось мне столь диковинным. Стены сверху донизу, одежда — светлые штаны, полотняные куртки, соломенная шляпа, висящая на колышках, — все усеяно мухами. Такое впечатление, что вещи отделаны черным кружевом. Движение воздуха и зажженная свеча беспокоят насекомых, и я вижу, как они копошатся, но, к счастью, не взлетают. Забавно считать мышей, снующих от коробки для бумаг к ящикам с продовольствием, от ящиков к изголовью моей постели, к подушке, набитой альфой. С крыши доносится больший, чем обычно, шум. Населяющие ее ночные зверюшки приведены в волнение ураганом. Слабый писк, чуть тише мышинового, наверное, издают животные из семейства ящеровых, которых здесь называют тарантами. Ночные шорохи заставляют меня опасаться визита более страшных гостей: с наступлением жары дома заполонили змеи. На днях у самой двери я убил желтую рептилию с черными полосами очень подозрительного вида, ее называют *герн-гзель* (рога газели) — из-за схожести полос с маленькими изогнутыми рожками. Ахмед предупредил меня, что видел более крупную змею того же вида на террасе.

Тарант я боюсь меньше, хотя они и внушают мне даже после месячного знакомства непреодолимое отвращение. Это маленькие плоские ящерицы, широкие, желтоватые, липкие и, можно сказать, прозрачные, с треугольной головкой, светлыми глазками, гораздо уродливее саламандр, с которыми ты знаком. Всю ночь они бегают по пальмовым брусам потолка, преследуя друг друга. От их возни с потолка осыпается песок. Я наблю-

даю забавы этих уродцев, иногда и борьбу, между прочим, очень напоминающую любовную игру.

Я отложил свои записи, не устояв перед искушением поохотиться на ящериц. Их было две — возможно, самка и самец, отважившиеся спуститься до середины стены, и теперь, глядя на меня, они, казалось, спрашивали, что я сделаю, если они спустятся еще ниже. От удара плашмя киркой они замертво упали на пол и через минуту исчезли, я только успел заметить убегающую мышь, которая волочила что-то тяжелое, напрягая все свои силы. Я уж не говорю тебе о летучих мышах; они, чтобы попасть в дом, используют каждый момент, когда драпировка на окнах чуть подымается. Их я выгоняю за дверь пальмовой ветвью.

Возможно, позже эти маленькие неудобства покажутся мне забавными. Эта мысль утешает и успокаивает.

Когда я время от времени заглядываю в свою папку и среди кучи небрежных набросков вижу всего несколько едва намеченных лиц, которые стремлюсь разгадать, я отчаиваюсь. Ты спрашиваешь, не нахожу ли я здесь больше доброжелательства, чем в Алжире, и могу ли вплотную заняться «моделями». Увы, мой друг! Вот последовательный список рисунков, сделанных мной дома или в другом месте, ты их узнаешь: одноглазый охотник; Йа-Йа, вернувшийся к своим городским привычкам, теперь он снова женат и всегда ухожен, надушен, молчалив и покорен; маленький еврей, свободный от арабских предрассудков; несчастный, «завербованный» на улице, увлекаемый почти силой, кричащий мне, что его больше никогда не возьмут на службу ни за какую цену; наконец, опухший сын башамара; он еще не уехал в Мзаб и злоупотребляет моим великодушием. Лишь эти эскизы, как видишь, явились результатом дружеской любезности. Остальные я сделал украдкой на улице, когда люди позируют, сами того не зная.

Попытки запечатлеть сцены из жизни обитательниц Сахары, женскую походку, бесконечную болтовню не увенчались успехом. Раз уж деньги не смогли мне помочь, можешь быть уверен, любая попытка останется безуспешной.

Утратив последние надежды, я стараюсь заполучить женщин, которые считаются доступными, через самых мерзких пройдох. Женщины соглашаются на все, пока

не понимают цели моих притязаний. Их стыдливость восстает с опозданием, не к месту и не ко времени, но именно так они понимают женскую честь. На днях меня вежливо выпроводили, так, что я не мог больше настаивать, из одного дома в нижнем городе, куда для первого опыта я решил отправиться лично. Хозяйка оказалась милой, даже красивой женщиной. Я говорю так, потому что о красоте можно спорить и то, что мне кажется красотой, может в глазах других людей выглядеть уродством, как в случае, о котором идет речь. Женщина принадлежала одному мзабиту, галантерейщику с торговой улицы. Он вошел неожиданно, с трудом переводя дыхание, будто после быстрого бега.

— Не стоило так торопиться, — сказал ему лейтенант.

Мзабит не ответил, изобразил жалкую улыбку, слишком коротко поприветствовал нас и уселся напротив, глядя на нас глазами с красными прожилками и перебирая своими квадратными пальцами веер широкой бороды.

Через минуту лейтенант сказал мне:

— Этот негодяй раздражает меня, уйдем отсюда, он не оставит нас в покое.

Позднее я застал мзабита за оживленной беседой с Ахмедом. Заметив меня, они умолкли. Вечером я спросил у Ахмеда:

— Ты знаешь торговца Карра?

И тут Ахмед стал объяснять мне, что его отец владеет в Эль-Абиоде лавками и многочисленными стадами, что отец богат и посылает ему деньги, что его не волнует плата, которую он получает от меня, что он поступил ко мне в услужение потому, что любит общаться с французами. Он сообщил мне, что получил от отца определенную денежную сумму, благодаря чему смог завести с Карра деловые отношения. У них общие интересы в торговле, но возникли разногласия. Я застал их якобы за обсуждением условий сделки. Стоило мне заговорить о женщине, как он сжал пальцы в кулак, и поднес его ко рту, как если бы хотел подуть на них. Этим неподражаемым жестом, который приблизительно означает: это уж слишком или: о чем вы меня спрашиваете, он дал мне понять, что я должен забыть о происшедшем. В глубине души я подозреваю, что Ахмед настроен против меня или даже прямо предает мои интересы. Я не верю ни единому его слову о богатстве отца, поэтому позволил себе заметить:

— Если ты получаешь ренту, то мог бы купить себе бурнус, а не заворачиваться каждую ночь в мой.

Из всего сказанного выше ясно одно: я попал под надзор мужчин: они следили за каждым моим шагом в городе.

1 июля 1853 года

Лето в самом разгаре. Термометр показывает в тени на северной стороне террасы с девяти часов утра до четырех часов дня 44° . Ночи едва ли свежее. За сильными ветрами последних дней наступил полный штиль, и облака рассеялись сами собой, как занавес из белого газа, который свертывался понемногу с юга на север. Правда, еще сутки они клубились над Джебель-Лазраг. На следующий день мы снова плыли по голубым просторам.

Сильный зной да еще пост рамадана, кажется, отняли последние остатки сил, еще теплившиеся в бледных жилах Лагуата. Днем встречаешь лишь худые, безжизненные лица. Люди влачат жалкое существование между восходом и заходом солнца, перебираясь от тени к тени. Аумер болен. Джериди не выходит из лавки; он чуть приоткрывает дверь, словно в доказательство того, что еще не умер. Но беспокоить его бессмысленно, он не шевелится. Когда же ему говорят: «Джериди, а как же кофе?» — он показывает на с утра не зажженный очаг, на пустые бидоны, на чашки, составленные на полках, и отвечает:

— Его больше нет.

Обычно здесь спят четыре часа; сейчас же каждый человек, соблюдающий пост, позволяет себе спать двенадцать часов. Я просыпаюсь еще до рассвета. Чуть позже, лежа в кровати, я ощущаю толчок и слышу выстрел пушки, возвещающий о восходе солнца. С этой минуты начинается пост, как ты знаешь, пост абсолютный, ведь нельзя ни есть, ни пить, ни курить. Одни путешественники пользуются льготами: им разрешено утолять жажду, но за это они должны столько же раз подать милостыню мусульманским отшельникам.

Именно в этот момент появляется Ахмед, дожевывая последний кусок, с полным котелком воды. У него довольный, хотя и утомленный ночными похождениями вид. Вечером город погружен в ожидание семичасового пушечного выстрела. У нас создается впечатление, что с каждым днем он звучит на несколько минут раньше, хотя идет всего восьмой день солнцестояния.

Уже не знаешь ни с кем поговорить, ни как вести себя с людьми, ночью и днем пребывающими в состоянии благочестия, пируют они или постятся.

Мной овладевает желание вырваться из всеобщего оцепенения. Может быть, не пройдет и недели, как я отправлюсь в путь, сначала на восток, затем на запад. Я обещал тебе не уезжать отсюда, не повидав Айн-Махди, и сдержу слово. Дорога хороша, и я не успокоюсь, пока не совершу паломничество в святой город Теджини, расположенный в двадцати лье от Лагуата.

Июль 1853 года

Два дня назад, когда спустилась ночь, лейтенант спросил меня:

— Что будем делать сегодня вечером?

— Что хотите.

— Куда пойдем?

— Куда хотите.

Каждый вечер повторяется один и тот же диалог, даже интонация не меняется. Обычно вопрос остается открытым; тогда леность, не позволяющая нам отправиться на поиски чего-то нового, сила привычки или частенько обычная жажда вновь приводят нас к Джериди или в крошечную, малопосещаемую кофейню, где мы обнаружили самую лучшую питьевую воду в городе: чистую, без неприятного привкуса окиси магния, запас которой возобновляется два раза в день довольно чистыми бидонами.

В тот вечер, уж не знаю, как это случилось, вместо того чтобы остановиться у лавки Джериди, мы прошли мимо и, поворачивая из улицы в улицу, оказались у ворот, открывающихся в сторону пустыни.

— Смотрите,— проговорил лейтенант, вдыхая легкий ветерок с востока,— с этой стороны есть воздух.

Через пять минут мы оказались, сами того не замечая, среди дюн. Кто-то шел нам навстречу: это был охотник на страусов, возвращавшийся в город с киркой в руке.

— Ты откуда? — спросил его лейтенант.

— Из своего сада,— ответил одноглазый и, не задерживаясь, побрел дальше.

— У него такой же сад, как у меня,— сказал лейтенант.

Несмотря на то что мы находились за чертой города, жара была нестерпимой; мы были без курток и с непо-

крытыми головами, не опасаясь сухого, как земля, воздуха. Мы с трудом выбрались из песков и дальше шли под руку — привычка, выработанная у меня прогулками по парижским бульварам, которой лейтенант уступил из вежливости. Неподвижна листва садов, тянувшихся справа от нас. На горной дороге, вьющейся слева над вытянутой гладкой дюной, тишина; мы шли, утопая в песке, как в снегу, не слыша собственных шагов.

Постепенно почва стала твердой, сады остались за спиной; мы смело пересекли русло Уэд-Мзи, и, пробираясь по сыпучим пескам другого берега, я увидел в полу-сотне шагов скалу странной формы, заселенную собаками.

Я тебе говорил, что в день осады собаки ушли из города. С тех пор их не удалось ни вернуть, ни изгнать из страны. Пока они находили пищу вокруг поля битвы и на кладбищах, все было спокойно; теперь эти одичавшие твари могут, подобно волкам зимой, напасть на прохожего.

Они живут в скалах на севере и на востоке, в особенности за дюнами, на холмах с торчащими во все стороны уродливыми пластами черной, как уголь, слоистой породы.

Издалека видно, как они бродят по вершинам скал, снуют по гребням желтого песка, спускаются к близлежащим садам или карабкаются вверх, словно люди, возвращаясь домой. Почти всегда они выставляют нескольких часовых перед холмом в сухом русле Уэд-Мзи. С того места, где я часто восседаю, я вижу собак; они сидят, наострив уши и наблюдая за пустынными подступами к своей цитадели. Иногда оттуда доносится шум ужасной борьбы, взлетают тучи песка, мелькают бурокрасные точки на черной скале; псы выбирают из всех щелей, и даже часовые устремляются в гущу сородичей, чтобы вмешаться в сражение. Ночью они бродят в окрестностях города, обходя дозором сады, охотясь в загонах, выкапывая то, что удастся найти, а с наступлением темноты и до утра свора оглашает окрестности лаем, который с удивлением слышат в городе.

— Они охотятся, — сказал лейтенант, — слышите, они совершают обход у Баб-эш-Шет.

Действительно, до нас долетело через оазис далекое ворчание: свора была уже в полулье от своего убежища. Мы заметили двух-трех оставших собак, припустив-

шихся бежать со всех ног при нашем приближении, издавая не более шума, чем шакалы.

— В любом случае,— продолжал лейтенант,— я гарантирую вам безопасность.

И он показал мне огромную сучковатую палку, отполированную, зеленоватую, подобранную я не знаю где, но, наверное, очень давно. С ней он никогда не расстанется, разве что надевая мундир.

Мы продолжали восхождение. Добравшись до половины подъема, между песком и скалами, и поколебавшись, мы выбрали каменное сиденье, найдя песок слишком горячим, и уселись, сожалея, что здесь нельзя прилечь.

На этой высоте, казалось, мы были окружены песками. Оазис чернел в нескольких сотнях метров от нас, за ним выделялась сероватая линия, в которую слились город и холмы, выше — небо того же цвета со сверкающими звездами. Ночь была такой спокойной, что отчетливо слышалось кваканье лягушек в болоте Рас-аль-Уйюн. Лай собак стихал, удаляясь.

— В добрый час,— сказал лейтенант,— вот кто время от времени будет заменять нам развлечения кабачка.

Лейтенант Н.— смелый и добрый человек. У него ясный, четкий и суровый ум офицера; он почти лишен сентиментальности, а в сущности, что бы он сам ни говорил, очень чувствителен, ему скорее присуща сознательная дисциплина, чем беспрекословное подчинение; с ним равно приятно разговаривать, когда он слушает, и молчать, когда он говорит. В тот вечер он продолжал длинную историю, десять раз прерывавшуюся и столько же раз возобновлявшуюся в течение месяца, которая рано или поздно закончится, я надеюсь, искренним признанием.

Вдруг он коснулся моего плеча:

— Не двигайтесь, там что-то подозрительное.

Офицер поднялся, оставил мне свою куртку, взял палку и быстро сделал несколько шагов вперед.

Тут я увидел неожиданно возникшую фигуру человека в белом, несущего на голове предмет, похожий на большой булыжник.

Лейтенант остановился, и почти мгновенно я услышал спокойный окрик:

— Кто здесь?

— Это я, лейтенант,— ответил тоже по-арабски голос, который я сразу узнал.

Через несколько минут лейтенант вернулся:

— Это Тахар, бедняга вообразил, что нашел своего сына, потому что среди человеческих останков подобрал лохмотья и поясной ремень, которые показались ему знакомыми. Он похоронил всех вместе в песке и время от времени возвращается сюда, чтобы проверить, не разрыли ли собаки могилу. Пусть занимается своим делом, а мы пойдем дальше, чтобы не мешать старику.

— Кстати,— неожиданно возобновил разговор лейтенант,— одноглазый, вероятно, помогал укрывать племянника. Он еще более скрытен, чем я думал.

На следующий день я увидел стража вод на обычном месте с песочными часами на коленях и пропущенной между пальцами веревочкой с узелками.

Июль 1853 года

Я полностью изменил свои привычки, и, вероятно, все удивляются, что меня больше не видят ни на улицах, ни у источника. С наступлением дня я проскальзываю в сады с северной или южной стороны в зависимости от направления ветра, который дует все реже. Там под тенью деревьев я в безопасности от назойливых мух и могу спать с полудня до трех часов в тени смоковницы, вытянувшись на пыльной земле, раз трава там не растет.

К сожалению, оазис похож на город: он тесен, уплотнен, разделен на бесконечное множество участков. Каждый садик обнесен высокими стенами, которые не позволяют видеть, что происходит в соседнем владении. Поэтому, оказавшись в одном из этих загончиков, погружаешься в зелень и ничего не видишь вокруг, кроме четырех стен. Все смежные фруктовые садики, над которыми развернули зеленые букеты пятнадцать — восемнадцать тысяч финиковых пальм, иссечены системой причудливых тропинок, образующих лабиринт с одним или двумя выходами, которые надо знать, в противном случае не удастся выйти иначе, чем вновь отыскав вход. Частенько там, где оазис орошается водами Уэд-Мзи, течение ручья совпадает с тропинками-«улочками»; приходится идти по колено в воде или передвигаться на спине человека, как я на спине Ахмеда в тот день, когда он завел меня в этот уголок оазиса. Затоленные «улучки» служат иногда местом для стирки, если их берега не заросли олеандрами, они пробиваются меж камней, словно огромные охапки цветов, которые кто-то

окунул в реку. Каждый загон имеет калитку высотой два-три фута, открывающуюся в соседний садик, но загороженную джеридом или просто двумя поперечными жердями, под которыми можно проползти.

Здесь не видно ни олив, ни кипарисов, ни апельсиновых или лимонных деревьев, но удивительно, что находишь много европейских фруктовых деревьев: груш, яблонь, смоковниц, персиковых, абрикосовых, гранатовых, а также виноградники; на маленьких огородах преобладают овощи, употребляемые во Франции, особенно лук.

Если ты помнишь сады Востока, о которых я тебе рассказывал, если ты еще способен, как я, вообразить себе широкие перспективы Бискры, не скрытые крепостной стеной, лесную опушку, незаметно переходящую в пески, потому что там не хватает ни земли, ни воды, а на условной разделительной линии пальмы, засыпанные песком до середины ствола, затем нивы, зеленые лужайки, глубокие и сонные пруды Тольги с перевернутыми силуэтами деревьев в голубой воде, а вдали проглядывающую меж финиковых пальм пустыню, почти со всех сторон обступающую сахарскую Нормандию, то, может быть, ты согласишься со мной, что этому краю чего-то недостает, чтобы выразить всю поэзию Востока.

Итак, за неимением лучшего, именно в скромных садах Лагуата я нахожу уединение, а деревья служат мне качающимися солнечными зонтами.

Июль 1853 года

Сегодня вечером, вернувшись домой, чтобы уложить вещи (завтра я решил предпринять небольшую экскурсию), я не услышал звона в сундучке, куда клал свои деньги; вытряхнув из него все содержимое, я обнаружил, что меня обокрали, оставив мне только пять франков, оказавшихся между двумя плитками шоколада. Я переглянулся с лейтенантом. Он сказал:

— Так, не будем терять времени, идите на площадь и ждите.

Едва я обнаружил пропажу, явился мой слуга Ахмед: он быстро взбежал по лестнице и успел заметить пустой сундук и белье, вываленное на пол. Мы вышли втроем.

На улице лейтенант тихо посоветовал мне:

— Задержите его на три минуты, если попытается бежать, хватайте или зовите на помощь.

Ахмед мусолил сигарету, напевая какой-то мотив-

чик; он прятал руку под бурнусом и искоса поглядывал на меня. Я тоже незаметно следил за слугой. На площади было мало народу: дело шло к ночи. Я не решался схватить Ахмеда за руку по простому подозрению.

Через три минуты лейтенант вернулся и закричал: — Что вы наделали?

Я обернулся. Ахмед исчез.

— Я совершенно уверен, что это он, — сказал лейтенант.

Мы побежали по улочке. В двух шагах от моей двери повернули, потом еще и еще раз; добежав до конца лабиринта, мы увидели с правой стороны улицу, которая ведет к Дар-Сфа, а впереди длинный канал, полный воды, ведущий прямо на юг между садами; голый араб стирал в нем свою одежду.

— Пробежал ли здесь человек в красной куртке и с бурнусом на руке?

— Да, — сказал араб, указывая вдоль канала, — он побежал по этой дороге, вошел в воду и скрылся.

— Пусть бежит, — сказал лейтенант. — На ночь он спрячется в садах, а завтра при свете дня мы его отыщем.

— Но если он уйдет из города, не дождавшись дня?

— Куда он может пойти, черт возьми? Разве что в Эль-Ассафию. Вряд ли он рискнет: перед ним выбор между двумя, четырьмя, а то и шестью днями пути, прежде чем он сможет найти хоть один финик. Вы прекрасно знаете, что отсюда не уходят когда заблагорассудится: отправляясь в путешествие, надо взять с собой запас пищи.

Все же мы приняли некоторые меры предосторожности: послали двух всадников объехать оазис и выставили ночной патруль. Сами же решили пока обыскать на всякий случай несколько домов нижнего города, где, как мы полагали, у Ахмеда были знакомые.

— Я расспросил хозяина кофейни, — сообщил мне лейтенант. — Ахмед провел прошлую ночь у него; его джебира была набита деньгами, он угощал всех своих друзей, объясняя, что источником богатства являются овцы его отца.

— Замечательно, — сказал я, — история мне знакома, я должен был предвидеть, чем она закончится.

Наш поход в нижний город наделал много шума, но ни к чему не привел. Мужчин не было; молодые женщины в испуге убегали, не желая отвечать; старухи молили

о пощаде, будто мы грозили им телесным наказанием.

— Дознание не дало результатов,— сказал я лейтенанту,— подождем до завтра.

Через два часа, около десяти часов вечера, мы проходили мимо моей двери, как вдруг мимо нас промелькнула белая, отделившаяся от стены фигура и поспешно укрылась под сводом.

— Кто здесь? — закричали мы разом и сделали два шага вперед, вытянув перед собой руки. Никто не ответил. Под навесом было так темно, что мы даже не различали проход во двор. Вдруг лейтенант сказал:

— Я его держу.

В темноте он нащупал бурнус. Мгновение тишины, затем мой друг громко крикнул, его крик раздался под сводом и разнесся до самой площади. Незнакомец не проронил ни слова и прижался к стене.

— Ты будешь говорить? Кто ты? — спросил лейтенант, и его рука сжала горло человеку.

— Я Ахмед,— ответил наконец сдавленный голос и почти тут же: — Отпусти, лейтенант, или я тебя убью.

Едва он произнес свою угрозу, как что-то произошло передо мной: Ахмед рухнул на землю, сваленный мощным ударом кулака. Лейтенант одним прыжком оказался над ним, уперся палкой в его грудь и спокойно заметил:

— Ты напрасно угрожал, сам усложняешь свое положение.

Почти тотчас кто-то, задыхаясь, подбежал к нам: это был коренастый Мулуд, услышавший призыв хозяина.

— Бедный Ахмед,— вздохнул Мулуд, убедившись в роковом безумии своего друга,— вставай, идем,— и потащил пленника.

На площади Ахмед все-таки робко попытался оказать сопротивление, и Мулуд, к своему большому сожалению, был вынужден проявить суровость. Но он продолжал повторять: «Бедный Ахмед!» — своим удивительным голосом, который смягчается, становясь нежным, когда этот плохой мусульманин уступает своей страсти к спиртному.

В один миг новость облетела все кофейни, и, когда наш пленник был доставлен к Джериди, уже внушительная толпа следовала за нами. Допрос состоялся немедленно, прямо на улице. Ахмед сначала отрицал, что совершил кражу, затем признал, что похитил часть суммы.

— Куда ты дел деньги? — спросил я у него.

— Пойдем,— сказал он,— тебе их отдадут.

И он повел нас к Карра, что меня ничуть не удивило, ведь я подозревал его в сообщничестве.

Глаза мзабита забегали, на лице появилось необычное выражение, когда он увидел нас перед его лавочкой. Ахмед сам потребовал:

— Отдай деньги.

Карра оценил внушительную силу охраны его будущего компаньона и после нескольких минут колебания, во время которых сквозь маску алчного скупщика краденого вновь проглянула гадкая улыбка злопамятного любовника, протянул руку внутрь лавки, взял оттуда старую дарбуку, полную тряпья, вытащил из нее нехотя шерстяной носок и наконец вытряхнул кошелек на скамью. Здесь было около половины украденных денег; остальные пошли на щедрую оплату двух или трех веселых ночей рамадана.

Ахмед был очень бледен, и его обычно довольно мягкий взгляд, сейчас полный ненависти, был устремлен на меня. Мулуд, не отпускавший его, спросил дружелюбно:

— Зачем тебе понадобилось красть?

— Деньги были передо мной, я их взял,— ответил Ахмед.— Это было предначертано.

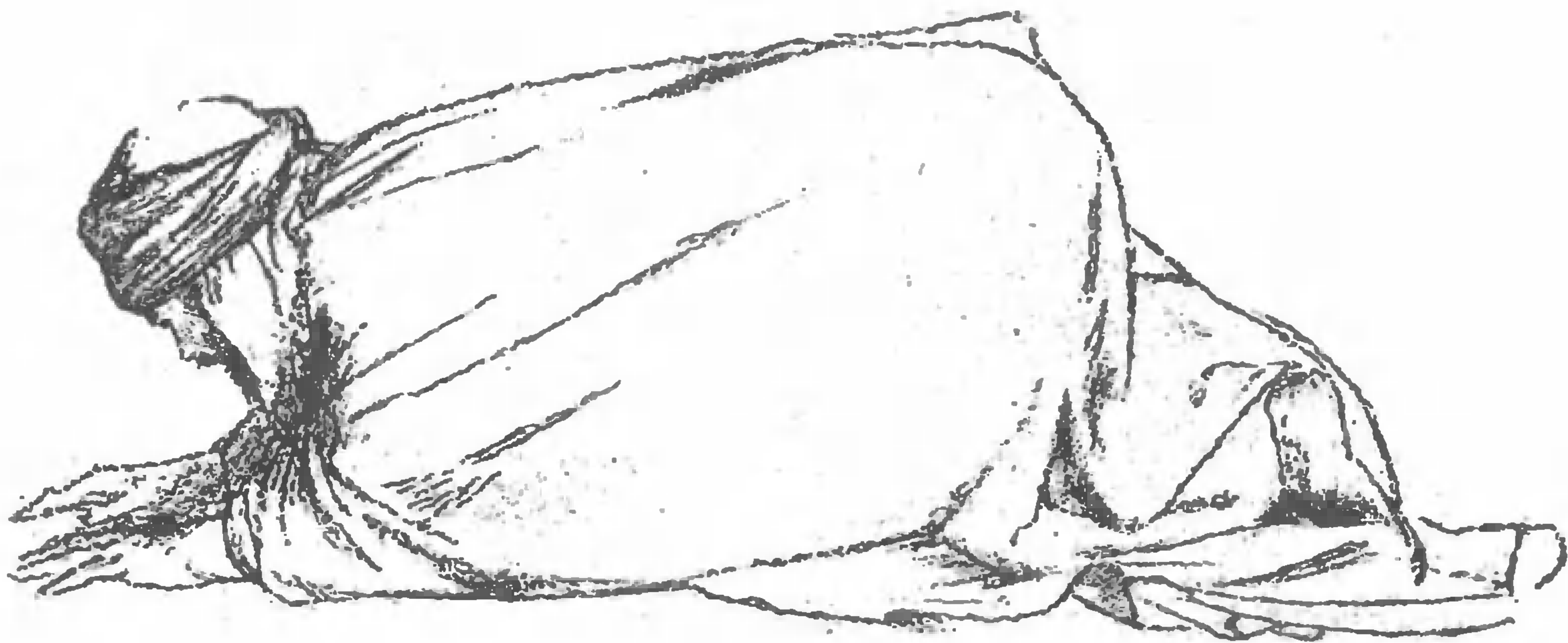
Его увели.

— Сколько ударов палкой ему дадут, как вы полагаете? — спросил я лейтенанта.

— О, немного, но надо, чтобы они были хорошими. Я поручу это дело Мулуду.

Это небольшое происшествие, отдалившее меня от слуги, к которому я привязался, заставило меня задуматься. Со слугами-фаталистами небрежность опасна, и я дал себе слово никого впредь не подвергать искушению.





III

Таджемут — Айн-Махди

Айн-Махди, пятница, июль 1853 года



В среду утром комендант выдал нам паспорта, два листка бумаги, исписанные справа налево, сложенные и запечатанные на арабский манер: один — адресованный каиду Таджемута, другой — каиду Айн-Махди. Он разрешил, кроме того, взять в сопровождение двух всадников по нашему выбору.

— Возьмем Аумера, — предложил лейтенант, — он нас будет забавлять, и его друга, большого Бен Амера, который вечно спит, он не будет нам надоедать. А сейчас освежимся напитками, пока не спала жара.

Жара не спадала весь день. В четыре часа было еще 46° в тени и 66° на солнце. Мы выпили по оранжаду, растянувшись в темном дворе под навесом из шкуры черной козы. Оседланные лошади ожидали с полудня, а у нас еще не было ни проводника, чтобы указывать путь, ни мула, чтобы везти поклажу. С четырех до шести мы ждали, пока отыщется мул. Нам досталось небольшое, но резвое животное буланой масти; ему пришлось завязать глаза, чтобы оно позволило себя навьючить. Оно несло кроме наших сундуков бидоны, два бурдюка и солдатский котелок. Рослый Мулуд предложил управлять им, но с условием, что ему позволят ехать верхом; с этим предложением нельзя было

согласиться, ведь седок раздавил бы мула. На площади, где проходили наши сборы, было много людей, наблюдавших за нашими приготовлениями к отъезду.

— Скажи, малыш, ты бывал в Айн-Махди? — спросил лейтенант оказавшегося рядом мальчугана лет двенадцати.

— Да, *сиди*, — ответил ребенок.

— Знаешь туда дорогу?

— Да.

— Тогда в путь, — сказал лейтенант.

И, взяв ребенка на руки, он поднял его, посадил поверх вьюков так, что ноги его нашли опору на сундуках, и подал ему поводья мула, затем сам проворно вскочил на большую желтую кобылу под турецким седлом, я сел на своего коня, двое наших охранников, уже целый час сдерживавшие лошадей, ускакали.

— Ну, поезжай, — сказал лейтенант мальчику, который никак не ожидал, что ему придется участвовать в путешествии, — ты получишь яблоки и еще по франку за каждый день пути. Как тебя зовут?

— Али.

— Кто твой отец?

— Бен Абдаллах Бельхадж.

— Где ты живешь?

— В Баб-эш-Шет.

— Эй, Мулуд! — окликнул лейтенант своего рослого слугу, — отправляйся к Абдаллаху Бельхаджу в Баб-эш-Шет и предупреди его, что лейтенант Н. берет его сына в Айн-Махди.

— Какой срок я должен ему назвать? — спросил Мулуд.

— Ничего не говори, передай, что о мальчике позаботятся.

И наш маленький караван тронулся по торговой улице. Она уже опустела, как, впрочем, все улочки города. За приоткрытыми дверями угадывалось оживление и доносились непривычные запахи жареного мяса, показывающие, что пост заканчивается и все ждут лишь пушечного выстрела, чтобы предаться пиршеству радостного байрама, ид аль-кебира *, праздника, следующего за рамаданом.

«А мы в такой момент увозим их с собой!» — подумал я, заметив расстроенный вид наших спаги и гримасу отчаяния маленького Али, которого, казалось, оставляют силы.

— Мы слишком задержались,— сказал лейтенант,— избавим их от этого зрелища.

И он подстегнул мула, который шел рысью до Баб-эль-Гарби. Из-под свода ворот мы выехали в долину в следующем порядке: в авангарде Аумер и Бен Амер скакали бок о бок, в центре Али с поклажей, затем мы с лейтенантом, в арьергарде мой слуга М., но на значительном расстоянии от желтой кобылы лейтенанта, так как его беспокойная лошадь уже пришла в весьма заметное возбуждение.

Было семь часов, день клонился к закату. Над равниной поднимался слабый ветерок, медленно, как убар, который долго бьет крыльями, перед тем как начать свой тяжелый полет; все же дышать было можно. Мы двигались на запад, прямо на заходящее солнце, чуть уклоняясь в сторону, чтобы достичь холмов. В одном лье перед нами, между двумя фиолетовыми холмами, вырисовывался небольшой треугольный проход.

— Вижу дорогу,— сказал Али, указывая на дефиле как раз там, куда опускалось светило. Это на самом деле был северо-западный проход и дорога на Айн-Махди.

— Там скрывается солнце,— романтично заметил Аумер.

Еще несколько минут оно продолжало светить нам в лицо, и я ехал с закрытыми глазами, чтобы смягчить его неумолимый блеск. Ощущение жара на щеках постепенно исчезало, уменьшилось жжение под веками, и, открыв глаза, я увидел пунцовый диск с полукруглой выемкой внизу, который быстро опускался за горизонт, затем диск стал пурпурным, и, выражаясь словами Аумера, небесный путник исчез. Менее чем через минуту мы услышали пушечный выстрел в городе. Мул Али и обе лошади спаги одновременно ощутили подземный толчок.

— Мой лейтенант, я забыл флейту,— сказал Аумер и неожиданно повернул коня.

Не дожидаясь ответа, он прищпорил лошадь и помчался во весь опор к Баб-эль-Гарби. Мы обернулись, чтобы проводить его взглядом. Клок белого порохового дыма покачивался над старым бастионом Улед-Серрен. Ночь спускалась на город.

— Меня беспокоит,— сказал лейтенант, внимательно глядя на запад,— что нет и намека на появление луны.

Ты знаешь, что рамадан — пост арабов — продолжается между двумя лунами, то есть чуть меньше месяца. Ежедневное воздержание начинается в ту едва улови-

мую, условную минуту, когда «нельзя отличить черную нить от белой». Месяц поста истекает в не менее спорный момент, когда три Аду заявляют, что увидели молодую луну. Однако луна в первый день встает и заходит вместе с солнцем и едва заметна в очень короткий промежуток времени в сумерках. Но даже если она появляется, достаточно легкого облака тумана, чтобы скрыть ее и продлить рамадан еще на сутки. Итак, есть в чем сомневаться, но вопрос слишком серьезен, и арабы столь нетерпеливы, что на исходе 28-го дня все, в том числе и тольба, придерживаются единого мнения.

Уже почти наступила ночь, когда мы достигли гребня, медленно пробираясь цепочкой по каменистой площадке, звенящей под копытами лошадей, как гранитная мостовая, и так гулко, что, казалось, под ней скрывается пустота. В темноте слышался конский топот, и мимо нас галопом проскакал Аумер, без труда взбираясь по скользкой тропинке; он был с флейтой и курил сигарету.

— Дай мне прикурить,— попросил лейтенант.

Аумер нагнулся к седлу, дал огня, а затем занял свое место впереди, рядом с Бен Амером.

Лейтенант повернулся ко мне и сказал:

— От него пахнет бараниной! Я уверен, что он вернулся, чтобы поесть. А как же рамадан? — крикнул он Аумеру.

— Закончен, мой лейтенант,— весело ответил тот.

— А луна?

— Ее видели.

— Кто же?

— Все.

— Ладно, тем лучше,— сказал я лейтенанту,— жители Айн-Махди успеют утолить голод до нашего приезда, и мы можем надеяться на хороший прием.

Какое-то время мы следовали за коричневыми силуэтами двух всадников, чьи головы в капюшонах вырисовывались в тридцати шагах перед нами на фоне еще освещенного красноватого неба; потом силуэты стали более расплывчатыми и растворились на потемневшем небе; еще несколько мгновений ориентиром нам служил серебристый круп белой лошади Бен Амера, наконец исчезла из виду и лошадь вместе с седоком, и нам оставалось определять путь по сухому стуку семенящих шагов мула и похожему на дорожные сигналы металлическому позвякиванию стремян.

Мы пересекали неровную, холмистую местность, предоставив себя инстинкту животных даже на самых сложных участках; они шли с отпущенными поводьями столь же уверенно, как и среди белого дня, не скользя и не высекая искр, так как ни одна из лошадей не была подкована. Мы догадывались по далеко разносящемуся стуку копыт и по неровному аллюру, что едем по каменистой дороге, и, наоборот, более мягкое движение, приятно убаюкивающее всадников, предупредило, что характер местности изменился и мы вступили в пески. И тогда справа от нас появились едва видимые длинные бледные дюны с темными пучками травы.

Ночь была чудесна, спокойна, тепла, небо все горело звездами, как бывает в конце июля. От горизонта до зенита мерцали мелкие звезды, от которых шло слабое свечение, среди них сверкали крупные белые звезды и проносились бесчисленные метеориты, некоторые столь ярко сверкавшие, что моя лошадь встряхивала головой, обеспокоенная их огненными шлейфами. Неподвижный воздух был пропитан тишиной, нарушаемой только неведомым и неопишуемым шорохом, исходящим с небес, казалось, его производили трепещущие небесные светила.

Мы ехали в глубоком безмолвии. Лейтенант, чья кроткая кобыла шла в ногу с моей, скрестил стремяна у нее под шеей и удобно устроился в широком седле, зажав ногами луку. Маленький Али спрятался среди багажа, вероятно мало беспокоясь о дороге. М. по-прежнему замыкал караван, старался утихомирить свою беспокойную лошадь. Аумер попробовал свою флейту, затем умолк; что до Бен Амера, то он оставался невозмутимым всю ночь, он, вероятно, спал, верный своей привычке. У него был отсутствующий вид, словно он витал в облаках, но вдруг послышался звонкий голос Аумера: «Эй, Бен Амер, дай табаку», и глухой, безразличный голос всадника откликнулся, как сквозь сон: «Не задень абрикосы» — джебира Бен Амера на самом деле была набита фруктами. Я же думал о прелестях жизни и мысленно перебирал воспоминания, которые не давали мне заснуть.

В десять часов ночь была такой ясной, что различались стрелки на часах. Мы объехали серую скалу, по форме напоминающую пирамиду; на ее вершине виднелось темное пятно.

— Мы на полпути,— сказал Али.

— Может, остановимся на ночлег? — сказал уже давно дремавший лейтенант.

— А где? — спросил я.

— Здесь.

— Мой лейтенант, — сказал проводник, — едем дальше, Уэд-Мзи совсем рядом.

И мы продолжили путь.

— Лошадь совершенно измучила меня, — снова заговорил лейтенант после часового молчания.

Он прочел мне лекцию о неудобствах ночных переходов и выстроил теорию, доказывавшую, что форсированный марш — самое эффективное средство от сна.

В половине первого ночи местность, которая вот уже час заметно поднималась, начала выравниваться. От мощных порывов ветра, приходящих из-за горизонта, на губах ощущался влажный привкус. Перед нами расстилалась огромная страна с редкими лесистыми участками; вдали, прямо перед нами, слабо слышалось кваканье лягушек.

— Едем, в Уэд-Мзи еще осталась вода, — сказал лейтенант; голоса лягушек привели его в хорошее расположение духа.

Через полчаса мы спешили и, ступив на теплый песок широкого речного русла, раньше ощутили, чем увидели, близость воды. По обе стороны ручейка тянулись густые заросли тростника; за ним проглядывали невысокие темные деревья, цвет и форму которых можно было различить, несмотря на ночное время, — это была тамарисковая роща Решег. Впервые скупая река Уэд-Мзи одарила нас своей водой.

— Поставим палатку? — спросил лейтенант.

— Не стоит.

— Ковер тоже не будем стелить?

— Зачем?

Мой слуга М. спутал наших лошадей, обе лошади спаги вместе с желтой кобылой и мулом были отпущены в рощицу. Мы уселись вокруг зажженной свечи, воткнутой в песок. Бен Амер открыл свою джебиру и, ни слова не говоря, принялся за абрикосы. Аумер воздержался от еды, так как уже пообедал. Ночь была так безветренна, что пламя свечи даже не подрагивало.

— Кто последним соберется спать, задует ее, — сказал лейтенант.

Все вытянулись на песке, завернувшись в бурнусы.

— А кто будет нести дозор? — спросил я.

— Господь бог,— сказал по-французски Аумер с прелестной улыбкой.

Трудно сказать, кто проснулся первым; я увидел, что все мои спутники смотрят на солнце, мирно встающее над страной, залитой розовым светом. Каждый острый листочек тамарисков был окружен золотым ореолом. Почти иссякшая речушка цвета лаванды вилась, словно песчаная дорога, между рядами зеленеющего тростника, за которым густо росли деревья. Воды едва хватало, чтобы оправдать присутствие лягушек, которых мы слышали накануне. В четверти лье к северу речка делала поворот, и над берегами, поросшими камышом, открывалась тонкая линия очень далеких розовых и нежно-лиловых гор. Небольшие стайки пиренейских рябчиков и пары светло-синих голубей беспокойно носились над рекой, скорее удивленные, нежели испуганные, нашим появлением. Среди деревьев раздавался голос маленького Али, собиравшего лошадей. Хотя все вокруг было красиво и жизнерадостно, мы чувствовали себя одиноко.

— Только в деревне так хорошо,— сказал мне лейтенант, которому Уэд-Мзи, очевидно, напомнила ручейки на его родине.— Жаль, что вода такая соленая.

Действительно, она была похожа на морскую или, скорее, на насыщенный раствор квасцов.

Менее чем через четверть часа мы оставили берег реки и увидели на западе Таджемут, до которого было еще три часа пути. По отделявшей нас от него пустынной одноцветной равнине вилась длинная зеленая лента Уэд-Мзи. Примерно в двух лье на востоке виднелось несколько пальм, разбросанных среди жалкой растительности,— остатки умершего от жажды или уничтоженного войной оазиса. Маленький Али не мог ничего рассказать мне, кроме того, что здесь раньше были сады. Мы оставили позади последние холмы Джебель-Мила; справа — цепь высоких, могучих, совершенно голубых гор Джебель-Лазраг, а впереди, на краю огромной бесплодной равнины, вырисовывался на необыкновенно прозрачном небе подернутый дымкой гребень Джебель-Амура.

Уже целый час мы ехали молча, утомленные обжигающим солнцем. Вдруг порыв ветра, прилетевшего из пустынных просторов, принес слабые звуки арабской музыки. Спаги натянули поводья, как бы показывая, что тоже услышали столь неожиданный в стране безмолвия звук; маленький Али привстал на своем

муле, всматриваясь в том направлении, откуда дул ветер. Пыльное облачко кружилось над равниной между нами и Таджемутом.

— Это племя кочует,— сказал Али,— переселяется.

Действительно, шум приближался, и вскоре можно было различить пронзительные трубные звуки волынки, выводящей один из причудливых мотивов, которые с равным успехом служат танцевальной и маршевой музыкой; такт отбивался ритмическими ударами тамбуринов. Иногда доносился собачий лай. Затем пыль, казалось, обрела форму, и мы увидели длинную цепь всадников и вьючных верблюдов; они приближались к нам, собираясь пересечь Уэд-Мзи там же, где и мы.

Наконец можно было разглядеть походный порядок и состав каравана. Караван вытянулся длинной вереницей на добрую четверть лье. Во главе ехала группа всадников, эскортировавших трехцветное знамя — красно-зелено-желтое — с тремя медными шарами и полумесяцем на конце древка. За ними на спинах белых и светло-рыжих верблюдов покачивались четыре или пять ататишей яркого цвета. Затем следовала коричневая масса вьючных верблюдов, понукаемых пешими погонщиками. Замыкало шествие огромное стадо овец и черных коз, вынужденных бежать, чтобы поспевать за широким шагом верблюдов. Разделенное на маленькие группы стадо погоняли женщины и негры под присмотром верхового в сопровождении своры собак.

— Это племя ларба,— сказал Али.

— Мне все равно,— сказал лейтенант,— раз это не шериф.

Большое племя ларба, кочующее вблизи Лагуата,— одно из самых значительных на юге наших владений; вместе со знаменитым благородным племенем улед-сидишейх они считаются самыми сильными, смелыми и воинственными, да и самыми богатыми, так как владеют, пожалуй, лучшими верховыми лошадьми во всей Сахаре. «Ларба,— говорит генерал Дома в своем путевом дневнике „Алжирская Сахара“,— очень храбры и не боятся вооруженных столкновений. Они прекрасно вооружены. Жизнь их полна приключений, к тому же из-за жестокого грабительского инстинкта, сталкивающего их слишком часто с другими племенами, они нажили многочисленных врагов...» Добавлю, что это племя считается наряду с племенем саидов наименее гостеприимным. Оно участвовало во всех сражениях, потрясших пустыню;

особенно последние пятнадцать лет ларба вмешиваются во все военные конфликты: они стояли против нас за стенами Лагуата; многие из них разделяли вплоть до Уарглы изменчивое счастье шерифа; именно среди ларба этот вождь партизан до сих пор набирает своих лучших всадников.

Когда мы подошли к реке, конный аванград кочевников уже пересек ее русло, а первый белый верблюд, несущий ататиш, величественно выходил на противоположный берег.

Всадники в боевом снаряжении были разодеты, как для конных состязаний; все с длинными, украшенными серебряным орнаментом ружьями, которые у одних висели на ремне через плечо, у других лежали на седле, а третьи держали в правой руке, упираясь прикладом в колено. Одни были в конических соломенных шляпах с султаном из черных перьев; другие надвинули на глаза свои бурнусы, подняв хаик до носа; и те, чья борода была закрыта, походили на худых смуглых женщин; иные в странных высоких колпаках из перьев страуса, обнаженные по пояс, со свернутым хаиком через плечо, с пистолетами и ножами за поясным ремнем, в широких турецких штанах из красной, оранжевой, зеленой или синей материи, обшитых золотым и серебряным сутажом, гордо выезжали на крупных лошадях, покрытых, как в средние века, шелковыми попонами и длинными шелилями *, украшенными медными бубенчиками, позвякивающими в такт движению их развевающихся хвостов. Лошади были прекрасны, но более, чем их красота, меня поразила неожиданная смелость причудливого смешения мастей. Я обнаруживал изысканные оттенки, так точно подмеченные арабами и воспетые в тонких сравнениях поэтами этого народа.

Я видел лошадей черных с синим отливом, которых они сравнивают с голубем в тени; лошадей цвета тростника, ярко-рыжих, будто сочащаяся из раны кровь. Были среди них снежно-белые и огненно-золотистые. Одни, темно-серые от рождения, становились фиолетовыми, лоснящимися от струящегося пота, другие, необычно светлой серой масти, с кожей, просвечивающей сквозь влажную короткую шерсть и придающей мягкость тонам, заслуживали дерзновенного названия розовых коней. Созерцая эту приближавшуюся столь великолепную кавалькаду, я размышлял о знаменитых

конных статуях и полотнах и осознавал разницу между языком живописи и жаргоном перекупщиков лошадей.

Среди блистательной свиты чуть впереди знамени ехали рядом два скромно одетых всадника — старик с седоватой бородой и совсем молодой, безбородый юноша. Старик, облаченный в одежды из грубой шерсти, выделялся скромностью и безупречной чистотой одежд, высоким ростом, крепким сложением, необычайно широким бурнусом и особенно размером головы, прикрытой тремя или четырьмя капюшонами, наброшенными один на другой. Он утопал в широком седле, обитом малиновым бархатом с золотой вышивкой. Его широкие ступни в туфлях без задника и каблука опирались на стремяна с золотой насечкой, а руки покоились на передней луке седла, сверкающей от соли. Его серая кобыла с темным хвостом бежала мелкой рысью, раздувая ноздри. Ее бездонные мягкие глаза, обрамленные черными волосками, казалось, были подведены кохелем, которым пользуются мусульманские красавицы. Негр в зеленой ливрее вел в поводу боевого коня — великолепное животное белой масти с гладкой, как атлас, кожей, в парче и золоте; конь пританцовывал под звуки музыки, что вызывало веселый перезвон погремушек шелиля, амулетов, висящих на его груди, и роскошной золотой узды. Оруженосец вез саблю и роскошное ружье старца.

Юноша в белом одеянии восседал на совершенно черной лошади с мощной шеей, с волочащимся по земле хвостом и гривой, наполовину закрывающей голову. Было странно видеть такое могучее животное под изящным подростком, поражающим своей хрупкостью и бледностью. У него был женственный, хитрый и одновременно властный и дерзкий вид. Он шурился, разглядывая нас издалека; и подведенные сурьмой глаза на бесцветном лице увеличивали его сходство с хорошенькой девушкой. На нем не было никаких знаков различия, вышивка отсутствовала на его одежде. Он тщательно завернулся в бурнус из тонкой шерсти, из-под которого виднелись лишь носок его сапога без шпор и кисть руки, держащая повод, — маленькая худая рука с большим бриллиантом на пальце. Юноша откинулся на спинку седла из фиолетового бархата, расшитого серебром. Его сопровождали две великолепные поджарые борзые, весело резвившиеся под ногами его лошади.

Едва заметив старого господина и его сына, маленький Али сделал движение, чтобы соскочить на землю

и пасть ниц перед ними. Но лейтенант положил ему руку на плечо. Удивленный ребенок понял этот жест и не двинулся с места. Я неотрывно следил за властным выражением лица молодого наездника, находившегося в гуще этого причудливого кортежа, которому прислуживали воины, а седобородые старцы заменяли пажей; затем перевел взгляд на очаровательного Аумера, который сейчас показался мне шутком, печально оценил осанку лейтенанта и, посмотрев на себя глазами строгого ценителя, не мог удержаться от вопроса:

— Лейтенант, достойно ли мы представляем Францию?

Проезжая мимо, старик холодно приветствовал нас движением руки; мы ответили ему с таким видом превосходства, на какой только были способны. Юноша, приблизившись к нам на расстояние двух шагов, поднял своего коня на дыбы; послушный его воле конь совершил чудесный прыжок — маневр, в совершенстве освоенный арабскими наездниками, — и, чуть не задев нас гривой, опустился на землю двумя шагами дальше, так что юный принц ловко избежал необходимости поздороваться, а его свита невозмутимо продефилировала мимо нас.

Далее колонной по два следовали музыканты: одни, отбивая воинственную дробь на инструменте, представляющем собой квадратную раму с натянутой на ней кожей; другие били деревянными палочками в литавры диаметром с небольшой барабан; третьи дули в длинные трубы вроде гобоя. Во главе группы верблюдов, несущих ататиши, шествовали два богато украшенных гиганта — крупные сухопарые животные, мускулистые, лоснящиеся от пота, почти такие же белые, как настоящие магара, шагающие «благородной поступью страуса». Их шеи украшали платки из черного атласа, передние ноги — серебряные браслеты. Ататиш — это что-то вроде закрытой тканью корзины с плоским дном, устланной подушками и коврами, ниспадающими на дромадера. Это сооружение производит впечатление балдахина во время торжественной процессии, а не походного паланкина. Вообрази набор дорогих тканей, сочетание самых неожиданных цветов; дамаст лимонного цвета с полосами из черного атласа с золотыми арабесками на черном и серебряными цветами на лимонном фоне; целый ататиш из алого шелка, пересеченный двумя лентами оливкового цвета; оранжевый цвет соседствует с фиолетовым, розовый растворяется в голубом, нежно-

голубой переходит в холодный зеленый; подушки вишневого и изумрудного цветов, шерстяные ковры более густых тонов: малиновые, пурпурные и гранатовые — все краски палитры переплетаются со свойственной жителям Востока фантазией, присущей лучшим художникам. Эти блестящие шатры образовали яркий центр каравана. Издали высокие сооружения сверкали, словно митра, над почтенными головами белых верблюдов, дополняя общее впечатление священнодействия. К сожалению, путешественниц не было видно, только пешие негры у каждого паланкина время от времени поднимали голову и переговаривались с кем-то, спрятанным за коврами.

Великолепие роскошных тканей и красок кончилось; появились вьючные верблюды, несущие палатки, домашнюю утварь каждой семьи, в сопровождении женщин, детей, нескольких пеших слуг и самых бедных членов племени. Пузатые сундуки, телли с желтыми и коричневыми полосами, блюда для кускуса, медные тазы, оружие — самая разнообразная поклажа, позвякивающая в такт движению; с боков верблюдов болтались черные бурдюки попеременно с десятками связанных за лапки кур, которые били крыльями с отчаянным кудахтаньем, а поверх всего — палатка, свернутая вокруг опорных стоек, как парус на рее, и еще жердь, удерживаемая растяжками в вертикальном положении, будто оснащенная мачта, — таков однообразный груз, отягчавший горбатые спины полтора — двух сотен верблюдов, они везли имущество и «шерстяные дома» маленького, кочующего по пустыне городка. За поклажей, уже над хвостами верблюдов, сидели мальчики, издававшие пронзительные крики, когда животные мешали в спешке друг другу; крошечные совершенно голые дети лежали в покачивающихся, словно люльки, кухонных блюдах, подвешенных к грузу. Только гарем перевозили в закрытых носилках, остальные женщины с открытыми лицами шли пешком, на ходу навивая пряжу на веретено, закрепленное на поясе. Девочки тащили за руку или несли за спиной в покрывале самых маленьких и наименее расторопных детей. Изнуренные старухи плелись, опершись на длинные палки, а старцы ехали на низкорослых осликах, волоча ноги по земле. Негры несли на своих эбеновых руках симпатичных младенцев в красных фесках, вели в поводу кобыл, покрытых от груди до хвоста джелали с цветными узорами, за ними семенили

жеребята. Некоторые тащили за рога, словно на жертвоприношение, свирепых баранов — зрелище столь же красивое, как на античных барельефах. Среди толпы сновали всадники, издали отдавая приказы пастухам, гнавшим позади стадо верблюдов и овец. Рычащая и лающая свора неотступно преследовала отстающих животных. Наше приближение еще усилило ярость собак и ужас овец. Мы перешли на рысь и скоро разъехались с арьергардом каравана.

Еще целый час слышались звуки волынок и виднелись клубы пыли, которые ветер уносил в направлении восточных гор.

— Признайтесь, — сказал я лейтенанту, — что этот способ переселения имеет преимущество перед принятым у нас.

И я напомнил давно забытый им ритуал смены места жительства, принятый у приобщенного к ценностям культуры и духовного богатства народа.

Я не знаю другого арабского городка, который столь же счастливо и правильно вписывался бы в панораму горизонта, как Таджемут, когда приближаешься к нему со стороны Лагуата. Он стоит на небольшом каменистом плато, чуть возвышающемся над равниной и имеющем форму вытянутого треугольника, его основание очерчивается зеленой защитной полосой фруктовых деревьев и пальм, а вершина — угловатыми выступами разрушенного памятника. Крепостная стена, вплотную прижимаясь к строениям, спускается по крутому склону холма и у его подножия примыкает своей квадратной башней к внешней ограде садов. Одинаковые башни, словно маленькие форты, наподобие пирамид с бойницами, располагаются через равные интервалы. Изящный силуэт зубчатых стен четко вырисовывается на фоне резко очерченных гор. В цветовой гамме преобладают густые серые тона, чуть позолоченные ярким утренним солнцем. Причудливое переплетение света и тени выявило детали внутреннего устройства городка и придало ему вид серо-голубой шахматной доски неправильной формы. Две небольшие мечети — красная и белая — справа, на вершине холма, лишь подчеркивали двумя ослепительными мазками строгую однотонность картины.

В полулье от города мы отправили вперед Аумера с письмом к каиду и поручили ему проследить, чтобы

диффа была очень скромной, ведь мы имели дело с бедным народом. Лейтенант подошел к Али и предупредил его:

— Где бы мы ни были, помни, кто твой господин. Никому не обнимай колени. Надеюсь, ты меня понял?

Маленький Али поднес правую руку к груди и ответил:

— Да, сидна.

Это очень редко употребляемая формула уважения, с которой обращаются лишь к сильным мира сего.

Чтобы войти в город с восточной стороны, нам пришлось объехать сады. По мере приближения облик Таджемута менялся: горы на заднем плане заметно понижались; то восточное полотно, которым мы любовались издали, распадалось само собой на составные части, и, наконец, перед нами не осталось ничего, кроме самого города, разрушенного осадой, выжженного, лишенного воды, заброшенного, поглощенного безмолвием пустыни. Было девять часов; солнце стояло уже высоко и нещадно палило. Мы проехали через кладбище, за которым виднелись квадратные ворота, обычные в стране арабов, устроенные в башне, соединяющей укрепления со стенами садов.

Араб со свирепым лицом, в запыленной обуви, с длинным ружьем за спиной шел с нами по дороге, оцетинившейся надгробными камнями, толкая перед собой хромого осла, везущего два пустых бурдюка. Чуть правее, ближе к вершине холма, пересеченного длинными грядами красноватых скал, видны были две клячи с опущенными головами, на тонких, словно палки, ногах. Больше ни живой души за стенами. Полное безмолвие. Зато слева, среди абрикосовых деревьев, слышалось воркование горлиц.

После довольно длительного пути по улицам, куда не проникали солнечные лучи, более узким, чем в Лагуате, вымощенным еще более скользкими плитами, мы попали на маленькую улочку, в конце которой несколько человек расседывали лошадь Аумера. Подъехав к ним, мы спешили, и нас ввели в очень темную переднюю с традиционной каменной скамьей, возвышающейся на четыре фута над землей. Там молча толпились люди. Все суетились вокруг человека, лежавшего на спине посреди скамьи. Когда мы подошли, один араб в довольно чистом бурнусе цвета трута протягивал ему миску с молоком и одновременно предлагал выбрать яблоко из кучи наваленных на ковре мелких зеленых плодов. Это

каид Таджемута прислуживал Аумеру. Завидев нас, Аумер расплылся в улыбке и сказал по-французски самым звонким голосом, на какой был способен:

— Здравствуйте, мой лейтенант,— словно встретил старых друзей, которых не видел уже целый месяц.

Наш приезд привлек толпу любопытных к дому каида. Мгновенно прихожая была заполнена, и дверь, закупоренная людьми, не давала возможности зевакам, желающим все видеть, удовлетворить их любопытство: большая часть посетителей осталась на улице в бессмысленном ожидании. Уже через минуту стало нечем дышать, и я потерял всякую надежду на отдых. Находиться в доме бедных ксуров Юга не слишком приятно. Надо признать, что здесь спасаешься от солнечного удара во время палящего летнего зноя, но зато приходится переносить все мыслимые неудобства. С первого взгляда я понял, что жилище каида станет для нас местом мучений, наименьшее из которых, несомненно, ужасающая жара, как в сухой парилке. По жестокому зуду, охватившему все тело, я догадался, что здешние мухи имеют целую армию гнусных пособников, скрывающихся в коврах.

Под потолком, прямо над скамьей, свила гнездо ласточка. Птенцы уже вылупились, и каждые пять минут ласточка возвращалась, неся что-то в клюве. Дверь была низкой; между притолокой и головами людей, столпившихся на пороге, едва хватало места для птицы. Она проскальзывала с легким писком. Подняв глаза, я увидел шесть покрытых черным пушком круглых головок, шесть раскрытых клювов над краем гнезда; желтые подушечки вокруг клювов делали их похожими на губы. Птица старательно делила пищу между птенцами, и головки одна за другой исчезали в гнезде. Мать, немного удивленная присутствием множества людей, колебалась в выборе между дверью, ведущей во двор, и дверью на улицу; у нее, вероятно, было основание предпочесть вторую, и она выпорхнула на улицу, хотя выход во двор был почти свободен. Эта сценка повторялась вновь и вновь, и каждый раз кто-то из арабов произносил строгим голосом: «Балек!» («Осторожно!») Многие сразу же сгибались вдвое, чтобы освободить место, иные, еще более любезные, вовсе отходили в сторону. Птица взлетала и уносила, издавая новый крик.

За столь трогательную черту характера я охотно простил этим славным людям то, что они заставляли нас

задышаться из-за своей неуместной вежливости. Хотя я привык безропотно переносить лишения, но нахожу этот способ отдыха столь изнурительным, что предпочел бы ему длительный переход. Диффа, конечно, не могла начаться вовремя. Эта церемония всегда требует определенных приготовлений, и ее торжественность в большой степени зависит от медлительности, с которой она протекает. Лица присутствующих залиты потом, бурнусы промокли, как банные простыни. К тому же невыносимые укусы жгли мне тело. Я обратился к лейтенанту; мне казалось, он не испытывал ничего подобного:

— Вы чувствуете?

— Нет, мой друг,— ответил мне лейтенант,— но я их вижу. А вам я советую прогуляться.

Направляясь к выходу, я очутился лицом к лицу с каидом; он нес черного барашка, дрожащего и блеющего от страха. Здоровый детина, одетый, как и каид, в необычный желтоватый бурнус и немного похожий на него, следовал за ним с веселым лицом, поигрывая ножом. Каид, полагая, что доставляет мне удовольствие, приоткрыл «шерстяное одеяло», чтобы показать, как бела и жирна его бедная жертва. Из приличия я был вынужден пощупать трепещущую плоть животного, которое собирались нанизать на вертел и через час подать к столу. Я сам себе показался дикарем, и диффа Таджемута больше не вызывала у меня ни малейшего аппетита.

Улицы были тихи, почти пустынные; тень уменьшалась на глазах, и мне попадались лишь отдельные жители, лежавшие под темными портиками домов. Заметил я и прячущихся детей. Проходя по улице, я слышал мерное постукивание станков, как во дворах Лагуата. Я обошел восточную часть города и направился, несмотря на жару, к белой гробнице, которая выделялась сверкающим пятном на бесцветном полотне. Это место погребения Сиди Аталлаха, одного из патронов Таджемута, предка улед сиди аталлах, маленького племени в сотню палаток, кочующего в окрестностях Таджемута и хранящего в городе свое зерно. Мечеть возвышается над восточной частью города, почти как мечеть Сиди эль-Хадж Айса над одним из кварталов Лагуата. Она окружена маленькой каменной стеной, вход завален так, чтобы внутрь нельзя было проникнуть. Верующие увешали стену множеством лоскутков. Отсюда по хребту холма я вернулся в город с северной стороны.

Таджемут так и не оправился от осады, которой подвергся одновременно со своим соседом — Айн-Махди. Чернеющие обломки, словно зазубрины на вершине холма, разрушенная почти до основания крепостная стена, обожженная при пожаре, — вот все, что осталось от старой крепости, уничтоженной во время войны. Дома лепятся друг к другу и издали кажутся живописной группой, на самом деле они находятся в самом жалком состоянии и постепенно разрушаются. Правда, все башни надстроены и ограды садов отремонтированы, чтобы сохранить посадки. Сады подступают к городу с трех сторон. Уэд-Мзи огибает три четверти территории Таджемута, вдоль ее широкого русла со стороны садов тянется высокий земляной берег красноватого оттенка, а с другой стороны русло захватывает значительную часть равнины в период половодья, но в сезон засухи река бесполезна: она не орошает сады и не может служить защитным рвом. Как в Лагуате, ручеек исчезает в песке, чтобы показаться вновь лишь в период дождей.

Солнце почти достигло зенита, когда я остановился среди обломков старой крепости, любуясь панорамой равнины. Я словно опять оказался в Лагуате: город, изнуренный жарой, оцепенел. Тишина. Все замерло. За зеленым островком садов открылась голая, каменистая, выжженная местность, заключенная в кольцо бурокрасных и пепельных гор очаровательного оттенка, но за невыразимой мягкостью тонов угадывалась жестокая бесплодность камня. Единственное облачко плыло над голубоватым пиком Джебель-Амура. Опаленный солнцем город, расположившийся на серых склонах, лишенных тени, не подавал никаких признаков жизни. Две лошади, замеченные мной при въезде в город, оставались на прежнем месте, но улеглись головами на север. Среди руин стояла черная палатка, в которой женщина в лохмотьях взбивала молоко в бурдюке. Самая глубокая ночь покажется оживленной рядом с этой унылой картиной. Во Франции трудно понять ощущение пустынного безмолвия под великолепным солнцем, заливающим землю своими лучами. В умеренном климате полуденное солнце пробуждает землю, вызывая к жизни все радостное и прекрасное, усиливает пылкое веселье, царящее в природе. В пустыне полуденное солнце ошеломляет, подавляет, умерщвляет, а полуночная тень восстанавливает силы и возвращает к жизни.

Лишь зеленый цвет листвы благодаря невероятным

запасам животворных соков противостоит воздействию ужасного лета, которое иссушает реки, делает непригодной для питья воду уцелевших источников и лишь немногим людям дает время состариться. Зеленый цвет необыкновенен, его невозможно передать смешением красок обычной палитры художника. Я вспомнил зеленую поросль дубрав, нормандские огороды после полива в лучшее время года, после того как распускаются почки, но так и не нашел достойного сравнения с ровной, вызывающе яркой, изумрудно-зеленой краской, придающей кронам деревьев вид игрушек из зеленой бумаги, развешанных на желтых стволах. Деревья стоят на почти голой земле цвета соломы, лишь изредка встречаются квадратики измученных жаждой огородов с едва взошедшими и увядшими на корню фасолью и бобами; все это усиливает дисгармонию и делает сравнение более точным.

Сады — все состояние и вся радость Таджемута. Говорят, они плодоносят. Я видел только яблоки и абрикосы. Мелкие, блеклые яблоки по величине и по вкусу напоминают те, что у нас идут на приготовление сидра. Абрикосовое дерево очень красиво: высокое, изящное, с густой кроной изысканной формы, будто сошедшее с полотна пейзажиста, вот почему я обращаю на него внимание. Плотная круглая крона или свисающие длинные гроздья листьев «написаны» плотными круглыми мазками, располагающимися, как предусмотрено канонами жанра, в строгой симметрии, словно стежки вышивки. Это в точности напоминает спокойное и мастерское исполнение «Диогена» и «Винограда Ханаана». Осенью, когда дерево становится коричневым, сходство достигает полного совершенства. Абрикосовое дерево, как и апельсиновое и как нормандские яблони, приносит такое количество плодов, что каждый листочек соседствует с золотым фруктом. После финиковой пальмы это мифологическое дерево — самое ценное во фруктовых садах Юга. Сушеные абрикосы составляют, ты знаешь, основу арабской кухни; их сушат на плетенках, а затем весь год готовят из них различные виды рагу, в том числе *хамис*, добавляя к плодам немного мяса и соус *фель-фель*.

Гранатовые деревья, на которых цветы уже уступали место плодам; грушевые деревья; карликовые смоковницы с более мелкими и темными листьями, чем у европейской смоковницы; несколько персиковых деревьев

с тонкими, чуть золотящимися листочками; виноградные лозы, причудливо разросшиеся во все стороны, их ягоды уже накапливают в себе кислейший сок; надо всем этим султаны пальм холодного, зеленого цвета, чуть желтые или красноватые в местах соединения со стволом, — вот сады Таджемута, такие же, как в любом из ксуров Юга.

Птицы в этой стране счастливее людей, ведь они питаются так же, а живут с большими удобствами. Им принадлежат толика свежести, которую растительность высасывает из почвы, и легчайший ветерок, беспокоящий застывший воздух знойного полдня; они хранят драгоценные дары природы в своем хрупком жилье среди листвы. Самих птиц не видно, едва слышен их шорох, когда проходишь рядом. Иногда красно-бурая горлица с лиловым ожерельем на шее вспархивает над пальмой и снова прячется, она прогибает податливый джерид, усаживаясь на него; одно мгновение покачивается на фоне голубого неба, потом скрывается в глубине кроны, раскачивая пальмовые ветви, откуда доносится ее тихое воркование, а затем вновь воцаряется тишина.

Когда я вернулся в переднюю, куда запах еды, казалось, привлек всех мух и всех проголодавшихся жителей квартала, каид, который только и ждал моего возвращения, подал знак, и в комнату внесли из кухни дымящуюся тушу подрумяненного на вертеле маленького черного ягненка.

В продолжение всего застолья Аумер безумно веселился, а Бен Амер пытался убедить нас, что жители Таджемута были бы счастливы, если бы мы задержались до следующего дня, но наши бедные лошади задыхались от жары на дворе, и отправиться в путь значило принести облегчение людям и животным. Не прошло и трех часов, как мы покинули каида и выехали через Баб-Сфайн — ворота, выходящие на Айн-Махди.

Айн-Махди, июль 1853 года

Начинала сбываться самая давняя мечта путешественника, скорее, греза, ведь в то время, когда она возникла при изучении карты Сахары, было весьма сомнительно, что она когда-нибудь исполнится. Не отдаленность и не новизна сделали для меня эту страну привлекательнее, чем другие, столь же способные вызвать душевное волнение уголки земли. Причинами моего интереса были что-

то необъяснимо пленительное в ее названии, дошедшие до меня события ее истории, молва о великом религиозном деятеле, борющемся за стенами укреплений против первого полководца современной Африки — неотчетливые на расстоянии события и пейзажи, окруженные ореолом таинственности, и, наконец, чутье, позволившее мне вообразить некий монастырский город, суровый и надменно благочестивый, подчиненный, как Авиньон, возвышающемуся над ним папскому дворцу. По пути я вспоминал времена, когда Лагуат был еще далеким, таинственным даже для жителей Алжира, и думал о многих событиях, незначительных или великих, которыми распорядился случай, чтобы сделать занимательным мое путешествие. Самым поразительным было то, что я воспринимал как должное утренний завтрак в Таджемуте, а теперь без малейшего удивления направлялся обедать в Айн-Махди.

Перед нами расстилалась однообразная каменистая равнина. Справа и слева параллельно тянулись чудесно расцвеченные горы, по ним ползли тени, словно стекающие голубые капли воды. На краю равнины линия горизонта очерчивала небольшую возвышенность, именно за этой складкой местности должен появиться Айн-Махди. Горы по мере захода солнца окрашивались в голубые тона. Узкие серые тропки, ведущие от Таджемута к Айн-Махди, уходили вдаль прямо, без малейших отклонений. Большого и не требовалось, чтобы указать на близкое соседство другого города.

Две-три параллельные тропы, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, хорошо утоптаные и расчищенные от камней, и образуют большую караванную дорогу. Вьючные верблюды тянутся вереницей по средней тропе, самой пыльной, единственной, которая не прерывается; всадники охраны и погонщики верблюдов движутся параллельным курсом по маленьким боковым дорожкам, тоже цепочкой, так как просто не существует дорог, по которым могло бы пройти рядом более двух лошадей. Таким образом, дорога прокладывается по самому короткому маршруту. Если встречается кустик альфы, ши или ктафа, его обходят, трава остается нетронутой, а дорога в том месте делает небольшой крюк благодаря непреклонному постоянству путников. Я развлекался, различая в пыли широкие следы верблюдов, отпечатки копыт лошадей, следы людей. Время от времени мы находили колесные колеи,

почти стертые зимними дождями. Не по этому ли пути провезли пушки, прибывшие из Эль-Абиода, чтобы расстреливать крепостные стены Лагуата?

Редкие ганга, которых мы так и не увидели, издавали над нашими головами слабые крики, растворяющиеся в полной тишине. Слева, ближе к холмам, время от времени появлялись буро-красные пятнышки с белыми крапинками. Эти подвижные точки находились от нас на довольно большом расстоянии, но были отчетливо различимы. Это газели, пасущиеся среди желтеющей альфы. Наша дорога была испещрена их следами; можно было сказать, что «земля испускала мускусный запах».

Пройдя около половины пути, мы увидели двух пеших путешественников. Они шли нам навстречу, ведя под уздцы трех осликов. Два осла были навьючены, третий, лохматый, как медведь, величиной с крупного барана, весело рысил впереди собратьев и часто останавливался, чтобы отщипнуть на ходу веточку ктафа. Путники оказались чистокровными, черными, как смоль, неграми с морщинистыми лицами, которые дыхание пустыни покрыло серым налетом, словно коростой. Они были в тюрбанах, куртках, широких штанах — все это белого, розового и светло-желтого цветов — и в странных башмаках, напоминающих туфли акробатов. Меня чрезвычайно поразило контраст веселых костюмов, производивших необыкновенное впечатление нежностью тонов, и внешности стариков, чьи иссушенные тела походили на мумии. У одного на шее болталось ожерелье из тростниковых флейт, как у безумца из Джельфы; в руке он держал волынку из резного дерева, инкрустированную перламутром и украшенную раковинами. Другой нес на перевязи гитару, сделанную из панциря черепахи, насаженного на палку. Я долго гадал, что за странный груз везли ослы. Кроме нескольких тамбуринов, увешанных погремушками, других музыкальных инструментов, узнаваемых по их длинным грифам, и кучи выцветшего тряпья я видел над грузом множество пушистых комочков, перекатывающихся по спинам ослов и даже взметающихся между их ушами. Приблизившись, я увидел фигурки причудливо-уродливой формы в птичьем оперении всех цветов радуги, причем самым поразительным оказалось то, что каждый из этих уродцев действительно обладал клювом и двумя лапками. Их было множество — различных размеров и форм, способных поразить воображение: одни — маленькие, во-

оруженные страшным клювом, с длинными ногами фламинго, другие — тяжелые, как дрофы, с едва различимыми головками и тоненькими ножками, а третьи — дикого, хищного вида, которым не хватало лишь истощенного крика, чтобы внушить ужас.

Представь, любезный друг, до чего может дойти фантазия негра, когда он забавляется созданием чучел, сшивая шкурки, прилаживая лапки и головы. Итак, это были балаганные фигляры со своими марионетками. Они шли из Айн-Махди, где вряд ли что-нибудь заработали, и направлялись через Таджемут к племенам улед-наиль и далее в дуары Телля попытать счастья в своем невинном промысле. Я поручил Аумеру расспросить их, но они очень плохо говорили по-арабски и не могли объяснить, откуда держат путь. Уаргла — единственное название, которое я мог разобрать в рассказе негров об их одиссее. «Это город, где очень любят смеяться», — сказал Аумер. На всякий случай я произнес: «Кука, Кано» — и перечислил все известные мне названия, относящиеся к Берну. Они залились веселым смехом, чистосердечным и приятным, свойственным самому смешливому на земле народу, затем повторили: «Кука, Кано» с видом полного понимания, что позволило мне сделать вывод, впрочем, может быть, ложный, что они могли иметь отношение к озеру Чад или к народу хауса. Путники попросили у нас воды. К счастью, бурдюк был еще полон. Мы пожелали друг другу счастливого пути, и, обернувшись, я мог видеть, как они удаляются в направлении Таджемута, видневшегося в глубине позолоченной равнины, словно серое пятно под зеленой линией.

Когда я впервые пересекал равнину Митиджа, чтобы попасть из Алжира в Блиду, то был сначала удивлен (ведь я жил представлениями вчерашнего дня), что могу проделать весь путь в дилижансе, почти как по дорогам Франции; еще более я был поражен, встретив посреди той равнины овернца в бархатной куртке оливкового цвета и в каскетке из выдры, который нес перед собой шарманку, наигрывая на ходу. Это случилось недалеко от места, называемого «Четыре дороги», на зеленой равнине, поросшей карликовыми пальмами; между дорогой и горой кое-где виднелись развернувшиеся веером султаны одиноко стоявших больших пальм; великолепные горы Атласа с голубыми прожилками, увенчанные вечными снегами, обрамляли пейзаж — это был замечательный пролог к путешествию.

Я успел заметить шакала, перебежавшего дорогу, словно европейская лиса, и увидел вдали двух аистов, стоящих среди тростника, причем один из них, будто египетский ибис, держал в клюве нечто, что можно было принять за змею. Овернец играл на своей шарманке «Милость господню». Это показалось мне невероятно неуместным.

Когда я прощался с музыкантами-неграми, меня посетило давно забытое воспоминание, но я не испытал прежней досады. Мне показалось, что новая встреча открыла мне философский смысл первой. Я сравнивал этих бедных эмигрантов, прибывших один из Берну, другой из Канталя или Савойи, и не мог не восхититься чудесной игрой случая; я представил, как в один прекрасный день они, может быть, встретятся, первый — со своей гитарой из панциря черепахи, второй — со своим музыкальным ящиком, и вместе сыграют негритянские напевы и парижские мелодии посреди арабского города, ставшего французским.

В шесть часов мы потеряли из вида Таджемут, и почти тотчас же перед нами открылся массивный, вытянутый, чуть расширенный в средней части коричневый силуэт одинокого города с двумя светлыми точками почти в центре — это был Айн-Махди. Солнце, склонившееся к горному массиву, зашло городу в тыл, вычерчивая ажурные контуры, и залило отроги Джебель-Амура фиолетовым и зеленовато-голубым сиянием. День клонился к закату; время вступления в долго хранивший свои тайны святой город было выбрано как нельзя лучше: вечерний полусвет, лишь приоткрывающий завесу над святилищем, тень, обволакивающая его на наших глазах, — все чудесным образом вызывало благоговейное чувство смешанного любопытства и почтения, которое всегда внушал мне Айн-Махди.

В семь часов мы достигли подножия укреплений. Стены солидной кладки с частыми зубцами увенчаны маленькими пирамидальными куполами. Аумер поспешил вперед, чтобы предупредить каида о нашем прибытии, и мы въехали в город с весьма скромным эскортом из одного всадника. За укреплениями менее высокая стена образует внутреннюю ограду садов. Между стенами проходит узкая и извилистая дозорная дорога. Именно по ней заставил нас кружить проводник, чтобы выйти к главным воротам — Баб-эль-Кебир. Ворота напоминают вход в крепость. Они расположены в высокой стене между двумя массивными квадратными башнями и

гораздо выше, чем обычные ворота арабских городов; солидные створы обиты железом; их контур, почти столь же широкий, как и высокий, обведен известью; к внешней стороне стены примыкает скамья из серого камня, отполированного временем. Крытый вход просторен и вместе с углублениями в толще боковых башен образует настоящий учебный плац.

Улица, на которую попадаешь, выйдя из-под свода, соответствует монументальным воротам. Она слишком широка для арабской улицы, проходит между высокими глухими стенами, выложенными из камня, без оконных и дверных проемов и такая чистая, что кажется выметенной. Через сотню шагов у белого дома мавританского стиля она поворачивает под прямым углом, своей необычной формой дом напоминает одновременно дворец и мечеть. Это высокое белое здание со стрельчатыми окнами в верхнем этаже, украшенными вычурной резьбой, принадлежало мусульманскому священнику Теджини. Оно стало местом его погребения и мечетью Айн-Махди. Имя Теджини, которое вряд ли вызовет у тебя большой интерес, когда ты прочтешь о нем, мой любезный друг, заставило меня, когда оно сорвалось с губ маленького Али, испытать искреннее волнение. Оно наложило на все вокруг благородный отпечаток героизма и святости. Я чувствовал, что воинственный дух великого человека все еще витает над этим гордым, строгим городом. Воображение не обмануло меня: Айн-Махди отличался от виденных мной городов и отвечал своим обликом моим давним представлениям.

Никем не охраняемое стадо верблюдов запрудило всю улицу. Кроме безмолвных животных, вокруг не было ни души. Пустынная, безмятежная улица заволакивалась пыльными тенями рыжеватого цвета; осязаемая тень, отягченная зноем, приносила смутные запахи, возникающие с наступлением темноты только в южных арабских селениях. Несколько человек стояли на террасе дома Теджини; их взгляды были устремлены в сторону гор. Они заметили, как мы вошли в город и повернули за угол, но не отвлеклись от наблюдения за чем-то, находящимся далеко на западе.

Каид, заранее извещенный о визите, ждал нас у входа в красивый дом, разновидность дар-дияфа*, который мы заняли. К дому прилегает большой двор с просторными конюшнями, где стояли наши лошади; прочная, добротная лестница ведет на второй этаж; на галерее находятся

предоставленная нам комната для дневного отдыха и красивая, выстланная коврами терраса для ночного сна.

Нынешний каид Айн-Махди не поражает ни своим внешним видом, ни манерами, зато надлежащим образом представляет гражданскую власть в муниципалитете. Это простой и достойный человек; его лицо с тонкими, но мягкими чертами, одежда из толстой белой шерсти, четки из черного дерева и короткие волосы вызывают скорее мысли о представителе административной власти и священнослужителе, чем о военачальнике. Прием, оказанный нам, был строгим и холодным, как сам каид, и я сразу заметил свойственную ему рассеянную обходительность, которая не была выражением бестактности, но не отличалась предупредительностью. Едва мы изложили ему цель нашего визита — он уже знал о ней из рекомендательного письма, — как он нас оставил, что было против обычая. Это меня весьма удивило. Через несколько минут началась диффа. Два спаги подняли голубые простыни, по обыкновению накрывавшие блюда, и я увидел по их лицам, что произошло что-то ужасное. На столе стоял кускус из ячменной муки и кушанья самого худшего качества. Аумер поднялся со значительным видом, взял одно блюдо и приказал слуге: «Унеси и скажи каиду, что произошла ошибка». Ошибкой ли можно было объяснить подобное отношение к гостям? Мы так этого и не узнали, но через мгновение принесли ужин и появился сам каид с извинениями, на сей раз в окружении достаточно многочисленной свиты из прислуги и друзей. Все они теснились в углу террасы, смотрели на заходящее солнце и что-то оживленно обсуждали между собой.

— Вы понимаете, что происходит? — вдруг спросил меня лейтенант. — Они еще ждут луну, у них рамадан еще не кончился.

Аумер ехидно усмехнулся, заявив, что в Лагуате видели ночное светило еще накануне вечером, в 7 часов 35 минут.

— Бесспорно лишь то, что мы досаждаем хозяевам, — сказал я лейтенанту, — это очевидно, и я считаю, нам надлежит объясниться.

Мы объяснили, что рассчитали время отъезда таким образом, чтобы не стеснять хозяев; что мы отбыли из Лагуата в 7 часов 35 минут вечера по орудийному выстрелу, возвестившему об окончании поста, чтобы прибыть в Айн-Махди в первый день байрама. Я описал приготовления, которые совершались в тот момент у их сосе-

дей: все кухни дымились, город был полон запахами мяса — и призвал в свидетели двух спаги и маленького Али. Нам возразили, что, если лагуатцы видели новую луну, значит, они не слишком требовательны, а в Айн-Махди более точно соблюдают обычай и пост еще продолжается.

В этот момент каид простер руки к горизонту, и все увидели на бледном западном небе тонкий и длинный рог нарождающегося месяца. Он выделялся с четкостью серебряной нити на совершенно чистом небосклоне цвета золота с зеленым налетом. Под ним мерцала маленькая звезда, блестящая, как глаз улыбающегося человека. Мы несколько минут любовались чудесным знаменем окончания длительного поста. Дневное светило висело низко над горами, через мгновение тонкий нижний край диска скрылся, и постепенно солнце закатилось.

Каид, более озабоченный увиденным, чем нашим присутствием, покинул галерею со своими слугами, чтобы объявить о завершении рамадана в 1269 году хиджры. Его сын — подросток с нежным лицом, но уже с манерами взрослого человека — лег, не говоря ни слова, на ковер, чтобы провести ночь рядом с нами. Меня клонило ко сну; я слышал неясное пение, похожее на чтение печальных псалмов, которое доносилось из усыпальницы Теджини, наслаждался какое-то время блеском звезд над головой и, не дождавшись конца трапезы, заснул среди деревянных блюд и марджелей с молоком прямо за столом, служившим нам и постелью.

Айн-Махди, июль 1853 года

Первое впечатление сохранилось: Айн-Махди напоминает мне Авиньон. Мне трудно объяснить это, ведь вряд ли существует что-либо более различное, чем любое арабское селение и французский город; сходство, которое тем не менее я находил во внешнем облике двух городов, заключалось в линии ажурных укреплений, одинаково теплом, коричневом цвете, видных издалека памятниках, величественно возвышающихся над строениями. Я говорю о духовном родстве двух молчаливых характеров, о властности, готовой постоять за себя, о суровой святости. Сочетание особенностей крепости и аббатства вызывает в памяти образ средневекового феодального замка. Города эти производят сходное впечатление, и, возможно, сравнение, порожденное моей фантазией, даст тебе точное представление о реальности.

Айн-Махди расположен на небольшой возвышенности среди равнины и имеет форму эллипса. Некоторые находят, что он имеет форму «яйца страуса, разрезанного пополам вдоль». Фортификационные сооружения возведены замечательными мастерами и находятся в прекрасном состоянии. Общая картина не поражает хаотическим нагромождением деталей и путаницей линий, пересекающихся под любым углом, что свойственно городам Сахары, а сохраняет правильность линий и вычерчивается прямыми углами, радующими глаз.

Сады во время осады вырубил, и зеленая шапка молодой поросли едва поднимается над оградой. Единственное уцелевшее дерево печально возвышается на пустынном огороженном участке. Руины и отсутствие зелени бедного ксура Эль-Утая, затерянного на бесплодной равнине между Эль-Кантарой и Бискрой, свидетельствуют о том, что здесь прокатилась война. Захватчики пощадили одну пальму, чтобы каждый знал, что на этом месте был оазис. В Айн-Махди сохранились два дерева — одно в северной, другое в южной части садов.

В Айн-Махди нет реки, но вдали, между городом и горой, еле видно белое каменное строение у местного источника. У ворот Баб-эс-Сакия ручей впадает в бассейн, откуда через два шлюза вода поступает в сады. Здесь, как и в Лагуате, есть распределитель вод со своими песочными часами, по которым весь город сверяет время.

Армия Абд аль-Кадира разбила лагерь приблизительно в километре от садов. До сих пор показывают место рядом с Айн-Махди, где стояла палатка эмира. Оно отмечено круглой каменной кладкой, применяемой для установки шатров в дуарах оседлых племен, этот фундамент свидетельствует о намерении эмира стоять до конца. Как ты знаешь, осада длилась девять месяцев. Город был прекрасно вооружен, снабжен всем необходимым и имел несколько колодцев; по приказу Теджини в крепости не осталось ни одного лишнего рта, ее защищали 350 лучших стрелков пустыни — все это сделало штурм невозможным. Утомленный орудийной пальбой, удрученный печальным зрелищем опустошенных садов и сухого русла перекрытого неприятелем ручья, Теджини предложил своему врагу положить конец распрям, встретившись в поединке. «Он увешан амулетами», — заявили тольба из лагеря Абд аль-Кадира, считая условия неравными, и дуэль не состоялась. Это была настоящая илиада;

все закончилось грабительским договором, столь же вероломным, как троянский конь.

Эмир поклялся — было записано в договоре — совершить молитву в мечети Айн-Махди. Это тронуло мусульманского священника. После заключения соглашения и обмена клятвами на Коране о его исполнении Теджини удалился в Лагуат со своими женами и свитой. Абд аль-Кадир вошел в город, приказал разрушить его стены и отдал дома на разграбление, но отнесся с почтением к жилищу священнослужителя. Затем под давлением событий он удалился и почти сразу обратил свой меч, обещанный святотатственной войной, против нас. Все изложенные выше факты с исторической точки зрения незначительны, но не кажутся ли они тебе способными породить легенду?

Теджини умер четыре месяца назад, оставив сына-юношу и двенадцать дочерей; у него было пятнадцать лет мира, чтобы заново отстроить город и возвести укрепления.

После краткого и славного периода воинственности он мирно продолжил жизнь затворника и хотел посвятить ее только добрым деяниям, не занимаясь чужими делами. Но в то же время он не желал, чтобы вмешивались в его собственные, и требовал предоставления ему полной свободы в вопросах управления его маленьким государством, я чуть было не сказал епархией. «Я не принадлежу больше этому миру», — писал он за много лет до того, как его покинул. Однажды, когда он молился в одиночестве в своей часовне, раздался крик. Его верный слуга, который дежурил у дверей, вбежал и нашел своего господина распростертым на полу.

В достоверности описанного события все же возникли сомнения, и, чтобы разоблачить возможное мошенничество, из Лагуата в Айн-Махди направили офицера с заданием заставить местные власти вскрыть гроб и лично удостовериться в смерти великого человека. После опознания личности умершего было публично заявлено о смерти Теджини, что не помешало бы, как говорят, его воскресению, если бы предоставилась для этого благоприятная возможность.

Доброе имя Теджини пользуется уважением во всех уголках пустыни; религиозное влияние его личности будет живо, пока арабы не утратят память о своих святынях. Судя по всему, это вечная привилегия. Теджини уже не человек, известный своей святостью, а святой,

и его дом стал часовней. По обычаю мусульманских священников, он завершил жизненный путь рядом со своей могилой, и ему не понадобилось, уходя в мир иной, менять крышу над головой. Мавзолей, который служил местом погребения его предкам, окружен роскошной балюстрадой, раскрашенной и позолоченной; он был сделан в Тунисе и частями доставлен в Айн-Махди.

Вчера, в день религиозного праздника арабов, все утро к мечети тянулась торжественная процессия женщин и мужчин. Французы идут в церковь, как дети в школу: они входят поодиночке, а выходят из нее по окончании службы толпой. У дверей же арабской мечети видишь два непрерывных встречных потока верующих, идущих молиться и возвращающихся; все происходит в полной тишине и без излишней торопливости. Все эти очень красивые люди, степенные и полные сознания собственной значительности, одеты слишком чисто для бедняков и слишком скромно для богачей. Все в одинаковых грубошерстных одеяниях, в плотных хаиках, подвязанных простым серым шнуром, с одинаковыми четками на шее; у всех одно и то же выражение спокойной суровости и безразличия к чужестранцам, словно у старцев, направляющихся на самую торжественную церемонию.

Ничто здесь не напоминает палаточную жизнь святош или солдат или жизнь в бордже феодалов и воинов. Я мог изучать в различных местах эти стороны арабского быта и повсюду находил порох, лошадей, боевое или охотничье оружие, так или иначе вплывавшиеся в обычные житейские сцены. В Айн-Махди нет никакой арабской джигитовки, особенно если речь идет о религиозных обрядах и проявлениях набожности. С момента приезда я ни разу не слышал стука копыт; можно подумать, что находишься в святилище, по вымощенному полу которого ходят только священнослужители. Я не видел ни поясов с оружием, ни сапог со шпорами; все горожане носят сандалии, а за городской стеной — дорожные башмаки со шнурками. Невозмутимые лица выражают уверенность в себе. Жители с гордостью за родной город говорят о ветхих стенах Лагуата, рухнувших под ядрами наших пушек, и тем самым подчеркивают достоинства крепостной стены Айн-Махди. Они ведут себя с уверенностью людей, которые желают продемонстрировать свое миролюбие и в то же время дают понять, что при необходимости способны оказать сопротивление.

Женщины тоже посещают мечеть, чего я нигде боль-

ше не видел. Они толпой идут к месту поклонения, с той же торжественностью, что и мужчины, даже в их походке чувствуется необыкновенная набожность. Наряд их ничем не отличается от одежды жительниц Лагуата, но добавляется одна деталь — все носят мехлафу, и лицо закрыто так, что почти не видно глаз.

Я уселся в глубине улицы и стал наблюдать, как они спускаются из внутренней части города; женщины проходили мимо меня к улочке, ведущей к святилищу. Большая тень, отбрасываемая домом Теджини, скрывала широкую в этом месте дорогу, взбиралась по опорам фондука, стоящего напротив, оставляя в золотом солнечном свете лишь верхнюю часть фондука и домов за ним. Тень изгибалась вместе с улицей, поднимаясь по ней, вытягивалась или сжималась соответственно неровностям местности. Ярко-голубое небо венчало картину таинственных улиц. На теневой стороне, у подножия стены, сидели, лежали, сжавшись в комочек или же на боку, арабы в позах величественного отдыха, которые становятся вычурными в академическом исполнении, но просты и правдивы у мастеров.

Женщины появлялись с солнечной стороны и шли вдоль стен, ускоряя шаг, проходя мимо меня, чтобы как можно быстрее ускользнуть от взгляда неверного: то по двое, прижавшись друг к другу, волоча за собой маленькую девочку в ветхом платье, уцепившуюся за развевающиеся концы хайка, то большими группами, так что их просторные одежды с обилием складок наполняли улицу легким таинственным шорохом. Иногда проходила группа из трех женщин: среднюю, возможно самую молодую, казалось, поддерживали две другие; они обнимали ее за талию и укрывали полкой своих покрывал. Такая гармоничная группа двигалась как единое целое, не было заметно ни жестов, ни скрытых одеждой ног, она словно плыла, приводимая в движение общими усилиями, три покрывала слились в одно, под свободной одеждой лишь смутно угадывались формы тел.

Возможно, мне разрешили бы войти в мечеть, но я даже не пытался. Проникновение в жизнь арабов далее дозволенного предела представляется мне проявлением нескромного любопытства. Следует наблюдать этот народ на том расстоянии, на каком он согласен показать себя: мужчин — вблизи, женщин — издали, но никогда не пытаться проникнуть в спальню и мечеть. Описывать женские жилища или ритуалы арабского религиозного

культа, по моему мнению, значит не просто поступать нечестно, а еще и встать на ложную точку зрения в отношении назначения искусства.

Баб-эль-Кебир, начало главной улицы, подступы к дому Теджини — вот и все достопримечательности Айн-Махди. Во всем остальном ощущаются обычная небрежность и нерадение; верхний квартал застроен так же беспорядочно, как Лагуат. Здесь, как повсюду, двери с просветами, грязные улочки и глинобитные дома, потрескавшиеся от солнца; дети, прячущиеся, словно в засаде, и убегающие, завидя нас; женщины еще более дикие, чем в других местах, скрывающиеся при нашем приближении под темными портиками домов; безразличные мужчины, которые тяжело приподнимаются с ложа, где отдыхают, и приветствуют нас с слишком высокомерным для простых горожан видом.

Наш дом примыкает к садам с юго-западной стороны. С моей террасы, облокотившись на зубчатую стену укреплений, я охватываю взглядом большую половину оазиса и всю равнину: с юга, где воспламененное небо вибрирует от далеких испарений пустыни, до северо-запада, где безводная, выжженная местность цвета теплой золы незаметно переходит в горы. Мне всегда нравились виды, открывающиеся с высоты, и я всегда мечтал, что увижу на фоне неба и безграничных просторов гигантские фигуры великих героев в простых сценах их жизни. Елена и Приам на вершине башни назначают командующих греческой армией; воспитатель увлекает Антигону на террасу дворца Эдипа, а она пытается отыскать глазами брата в лагере семерых героев — вот картины, которые меня волнуют и, мне кажется, заключают в себе торжество человеческой природы и трагедию жизни. «— Кто этот воин с белым плюмажем на шлеме, идущий во главе армии? — Принцесса, это вождь.— Но где же мой любимый брат? — Он стоит рядом с Адрастом у могилы семи дочерей Ниобеи.— Ты его видишь? — Вижу, но не слишком отчетливо».

Я думаю сейчас, что подобные сцены, а возможно, с теми же чувствами разыгрывались на этой самой террасе, где я пишу свои заметки. Я смотрю на пустую площадь, где находился лагерь, и вижу белый квадратный блок Айн-Махди, похожий на могилу Зетоса, одного из сыновей Зевса.

Я позабыл сказать тебе, что утром, во время прогулки, нашел у садовой ограды осколок снаряда, попавшего

туда во время осады в 1838 году, а в городе — французскую перчатку, бог весть кем принесенную и брошенную на кучу навоза, где копошились три серых гуся, птицы более редкие здесь, чем страусы.

Таджемут, июль, вечер

Сегодня вечером мы вернулись в Таджемут. Чтобы избежать гостеприимства каида, мы решили разбить лагерь вне города, рядом с ручьем, у садовой стены. Здесь мы увидели араба, сидевшего на земле в центре круга, образованного пятью дромадерами. В его бурнусе была охапка травы, и он распределял ее по травинке; пять животных лежали с вытянутыми вперед шеями, а их причудливые головы почти покоились на коленях хозяина. Они глухо ворчали друг на друга из-за жалкого корма, который, должно быть, вызывал у них воспоминания о плодородном сезоне. Погонщик верблюдов уступил нам свое место — утрамбованный склон, очищенный от камней, где удобно было расстелить ковер.

На этот раз я спросил лейтенанта:

— Поставим палатку?

Лейтенант поспешил ответить:

— Не стоит.

И я сказал, смеясь, маленькому Али:

— Хорошо, не снимай ничего, не будем развязывать тюки до следующего перехода.

Нам можно было не брать с собой столько багажа и обойтись без проводника и без мула.

Но лейтенант считает, что они подходят друг другу, а без них мы имели бы вид жалких бедняков.

Мягкая и спокойная ночь опускается на печальную мирную страну, которая становится чуть оживленнее, чем днем. Вместе со светом исчезают и тени; серый туман, собирающийся над городом, создает иллюзию свежести. Безмолвные силуэты проходят по вершине бесплодного холма, вырисовывающегося на оранжевом небе, и исчезают на уже потемневшей дороге, ведущей в Баб-Сфайн. Пальмы раскачиваются, будто желая стряхнуть дневную пыль; на соседней улочке слышен плеск воды, набираемой мисками и стекающей с полных бурдюков.

Нам будет нелегко уклониться от приглашения на диффу: уже сейчас заметна суэта людей, снующих между городом и нашим бивуаком. Каид, появившийся рядом с нами, отдает приказы. На нем все тот же некра-

сивый бурнус желтого цвета; он смеется, и его безбородое розовое лицо со светло-голубыми глазами выражает удовольствие от встречи с нами. Слева, на высоком холме, собираются любопытные; они, видно, привлечены приготовлением пищи.

Не желая уступить хозяевам в проявлении гостеприимства, мы предлагаем каиду свечу, хлеб, который мы везем еще из Лагуата, два лимона и полный котелок кофе. Вновь прибывшие многочисленные гости образуют круг. Я спрашиваю себя, как все эти люди обойдутся двумя лимонами и тремя чашами.

Каид берет один из лимонов, проделывает в нем маленькую дырочку, приникает к ней губами, осторожно высасывает немного сока, затем передает плод соседу. Лимон обходит весь круг и возвращается жалкой, съезжившейся шкуркой в руки каида; он осторожно прячет ее в капюшон своего бурнуса, будто желая сохранить до следующего пиршества. Затем по кругу пускают три наполненные до краев чаши, и каждый отпивает, дождавшись своей очереди. Пустые чаши ставят в центре круга, после чего один из наиболее разодетых гостей, самый упитанный на вид, облизывает их и вытирает пальцем, как бы удостоверяясь, что в них ничего не осталось.

Праздник набирает силу; появляются музыканты и певцы. Мы зажигаем еще одну свечу. Я узнаю, что Аумер и Бен Амер заказали музыку и оплачивают эту часть развлечений. В десяти шагах от нас разжигают большой костер. Со своего места я неясно различаю тушу жирного барашка, которая вращается на вертеле над огнем; вокруг склонились внимательные повара с таким жадным выражением на лицах, что я не знаю, находятся они здесь, чтобы жарить барана или есть его.

Одиннадцать часов. Я отдал бы все дидфа мира за час сна. На сей раз я оставляю свой обед нетронутым, и надо сказать, никто не обижается за нарушение обычая.

Если что-нибудь может сравниться с воздержанностью и умеренностью арабов, то только их прожорливость. У этих людей замечательные желудки, они то удовлетворяются кусочком, который не насытит и ребенка, то поглощают невероятное количество пищи, способное dokonать сказочного обжору. Трудно даже описать проворство челюстей, быстрые движения пальцев, рвущих мясо на куски или скатывающих кускус, и волчий аппетит, угадывающийся по лицам этих чревоугодников. Наш любитель кофе творит чудеса: он уже

не жует пищу, зубы ему ни к чему, обеими руками, как жонглер шарик, он бросает кусок за куском в широко открытый рот, кажется, что он не ест, а пьет. Каид не уступает его никому.

Накрыты три стола. За первым сидят важные особы, они обладают привилегией выбирать лучшие куски и сдирать подрумяненную кожу барашка. Люди, сидящие за вторым столом, в свою очередь, могут рвать жареное мясо зубами в течение определенного времени; интересно, что останется третьему столу, где сидят слуги, совсем молодые люди и четыре музыканта, когда блюда выйдут из рук почетных и знатных гостей.

У всех очень сытый вид; раздаются звуки, выражающие удовлетворение. Человек, издавший неприличный звук, невозмутимо произносит: «Хамдуллах!» («Слава Аллаху!»); ему отвечают: «Аллах иатиксаха!» («Пусть Аллах даст тебе здоровья!»). С новым пылом возобновляются прерванные песни. Нам оставляют охрану из восьми человек, которые будут бодрствовать рядом, но опасаясь, что нам тоже не удастся сомкнуть глаз.

Лагуат, июль 1853 года

Таджемут скрылся из вида, как раньше исчез таинственный силуэт Айн-Махди. У меня сжалось сердце от уверенности, что я никогда больше не увижу эти места. Долгая передышка в течение дня посреди Уэд-Мзи, под беспощадным солнцем, в удручающем одиночестве не принесла облегчения. У нас осталось немного воды, заснуть мы не смогли из-за чрезмерной жары. Наверное, это единственное место, которое я покинул без сожаления. На последнем участке пути не произошло никаких происшествий. Наши всадники забавлялись погоней за газелями, а Аумер, большой ребенок, охваченный весельем, словно лошадь, почуявшая конюшню, приподнялся в стременах, обнажив саблю, и с громкими криками пустил своего скакуна во весь опор на бедных зайцев, собравшихся к вечеру среди зарослей альфы, чтобы подышать свежим воздухом.

Песчаные дюны, замеченные нами ночью, оказались подвижными; на них видны правильные и аккуратные небольшие складки, как на спокойном море, по глади которого пробегает легкая зыбь. Поразительной чистоты песчаная поверхность была нетронутой, будто никто не проходил по ней со времени последнего самума.

Когда мы вновь перешли перевал и показался на пря-

женный таинственный пустынный пейзаж, температура вдруг резко поднялась, и стало трудно дышать. Солнце скрылось за облаками. Темная туча, угрожавшая нам весь день, медленно проплыла от Джебель-Амура до лесов Решега и исчезла без дождя, грома и молний, а пылающее небо вновь прояснилось. На расстоянии одного лье за оазисом, на склоне беловатых скал, показался Лагуат.

Этот большой грустный город, пропитанный запахом смерти, был окутан фиолетовыми тенями, словно траурной вуалью. Приближаясь к садам, мы заметили рядом со свежеврытыми ямами три бесформенных предмета, лежащие на земле. Собаки разрыли могилу и вытащили из нее три женских трупа. Раненные при захвате города или настигнутые при бегстве, они, видимо, пали на этом самом месте, а набожные и милосердные прохожие забросали их землей. Я спешил, чтобы поближе взглянуть на тела, превратившиеся в мумии, иссохшие до костей, но еще полностью сохранившие одежду — серые хлопчатобумажные хаики. Земля не оставила на сухих скелетах ничего, что можно было бы обглодать, поэтому собаки, вытащив их, даже не пытались содрать с них одежду. От одного из трупов отделилась кисть, едва державшаяся на полоске кожи, сухой, заскорузлой и черной, как шагреневая кожа. Кисть была сжата, будто сведена судорогой в последнее мгновение борьбы со смертью. Я поднял ее и прицепил к луке своего седла; это был подходящий сувенир из печального оссуария * — Лагуата. Я вспомнил тело зуава, обнаруженное в день приезда, и подумал, что в этой стране встречи со смертью неизбежны. Отнюдь не здесь будут написаны буколические рассказы о жизни арабов! Мертвая кисть покачивалась рядом с моей; это была маленькая узкая кисть с белыми ногтями, которая принадлежала юному существу, возможно не лишенному грации; было еще нечто живое в ужасном изгибе скрюченных пальцев. Во мне проснулся необъяснимый страх, я отцепил ее и положил на камень, проезжая через арабское кладбище у подножия исторической гробницы Сиди эль-Хадж Айса.

За время нашего отсутствия жара усилилась на шесть градусов. Термометр показывает $+49,5^{\circ}$ в тени, как в Сенегале. Воздух по-прежнему прозрачен, еще четче вырисовываются контуры гор на севере, окраска воспаленной поверхности пустыни угрюма как никогда. Когда

пересекаешь площадь в полдень, отвесные солнечные лучи пронизывают череп, будто раскаленные буравчики. Город в течение шести часов в день принимает огненный душ. Один мой друг, мзабит, только что уехал в свою страну; я видел, как он тщательно запасается водой и спиртом вместо дров. Продовольствие составляло, так сказать, наименее ценную часть его снаряжения. Он отправился в путь на рассвете: ведь под таким солнцем днем менее мучительно перемещаться, чем останавливаться, даже под защитой палатки. Он рассказывал мне, что в такую же жару, три года назад, караван из двадцати человек был захвачен ветром пустыни на полпути от Лагуата в Гардаю. Бурдюки лопнули под действием испарения; восемь путников и три четверти животных погибли. Я проводил мзабита на лье за сады. Он сидел на большом, почти белом верблюде, увешанном бурдюками, надутыми, как спасательные круги. Кожа страуса служила ему седлом. Я видел, как он повернул на юг. Мной овладели чувство сожаления, что я не мог отправиться с ним, и опасения за него. Я галопом вернулся в город. Пока я карабкался на дюны, маленький караван исчез в песках необъятной равнины.

Лица горожан гораздо бледнее, чем обычно; изнуренные удушающим зноем, люди едва передвигаются. Кофейни пустыют даже по вечерам. Каждый прячется, где может, от вездесущих лучей солнца; ночью все обеспокоены выбором места для ночлега; одни устраиваются в садах, другие — на террасах, третьи — на скамьях у домов. Мулуд расстилает нам циновку из альфы в укромном уголке площади, мы с лейтенантом лежим здесь с восьми часов вечера до полуночи. Мулуд сбивает пыль, разбрызгивая вокруг воду; сон все больше овладевает нами.

Рассвет бросает на город чудесные отблески, слышно пение птиц, небо окрашено в аметистовый цвет. Когда я открываю глаза, предчувствуя красоту нежного утра, то вижу легкую дрожь блаженства, пробегающую по верхушкам пальм.

Я ощущаю, как лень охватывает меня, и постепенно мой мозг превращается в пар. Чувство здешней жажды нельзя сравнить ни с чем, что было бы тебе знакомо; оно бесконечно и никогда не ослабевает, что бы ты ни пил, лишь возбуждает жажду, вместо того чтобы утолять.

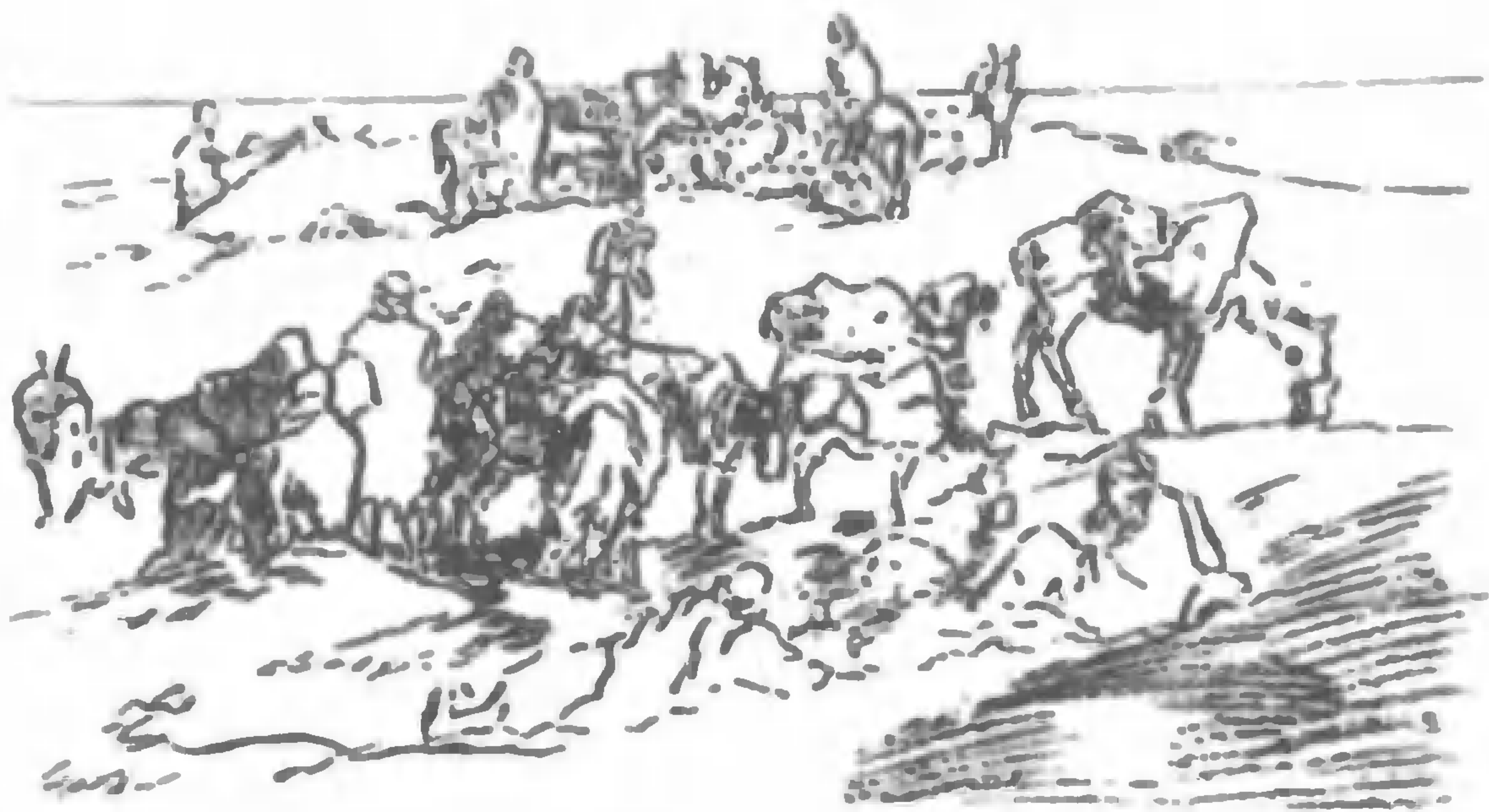
Мысль о стакане чистой и холодной воды становится навязчивой, граничит с кошмаром. Я представляю, какое наслаждение ожидает меня, когда я сойду с лошади в Медеа, представляю себе кубок, наполненный до краев чистой ледяной горной водой, и в моем горле возникают страшной силы спазмы. Я не могу отогнать от себя эту навязчивую мысль. Мною овладевает необоримое желание, которому подчинены все мои чувства, ничто не может сравниться с единственной мечтой — утолить жажду. Все равно! В этой несравненной стране есть нечто неуловимое, не поддающееся объяснению, что заставляет меня ее нежно любить.

Я с ужасом думаю, что вскоре придется вернуться на Север. В тот день, когда я выйду через Восточные ворота, чтобы больше никогда не вернуться сюда, я встану лицом к странному городу и с печалью и глубоким сожалением попрощаюсь с грозной и унылой землей, которую так верно назвали — Страна жажды.



Один год в Сахеле





I

Алжир. Мустафа

Алжир. Мустафа. 27 октября 1852 года



Я покинул Францию два дня назад, написав тебе прощальное письмо из Марселя, и вот уже пишу из Африки. Я прибыл только сегодня, 27 октября, подгоняемый сильным северо-западным ветром, что некогда именовался Зефиром,— милое имя для столь скверного ветра, я полагаю, того самого, который Улиссу не удалось заключить в свои бурдюки и которому Эней¹ принес в жертву белого ягненка. Теперь его называют мистралем. Увы! Такова судьба всех сохранившихся в этих героических местах воспоминаний об одиссеях греков и латинян. Вещи сохраняются, но мифология странствий уже исчезла. Политическая география превратила три тела чудовищного Гериона в три испанских острова. Скорость уничтожила все, вплоть до самих приключений: все стало проще, прямолинейней, утратило сказочность и значительную долю очарования. Наука развенчала поэзию, человек подменил ревнивых богов своей собственной силой, и мы горделиво, но довольно печально странствуем в мире прозы. Только море оста-

¹ Улисс (Одиссей), Эней, Герион — персонажи древнегреческой мифологии.

лось прежним, самое прекрасное, самое голубое и, возможно, самое коварное из всех морей мира. «Mare saevum»,— говорил Саллюстий², который отказался от метафор и уже как историк рёк о бурных потоках, несущих его к наместничеству в Новой Африке.

Итак, около сорока шести часов сильнейшей бортовой качки — путь слишком долгий для удовольствия, которое в нем можно найти, и слишком короткий, чтобы привыкнуть к морю, привязаться к нему и разглядеть меняющиеся картины; необычайная скука, неудобство от лежания в колыбели, словно раскачиваемой разгневанной кормилицей; измученные пассажиры на палубе, а вокруг серые волны, серое небо; длинные темные, хотя и звездные ночи, два тусклых, несмотря на жгучее солнце, дня, размытый горизонт. Искаженное пространство из-за низко расположенной точки наблюдения; ни величия, ни красоты; острова, растворяющиеся в тумане, птицы, пролетающие мимо, словно часовые с этих островов, исполняющие возложенную на них обязанность узнать, кто мы такие,— одни, как и мы, зябкие скитальцы, бегут от зимы и опережают нас, сколько позволяет легкость крыльев, другие, не столь многочисленные, летят нам навстречу, с неимоверными усилиями, едва не касаясь воды, устремляются на север; один или два паруса на горизонте, покачивающихся на пенных холмах; завывание ветра в снастях, скрежет колес, пересекающих волны, удвоенной силы удары балансира в недрах корабля — вот, ничего не упустив, описание короткого путешествия, безусловно, одного из наименее героических, когда-либо свершавшихся на просторах этого знаменитого моря.

Тем же утром в девять часов, через сорок два часа после прощания с полуафриканскими берегами Прованса и за три часа до входа в порт, мы увидели землю. Первыми оказываются в поле зрения вершины древнего Атласа, затем Бузареа³ и, наконец, Алжир — светлый треугольник на фоне зеленых плато. Ровно в полдень в спокойные воды спущен якорь. Жара. Ветер стих, море темно-синего цвета, небо чистое и яркое, воздух напоен неизвестно откуда принесенным запахом росного ладана.

² Гай Саллюстий Крисп — древнеримский историк и политик (86—35 гг. до н. э.). Несколько лет был наместником Рима в Африке.

³ Бузареа — горное селение, ныне — пригород столицы Алжира.—
Примеч. ред.

Мы вступили в другую климатическую зону, и я узнавал очаровательный город по его аромату. Часом позже я уже ехал по улице Мустафы, и мой старый друг, возчик Слиммен, с которым случай свел меня в порту, придержал лошадей у белого квадратного домика без кровли — я был дома.

Первый этап моего путешествия закончен. Я приехал в Алжир, будто в гости к доброму соседу, именно так я воспринял свое переселение. Прошрое лето я провел в Провансе; этот край как бы готовит вас к пребыванию на севере Африки и своими безмятежными водами, изысканным небом и едва ли не столь ярким светом, как на Востоке, разжигает желание отправиться туда. И мне радостно, что сейчас я ступил на истинную землю арабов, находящуюся лишь на другом берегу моря, отделяющего меня от Франции, страны, которую я покинул. В ожидании продолжения путешествия подыскиваю название для этих записок. Может быть, позже мы озаглавим их «Путевым дневником». Сегодня же будем скромными и назовем их просто «Дневником отсутствующего».

Письмо это, друг мой, отправится в дорогу не одно. Одновременно посылаю к тебе гонца — птицу, которую я подобрал в пути и привез сюда как единственного моего скромного спутника, чья близость на борту корабля была мне приятна. Может быть, она забудет, что я спас ее от гибели, и будет лишь помнить, что была моей пленницей. Вчера вечером перед наступлением ночи она влетела в мою каюту через иллюминатор, открытый на короткое время, когда установилась хорошая погода. Она была полумертва от усталости и сама укрылась у меня в ладонях, так ее пугало огромное безбрежное море, где невозможно найти точку опоры. Я накормил ее, как сумел, хлебными крошками (они ей совсем не понравились) и мухами, на которых охотился всю ночь. Это малиновка — самая близкая из всех птиц, самая смиренная, самая привлекательная своей слабостью и склонностью к постоянному месту жительства. Куда направлялась она в это время года? Во Францию? А может, возвращалась оттуда? Вне сомнения, у нее была цель, так же как и у меня. «Знаешь ли ты, — вопрошал я, прежде чем отдать ее на волю судьбы, вернуть ветру, который ее унесет, морю, которому ее доверю, — знаешь ли ты на берегу, где я мог тебя видеть, белую деревушку в том скромном краю, где горькая полынь растет у самой кромки полей, засеянных овсом? Знаешь ли ты безмолв-

ный, часто запертый дом, безлюдную липовую аллею, тропинки под тщедушными деревцами, усыпанные мертвой листвой, где твои сородичи проводят осень и зиму? Если ты знаешь этот край, мой сельский домик, вернись туда хоть на короткий миг, отнеси весточку тем, кто там остался». Я выпустил ее на подоконник, птичка растерялась, я подтолкнул ее, и тут она расправила крылья. Вечерний ветер помог ей вспорхнуть, и я увидел, что она устремилась прямо на север.

Прощай, друг мой, прощай, во всяком случае, на сегодняшний вечер. Начинается мое отсутствие, длительность которого я еще не хочу отмерять, но будь спокоен, я пришел в страну лотофагов⁴ не за тем, чтоб вкусить от плода, приносящего забвение родины.

Мустафа, 5 ноября

Все, кто полагает, что я путешествую, пусть остаются в неведении, ты объясни им, что я в Африке — это магическое слово порождает догадки и склоняет к мечтательности любителей открытий. Тебе же я могу смиренно сказать без прикрас: «Мне нравится эта страна, ее мне вполне достаточно, и я сейчас не двинусь дальше Мустафы, то есть не сделаю и двух шагов от песчаного берега, где сошел с корабля.

Я хочу почувствовать себя дома на этой чужой земле, где до сих пор был лишь путником, который останавливался на постоялых дворах, в караван-сараях или в палатке, постоянно менял пристанище или бивуак; я приходил и уходил, позволяя себе лишь мимолетную передышку, словно вечный странник. На сей раз я хочу здесь обжиться. По-моему, это наилучший способ многое узнать, будто присутствовать на спектакле, позволяя картинам сменять одна другую без участия зрителя, ведущего размеренный образ жизни. Так, возможно, пройдет целый год, и я узнаю, как сменяются его времена в этом благословенном климате; правда, говорят, он не подвержен никаким изменениям. Я приобрету здесь привычки, которые еще теснее привяжут меня к этим местам. Я хочу, чтобы мои воспоминания пустили глубокие корни на земле моей второй родины, независимо от того, буду я близко или вдали от нее.

Стоит ли накапливать воспоминания, собирать факты,

⁴ Л о т о ф а г и — «пожиратели лотоса». Полулегендарный народ, упомянутый в «Одиссее».

изыскивать новые достопримечательности, путаться в перечнях подробностей, в маршрутах и списках?

Внешний мир подобен словарю, полному повторов и синонимов, а также равноценных слов для выражения единственной мысли. Мысли просты, формы их выражения многообразны; мы должны отобрать и выделить главное. Знаменитые места что редкие языковые обороты — бесполезная роскошь, лишившись которой человеческая речь не понесет утраты. Когда-то я проделал двести лье, чтобы задержаться на месяц, навечно оставшийся в моей памяти, в безымянном, почти неизвестном финиковом оазисе, не отклонившись от избранного пути, хотя в двух часах езды находилась нумидийская гробница Сифакса. В каждой детали можно разглядеть целое. Разве весь Алжир не может быть отражен в небольшом пространстве, обрамленном моим окном? Я не теряю надежды увидеть весь арабский народ в тех арабах, которых встречаю на широкой дороге или полях вокруг моего сада. Здесь я по обыкновению очерчиваю окружность с моим домом в центре, раздвигаю ее границы так, чтобы весь мир был заключен в их пределы, и удаляюсь в глубь своей вселенной. Все сходится в точке моего пребывания, и чудесное само отыскивает меня. Ошибаюсь ли я? Я так не думаю, ведь этот метод, разумен он или нет, приносит покой, обещая безграничные удовольствия, и дает возможность с первого же дня внимательно и спокойно рассматривать все вокруг.

Знай же, что я нахожусь в 35 минутах от Алжира, довольно далеко от города, но и не совсем в чистом поле, и вижу муниципальную башню мэрии на холме между двух кипарисов.

Я живу в прелестном домике. Он расположен, словно обсерватория, между холмами и побережьем, из его окон открывается чудесный вид: слева — Алжир, справа — акватория залива до самого мыса Матифу, серой точки между небом и водой; прямо передо мной — море, весь Сахель и вся Хамма⁵, длинная, поросшая лесом терраса, слегка наклоненная к заливу, усеянная турецкими домиками. Между террасой и берегом растянулась лентой узкая равнина — плодородный, влажный, болотистый край. Кругом луга, фруктовые сады, поля, фермы, загородные дома с плоскими крышами и белеными

⁵ Хамма — во времена Э. Фромантена селение в окрестностях Алжира. Ныне — его район.— *Прим. ред.*

стенками, казармы, превратившиеся в фермы и сдающиеся в аренду, старые форты, преобразованные в деревушки, и все расчерчено дорогами, размечено редкими рощами, изрезано серебряным шитьем бесчисленных оград из кактусов и опунций. Там, где прибрежная полоса Сахеля истончается, ближе к устью Харраша, видны сверкающие в лучах солнца белые строения Мэзон-Каррэ⁶. Еще ближе к мысу у самой воды мерцают искорки — это мальтийская деревушка, названная Водным фортом. Несмотря на свирепствующую здесь лихорадку, она процветает в нескольких шагах от места, где высадился флот Карла V и погибли его армии. За Мэзон-Каррэ угадывается пустынное пространство, открывается лазурный простор постоянно вибрирующего воздуха — преддверие равнины Митиджа. И, наконец, замыкает восхитительную картину, раскинувшуюся на сорок лье, суровый рисунок кружевной цепи вечно голубых Кабильских гор.

Алжир виден с другой стороны, на западе; он спускается крутыми уступами по склону высокого холма. Что за город, любезный друг! Как точно называли его арабы — Аль-Бейда, что значит белый! По правде говоря, он обещен и обезображен французами. Гордая цепь турецких укреплений — раскаленная и потемневшая древняя крепостная стена — разрушена во многих местах и уже не заключает весь город в своих пределах; верхний город лишился минаретов и едва ли сохранил несколько кровель. Военные и торговые корабли всех народов Европы и мира прибывают в этот порт и бросают якоря у подножия большой мечети; Бордж-эль-Фанар, украшенный в знак присоединения трехцветным флагом, больше никого не устрашает. Ну и пусть, Алжир все равно остался истинной столицей — королевой всего Магриба. И по-прежнему его украшает Касба, увенчанная кипарисом, — последнее, что осталось от внутренних садов дея Хусейна; чахлый кипарис, темной иглой устремленный в небо, издали все же напоминает султан на тюрбане. Невзирая ни на что, Алжир остался, и, я надеюсь, надолго, прежним Аль-Бейда, т. е. самым белым городом Востока. Каждое утро, когда восходит Солнце со стороны Мекки и заливают своими лучами город, он вспыхивает и расцветивается ярко-красными оттенками,

⁶ Старое название района Алжира Эль-Харраш.

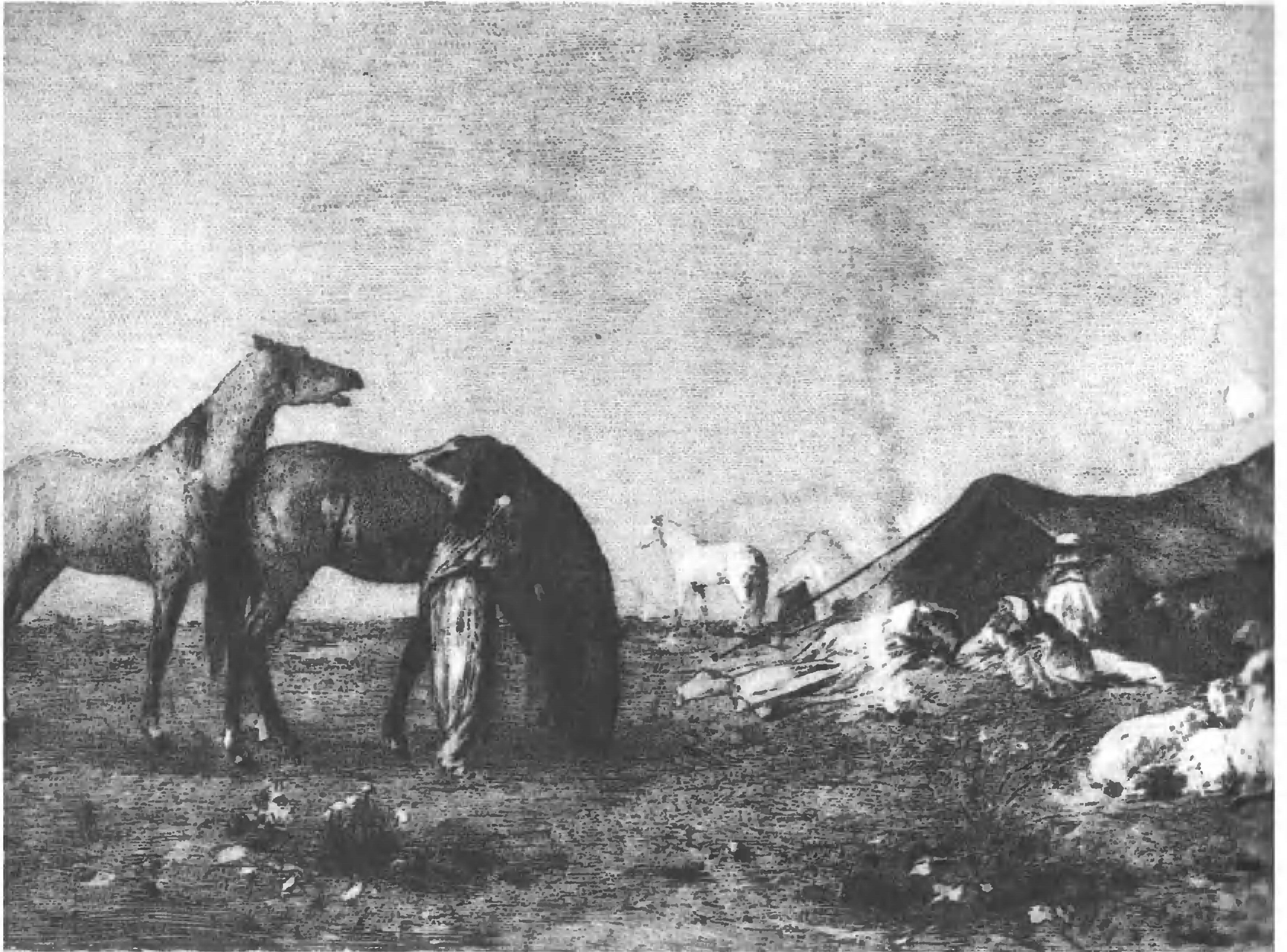
кажется, будто после бессонной ночи оживает гигантский блок белого с розовыми прожилками мрамора.

Город прикрывают с флангов два форта: форт Баб-Азун, не сумевший его защитить, и форт Императора (Бордж-Мулай-Хасан), позволивший врагу овладеть им. Дальше раскинулись пригороды, которые, к счастью, мне не видны. Здания Морского ведомства образуют архитектурный ансамбль, оживленный яркими красками, и отражаются в нежно-голубых водах; признаюсь, я не упускаю ни одной достойной внимания детали изысканного силуэта. Как видишь, этой картине не занимать ни пространства, ни воздуха, ни света. Солнце разгуливает вокруг моей кельи, никогда не проникая внутрь: в моей обители всегда царит тень. Прямо передо мной неподвижное небо и голубой морской простор. Синий полусвет, льющийся с неба, равномерно растекается по белым стенам, по лепным украшениям и по полу, выстланному фаянсовыми плитками в цветочек. Не существует более укромного и в то же время более открытого места, наполненного звуками и одновременно столь мирного. Есть в этом убежище, равно располагающем к отдыху и к работе, какой-то бесстрастный покой и глубоко чарующая меня неспешность.

Я, можно сказать, владею двумя садами. Один из них, маленький, засажен розовыми кустами, апельсиновыми деревьями, карликовыми пальмами и другими деревьями; листва обеспечит мне тень на всю зиму и заставит, хотя бы из чувства благодарности, выучить их названия. В глубине сада находится конюшня. Целый выводок белых и сизых голубей устроился на конуре сторожевого пса. Вряд ли возможно чувствовать себя в большей мере хозяином. Второй мой сад, собственно говоря, лишь цветочная клумба, врезавшаяся клином в луг, чуть обновил свою зелень благодаря недавним дождям; на нем цветет дикая мальва. Весь день здесь пасется стадо коров, более тощих, чем животные Карела и Бергема. Они ощипывают траву, едва она успевает прорасти, и вылизывают бесплодную землю. Вид этих низкорослых животных с выступающими ребрами навеивает воспоминания о тихих уголках Франции, и это в моем нынешнем состоянии духа скорее приятно. Порой на лугу рядом со стадом рогатых собратьев пасутся два-три черно-бурых запаршивевших верблюда в сопровождении странного длинношерстного ослика. Ослик ложится



Диффа (этюд к картине)



Восход солнца над лагерем



Привал в оазисе

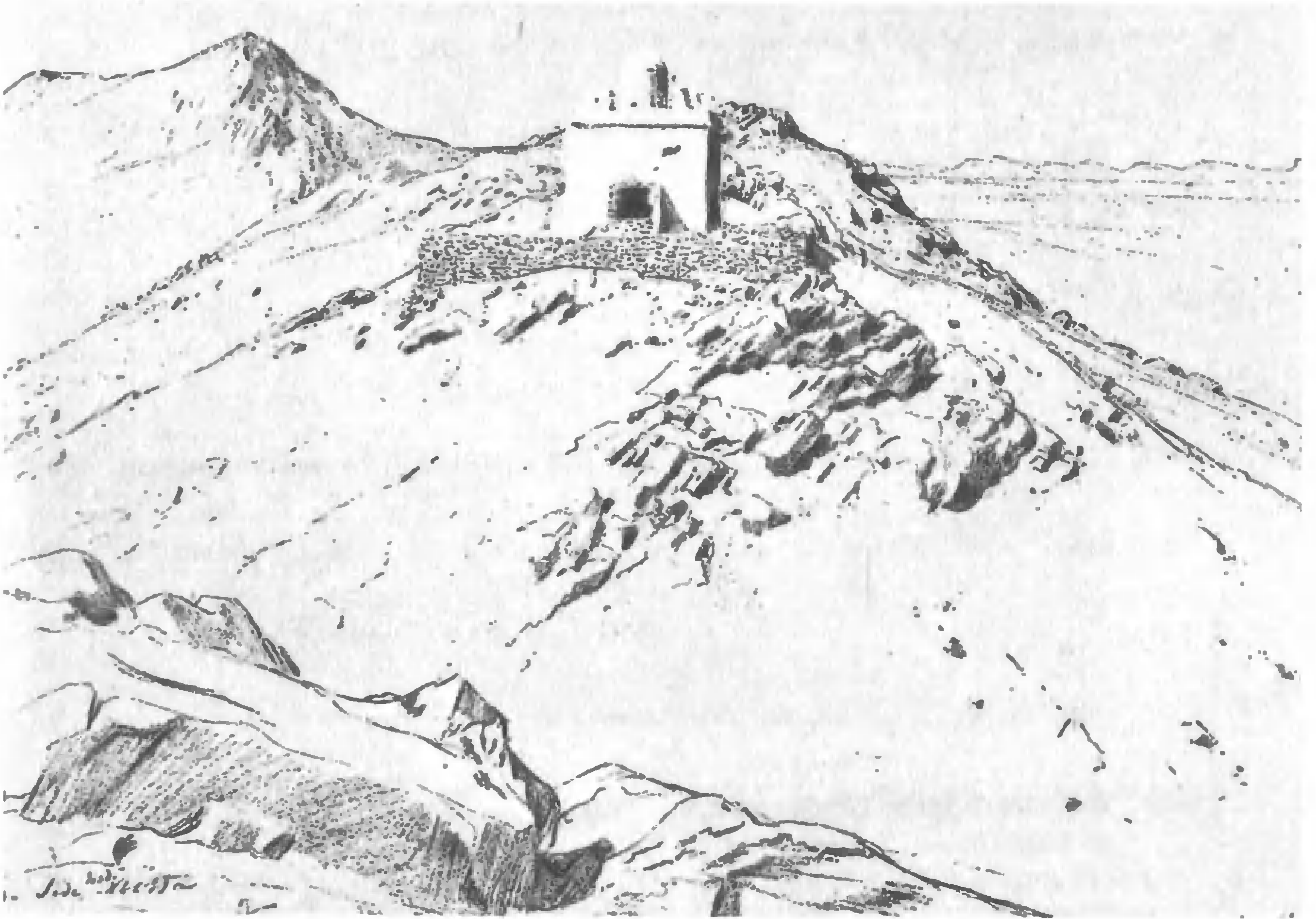
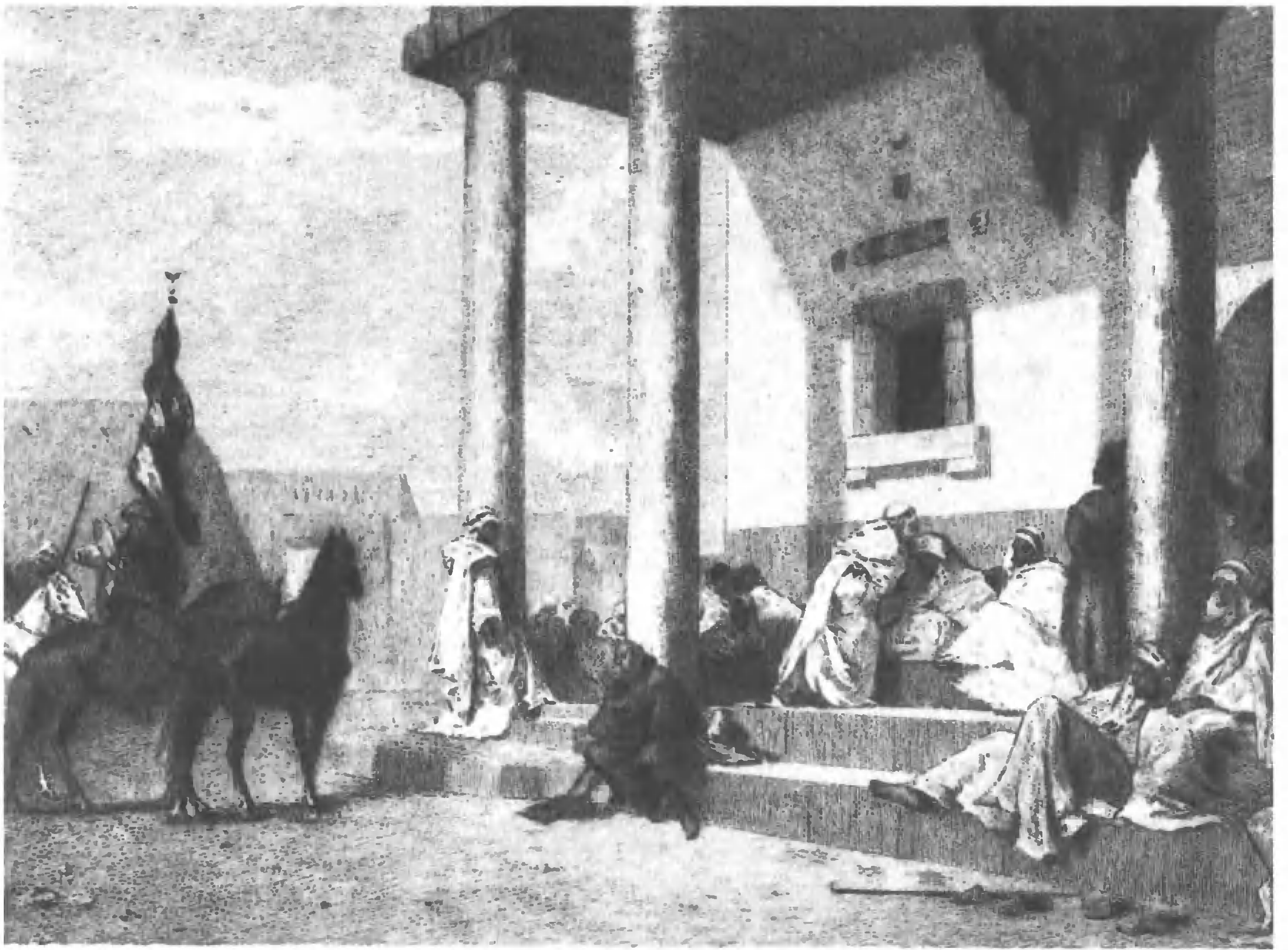




Араб, везущий безумца
на крупе лошади



Гробница Сиди эль-Хадж Айса
в Лагуате





**Баб-эль-Гарби (Западные ворота)
в Лагуате**

Утренняя молитва в пустыне





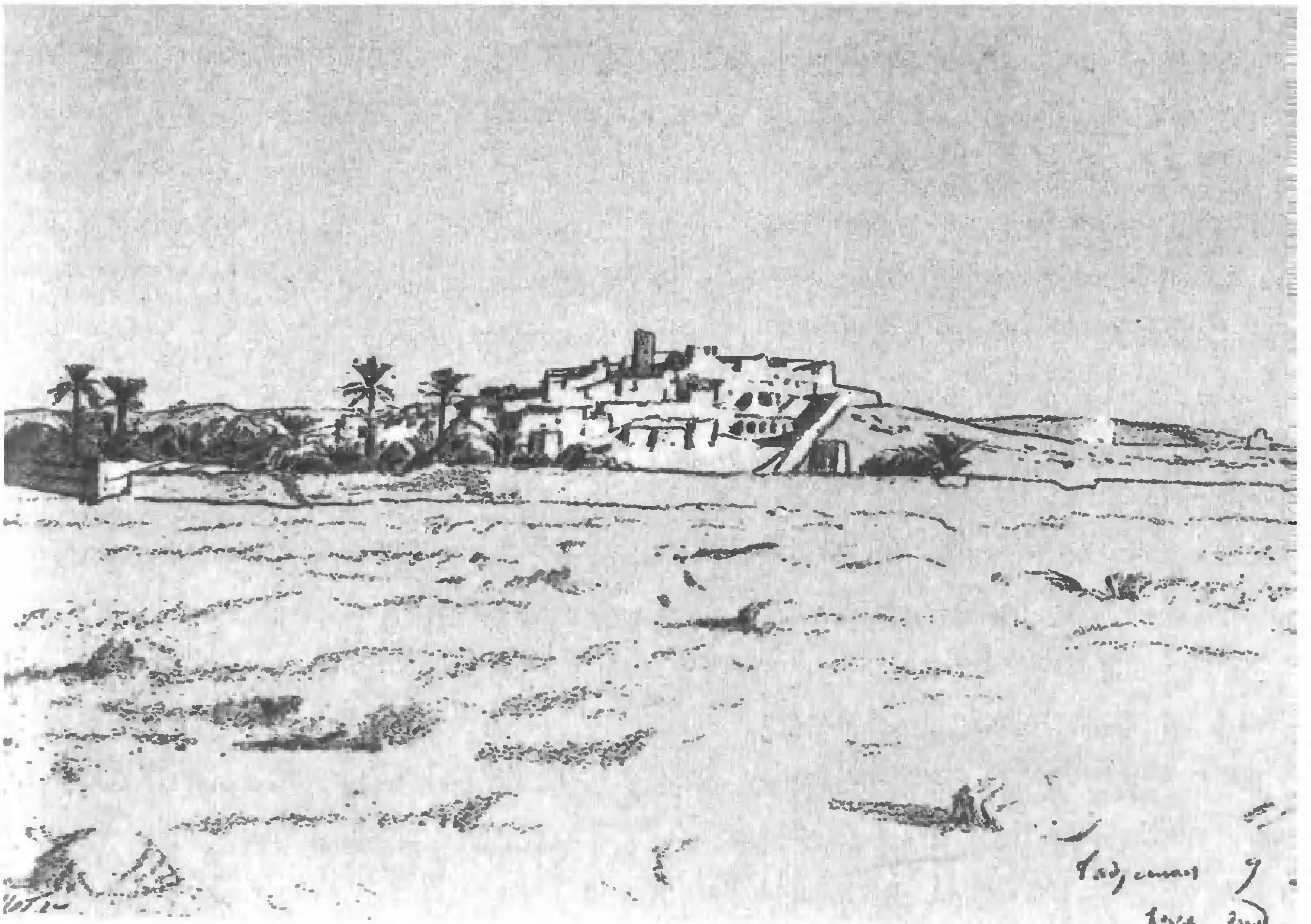
**Женщина
из племени улед-наиль**

**Таджемут
(южная сторона)**

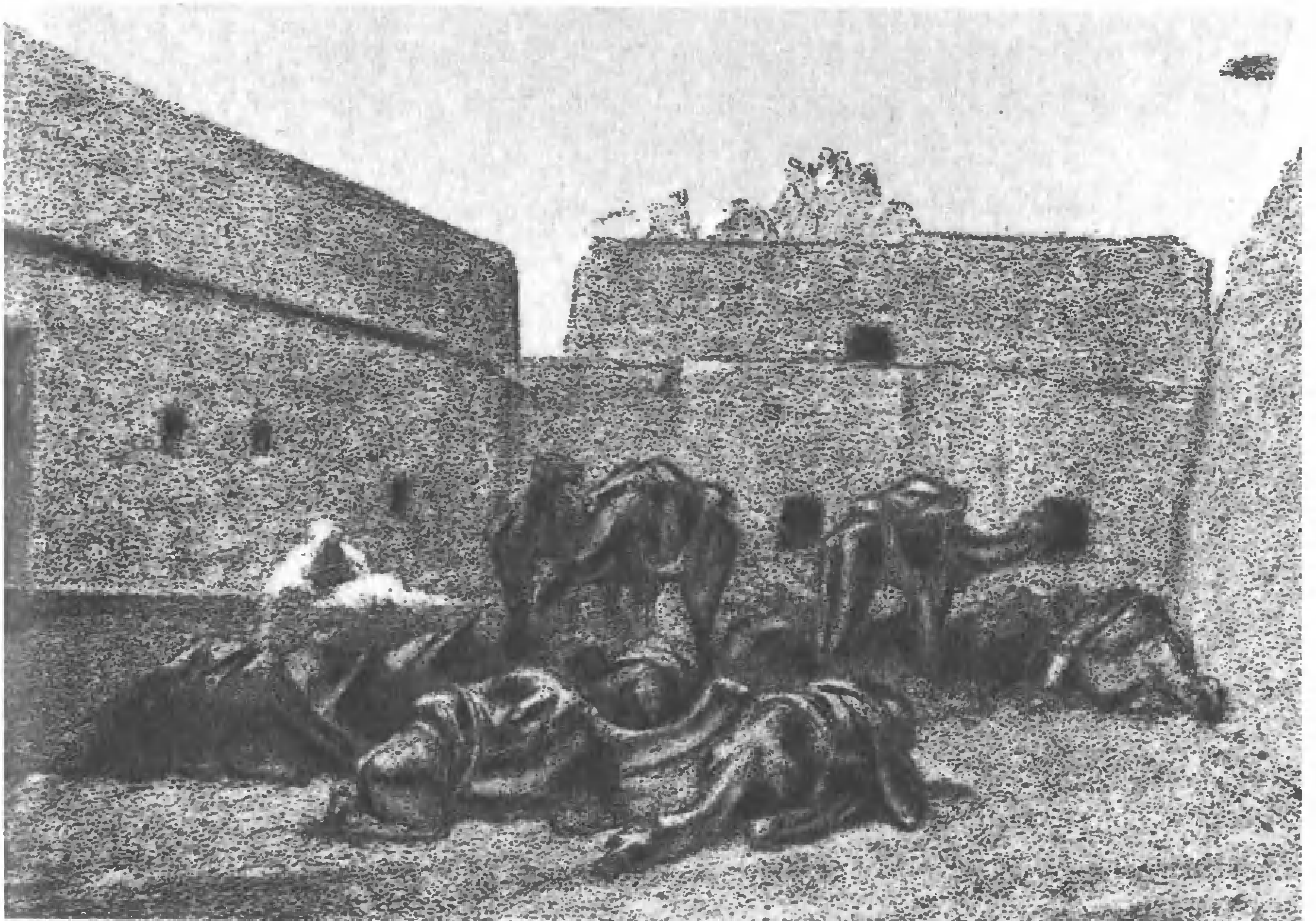
—————
**Конец рамадана
(Айн-Махди)**

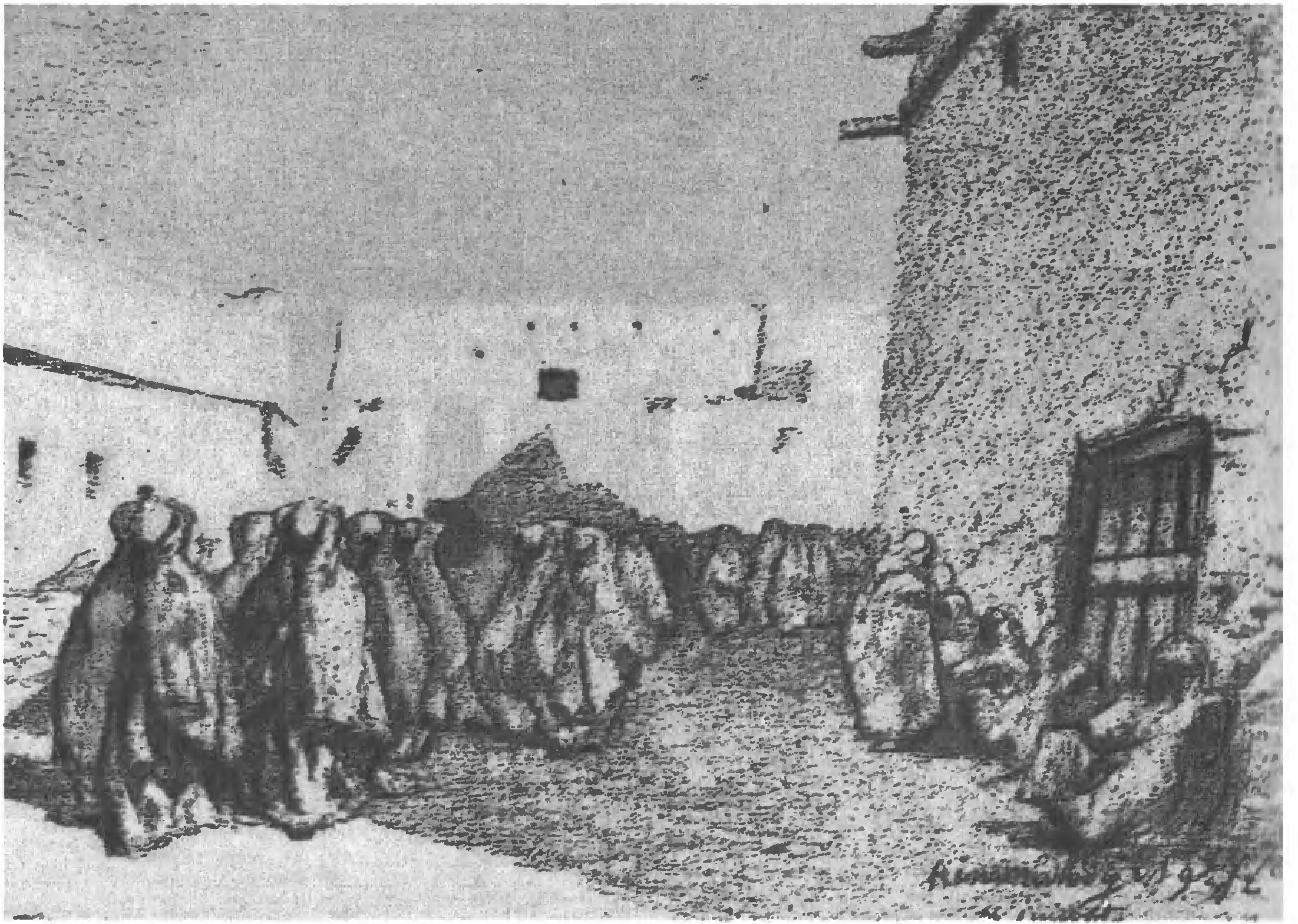
Племя в походе

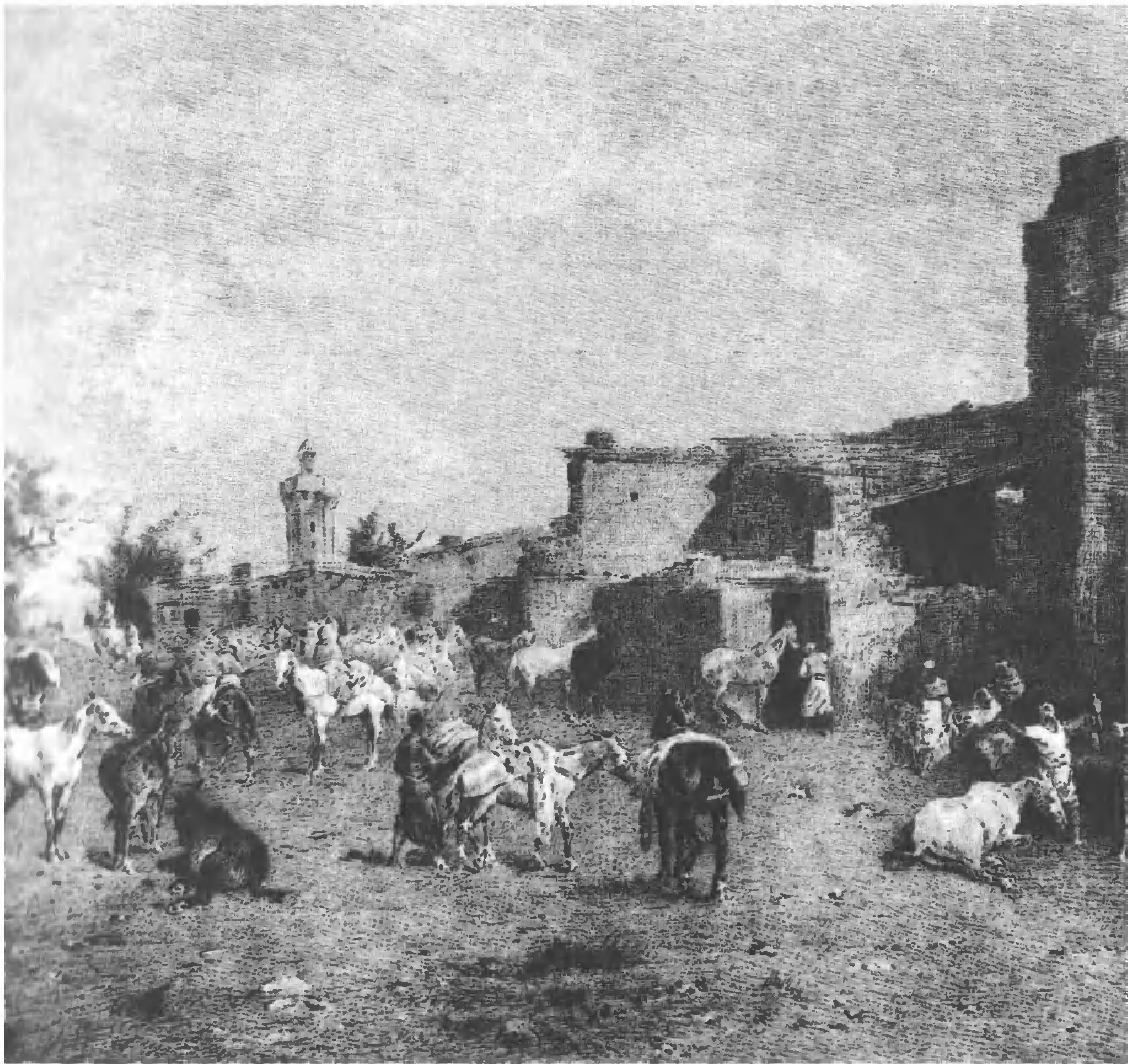




Ad, unat 9
face. 2nd







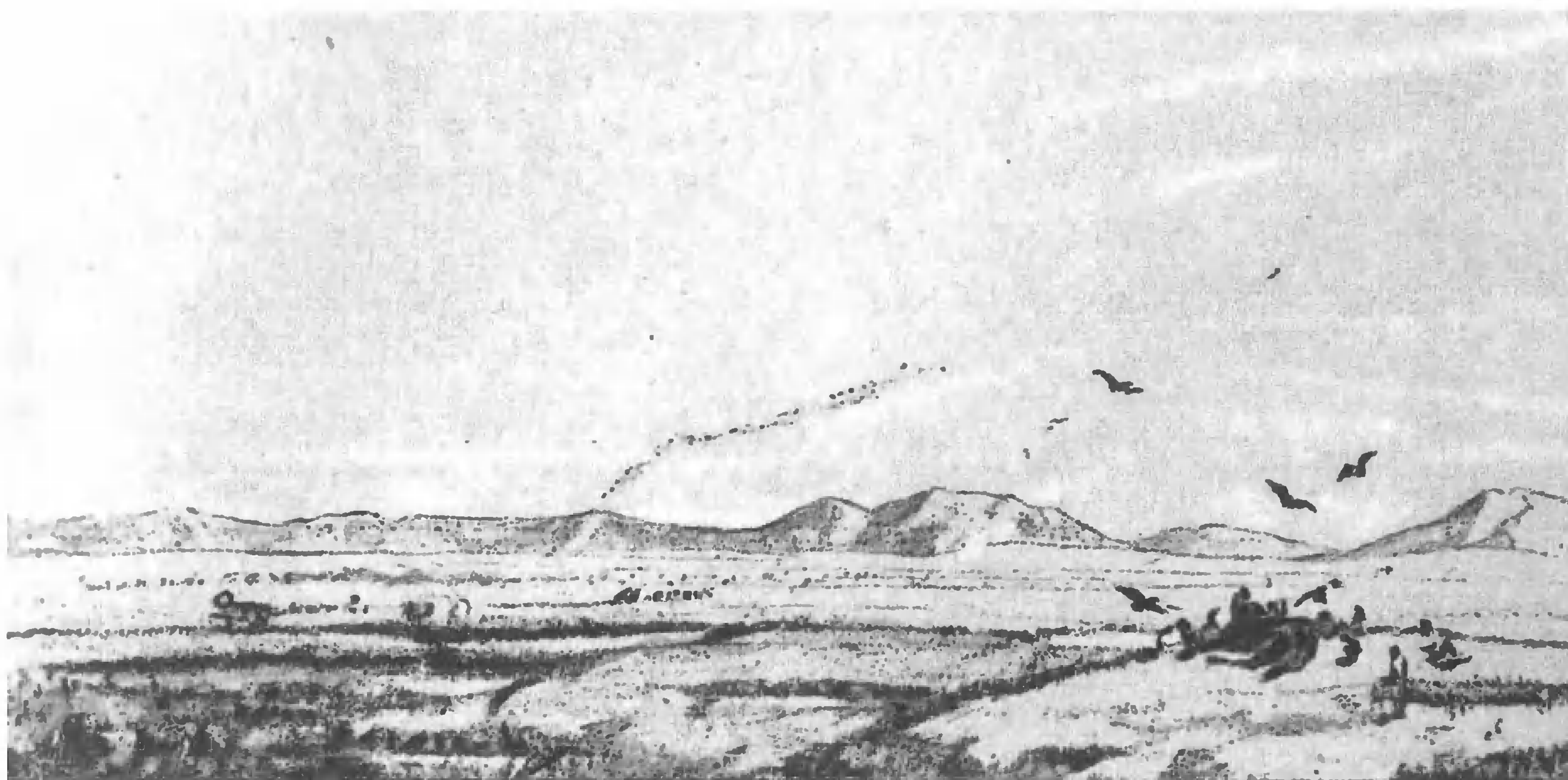
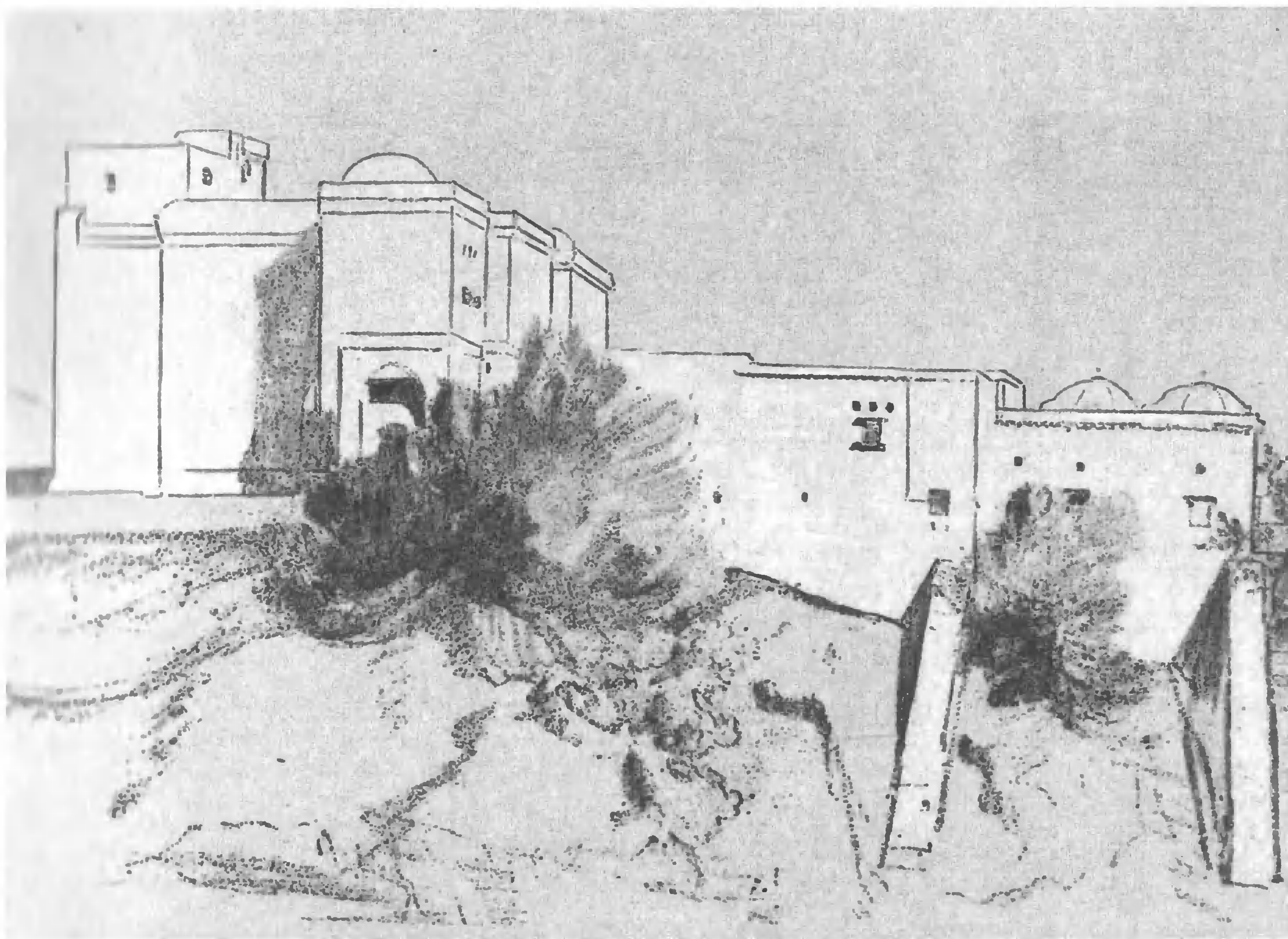
Погонщики ослов и мулов

**Арабские женщины,
направляющиеся в мечеть (Айн-Махди)**

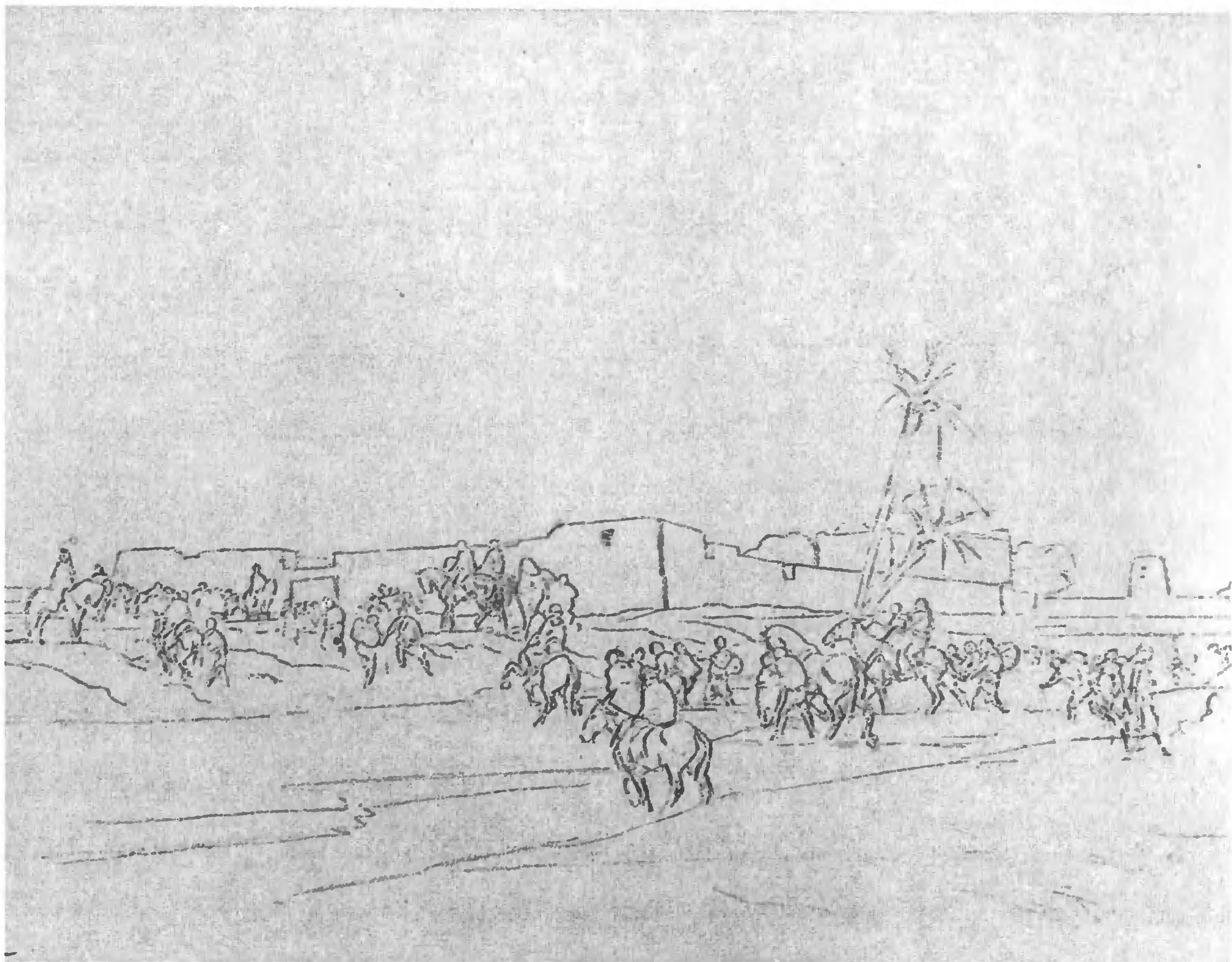


**Арабские всадники ведут
наблюдение в горах**

Турецкий дом в Мустафе



Хищные птицы над мертвым верблюдом



Страна жажды (этюд к картине)

Симум



Переход брода



Охота на цапель

Арабские скачки



и насыпает. Горбатые животные, подобно дервишам, проводят долгие часы в философских раздумьях. Пастух — красивый молодой араб в белом одеянии, его шешия сверкает среди кактусов, будто экзотический пурпурный цветок.

Окна моей спальни выходят на юг. Отсюда открывается вид на холмы, первая складка которых начинается уже в пятидесяти метрах от моей ограды. Склон сплошь порос деревьями; их листва окрашивает его во все более густой зеленый цвет по мере того, как год катится к концу. Кое-где виднеются несколько белесых стволов старых, позолоченных осенью, словно усыпанных цехинами, осин. Лишь миндаль уже потерял листву.

Небольшие домики в арабском стиле — во всей его завершенности и лилейной белизне — построены в этом раю давно умершими сластолюбцами. Очень мало окон, причудливые комнаты, спальни, о расположении которых можно лишь догадываться, круглые диваны и двери с решетчатыми створками — все это располагает к мечтаниям. Рассвет заливает таинственные сооружения прохладой и яркими отблесками. Воркование голубей на моем птичьем дворе придает музыкальное оформление приятной картине; временами белая чета с шумом пролетает перед окном, а ее тень добегаёт до самой кровати.

Почти каждый день на ипподроме проходят кавалерийские учения. Ипподром — большая утрамбованная площадка, окаймленная зарослями алоэ и оливковых деревьев, — начинается у моего цветника и заканчивается на берегу моря. С восхода солнца и до девяти часов можно видеть лишь редких арабских погонщиков верблюдов, которые срезают путь, избегая оживленной алжирской дороги, мавританские похоронные процессии, тянущиеся на кладбище Сид Абд аль-Кадир, и кавалерийские учения. Часто я пробуждаюсь от ружейной пальбы, слышу стук копыт пущенных в галоп лошадей, звон сабель о стремяна и четкие и громкие, словно звуки горна, голоса, подающие команды. Кавалеристы проходят подготовку повзводно, пускают лошадей то шагом, то рысью, иногда в карьер. Цепи стрелков развертываются на опушке. Начищенное до блеска оружие и медные каски сверкают на солнце. Ствол слегка вздрагивает, из него вырывается струйка белого дыма, и до меня до-

летает едкий запах пороха. Тем временем свободные от занятий офицеры гарцуют чуть в отдалении, отрабатывая мастерство красавцев-скакунов, еще более грациозных под узкими седлами и в сбруе, словно сотканной из тонких нитей.

Ежедневное зрелище, свидетелем которого я оказался вопреки моим планам, вошло уже в привычку. Я не люблю войну, но малейший звук, напоминающий о ней, приводит меня в трепет. Требовательный и суровый голос рожка заставляет учащенно биться сердце, и в этой видимости сражения, в блеске оружия, в движении лошадей есть нечто воинственное и увлекательное, что чудным образом вписывается в бодрые и радостные картины африканского утра.

Впрочем, не стоит даже напоминать тебе, что все чарует меня в этой стране. Чудесное время года; удивительная прелесть небес украсила бы даже страну, лишенную благодати. Лето продолжается, хотя стоит ноябрь. Ночная влага освежает землю в ожидании дождя, которого ничто не предвещает. Год завершится без грусти; зима наступит незаметно, не дав испугаться ее приближения. Почему жизнь человеческая не угасает, как осень в Африке, под ясным небом при теплых ветрах, без немощи и предчувствий?

8 ноября

Я живу в необычном соседстве, которое поможет тебе представить, как организована нарождающаяся колония. Среди окружающих меня домов не найдешь и двух похожих, чьи хозяева принадлежали бы одной расе. Здесь говорят почти на всех языках, и можно увидеть почти все ступени благополучия от богатства до нищеты. Промысел местных жителей непонятен, привычки подозрительны, само существование таинственно.

Но из всех причудливых жилищ самый странный, без сомнения, ужасающе грязный зловещего вида разоренный дом, расположенный в нескольких шагах от моего. Он заселен легионом домашних птиц: кур, голубей, цесарок и даже гусей. По утрам пернатая орда разом вылетает из всех щелей, дверей и окон. На закате дня все возвращаются в свое убежище, и солнце еще не успеет закатиться, как последняя курица уже на своем насесте. Порой, однако, на пороге дома появляется мужчина, свистом созывает разбежавшихся птиц и веером разбрасывает пригоршни зерна. У него голубые глаза,

светлые волосы, и, несмотря на загар, видно, что он европеец. На нем надета лишь простая рубашка и килекетка без полей, он курит, глубоко затягиваясь, немецкую трубку. Мой слуга знает только имя этого человека; он говорит, что тот поляк и многие годы живет в этом птичнике.

Каждый день в один и тот же час я вижу, как поляк возвращается в сопровождении незнакомых, плохо одетых людей, чуть слышно переговаривающихся. Мягкий запах мавританского табака смешивается с крепкими испарениями лачуги. В ней никогда не разводится огонь, не зажигается свет, там лишь курят и беседуют. Вечер проходит в приглушенных разговорах, а потом из дома больше не доносится ни звука. Только глубокой ночью, с полуночи до зари, над жалкой хибарой, местом встреч изгнанников, поют петухи. Если у них нет другого жилища на чужой земле, то они достойны жалости. Я спрашиваю себя, какая жестокая судьба отдала всех этих птиц под присмотр людей, которые сами, вероятно, обедают не каждый день.

Мустафа, 10 ноября

Алжир делится на два города: французский или, точнее, европейский, расположенный в нижних кварталах и протянувшийся в наши дни до пригорода Ага, и арабский, который не выходит за пределы турецкой стены и теснится, как и раньше, вокруг Касбы, где зуавы пришли на смену янычарам.

Франция присвоила себе ту часть укреплений, которая была ей необходима, т. е. все, что имело отношение к Морскому ведомству или возвышалось над портом, все достаточно плоские с удобными подступами участки земли. Французы захватили цитадель Дженина и стерли ее с лица земли. Они превратили бывший дворец паши в жилище для своих губернаторов, разрушили каторжную тюрьму, отремонтировали форты, перестроили мол, расширили порт; улочки Баб-Азун и Баб-эль-Уэд превратили в улицу Риволи, следуя парижским образцам, произвели раздел мечетей; одни отошли Корану, другие — Евангелию. Всю гражданскую и религиозную администрацию, судебное ведомство и высшее духовенство они оставили у себя в руках под неусыпным оком; гарантируя каждому свободу морали и вероисповедания, они желали, чтобы суды и духовное ведомство стали общими, и для выражения главной идеи своей политики, ввели

незначительное новшество, разрешив католическим священникам носить длинную бороду, как у раввинов и улемов. Они разделили пополам только лестницы, соединяющие нижний город с верхним, сохранили базары посреди новых торговых улиц, стремясь перемешать промыслы и сделать наглядной для всех возможность совместного труда. В качестве центров слияния двух рас создавались площади; ворота Баб-Азун, на которых рядом с головами вывешивались обезглавленные тела, были разрушены; укрепления лежали в руинах; мыльный рынок, где собирались нищие, стал театральной площадью; театральными подмостками служила терраса, в которую французские инженеры превратили огромный склон крутого гласиса⁷ турецкого укрепления.

Город уже не вписывался в старые границы, но его перестройка шла только с восточной стороны, так как с запада и севера мешало море. Огромные пригороды соединяют Алжир с Ботаническим садом. Наконец, ворота (Баб-эль-Джедид), те самые, через которые в 1830 году вошла армия, перенесены на несколько сотен метров и называются теперь воротами д'Исли, тут же установлена статуя маршала-агронома⁸ как незыблемый символ победы и власти.

Таков французский город. Другой же предан забвению. Не имея возможности уничтожить население, мы оставили ему лишь самое убогое жилье — бельведер пиратов. Число жителей, все еще инстинктивно жмущихся к бесполезному палладиуму и безутешно созерцающих море, больше им не принадлежащее, уменьшается само по себе. Между двумя столь различными городами нет иных барьеров, кроме расового недоверия и антипатии, — чего вполне достаточно для их разъединения. Они соприкасаются, находятся в самом близком соседстве, не сливаясь, и обмениваются лишь худшим своим достоянием: грязью ручьев и пороков. В нижнем городе алжирцы у нас в гостях, в верхнем же мы пока еще у них. Внизу говорят на всех европейских языках, наверху — лишь на необщительном языке Востока. Из одного

⁷ Г л а с и с — земляная насыпь перед наружным рвом крепости.

⁸ «Маршал-агроном» — имеется в виду маршал Тома-Робер Бюжод де ля Пиконнери (1784—1849), генерал-губернатор Алжира в 1840—1847 гг., автор проектов «военной колонизации» Алжира, т. е. раздачи отобранных у алжирцев земель солдатам французской армии в награду за участие в боях. — *Примеч. ред.*

города в другой кочует международное и варварское наречие, названное *сабир*⁹, «понимать» которое само по себе символично. Но понимаем ли мы друг друга? Поймем ли когда-нибудь? Не думаю. В морали, как в химии, существуют невозможные соединения, и вся вековая политика не в силах заменить человеческую неприязнь любовью. Создана видимость мира, но какой ценой она достигнута! Долго ли это продлится? К чему приведет? Эти вопросы обсуждаются в Алжире, как и в других краях, повсюду, где Запад делит хоть пядь земли с Востоком, где соперничество свело лицом к лицу Север с шибичным противником — Югом. Мы не можем помешать враждующим сыновьям Иокасты сражаться между собой, ненавидеть и убивать друг друга. Они дрались уже в чреве матери, и пламя костра, на который они пойдут, разделится надвое антипатией, способной сохраниться даже на пепелище.

В основном арабам — во всяком случае нашим соседям, тем, кого мы называем своими, — надо немного; к несчастью, даже этого мы не можем им дать. Они требуют спокойствия и сохранности своего убежища, где бы оно ни находилось, каким бы малым ни было, в городе или деревне, даже на условиях оплаты за наем, как велось, худо-бедно, на протяжении трех веков под властью турок, которые были хозяевами не лучше нас. Они не желают, чтобы их стесняли, затирали, выслеживали, хотят жить по своему усмотрению, вести себя в соответствии со своими фантазиями, поступать по обычаю отцов, владеть землей, не подлежащей описи, строить улицы, которые не станут выравнивать, путешествовать, чтобы никто не наблюдал за их перемещениями, рождаться без занесения в регистрационные списки, расти, не зная вакцин, и умирать без излишних формальностей. В возмещение ущерба, нанесенного цивилизацией, они отстаивают право не прикрывать тело, оставаться бедняками, попрошайничать у дверей, спать под открытым небом, покидать рынки, не возделывать полей, презирать землю, которой их лишили, и бежать с нее, поскольку она не смогла их защитить. Тот, кто что-то

⁹ «Сабир» (исп. *сабер* — «знать») араб. — «упорный, терпящий». Этим словом в Алжире до сих пор обозначают смесь арабского, берберского, французского, испанского и итальянского языков, оно особенно часто употреблялось до конца 60-х годов в портах и прибрежных селениях. — *Примеч. ред.*

имеет, прячет и копит деньги; тот, у кого ничего нет,— укрывается в своей нищете, и, возможно, самым близким сердцу араба утраченным правом является право на смирение и независимость бедности.

Помню, как однажды вечером, во время моего пребывания в Блиде, я увидел у ворот Алжира араба; он готовился отойти ко сну. Тело тщедушного, словно изнуренного длительным переходом старца едва прикрывали лохмотья. Он бродил вокруг укрепления, стараясь не быть замеченным часовыми, и выискивал среди придорожных камней местечко, где можно было устроиться на ночь. Заметив меня, он приподнялся, испрашивая, словно милостыню, разрешение остаться на месте.

— Будет лучше, если ты войдешь в город,— сказал я ему,— и устроишься в фондуче.

Он взглянул на меня, не проронив ни слова, взял палку, которую уже успел положить на землю, затянул суму на поясе и молча удалился. Я окликнул его, но напрасно, он отказался от гостеприимства, предложенного ему в наших стенах, моя жалость обратила его в бегство.

Итак, предмет ненависти этих добровольных изгнанников, а они действительно нас ненавидят,— отнюдь не администрация, более справедливая, чем турецкая, не наше менее продажное правосудие, не религия, терпимая к их вере, не промышленность, продукцией которой и они могли бы воспользоваться, не наша торговля, дающая им возможность производить обмен, и уж тем более не институты власти — ведь они давно привыкли повиноваться, всегда уважали силу и, как малые дети, готовы к послушанию, но не упускают случая ослушаться. Ненавидят же они наше соседство, то есть нас самих, наши манеры, обычаи, характер, дух. Они боятся даже наших благодеяний. Не имея возможности уничтожить, они нас терпят; не имея возможности бежать — избегают. Их принцип, правило, метод заключается в том, чтобы не издавать ни звука, затихнуть, насколько возможно, так, чтобы о них даже не вспоминали.

Но мы забыли о верхнем городе, и я возвращаюсь к нему после пространного отступления. Став бесполезным, он избежал всяческих проектов офранцуживания, спасся от специалистов по сносу зданий и архитекторов. Старый Алжир уцелел. Оценить живописность города, а это лучшее, что мы могли сделать, значило пощадить последний памятник архитектуры и образа жизни арабов,

невозможно единственный, наряду с Константиной, сохранившийся в Алжире, пусть не полностью, но узнаваемый.

Старые ворота Баб-эль-Джедид почти зримо разделяют два города. Именно в этом месте находится небольшая площадь, нечто вроде нейтральной полосы, где французские мальчишки братаются с мавританскими, где евреи, самые терпимые в вопросе национальности люди, торгуют железным ломом и старыми гвоздями. Здесь сходятся улицы, идущие из квартала Касба и спускающиеся к порту; здесь угасают обычаи, промыслы, шумы, даже запахи двух миров.

Справа — ныряющие улицы ведут в Европу. Помнишь ли ты эти бедные, шумные и жалкие кварталы, едва населенные, пользующиеся дурной славой, с зелеными стенами, смешными вывесками и странными запахами; подозрительные улицы, застроенные сомнительного назначения домиками; праздничношатающиеся матросы, дельцы без определенных занятий, полицейские, наблюдающие за происходящим; разноязычие, да еще какое, толпы эмигрантов, неистово тараторящих на своих наречиях, словесная перепалка между евреями, ругательства, извергающиеся из женских уст, непристойные песни испанских зеленчиков под аккомпанемент гитары. Короче говоря, здесь мы находим пошлые привычки, порочные нравы — своеобразное сочетание нашего провинциального захолустья с развращенностью больших городов, невыносимой нищетой, нуждой, граничащей с пороками, пороком, граничащим с мерзостью.

По другую сторону ворот Баб-эль-Джедид, напротив этой безымянной колонии, открываются строгие кварталы Старого Алжира, карабкаются вверх причудливые улицы, словно таинственные ступени, ведущие в безмолвие. Переход столь внезапен и ошеломляющ, что прежде всего замечаешь лучшие, самые прекрасные стороны арабского народа, именно те, что контрастируют с печальным состоянием нашего общества. Этот народ сохранил за собой единственное преимущество, которое возвеличивает его, — он не стал предметом насмешек. Он беден, но не нуждается в благотворительности, грязен, но лишен пошлости. Его нечистоплотность граничит с величием, его нищие стали героями эпоса; в нем всегда присутствует что-то от Лазаря и Иова. Он суров и необуздан, но никогда не бывает глупым и грубым. Он всегда живописен в лучшем смысле этого слова, художник, чему не предъявляет иных доказательств, кроме своего

облика; самым естественным образом — и, не знаю, благодаря какому высшему дару, — он возвышает даже свои недостатки и придает своим слабостям вызывающее уродство. Страсти, мало чем отличающиеся от наших, приобретают величественную форму, что делает их почти привлекательными, даже когда они преступны. Он необуздан в своих нравах, но у него нет наших кабаков, что хотя бы освобождает его от злоупотреблений винным дурманом. Он умеет молчать — еще одно редкое качество, которым мы не обладаем, — что позволяет ему избегать рассуждений. «Слово — серебро, молчание — золото», — одно из его изречений. Природа одарила его великолепной осанкой, ему присущи серьезность речи, торжественность приветствий, абсолютное благочестие; он дик, непросвещен, невежествен, зато его разум обладает двумя крайними состояниями — наивностью и гениальностью — беспримерной способностью, именуемой любовью к чудесному. И наконец, внешний облик придает ему законченную форму человеческой красоты, а для требовательного взгляда это кое-что значит.

Он проявляет удивительное сопротивление и инертность, самую непреодолимую из всех существующих сил, оберегая все эти качества. Например, в Алжире упорство народа ослабло не более, чем в других местах, хотя у него были все причины поневоле приобщиться к культуре, истрепаться в соприкосновениях и стучаться. Он все сохранил неизменным: обычаи, предрассудки, одеяние и почти полностью религию прошлого. У него можно все отобрать, изгнать его из последнего убежища, но добиться отказа от собственного «я» нельзя. Его легче уничтожить, чем заставить отречься, я повторяю, он скорее исчезнет, чем сольется с нами.

Между тем, окруженный со всех сторон, зажатый, чуть было не сказал задушенный, наступающей колонией, казармами и караульными помещениями, которые нимало его не беспокоят, но добровольно удалившийся от реального хода событий и сопротивляющийся всякому прогрессу, безразличный даже к судьбе, ему уготованной, и все же свободный, насколько может быть свободным обездоленный народ, не ведущий торговли, почти лишенный промыслов, он выживает благодаря самой своей неподвижности, пребывая в состоянии, близком к гибели, и непонятно, утратил ли он надежду или ожидает чего-то. Несколько тысяч безоружных

людей, скрывающих под маской глубокой безучастности свои истинные чувства, находятся в изоляции в нашей среде. Их существование лишь сносят, но они владеют уникальным средством защиты: терпением, а арабское терпение — оружие невиданной закалки, чей секрет, широчем, как и секрет закалки стали, тщательно скрывается.

Итак, они остались теми же, что и раньше, избегают солнца на мрачных улицах, с большим, чем когда бы то ни было, упорством держат двери на запоре, пренебрегают торговлей, ограничивают свои потребности, любят одиночество, опасаются толпы, своей неразговорчивостью пытаются уберечься от неотступного бедствия, столь же для них великого, как и любое другое, — докучливых гостей.

Белый город, чьи постройки являются выразительнейшим из символов, дает им приют, подобно их однообразному и грубому арабскому бурнусу. Узкие, темные, подчас сводчатые улицы; дома без окон, низкие двери; лавочки и мастерские жалкого вида; товары, без разбора сваленные в груды, будто торговец боится выставить их напоказ; ремесла, почти не знающие инструментов; незатейливые мелкие промыслы; порой — богатства, спрятанные в мягкие туфли; полное отсутствие садов, никакой зелени; редко увидишь виноградную лозу или ствол смоковницы, чахнувшие на перекрестках дорог; скрытые от взгляда мечети; бани, окутанные тайной, — все это напоминает каменный монолит, склеп, откуда ускользает жизнь, а веселье никогда не решилось бы шурвать на волю, страхась чужих ушей, — таков странный город, где живет или скорее угасает народ, никогда не обладавший приписываемым ему величием, но бывший некогда богатым, жизнелюбивым, предприимчивым. Я сказал «склеп», и это правда. Араб полагает, что живет в белом городе; нет, он заживо хоронит себя в его стенах, погибает в бездействии, которое подтачивает силы; тишина одновременно чарует и удручает, обволакивает намеренным умолчанием и влечет от апатии к смерти.

Ты знаешь, к чему сводится общественная жизнь араба? К тому, что я называю промышленностью и торговлей. Перечень очень прост: вышивальщики по ткани, сапожники, торговцы известью, третьеразрядные ювелиры, торговцы семенами, торгующие одновременно пряностями и табаком; зеленщики, выставляющие в

зависимости от времени года апельсины или арбузы, бананы или артишоки; молочных мало, зато множество цирюлен, обычных хлебных лавок и кофеен. Этот неполный перечень дает, во всяком случае, точное представление о местных потребностях; он лучше, чем любой многословный труд, определяет материальные причины беспримерного спокойствия, в котором местный люд черпает удовольствие. А это и есть единственный занимающий меня предмет.

Частная жизнь, как повсюду на Востоке, оберегается неприступными стенами. Частные дома ничем не отличаются от торговых лавок — те же внешняя сдержанность и нерадение. Двери открываются лишь наполовину и захлопываются под собственной тяжестью. Все затенено в этих необычных сооружениях — чудесных сообщниках скрытности хозяина; окна зарешечены, и приняты все меры предосторожности против нескромности посторонних, равно как любопытства обитателей дома. За безмолвными оградами, за массивными дверьми, похожими на ворота цитадели, за окнами, закованными в железо, находится то, что нам неизвестно, сокрыты два великих таинства этой страны — движимое имущество и женщины. О них мы почти ничего не знаем. Деньги едва вступают в обращение, женщины редко покидают жилище. Деньги извлекаются на свет лишь для того, чтобы перейти от одного араба к другому, покрыть мелкие расходы или обратиться в драгоценности. Женщины выходят из дому, скрывая лица, а обычным местом их встреч являются бани, где никто не вправе их беспокоить. Легкие муслиновые занавески на окнах, приподнявшиеся при порыве ветра, ухоженные цветы в фаянсовых горшках причудливой формы — вот почти все видимые приметы гинекея¹⁰, будоражащие наше воображение. Из уединенных уголков доносится даже и не шум, а скорее шелест, который легко принять за вздохи. Порой из-за закрытых дверей и окон или с террасы доносятся неясные голоса, кажется, что звуки парят над улицей, словно пение невидимой птицы; слышатся жалобные причитания ребенка на своеобразном языке, непонятном постороннему слуху и похожем на бормотание сквозь слезы. Иногда звучит *дарбука*, тягуче отмеряющая такт неслышимой песни, которая приглушенным рефреном сопровождает мелодию грезы одной из затворниц.

¹⁰ Г и н е к е й — женская половина в древнегреческом доме.

Единственное утешение в неволе — мечты о недоступной и непонятной свободе.

Арабская пословица гласит: «Женщина, видевшая гостя, не желает знать своего мужа». Арабы пользуются книгой мудрости, регламентирующей супружеские отношения. Итак, приятен ли, нет ли для своих обитателей, беден ли, богат ли дом араба — это тюрьма с крепким замком, запертая, как несгораемый шкаф. Один лишь скупой хозяин обладает ключом: никто не может сказать, чем он владеет, в каком количестве, какова ценность его достояния.

Евреи и негры более терпимы, чем арабы; они позволяют своим женщинам появляться вне дома с открытым лицом. Еврейки красивы, в отличие от мавританок их можно встретить повсюду: у источников, на пороге домов, у торговых лавок или пекарен в час, когда из печи извлекают лепешки. Тогда они расходятся с наполненными кувшинами, с подносами с хлебом, шаркая сандалиями без задника, надетыми на босые ноги, их высокие фигуры затянуты в темные шелка, и все, словно пловы, с черной повязкой на заплетенных в косы волосах. Они выступают, подставив лицо ветру; само присутствие красавиц в облегающих платьях, с открытыми лицами, с прекрасными глазами, привыкшими к смелым взглядам, кажется чем-то неуместным в задернутом вуалью мире. Они высокого роста и хорошо сложены, у них плавная поступь, правильные, возможно, чуть увядшие черты лица, крупные красные руки, которые, впрочем, довольно чисты, зато грязные пятки; многочисленные поклонники должны простить эту слабость еврейкам из простонародья: хорошо еще, что их нечистоплотность проявляется лишь в неухоженности пяток, как человеческая природа — в уязвимости ахиллесовой пяты. Изящных матрон сопровождают плохо обихоженные девочки в нелепых пышных нарядах, которых можно принять за младших сестер. В отличие от детей мавров светлая кожа еврейских детей не бледнеет под воздействием жары, щеки легко заливают пунцовый румянец; лицо же обычно обрамлено копной рыжих волос; румянец в сочетании с волосами, напоминающими дикий кустарник, производит необыкновенный эффект, особенно когда солнце воспламеняет щеки и волосы.

Негритянки, как и негры, заслуживают отдельного описания. Они проворно по-мужски меряют улицы, никогда не сгибаясь под ношей; вышагивают с уверен-

ностью, свойственной людям с размеренной походкой, свободным в движениях, чье сердце не ведает печали. Большая грудь, вытянутый торс, необъятные бедра: природа предназначила их для исполнения двух функций — кормилицы и вьючного животного. «Ослица днем, женщина ночью», — гласит местная пословица, столь же правомерная по отношению к негритянкам, как и к арабским женщинам. Особенность осанки негритянок — не поддающаяся описанию раскачивающаяся походка, еще более подчеркивающая обилие форм, когда хаик в белую клеточку развеивается, словно свадебная вуаль, вокруг крупного нескромного тела.

Арабский город демонстрирует нам общественные нравы, быт, обычаи прошлого. Алжир почти не изменился со времен турецкого владычества, только как-то сжался, обеднел, сохранив лишь видимость общественной жизни. Когда вступаешь в город, не задерживаясь в предместьях, проникаешь в его пределы, как обычно поступаю я, через пролом в средней части стены, минуя бойкие кварталы, и среди причудливого настоящего забываешь об истории и руинах, а обращаешь внимание лишь на то, что еще уцелело, то можно на несколько часов сохранить иллюзию, которой мне вполне достаточно. Даже если бы выжил всего один араб, то по нему можно было бы воспроизвести физический и моральный облик народа, а если бы от Алжира осталась лишь одна улица, своеобразная даже для Востока, можно было бы в точности восстановить город времен Омара и дея Хусейна. Сложнее вернуть к жизни политический облик Алжира. Это турецкий призрак, исчезнувший вместе с завоевателями, существование которого, хотя и слишком реальное, казалось невероятным даже под властью самих турок.

Сегодня я совершил обычный и почти ежедневный поход в Старый Алжир. Во время подобных прогулок меня не занимают ни история, ни археология. Я чувствую себя наивным зрителем, направляющимся на спектакль. Меня не волнует, что пьеса устарела, лишь бы у меня был интерес к ней, и пусть мне одному она кажется новой. Впрочем, мне нетрудно угодить в отношении новизны. Для меня ново то, чего не приходилось видеть собственными глазами, и если я со своей наивностью говорю об этом как об открытии, то потому, что — прав я или нет — полагаю: в сфере искусства не приходится опасаться повторов. Все старо и все ново; вещи меняются

и зависимости от точки зрения, лишь законы прекрасного неизблемы и абсолютны. К нашему счастью, искусство не исчерпывает волнующих тем; оно преобразует все, к чему прикасается, дает больше, чем отбирает, и скорее питает, чем истощает неиссякаемый источник идей. В тот день, когда рождается произведение искусства, будь оно даже совершенно, каждый может с уверенностью сказать, что никого не повторяет, что тему можно интерпретировать; это обстоятельство бодрит и будоражит человеческий разум. Вопросы искусства сходны с вопросами в любой иной области: сколько старых как мир истин и через тысячу лет останется без ответа, если нам не поможет бог.

Но вернемся к предпринятой мной сегодня прогулке; я покинул дом, с которым ты едва знаком, и последовал по плохо тебе известной дороге по обычаю этой страны в коляске — способ менее удобный, чем пешая прогулка, но более быстрый и веселый, особенно когда путешествуешь в компании. Алжирская коляска — это обычная повозка, приспособленная для южных районов; она уберегает вас от палящих лучей, как солнечный зонтик, и обмахивает трепещущимися от ветра занавесками. Многочисленные двуколки без рессор, особенно в пригороде, где я живу, носятся с ужасной скоростью и, что самое невероятное, не переворачиваются. В небольшой омнибус — широкий короб на шатких колесах — впряжены изнуренные, прерывисто дышащие, тщедушные клячи, заросшие с ног до головы, но худобой и резвым аллюром напоминающие ласточек. Их называют *корриколо*. Трудно подобрать более точное имя, ведь они несутся галопом, взметая толстый слой пыли, летят, словно мифологические колесницы в облаке, с особым небесным звоном бубенцов, хлопающими окнами и пощелкиванием хлыста. Кажется, будто каждая повозка летит со срочным посланием. Кем бы ни был кучер — провансальцем, испанцем или мавританцем, — скорость все та же; меняются лишь приемы, позволяющие ее развить. Провансалец погоняет лошадей проклятиями, испанец изводит их ударами узкого ремня, мавританец пугает ужасающими гортанными криками. Эта работа, выполняемая с воодушевлением независимо от приносимого ею дохода, безусловно создает всем возницам без исключения хорошее настроение.

«Газелью» — повозкой, окрашенной в светло-желтый цвет, правит сам Слимен; Слимен — молодой мавр,

приобщающийся к цивилизации. Он говорит по-французски, нахально рассматривает иностранок и останавливается у каждого заведения выпить вина. Он свежесвыбрит, бодр, весел, с головы до ног одет в цвета зари: белые короткие штаны, жемчужно-серая куртка, розовый шарфик и заколотый у уха цветок граната, как у женщин на балу. Одной рукой он управляет экипажем, другой держит дымящуюся сигарету, и каждый раз, когда он открывает рот, чтобы поторопить животных, с его губ срывается благовонное облачко. Справа от меня сидит мавр с учтивым лицом, который возвращается из своего сада с луком и апельсинами, наваленными вперемешку в соломенную корзину. Напротив покачивается в такт тряске негр — каменщик, забрызганный жидкой известью; он улыбается веселым мыслям, кстати и некстати приходящим ему на ум. В глубине повозки щебечут три мавританки с легкомысленным выражением лиц под белыми масками; от них исходит запах мускуса и кондитерских изделий, а их хаики развеваются за окном, как легкие флаги.

Упряжка, возчик, попутчики, прекрасная погода, яркое солнце, утренний ветер, врывающийся через дверцы, веселье и опьянение скоростью, водоворот света, раскаленной пыли и шума — все позволяло думать, что меня увлекают к самому живому и радостному городу на земле. Дорога абсолютно лишена тени, а все вокруг припудрено белым налетом. На обочинах растут безжизненные и бесцветные алоэ и более бледные, чем ивы, оливковые деревья; сама же дорога исчезает на горизонте в белесом тумане. Повсюду, где заметно шевеление на бесконечной колее, покрытой пылью, еще более измельченной шестимесячной засухой, поднимаются облачка, и, едва ветерок пробегаёт над землей, отяжелевшие головы старых арабов исчезают в дымке. Иногда дорога подходит к морю; чуть поодаль от поля, где проходят маневры, до Алжира раскинулся пригород Ага, с ресторанчиками, постоялыми дворами и распивочными, словно желая шокировать строгий город, где не пьют ничего, кроме воды; он образует нечто вроде святотатственного проспекта, где не прекращается празднество, посвященное урожаю винограда; далее идут пустоши, где целый день стоят лагерем батальоны погонщиков ослов, пришедшие не из самых богатых племен; и, наконец, унылый пейзаж, истощенный солнцем, прокаленный даже в разгар зимы, походящий на огромный

очаг, от которого остался только пепел. В глубине его укрылся небольшой фонтан белой кладки. В любую погоду на голом холмике у дороги сидят на корточках негритянки, торгующие лепешками, и молча ожидают несбыточной удачи, вдруг какой-нибудь погонщик ослов захочет перекусить. Справа — среди зарослей алоэ, напоминающих связки сломанных сабель, — возвышается старый турецкий форт, служащий сегодня военной каторжной тюрьмой и смотрящий на море амбраурами, оцетинившимися стволами. Кое-где просматривается море нежного лазурного цвета с переливами широких перламутровых полос. В нем купаются лошади с развевающимися по ветру хвостами, задранными мордами, пышными гривами, ухоженными, как волосы женщин. Они входят в воду по брюхо, прогибаясь под тяжестью конюхов. На горизонте вырисовываются белые треугольники мальтийских парусов, похожих на раскрытые ножницы крыльев чайки, увлеченной рыбной ловлей.

Чуть дальше начинается второй пригород, или, вернее, современный Алжир, — широкая прямая улица с семиэтажными домами, напоминающая улицу Батиньоль. Одинокая пальма выжила в этом уголке, ты ее видел; она по-прежнему на месте, ее ствол замурован в гипсовый блок, который обезобразил дерево, но не мешает ему гибнуть. Широкий веер кроны больше не зеленеет, черный дым кружится вихрем у бесплодной вершины, по которой пробегает судорога от холодного дождя, приносимого суровыми зимами; пальма, как и посадивший ее народ, угрюма, но еще влачит свое существование, а может быть, и переживет своего садовника.

Движение оживляется и предваряет встречу с городом. Вот и арабская канцелярия, старый турецкий дом, совершенно белый и необычайно живописный; вокруг него постоянно толкуются всадники, гонцы с ягдташами, закрепленными крест-накрест, привратники, вооруженные палками, спаги в красных ливреях. Напротив — мясная лавка с тощими животными, привязанными за рога к кольцам вдоль стены. Дверь открыта, и слышен рев агонизирующих животных. Душегубы со свирепыми лицами, держа в зубах нож, хватают трепещущих барашков и уносят их с безжалостностью Медеи. Это мзабиты, ведь именно пустыня поставляет лучших баранов и лучших мясников. Работники бойни черны, хотя и не негры, их темная кожа приобрела фиолетовый оттенок от постоянного кровавого омовения; впе-

чатление такое, что они вымазаны забродившим винным осадком, а не кровью.

Улица, описание которой почти неподвластно перу, запружена до такой степени, что ничего не успеваешь разглядеть: прогуливающиеся пешеходы, верховые, военные повозки с фуражом, фургоны с боеприпасами под охраной, нищие. Спокойную толпу составляют арабы, беспокойную, шумливую — европейцы. То здесь, то там взбрыкивает испуганный суматохой верблюд. Процессии женщин потянулись к морю, резвятся легионы детей всех рас; как и повсюду, ребятишки стремятся нырнуть в самую сутолоку. Перекресток один за другим проходит вереница маленьких осликов, ни на шаг не отстающих друг от друга. Они перевозят песок, одни доставляют в город полные корзины, другие, уже с пустыми корзинами, семят к песчаному карьере. Погонщики в основном из племени бискри; на них надеты фетровые ермолки, просторные куртки и кожаные фартуки или блузы грузчиков. Этот народ легко узнать, его привычки неизменны. У погонщиков ослов существует свой окрик — гортанное, причудливое, резкое гиканье, имитирующее крик диких животных, который они издают все сразу, чтобы подстегнуть покорный и мерный шаг осликов. Погонщики идут за нагруженными ослами, переходя на рысь вслед за животными, но на обратном пути усаживаются верхом и безжалостно погоняют маленьких тружеников величиной с крупного барана. Оседлав ослика, они втыкают палку в незаживающую рану на теле животного, которую непрерывно бередят, чтобы сделать более чувствительной, и восседают гордо и прямо, словно на чистокровном скакуне, сжимая ногами удлиненный натруженный хребет. Седоку достаточно опустить ступни на землю или оторвать их от нее, чтобы оказаться пешим или верховым. Они отдыхают, расплющивая своей тяжестью маленькое выносливое животное. Отрывистый окрик служит сигналом, и вся ватага устремляется вперед, прижав уши к спине, торопливо постукивая копытами, словно бегущее стадо баранов.

Наконец сквозь облако пыли, окрашенной прямыми утренними лучами солнца, смутно просматривается въезд в Алжир, называемый Баб-Азун в память о воротах, давно стертых с лица земли. Добравшись до Алжира, не остается ничего иного, как выйти из повозки, уплатить за место пять французских су и подняться пешком до старых ворот Баб-эль-Джедид. За несколько

минут проделано долгое путешествие, ведь сразу за шторами оказываешься в двухстах лье от Европы.

Было около десяти часов утра, когда я достиг цели своей прогулки. Солнце вставало, тень незаметно отступала в глубь улиц. Сумрак под сводами, темное чернотой торговых лавочек, черная мостовая, еще отдохавшая в ночной сладости перед полуденным зноем, подчеркивали яркость света, вспыхнувшего повсюду, куда проникло солнце. Над проходами простиралось небо, словно чистый, почти непрозрачный, темно-фиолетовый полог, закрепленный по сверкающим углам террас. Изумительное время. Ремесленники трудились, по мавританскому обычаю мирно сидя перед своими станками. Мзабиты в полосатых халатах без рукавов (*гандуре*) дремали, завернувшись в покрывала. Те, кому нечем было заняться, а их всегда немало, курили на пороге кофеен. Слышались чарующие звуки: голоса детей, бубнящих в общественной школе, трели плененных соловьев, как в майское утро, звон тонких струек, падающих в сосуды. Я медленно брел по лабиринту, от тупика к тупику, предпочитая задерживаться там, где царит особенно тревожная тишина.

Прошу простить мне слово «тишина», возникающее в моих письмах чаще, чем хотелось бы. К сожалению, в нашем языке оно единственное, способное выразить все мыслимые оттенки невероятно сложного местного явления: кротость, беззащитность и полное отсутствие звуков.

Между одиннадцатью и полуднем, то есть в час, когда все друзья, без сомнения, уже собрались — речь идет о моих алжирских друзьях, — я пришел на перекресток Си Мохаммед эш-Шериф. Во время последнего путешествия ты познакомился с этим уголком, и именно сюда, друг мой, я хочу привести тебя вновь.

11 ноября

Помнишь ли ты перекресток Си Мохаммед эш-Шериф? Мы провели там время, которое я называю арабским утром. Помнишь ли ты торговца одеждой, то ли старьевщика, то ли оценщика; он устроил распродажу, выставив напоказ огромное количество подержанных вещей, захлавивших всю улицу. Только на нем самом были наброшены обноски двадцати женщин, бурнусы, парчовые куртки и ковры. На плечах и руках висели шали из дамаста с цветными узорами, корсеты с метал-

лической плакировкой, пояса с золотым позументом и атласные платки. Серьги, ножные браслеты, ручные браслеты в изобилии сверкали на его худых пальцах, загнутых словно крючья, а кисти рук походили на ларцы, наполненные драгоценностями. Погребенный под горой тряпья, из-под которой виднелось только лицо, он, едва заняв место, азартно начал выкрикивать, широко открыв рот, цену первой вещи, выставленной на торг. Он без устали ходил вверх и вниз по улице, составленной двумя рядами покупателей, лишь изредка останавливаясь, чтобы отдать купленную вещь.

Перекресток находится почти в центре старого города, недалеко от Касбы. Именно здесь находится последнее прибежище арабской жизни, само сердце старого Алжира, и я не знаю более уединенного, прохладного и удачно расположенного уголка для бесед. С одной стороны, с той, что выходит на юг, расположена обширная, залитая солнцем площадка, открывающая вид на море. Очарование жизни арабов создается двумя контрастами: темное жилище и свет, окружающий его, замкнутое пространство и общение, интимное времяпрепровождение и удовольствие от созерцания просторов и далей. Сделать этот уголок пригодным для жизни и даже обойтись, в случае необходимости, без окружающего мира позволяют мечеть, цирюльня и кофейня — три заведения, наиболее необходимые набожному народу, который интересуется новостями, имеет свободное время. Некоторые вообще не покидают излюбленного места ни днем, ни ночью; это те, кто не имеет другой спальни, кроме этого общественного дортуара, другой постели, кроме скамьи в кофейне или жесткого булыжника уличной мостовой. Наконец, здесь нашли прибежище почти все городские бездельники, и, возможно, именно их примеру я с удовольствием следую.

Помнишь, где мы пили кофе? В конце улицы, рядом с лавочкой, которую держит один сириец. На вершине улицы, ведь она поднимается по склону, находится школа; на углу перекрестка расположился торговец семенами; справа, слева, тут и там — скамьи с подстилками, где курят, пьют и играют в шашки; прямо против нас — низкая дверь мечети Мохаммед эш-Шериф и источник для омовения; в самом центре — какой-то отзвук копошащейся толпы; его нельзя назвать ни шумом, ни тишиной. Единственный настоящий и непрерывный шум производил торговец-глашатаый, повто-

ряющий свою извечную арифметику: «Три дуру, четыре дуру, пять дуру». С тех пор ничто не изменилось, поэтому тебе легко почувствовать себя там, куда я тебя веду.

Здание школы все еще на месте. Оно будет стоять, пока жив учитель, без сомнения, и после него, почему бы нет. Если рассуждать по-арабски, то, действительно, нет причины, чтобы то, что было, перестало существовать, поскольку постоянство привычек не имеет иной границы, кроме предельности самих вещей, разрушенных и уничтоженных временем. Для нас жить — значит изменяться; для арабов существовать — значит длиться во времени. Будь это различие двух народов единственным, его уже было бы вполне достаточно, чтобы помешать их взаимопониманию. С тех пор как ты видел школьного учителя, он постарел на два года; самые старшие дети покинули школу, на смену им пришли другие; вот и все изменения: естественный ход времени и смена поколений. Школьники по-прежнему рассаживаются в три ряда, первый ряд непосредственно на земле, два других жмутся к стене на легких скамеечках, расположенных одна над другой, словно полки в магазине. По местоположению — это лавка, по гвалту и веселости обитателей — птичник. Учитель всегда в центре класса, управляет, обучает, наблюдает: от трех до пяти лет затрачивает он, чтобы научить детей трем предметам: Корану, начаткам письма и дисциплине; глаза его следят за строкой молитвенника, рука лежит на длинном, гибком, как хлыст, пруте, что позволяет ему, не покидая своего места, поддерживать порядок в любом из четырех углов класса.

В кофейне, я говорю о той, где мы были завсегдаями и которую теперь я исправно посещаю один, тот же какваджи *, что и раньше, красивый мужчина, бледный и серьезный, словно судья, одетый в белые покрывала и черное сукно. Весь день он просиживает у входа и курит больше, чем любой из его клиентов, опершись локтем о зеленый сундук с прорезью, как в копилке, куда и поступает су за су вся дневная выручка. Обслуживают клиентов два мальчугана. Одному из них лет семь-восемь, он худ, хил и постоянно гримасничает, потому что видит только одним глазом. Когда он свободен от своих обязанностей, то есть не разносит чашки и никому не предлагает щипчики с угольком, то мирно сидит у ног хозяина на слишком высоком для его роста табурете, что вынуждает его по-обезьяньи поджимать ноги. Зовут его величественным именем Абд аль-Кадир, что ложится на

мальчугана тяжким бременем, как если бы его звали Цезарем; это имя кажется насмешливой иронией над болезненным созданием, которому вряд ли суждено стать взрослым мужчиной. Второй слуга — элегантный и изнеженный — типичный мавританец. Длинный голубой халат заменяет ему ливрею и ниспадает складками, как платье. У нас его могли бы принять за милостивую девушку.

Таков центр притяжения моих привычек, и я охотно сказал бы — мой круг. Меня здесь все знают, да и мне знакомо почти каждое лицо. Мне, как завсегда, оставляют место на скамье, куда я обычно присаживаюсь, и в компании, причудливо смешавшей представителей всех классов и общественных положений, я беру одновременно уроки языка и хороших манер. Я хочу, чтобы ты узнал, как судьба обошлась в мое отсутствие с некоторыми из наших алжирских друзей, знакомыми по перекрестку. Боюсь, что кое-кто уже расстался с жизнью, но в ожидании более достоверных сведений могу сказать это лишь о моем старом друге — вышивальщике.

Он был самый старый и по возрасту, и по продолжительности нашего знакомства; его звали Си Брахим-эт-Тунси. Это был мавр из старого тунисского рода, вышивальщик по общественному занятию, живший в уединении, как патриарх, ему не хватало разве что детей. Наша первая встреча, состоявшаяся — увы! — много лет назад, уже обрела для меня очарование иной эпохи; вот почему, рассказывая тебе об этом славном человеке, которого сейчас уже нет в живых, я грущу вдвойне. Знакомство произошло среди ночи, вскоре после того, как я сошел на берег. Я заблудился в верхнем квартале, еще менее освещенном, чем сегодня, иначе говоря, всегда погруженном во тьму, исключая лунные ночи. Все было закрыто; меня окружали тишина и темень. Только слабый лучик, пробивавшийся из еще открытой мастерской, вел меня по пустынной улице; не спал лишь бледный старец с белыми кистями рук, вышивавший золотой нитью арабский кошелек, его голова была обернута муслиновой тканью, а белая борода придавала ему почтенный вид. Лампа освещала его работу; ночное бдение отшельника оживлял крошечный, ослепительно белый цветок, напоминающий лилию, стоявший в вазе с высоким горлышком.

Услышав шаги, он приветствовал меня, предложил присесть вежливым жестом, угостил трубкой и снова

погрузился в работу с безмятежностью человека, примиренного духом с людьми и собственной совестью. Было одиннадцать часов. Город спал, и я слышал доносящийся из глубины порта рокот моря, вздымавшегося со спокойным постоянством, словно грудь ровно дышащего человека. Картина казалась такой простой и насыщенной, наполненной мужественным спокойствием и безупречной гармонией, достойной избежать забвения и запечатлеться в памяти.

Когда я стал прощаться, вышивальщик взял цветок, стряхнул воду со стебля и подарил его мне. Цветок был мне неизвестен, и я никогда не видел таких с тех пор. Я не решаюсь записать его название, не будучи уверен в точности орфографии. Мне слышалось, он назвал его *miskromi*. Реальное или вымышленное, название мне понравилось, и с тех пор я даже не помышлял проверить, существует ли оно в арабском языке. Сейчас мастерскую Си Брахима занимает резчик, изготавливающий из слоновой кости мундштуки для трубок.

Зато Си Хадж-Абдаллах жив и полон сил; всегда на живописном перекрестке, в глубине лавочки, разнообразием товаров не уступающей базару. Может быть, он чуть похудел, из-за чего кожа на его щеках обвисла, но по-прежнему мил и любезен. Он одет с тщанием человека, рожденного в достатке, полон добродушия, как подобает счастливому человеку. Я застаю его за излюбленным занятием; он толчет перец в осколке английской бомбы. Исторический обломок, уцелевший со времен бомбардировки Алжира лордом Эксмутом¹¹, воскрешает памятную дату в жизни лукавого старика, яркого представителя алжирской мелкой буржуазии.

Наман выкуривает чуть больше гашиша, чем прежде. Убийственная привычка пробуждает в нем созерцательность по мере угасания сознания. Он страшно бледен, а худоба уже не удивляет, поскольку знаешь, что он питается одним дымом. Вполне возможно, что я стану свидетелем его кончины, если же он протянет до моего отъезда, то наверняка распрощаюсь с ним навеки. Он тихо переключается из одного мира в другой в разгар дурманного видения, которое, я надеюсь, не будет потревожено агонией. Из всех жизненных благ ему доступен

¹¹ Лорд Эксмут — английский адмирал, командующий англо-голландской эскадрой, бомбардировавшей в 1816 г. город Алжир.—
Примеч. ред.

только сон, если ему вообще удастся сомкнуть глаза, что весьма маловероятно. Он уже во власти смерти. Разум пребывает в состоянии незыблемого покоя, а душа так легка, что оборвались почти все ее земные связи. Словом, наш мудрец побратался со смертью, не порвав окончательно с жизнью.

Он узнал меня, возможно приняв за постоянного гостя дурманных видений. Заулыбался без тени удивления, как при встрече со старым знакомым, которого видел накануне. И все же спросил, откуда я прибыл. Я ответил:

— Из Франции.

— Значит, ты любишь путешествовать?

— Очень.

— Я тоже. Жизнь дана, чтобы что-то узнать,— добавил он,— но путешествия гораздо лучше.

Он по-прежнему лежал на скамье в глубине кофейни, где мы расстались когда-то, и курил ту же маленькую трубку с истончившимся мундштуком в серебряном футлярчике. Борода его поредела, лицо — как у умирающего ребенка. Некоторые курильщики определяют расстояния по времени горения сигары. Легко рассчитать, начиная отсчет с сегодняшнего дня, сколько трубок отделяют Намана от кладбища Сид Абд аль-Кадира.

15 ноября

Вот история, которая приключилась со мной в гостях у Сид Абдаллаха. Я посвящаю целое письмо этому незначительному происшествию, потому что оно выходит за рамки моих обыденных мыслей и рассказов. Речь идет о встрече с арабской женщиной, и непритязательное развлечение — не более чем впечатление от музыкального звучания ее голоса.

Сид Абдаллах показывал мне семейные бумаги. Он извлек их из расписного сундучка с медным замком, все содержимое которого составляли кроме бумаг старинные часы и несколько дорогих безделушек. Листы пергамента были испещрены изысканной вязью, украшены крупными восковыми печатями и голубыми с золотом арабесками. Наш друг приобщал меня к своей родословной, восходившей к марабутам *. Он уже давно открыл мне свое благородное происхождение, но впервые предъявлял официальные доказательства. Стремился ли он тем самым выситесь в моих глазах и заслужить большее уважение? Желал ли он заручиться почтительным отношением,

которое, впрочем, уже гарантировали его возраст и безупречное достоинство манер — свидетельства, по-моему, гораздо более убедительные, чем любые верительные грамоты? Мне было трудно уверовать в мещанское тщеславие человека, до сих пор казавшегося мне свободным от изменной мелочности. Но в поведении арабов все имеет значение, и любое признание здесь становится необычным фактом, о котором стоит задуматься.

С галереи соседней мечети раздался призыв к после-полуденной молитве. Из верхних кварталов стали спускаться женщины, направляясь в бани. Их сопровождали негротянки с внушительными свертками на головах. Неожиданно у лавочки остановилась женщина, ее не сопровождали ни слуги, ни дети. Удивительно нежным голосом, чуть приглушенным муслиновой вуалью, скрывавшей лицо, она произнесла *selam*, слова приветствия. Абдаллах почувствовал ее присутствие, но даже не поднял головы, а услышав приветствие, ответил сурово, продолжая перелистывать бумаги.

— Как твое здоровье? — проворковала женщина чуть более твердым голосом.

— Хорошо, — отрывисто ответил Абдаллах, словно хотел сказать: иди своей дорогой.

Но один-два быстрых вопроса все-таки заставили его оторваться от чтения; он потянулся к сундучку, медленно сложил драгоценные листки и поднял на женщину глаза. Едва уловимый румянец вспыхнул на угасшем лице, и впервые я увидел, как ожили его обычно затуманенные глаза.

Завязался живой разговор, хотя и вполголоса. Мне никак не удавалось уловить смысл, слова путались в моем сознании. Я различил лишь часто повторявшееся имя Амар, а жестикуляция Абдаллаха, казалось, выражала отказ. Он то подносил обе руки к бороде и недоверчиво покачивал головой, то приближал к подбородку кисть правой руки, слегка менял ее положение напыщенным жестом, которым арабы сопровождают свое *la-la* (нет). Женщина продолжала наступать, не теряя надежды, повторяя настойчивые мольбы, заклинания, угрозы. Удивительное многословие, теплота интонаций придали бы ее страстной проповеди неотразимую силу в глазах любого, кроме старого Абдаллаха.

В поединке мольбы и хладнокровия, трогательности и хитрости меня привлекло очарование неподражаемо

светлого, отточенного и музыкального голоса просительницы. Что бы она ни говорила, самые жесткие гортанные звуки смягчались и, возможно, даже вопреки желанию самые страстные порывы облекались в мелодичную форму. Взрываясь и устремляясь ввысь до гневных интонаций, безупречный голос не допускал ни одной фальшивой ноты. С удивлением и восторгом я вслушивался в звучание редчайшего инструмента, не пресыщаясь виртуозным исполнением. Какой же должна быть обладательница волшебного голоса? Сколько лет этой женщине? К какому общественному слою она принадлежит? Если не чудо природы, то само искусство заключалось в ее голосе. Я подумал, что ей наверняка уже за двадцать. Обладательницу голоса, скрытую с головы до ног, мне не удалось разглядеть. Она была вся в белом, неприкрытым остался лишь краешек нежного запястья с синими прожилками и двойным золотым браслетом. Тонкая бледная кисть выдавала ее праздный образ жизни.

Переговоры не дали результата. Мавританка выбрала на витрине *саше со сбедам* и пару расшитых тапочек, размер которых определила, приложив к ступне, спрятала все под хаиком, не справившись о цене, поправила покрывала и кивнула Сид Абдаллаху. Не слишком задумываясь, я поклонился и поздоровался по-арабски.

— До свидания! — ответила она на прекрасном французском языке. В этот миг я увидел ее глаза, устремленные на меня. Не знаю, что выражал ее взгляд, но он был необыкновенно живым, как будто вспышка, промелькнувшая между нами.

— Ты знаешь эту женщину? — спросил я у Сид Абдаллаха, когда она ушла.

Он вновь обрел спокойствие. Степенно ответил:

— Нет.

— Она живет в Алжире?

— Не знаю.

— О чем она просила тебя?

Вопрос был слишком прямым. Старик поколебался, затем, как обычно, ответил пословицей: «Тыква стоит дороже, чем бесхитростная голова». С этими словами он поднялся, обулся и оставил меня, направившись в мечеть для свершения молитвы.

Я достаточно хорошо знаю Абдаллаха, во всяком случае, таково мое мнение, чтобы понять, что впредь любой намек на происшествие будет вдвойне неуместен, ведь он огорчит старика, да и все равно останется без

ответа. Я рассудил, что лучше никогда не заговаривать об этом случае, и дал себе зарок. Остается лишь записать в дневнике: впервые в жизни я услышал восхитительный женский голос, а это редкость в любой стране.

16 ноября

Сегодня я опять посетил Сид Абдаллаха. Я пришел чуть раньше времени с твердым намерением при любых обстоятельствах держать язык за зубами. И все же разве не признание моего любопытства сам визит, приуроченный к определенному часу, словно встреча, обговаривалась заранее?

Наша беседа длилась минут пять, когда в верхнем конце улицы появилась женщина в сопровождении негритянки в красном хаике, что не принято в Алжире. Я видел, как она погрузилась в тень свода и задержалась на мгновение поправить покрывало, а служанка, вместо того чтобы следовать за госпожой, оказалась впереди. Одежды женщины, привлекшей мое внимание, были безупречной белизны, но я был удивлен, не увидев ни городских шаровар, ни чулок. Ее худые лодыжки обвивали тяжелые золотые кольца, босые ступни вырисовывались сквозь черные сафьяновые туфли с высокими задниками. Она приближалась; перезвон ножных браслетов аккомпанировал каждому ее шагу, придавая звучность размеренной поступи. Она не сделала ни одного лишнего жеста, ее голова была гордо запрокинута, руки спрятаны под белыми одеждами. Но я заметил, что египетские глаза чуть скосились, метнув мимолетный взгляд на меня, а подрагивание муслиновой ткани, облегающей лицо, словно раковина, позволило угадать, что она смеется.

Это была та самая мавританка, что я видел накануне, подтверждением чему явилось странное чувство, которое нельзя объяснить просто искоса брошенным взглядом и украдкой оброненной улыбкой. Надо ли говорить, что моим первым порывом было желание последовать за ней? Но я удержался, ни за что на свете не желая выдать себя перед старым другом неосторожностью, которая могла навсегда уронить меня в его глазах. Женщина скрылась за углом, еще мгновение я слышал позвякивание браслетов, а затем беседа самым естественным образом вернулась в прежнее русло. И все же замечу, что Сид Абдаллах не оставил меня даже в час молитвы и, что совсем невероятно, казалось, забылся в болтовне.

Я испытываю к этому простому, доброму и очень проникательному человеку уважение, к которому сегодня примешивается легкое смущение. Назавтра я решил изменить время визита, чтобы избежать третьей встречи; она могла поставить меня и хозяина в неловкое положение.

Абдаллах никогда не говорил мне ни о доме, ни о хозяйстве, ни об обычно сложном и многочисленном мирке арабской семьи (браки заключаются рано и очень плодовиты). От него мне стало известно только то, что непосредственно касается его самого, иначе говоря, дата рождения, знатное происхождение предков, один-два выезда за пределы регентства, да кое-какие сведения о торговой карьере, которые можно изложить в двух словах.

По возвращении из Мекки *хаджи* (паломник) обосновался в известной тебе лавочке, где и живет по сей день. Случилось это в 1814 году, тогда моему знакомому исполнилось двадцать лет. Он не говорил, был ли уже женат, но надо полагать, что был, ведь двадцать лет — возраст более чем зрелый для знатного молодого человека, к тому же успевшего посетить Мекку. Начал он с торговли семенами. За долгие годы торговля расширилась, и если он еще отводит уголок магазина под семена, то скорее как дань воспоминаниям молодости. Ты знаешь, как зажиточный, знатного происхождения и честный мавр понимает коммерцию. Всего-навсего иметь свой угол в модном месте, где происходят все дневные встречи мужчин, чувствовать себя там хозяином и жить в праздности. Он принимает посетителей и, не поднимаясь с дивана, участвует в уличной суете, узнает новости, стекающиеся с разных сторон, находится в курсе всех событий квартала и, если позволительно употребить слово, лишенное смысла в арабском обществе, я сказал бы, ведет светский образ жизни, не покидая собственного дома. Сама торговля — дело второстепенное. Клиенты — просто люди, которым он оказывает услугу, поставляя необходимые им предметы. С ним нельзя торговаться.

— Сколько?

— Столько-то. Берите и уходите.

Ничто не может быть неприятнее, чем необходимость уделить несколько лишних минут делу, которое его не заботит. Стоит ли сожалеть о деньгах: их приносит и уносит случай.

Истинный смысл такой коммерции — стремление занять досуг. «Послушай,— сказал мне однажды Абдаллах, объясняя принцип торговой жизни на Востоке,— праздность порождает потребность в кейфе и дурные нравы. Разве не так обстоит дело в твоей стране? Посещение кофеен не к лицу людям достойного происхождения, еще менее — старикам; подобная привычка едва ли простительна даже молодому человеку. Кофейни, как и гостиницы, созданы для путников. Путешественники легко узнаваемы, остальные посетители могут быть приняты за бродяг или нищих. Всякая привычка, компрометирующая честного человека и наталкивающая на ложные мысли о нем, плоха. Предпочтительнее всего ручная работа, она одновременно успокаивает дух и вырабатывает прилежание, но я принадлежу к семье, в которой всегда лучше владели четками, чем иглой». В этих рассуждениях есть здравый смысл, особенно когда на деле сам строго придерживаешься этих принципов. К тому же Сид Абдаллах не пьет кофе, не курит и носит строгую и простую одежду только из сукна и шелка.

К сведениям, собранным во время бесед, добавлю то, что узнал от других. Сид Абдаллах зажиточен, но не богат; в молодости имел трех жен, но с возрастом отказался от такой роскоши. Последняя жена, единственная на сегодняшний день, молода; она живет неподалеку в известном мне доме, который, разумеется, он мне никогда не показывал и куда, вероятно, я никогда не войду. Забыл сказать тебе, что днями я встретил в лавке очаровательного двенадцатилетнего мальчика. Абдаллах представил его мне как сына. Мальчик взял меня за руку с чудесным добрым расположением, затем поднес свою руку к губам и улыбнулся. Я подумал, что он заговорит на моем родном языке, но, к великому удивлению, узнал, что его не обучили ни одному французскому слову.

Так вот, после появления мавританки я провел с Абдаллахом более двух часов. В минуту прощания старый друг как-то особенно взглянул на меня и, задержав мою руку в своей с несвойственной ему фамильярностью, сказал, нажимая на каждое слово: «Сиди, я говорю с тобой как много повидавший на своем веку человек. Берегись кабийской * женщины».

Вот, друг мой, что повергло меня в крайнее смущение-

ние. Я уже не говорю об опасности, которой мог подвергнуться, ведя себя легкомысленно, вполне реальной опасности, раз уж Абдаллах счел себя обязанным предупредить меня; я имею в виду истинный смысл фразы, а толковать ее можно по-разному. Родом ли женщина из Кабилии? Или он избрал это оскорбительное слово для ее характеристики? Абдаллах презирает и ненавидит все кабийское и еврейское. Он употребляет эти слова как хулу. «Кабилец, сын кабияца» — вот единственное сильное выражение, которое он позволяет себе в моем присутствии. Но он вкладывает в него всю свою неприязнь, и оно полностью соответствует оскорблению «пес, сын пса». Если именно это он подразумевает, говоря «кабийская женщина», я знаю, что он имеет в виду. В противном случае не могу поставить ей в вину рождение в горах, но это объясняет, извиняя ее, почему она забыла надеть чулки, направляясь в баню.

Декабрь

По-прежнему хорошая погода. Трудно поверить, что год на исходе. Я едва замечая череду дней, хотя жизнь течет под открытым небом; просыпаюсь с восходом солнца, ложусь спать с наступлением ночи. Минута за минутой я наблюдаю угасание лучезарного времени года. Не ведаю дат, не пытаюсь вновь обрести утраченное чувство времени. Сиюминутные впечатления с такой точностью повторяют вчерашние, что я уже не различаю дни. Столь продолжительное блаженство неведомо людям, находящимся во власти коварного климата. Ночь — не более чем пауза в ходе событий, и я забываю, что наутро ощущения возобновляются, ведь каждый день они возрождаются с той же яркостью и живостью. В любом краю расположение моего духа определяет чистота неба. Вот уже целый месяц и то и другое застыло, если можно так выразиться, на отметке «ясно».

Вот в двух словах моя жизнь. Я мало пишу, не уверен, что «научаюсь» чему-либо, смотрю и слушаю. Душой и телом я отдаюсь во власть любимой природы, которая всегда располагала мной и вознаграждает сегодня великим покоем вдали от волнений. Но лишь мне одному известен тернистый путь к этому состоянию. Я пробую самые чувствительные и утомленные струны мозга, пытаюсь убедиться, что ничто не сломано и инструмент по-прежнему настроен. Я счастлив, что не чувствую фальши, из чего следует, что молодость еще не прошла

и позволительно еще на несколько недель продлить смутное удовольствие, создающее ощущение жизни. Мало кому подошел бы подобный режим, и вряд ли мои полевые прогулки устроили бы профессиональных путешественников. Надеюсь, ты согласишься со мной, что жизнь, которую я веду здесь, имеет немало серьезных сторон. Впрочем, возможно ли избрать иной образ жизни и оставаться последовательным? Зачем проявлять нетерпение, когда все вокруг отдыхает? Зачем спешить навстречу завтрашнему дню, когда полнокровная жизнь мирно течет широким потоком и движение вод почти незаметно в проторенном русле привычек?

Друг мой, принято осуждать привычки, исходя из ложных посылок. Я никогда не мог понять, почему кто-то делает вопросом самолюбия умение совладать с привычками или прилагает массу усилий, чтобы избавиться от них. Разве человек менее свободен, если следует по проторенному пути? Можно ли называть рабством то, что является божественным законом, мнить себя властелином судьбы только потому, что не оставил за собой никаких ориентиров? Тот, кто так думает, заблуждается, да еще и оговаривает себя. Заблуждается, потому что лишённые привычек дни утрачивают связь, воспоминания теряют опору, словно рассыпавшиеся четки. Оговаривает себя — ведь, к счастью, невозможно представить человека без привычек. Отрицание привычек просто свидетельствует о короткой памяти, забывчивости, пренебрежении к тому, что делал, думал, чувствовал накануне, а может быть, о неблагодарности к прожитым дням, о непозволительном забвении, которому предаются сокровища, не ведая его истинной ценности.

Доверься мне и возлюби привычки. Они не что иное, как сознание человека, развернутое во времени и в пространстве. Уподобимся мальчику с пальчик, разбросавшему камешки от двери дома до самого леса. Пометим жизненный след привычками, воспользуемся ими, чтобы продлить наше бытие, насколько хватает воспоминаний, облекая их по мере сил в безупречную форму. Расширим границы бытия вправо и влево, раз уж им правит судьба, и пусть в основе своей оно остается тождеством нас самих! Именно так мы везде обретем себя, не растеряем в пути самый полезный и ценный багаж: ощущение самих себя.

Что за добрая страна, с таким постоянством дарящая нас удовольствием в часы досуга! Ни облачка, ни дуно-

вения, значит, на небесах воцарил мир. Тело купается в неподвижной стихии, утрачивается ощущение постоянного зноя. С шести утра до шести вечера солнце невозмутимо бороздит чистое лазурное пространство. Оно спускается по ясному небу и исчезает, превращаясь в алую точку, похожую на лепесток розы, отмечающий западные ворота заката. Чуть позже у подножия холмов ощущается легкая влажность, и эфирный туман затягивает линию горизонта, словно готовя гармоничный переход от света к тени. Необыкновенная мягкость серых тонов позволяет глазам свыкнуться с ночью.

И вот над бледнеющим пригородом и огромной, утратившей четкость очертаний страной вспыхивают звезды. В первое мгновение их можно перечесть, но вскоре они рассыпаются по всему небосклону. С исчезновением последних солнечных лучей ночь озаряется собственным светом и окончательно угасший день сменяется полумраком. А тем временем море покоится в объятиях Морфея,— никогда я не видел его таким безмятежным: вот уже месяц ничто не тревожит его глубокий сон. Неизменно чистое и гладкое, оно вздрагивает во сне,— прошло одинокое судно, по водной глади пробежала рябь, и снова сияет прозрачная и неподвижная зеркальная поверхность.

Минуло лето, но и до зимы еще далеко. Почти исчезли насекомые, не слышно весеннего жужжания и стрекота. Стебли дикой мальвы коротки, трава вновь зеленеет, но не тянется вверх. Впрочем, только одному времени года — осени — свойственно великое отдохновение. В деревнях Франции осенью, когда наступает полный покой, крестьяне говорят, что время прислушивается. Наивная метафора выражает мысль, порожденную неискушенным умом, и позволяет понять, сколько сосредоточенности таит в себе тишина. Чувствуется, что прошла первая молодость года. Все, что страдало, набирает силы, за жестокими приступами следует отдых. Словно наступает спокойное выздоровление за болезненной изможденностью долгого лета.

Девять часов утра. Я нахожусь в очаровательном уголке, расположенном в средней части склона холма и в виду моря. Величественная картина морского пейзажа немыслима без знакомых примет. Они, вероятно, и придают ей эффект, особый характер и размах. Местность безлюдна, хотя вокруг загородные дома и фруктовые сады. Вне городских стен в этой стране повсюду ца-

рит уединение. Слышен только скрип бесконечной цепи черпаков норий¹² и журчание текущей по желобам воды, да еще почти непрерывное постукивание колес на дороге в Мустафу. Передо мной два турецких домика; они как бы слились воедино и образуют красивую картину, правда лишенную стиля, но зато наделенную приятным восточным колоритом. Я заметил одну особенность всех турецких построек: они окружены кипарисами. Ослепительно белые дома иссечены тонкими тенями, словно вышли из-под руки резчика. Кипарисы ни зеленые, ни рыжие. Они кажутся совершенно черными, и это недалеко от истины. Невероятно насыщенный энергичный мазок хлестко вздымается на ярком небесном фоне, оттеняющем с точностью, вызывающей резь в глазах, изысканные контуры веточек, аккуратных иголочек и всей причудливой хвойной пирамиды в форме канделябра. Поросшие завитками кустарника склоны спускаются в глубь долины, и отроги холмов заключают изящный уголок в мягкие, но крепкие объятия. Эта ясная и пленительная красота нам мало знакома, во всяком случае, я не помню ничего подобного в современной живописи, не желающей возвращаться к наивной простоте трехцветной бело-зелено-голубой гаммы, о которой я уже говорил. Почти вся природа Сахеля сводится к трем простым краскам. Добавь ярко-коричневый оттенок окисленной железистой почвы; водрузи среди зеленого массива дерево, напоминающее фантастическое чудовище, пусть это будет белый тополь, усыпанный блестками наподобие изделий золотых дел мастеров, восстанови голубой линией моря равновесие картины — и получишь вечную формулу алжирского пейзажа, который называли fhas задолго до того, как мы дали ему имя «предместье».

Я нахожусь в тени великолепной, как говорят, трехвековой цератонии, знаменитой во всей округе. Диаметр тени достигает почти сорока футов. Дерево растет уже не вверх, а вширь, ветвится, пускает новые побеги, и постоянная напряженная работа внутренних соков питает спутанную крону перевитых ветвей, столь тесно связанных и плотно сплетенных, что, кажется, однажды на нем будет больше отростков, чем листьев. Ни одна птица не прижилась под суровым темным куполом, ошестинившемся сухими ветками. Застывший в неподвижности ис-

¹² Н о р и я — водокачка, черпаковый подъемник. Высота подъема обычно до 25 метров.

полин словно отлит из бронзы. С первого взгляда чувствуется его неизбывная сила. Время от времени еще зеленый, но уже начавший увядать лист падает к подножию дерева: ему на смену приходит новый. Ты знаешь, что цератония живет, во всяком случае, не меньше, чем оливковое дерево. Я видел много огромных раскидистых крон, но не знаю другого дерева, скроенного более совершенно, в долгожительство которого я с легкостью готов поверить.

Я уже говорил тебе, что в этой стране невозможно отсчитывать время. Солнце не блекнет, деревне чужда грусть, листва не опадает, деревья не покрываются траурной плесенью и не обманывают видимостью печальной смерти. Дозволительно забыть, что жизнь угасает в этом очарованном саду Гесперид¹³, где ничто не говорит об оскудении и упадке. Какое счастье, друг мой, если постоянство картины, открывающейся взору, позволит поверить в возможность увековечивания дорогих нам вещей и существ!

В двух шагах отсюда находится кладбище. Оно освящено древними останками знаменитого мусульманского святого Сид Абд аль-Кадира, который уже два века покоится в небольшой гробнице, носящей его имя. Каменная мостовая скрывает во дворе множество могил; их место отмечено мраморными плитами, сильно потертыми шаркающими богомольцами. Внутреннее помещение гробницы, скрытое узкими высокими дверьми, выкрашенными в зеленый цвет, невозможно разглядеть с улицы, а дверные створки мгновенно захлопываются вслед за проникающими внутрь паломниками. Я, кажется, заметил маленькие зажженные лампы, но ничего более. Эти гробницы — миниатюрные памятники: дворик, сооружения, купола, похожие на белые сундуки. Старый мавр вместе с семьей оберегает место, дважды освященное — смертью и набожностью всех сюда входящих. Дети, жены, служанки снуют внутри ограды, с безразличием попирая надгробные надписи. На могилах повсюду валяются апельсиновые корки вперемешку с послеобеденным сором, и на солнце на узких лестницах часовен воркуют голуби. Я мог бы одним прыжком оказаться на галерее, но меня останавливает безмерное почтение к святым местам; обычно она под охраной лишь

¹³ Геспериды — в греч. мифологии дочери Атланта, жившие в сказочном саду, где росла яблоня, приносящая золотые плоды.

двух разжиревших в праздности кошек, спящих в тени, свернувшись клубком. Иногда страж совершает обход, проверяя состояние стен. Небольшим веником и кистью он смахивает малейшие потеки грязи; жидкой известью из горшочка он скорее расписывает, чем белит стены, радуясь, что возрождает своей рукой непорочную белизну — единственную роскошь внешнего облика жилья мавров. Побелка проводится очень тщательно, будто выполняется тончайшая работа. Сторож — крупный мужчина с брюшком, всегда чисто одетый, его лицо неизменно выражает приветливость, что является, безусловно, следствием счастливого времяпрепровождения за выполнением почетной обязанности. Едва он меня замечает, что, впрочем, случается крайне редко — так он увлечен заботой о чистоте, — мы обмениваемся вежливыми короткими приветствиями, и до сих пор знакомство со стариком, полумогильщиком, полуризничим, сводится к его обращению ко мне со словами: «Здравствуй, сиди, пусть снизойдет на тебя благословение бога! Да процветает дом твой, да призовет тебя смерть ближних к счастливой жизни!».

Причудливый памятник, напоминающий одновременно загородный дом и гробницу, жизнь семьи среди могил, дети, рождающиеся и взрослеющие на слое человеческого праха, необычное соседство жизни и смерти, наконец, красивые птицы, призванные служить грациозным символом, нежное пение которых походит на посмертный разговор стольких безжизненных сердец, навсегда угасших чувств, — все это, поверь, друг мой, без тени поэтичности, премного меня интересует и увлекает в заоблачную высь понятных тебе мечтаний. Рядом с мавзолеем раскинулось общественное кладбище, куда ведет калитка в ограде. Оно тоже носит имя марабута. Еще его называют Баб-Азун в отличие от западного кладбища, расположенного у Баб-эль-Уэд. Оно мало даже для половины такого большого города, поэтому узкий участок земли постоянно перекапывается. Повсюду, где каменные надгробия не взывают к уважению собственности здесь похороненных — о безвестных захоронениях мало кто беспокоится, — родственники усопших любым путем пытаются их захватить. Земля, удобренная человеческими останками, дает жизнь гигантским растениям. Здесь благоденствуют чудовищные мальвы, кактусы, алоэ. На тучной кладбищенской земле мирно пасется ослик.

Арабские могилы, даже самые богатые, очень просты и похожи одна на другую, что с философской точки зрения свидетельствует о хорошем вкусе. Надгробие из камня представляет собой прямоугольник, чуть выступающий над землей. На коротких сторонах обычно находятся либо грубые скульптурные изображения тюрбана на невысокой колонне, очень напоминающие гриб, либо треугольный кусок сланца, поставленный, словно указатель меридиана. На каменной или мраморной плите начертаны по-арабски имя покойного и завет Корана. Иногда могильная плита имеет форму корыта и заполнена землей. На маленьком газоне растут цветы, специально посаженные или же проросшие из семян, занесенных ветром. Порой с обеих сторон камня заботливо выдалбливаются неглубокие ямки в виде чаши или бокала, в которых скапливается дождевая вода. «По обычаю мавров посреди камня зубилом высекается небольшое углубление. Дождевая вода собирается на дне погребального кубка и утоляет в обжигающем климате жажду небесных птиц». Я не видел, чтобы птицы слетались к выжженным надгробиям напиться из иссякшего кубка. Но почти каждый раз, входя на кладбище Сид Абд аль-Кадир, я думаю о приключениях последнего Абенсерраджа¹⁴.

Было бы глубоким заблуждением полагать, что все на Востоке назидательно. Арабскому народу присуще смешение чудесных фантазий и абсурдной реальности, сдержанности и вульгарности, изящества и грубости, что существенно затрудняет задачу точного определения его характера. Общей формулы явно недостаточно, необходимы нюансы. Любуешься народом и тут же ловишь себя на том, что заблуждаешься: характер расы противоречив, природная тонкость ума не соответствует грубому воспитанию. Араб обладает возвышенной душой. Ни у одного цивилизованного народа нет этого драгоценного дара. Мы можем поэтому, не опасаясь противоречить самим себе, думать об арабах диаметрально противоположное в зависимости от того, проникаем ли мы в сферу духа или наблюдаем за повседневной жизнью.

¹⁴ «Последний из Абенсерраджей» — повесть французского писателя Франсуа Рене Шатобриана об умершем в Тунисе потомке знаменитого рода Ибн Сарраджей, игравших в XV в. видную политическую роль в последнем государстве испанских мавров — Гренадском эмирате.— *Примеч. ред.*

Раз в неделю, по пятницам, толпы алжирских женщин направляются на кладбище, чтобы почтить память усопших. Но поминовение — не более чем предлог для общения. В Алжире собираются на кладбищах, как в Константинополе у Пресных источников. Это лишь увеселительная загородная прогулка с позволения мужей для замужних женщин, составляющих, у меня есть основания так думать, меньшинство. Впрочем, свидание происходит чуть ли не каждый день, редко после полудня на кладбище Сид Абд аль-Кадир не оживляется болтовней и смехом. Здесь не только беседуют, но и едят, устроившись на могилах, расстелив хаик вместо скатерти. Надгробный камень служит и стулом, и столом, за которым, расположившись небольшими группками, лакомятся печеностями и яйцами с сахаром и шафраном. Неудобные большие покрывала развеваются, развешанные на кактусах, — поблизости ни одного любопытного. Только сейчас можно разглядеть обычно скрытые от глаз туалеты. Украшения порой просто великолепны. Женщинам предоставилась возможность извлечь на свет содержимое сундуков, выставить напоказ роскошные уборы, усыпать себя — шею, руки, пальцы, ступни, корсаж и пояс, волосы — драгоценностями, необычно ярко подкрасить брови и подвести глаза, вылить на себя изрядную порцию резких духов. Кто может поведать, друг мой, о том, что происходит в короткие часы свободы в обществе женщин, ускользнувших от строгостей замкнутого жилища? Кому ведомо, как они злословят, сплетничают, ведут пересуды, осуждают нескромность слуг, задумывают интриги и готовят маленькие заговоры. Кто знает, о чем они говорят? Здесь представительницы слабого пола чувствуют себя свободнее, чем в банях. Единственные свидетели и доверенные лица спят у их ног под землей. Я довольно часто люблюсь издали этими сценами, спрятавшись в тенистом укромном уголке, который служит мне наблюдательным пунктом. Я все вижу, но не слышу ничего, кроме общего невнятного бормотания с отдельными гортанными или пронзительными нотами, щебета большой стаи неугомонных птиц. С приближением вечера ряды отдыхающих редеют. Омнибусы, ожидающие наготове неподалеку от кладбища, подобно нашим фиакрам у увеселительных заведений, набиваются светскими богомолками и направляются в Алжир. Погребенные обретают покой лишь с наступлением ночи.

Чуть поодаль от кладбища, если идти по дороге, на-

ходится кафе под платанами, которое повсеместно превозносится и частенько изображается живописцами. Ты уже знаком не менее чем с десятком картин, что избавляет меня от необходимости писать еще одну. Место действительно очень хорошо. Кафе напоминает собор с низкими галереями, изысканными небольшими арками, приземистыми опорами у подножия гигантских великолепных платанов, поражающих своей высотой, стройностью, размахом ветвей. За кафе, как бы продолжая его стены, находится арабский фонтан в виде изгибающейся стены с зазубренным верхом — кирпичная кладка расчерчивает ее в полоску, — с желобом и примитивными, постоянно журчащими кранами. Все облупилось от времени, пришло в упадок, выжжено солнцем, покрыто зеленой плесенью, но создает приятный цветовой колорит, вызывающий в памяти палитру Декана¹⁵. Длинная лестница из низких, широких ступеней, выложенных кирпичом и оправленных очищенным от мха камнем, ведет по пологому склону от дороги к водопойному желобу. По ней звонко трусят стада осликов, лениво поднимаются вереницы верблюдов, вытянув к воде длинные щетинистые шеи движением, которое может показаться как безобразным, так и прекрасным в зависимости от вашей способности восприятия окружающего. Прямо перед нами обрамленная печальными акациями дверная решетка с пилястрами во французском стиле ведет на аллею все еще цветущих роз Ботанического сада. Иногда я посещаю чудесный цветник, но не стану его описывать. Во-первых, я не ботаник, а, во-вторых, изучаю только истинно арабские реалии.

Того же дня, вечер

Я завершаю свой день под сенью деревьев, разглядывая элегантные турецкие домики, во множестве разбросанные по склонам холмов. Они проглядывают сквозь листву на небольшом расстоянии друг от друга. Растительность так плотно обступила их, что кажется, при каждом разбит парк. Все выстроены в живописных уголках, на уступах заросших склонов, и все смотрят на море. Вскарabкавшись на вершину огромного амфитеатра, составленного равномерно чередующимися террасами, можно получить представление о величественном и чу-

¹⁵ Александр Габриель Декан (1803—1860) — французский живописец и график.

десном виде, открывающемся обитателям прелестных домиков. Сегодня все они, без исключения, принадлежат европейцам. Значительная часть таинственности, которая их обволакивала, рассеялась, исчезло и очарование. Сама архитектура утратила свой смысл в применении к европейским привычкам. Остается оценивать строения по привлекательности внешнего вида и изучать их лишь как грациозные памятники изгнанной цивилизации.

Эти жилища сотворил духовный и поэтический народ. Возникает впечатление, что они привиделись в грезах строителям, возводившим стены. Этот народ умел создавать тюрьмы, которые были местом услад, заточать женщин в прозрачные, но непроницаемые для посторонних взглядов монастыри. Днем цитадель связывалась с внешним миром множеством «окошечек», затворницы наслаждались садом, увитым жасмином и виноградной лозой. Ночью им принадлежали террасы. Возможно ли придумать более изощренное место заточения, где с такой предусмотрительностью заботились бы о развлечениях пленниц? Так, старательно затворенные дома, по существу, не имеют ограды. Природа настойчиво проникает внутрь, расширяя свои владения. Вершины деревьев касаются окон: протянув руку, можно сорвать листья и цветы. Дома обволакивает благоухание апельсинов, аромат наполняет замкнутое пространство.

Сады напоминают изящные игрушки, созданные искусным мастером и предназначенные для забавы арабской женщины — удивительного создания; ее жизнь — растянутое во времени детство. Маленькие аллеи посыпаны песком, рядом небольшие мраморные плиты с выдолбленными желобками, по которым змеится вода, вычерчивая ежесекундно меняющиеся арабески. Купальни — еще одно пристанище праздности — порождение фантазии романтического и ревнивого мужа. Представь просторный бассейн, заполненный водой не более чем на полметра, облицованный великолепным белым мрамором, открывающийся на чистый горизонт. Ни одно дерево не достигает небесной ванны, откуда взору сидящей купальщицы открываются небо и море, а ее видят лишь пролетающие птицы.

Наш брат не может постичь таинства подобного бытия. Мы наслаждаемся сельской природой, гуляя по ее просторам, а в дома возвращаемся, чтобы уединиться. Отшельническая жизнь у распахнутого окна, неподвижность перед бескрайними просторами, роскошество

внутреннего убранства, мягкость климата, неспешное течение времени, праздные привычки и наступающее со всех сторон удивительное небо, пронизанная солнцем земля, море, уходящее вдаль, насколько хватает глаз,— все это должно поощрять причудливые мечтания, изменять привычное русло жизненных сил, добавлять нечто неизъяснимое к болезненному чувству, которое испытывает затворник. Так, в глубине восхитительных тюрем зарождался сонм сладострастных фантазий, едва ли доступных нашему воображению. Впрочем, друг мой, не ошибаюсь ли я, приписывая слишком литературные переживания тем, кто никогда их не знал?

Мустафа, конец декабря

Последняя ночь прошла под аккомпанемент собачьего лая. Вокруг царило необычайное возбуждение, и думаю, что в окрестностях не нашлось ни одного бродячего или посаженного на цепь пса, чей голос не достиг моих ушей. Влажность, неподвижный и звучный ночной воздух позволили мне рассчитать по постепенному угасанию шумов, что самые слабые звуки доносились с расстояния более лье.

Сначала я встревожился, решил, что пожар, но не заметил ни малейшего огонька ни на земле, ни в бухте. Несмотря на нескончаемое тьяканье и визг, все спало в глубоком покое под мирным взглядом звезд. Собаки лаяли, отвечая друг другу, по свойственной им привычке, лишь потому, что где-то их собрат подал голос. На псарне пробили тревогу, и беспокойство побежало по цепочке. Очень может быть, что в тихие ночи долгий лай разносится по другую сторону Сахеля и переходит эхом от хижины к хижине, от деревни к деревне, затихая на равнинных просторах.

Я задремал лишь на рассвете. Но должен ли я признаться в подобном ребячестве? Необычная ночь показалась мне короткой: на меня нахлынули воспоминания, пришли на память места, где побывал, прошедшие годы, которые словно пережил заново. Я не смогу этого описать, поскольку не сделал даже кратких заметок. Видения были мгновенны и быстротечны, но обладали такой яркостью и живостью, что проникали уколами в самое сердце. Они чередовались с той же поспешностью, что и шумы, но, странное дело, в монотонном вое я различал разные ноты и особые тональности, каждая из которых отзывалась в сознании определенным смыслом

и точно соответствовала давно забытым образам. Одни воспроизводили знакомую французскую провинцию, другие — конкретный период или приключение в моей жизни, казавшееся навсегда стертым, но нет, притаившееся в уголке памяти; а чаще всего — сельское житье и годы путешествий — время увлеченности сельскими звуками и наибольшей активности. Сколько воспоминаний о стране, распростершейся от Ла-Манша до Средиземноморья, сколько крохотных деревушек с несохранившимися в моей памяти названиями, но ставших этой ночью моим пристанищем на несколько секунд благодаря чудесному механизму звуковых реминисценций.

Свирепые и хриплые завывания, похожие на рык, воскрешали дни пребывания в Африке. Почти всегда я узнавал этот рык, повторяющийся с одной и той же стороны и на неизменном расстоянии через одинаковые интервалы. Я ловил себя на том, что с тревогой ожидаю звука, соответствующего определенному воспоминанию, чтобы лучше проникнуться удовольствием или продлить состояние, прерванное другими звуками.

К утру почти все видения исчезли, но впечатления от них все же сохранились. Под лай одного пса бедуинов я долго вспоминал зимнюю ледяную ночь, проведенную в небольшом дуаре на склоне горного хребта Константины. Это было много лет назад вдали от дорог в суровом горном краю. Я прибыл на место после длительного перехода. В моем распоряжении оставалось всего несколько минут светлого времени, чтобы расчистить площадку для палатки, которую я намеревался установить в центре дуара. К счастью, смешанные с грязью отбросы и мусор сковал ударивший к вечеру морозец. Земля была к тому же усеяна скелетами животных, заколотых на бойне или, что вернее, умерших от голода. Жестокая зима губила их в великом множестве, в мелких дуарах Телля царила ужасающая нищета.

Всю ночь в загоне страдальчески блеяли и покашливали козы и низкорослые овцы, жавшиеся к палаткам. Пронизывающий холод не давал уснуть детям, хныкавшим под кровом бедняков. Женщины убаюкивали их, но им не удавалось отогнать ни холод, ни бессоницу. Воющие собаки метались по дуару. Обеспокоенные огнем моей лампы, они окружили палатку. Я проверил все застежки и хорошенько закрепил колышки. Едва погас свет, кольцо сжалось еще сильнее, до самого утра я слышал, как собаки скребут землю, принюхиваясь, просо-

вывают морды под полотно, и чувствовал дыхание диких зверей. Я не сомкнул глаз всю эту жуткую ночь. На рассвете я покинул дуар и никогда больше туда не возвращался.

Это одно из тысяч посетивших меня воспоминаний. Я записал именно его, потому что оно кратко. Вся история жизни прошла передо мной за несколько часов ночного бдения: в белостенной комнате было довольно светло, прозрачный полусвет таинственным образом составлял мне компанию. К пяти утра лай начал стихать, я задремал.

4 января

Я был уведомлен о вступлении в Новый год только сменой дат. Любой день, скажешь ты, отмечен какой-нибудь годовщиной, которую вполне можно принять за точку отсчета. Но раз уж январская дата овеяна традицией, принята обществом и закрепилась в обыденном сознании, то в пути всегда хорошо иметь с собой календарь. Я вдруг осознал, что время ускользает от всех и каждого, да и от меня самого. Я оказался в стремнине проточных вод, вознесших меня над убаюкивающим забвением последних дней, и родилась мысль о том, что неосторожно позволять месяцам бежать без счета: незаметно струится время, проведенное без пользы. Слова: «Как незаметно промелькнул год!» — плохой признак.

Безмятежное существование под ласковым небом любимого края; нечто независимостью и свободой похожее на жизнь, но утратившее связи с ней; затруднения, обремененность заботами, соперничество, почти все обязанности; отрешенность от самого себя и еще многих вещей — имеет ли все это смысл? В ранней юности целые годы, долгие годы сгорают, и весь оставшийся пепел — увы! — уместится в женском медальоне. Это легковесные годы. Наши же имеют иное измерение, иной вес и должны оставить после себя нечто большее, нежели пепел и благоухание.

Однажды я наблюдал заход солнца в южной деревне, вечер был так прекрасен, что возникала опасность для слишком чувствительной, умиротворенной природы. Пруд обрамляли растущие по берегам финиковые пальмы. Приливы жаркого воздуха, пронизывающая душу тишина, властный зов необычайно нежных и коварных ощущений заставили меня обратиться к спутнику со словами:

«Почему, пока не отправляешься в путешествие, не видишь солнца и блаженства, покоя, красоты и мудрости?» Мой спутник, отнюдь не философ, а лишь деятельный человек, ответил: «Немедля возвращайтесь в холодные страны, вас подстегнет северный ветер. Там будет меньше солнца, блаженства, а в особенности покоя, но вы встретите там людей, и уж не знаю, мудро или нет, но будете жить — таков закон. Восток слишком покойное ложе для отдохновения, на котором с удовольствием возлежишь, никогда не скучаешь, потому что уже дремлешь, полагаешь, что придаешься размышлениям, а погружаешься в сон. Многие здесь лишь кажутся живыми, на самом деле уже давно мертвы. Посмотрите на арабов, на европейцев, специально усваивающих привычки арабов, чтобы приобщиться к медленному, удобному и окольному способу покончить с жизнью, прибегнув к полному неги самоубийству...»

Я не вернусь в северные страны раньше намеченного срока, но я покорно внемлю совету. Сегодня же возвращаюсь в мир живых, дабы избежать пагубного влияния одиночества, воздействия, во всяком случае на меня, тишины, голубого неба, пустынных троп.

Алжир. Мустафа, январь

До сих пор я старался набросать тебе лишь обобщенный портрет алжирцев. Я говорил о степенности, сдержанности, природном достоинстве, осанке, речи и привычках, желая подчеркнуть те общие черты, что поражают в первый момент всякого нового человека, прибывшего из любой европейской страны, где редки названные качества. Но не будем забывать, что страну населяют два народа, похожие, если сравнивать их с нами, но совершенно разные, если описать каждый из них с большим тщанием. Мы рассмотрели сродство, взглянем теперь на различия. Восстановим ревностно оберегаемые имена каждого из этих народов. Оставим на время арабов на лоне природы в деревушках или на стоянках и поговорим, пока я живу в Алжире, о маврах. Вероятно, их портрет кое-что утратит, приобретя большее сходство. Может случиться, что точность, вместо того чтобы укрупнить, умалит их черты.

Алжир — арабский город, где живут мавры. Мавры составляют по меньшей мере три четверти коренного населения. Остальные — разноликая людская масса: негры, пришлые бискри или мзабиты, евреи, говорящие

на общем для всех языке, но сохранившие облик и обычаи со времен переселения при Тите и Адриане, наконец, арабы, но их численность столь ничтожна, что с уверенностью можно сказать, что в Алжире их нет. Впрочем, чистый абсурд почитать город за столицу и цитадель мавров. Алжир был центром, главным городом ненавистного правительства, которому отказывались подчиняться. Мавры привязаны к нему почтением к полумесяцу — символу мусульманской религии, а отнюдь не симпатией к последнему паше. Они никогда не поддерживали его, и таково было их презрение к новому Карфагену, что они бросили город на произвол судьбы, не понимая, что, покидая его, навлекают гибель и на себя. Мавры вложили сюда лишь незначительную часть гордыни, словно сдав на хранение туркам; так обычно жители Сахары помещают зерно в чужие хранилища. Их истинная судьба решалась в другом месте. Они оставляли за собой право защищаться на собственной территории, отстаивая каждую ее пядь. Изнурительная Нумидийская война показала их понимание политики и способы ведения боевых действий.

Историки много писали о маврах. Откуда они пришли? Кто они? К какой восточной семье их причислить? Можно ли отнести их к коренным жителям? Происходят ли они от испанских мавров, оттесненных к границам берберских государств? А может быть, — существует и такая точка зрения — они прямые потомки арабов, нашествие которых произошло перед вторжением халифов? Или, напротив, этот народ — сложный продукт многих нашествий и в жилах людей с приятными, но расплывчатыми чертами можно узнать смешение варварской и греко-римской крови? Вот незначительная часть выдвигаемых гипотез. Вопрос остается открытым, и происхождение мавров еще предстоит установить.

Каким бы ни было родство арабов и мавров, даже если предположить общие истоки, сегодня их невозможно перепутать. Да и сами они не желают смешиваться. Речь идет не о расах, а о двух ветвях или двух семьях, в действительности не имеющих ничего общего, кроме языка и религии. Они не похожи ни внешне, ни обычаями, ни образом жизни. Каждому народу присущ свой темперамент, характер, костюм, свои достоинства и пороки. Между ними нет ни любви, ни уважения, даже интересы у них противоположны. Результатом такого сосуществования могла бы стать вражда, но присут-

ствии французов побудило их к дружбе, основанной на общей антипатии, и к братству злопамятства.

Арабы еще не порвали с феодальными устоями. Это многочисленный и полный сил народ крестьян, кочевников, воинов. Его величие зиждется на древнем происхождении, истории и обычаях. Доблестный и отважный народ, подобно Александру, обратил войну в вооруженное странствие, породил религию, едва не подчинившую весь мир, расселился даже в самых удаленных уголках Востока, но, в сущности, нигде не является хозяином. Он живет в экзотических странах и всегда хранит на челе, как печать благородства, красоту своей судьбы.

Мавры — малочисленный народ кустарей лавочников, рантье и переписчиков, заключенных в скорлупу обывательских нравов, как в тесный костюм. Не чуждые элегантности, они, однако, не поднимаются до величия, скорее милы, нежели красивы, не знают нужды, зато им неведомо великолепие роскоши и нищеты. Впрочем, и арабы, и мавры переполнены гордыней, и перепутать имена единокровных братьев равно оскорбительно для тех и других.

Маврам недостает именно того, чем в избытке обладают арабы, того, что я называю величием или, пользуясь терминологией живописца, стилем. Мавры лишены стиля; во многом это объясняется как личными их качествами, так и средой. Все вокруг незначительно и способствует принижению образа: узкие улицы, лавочки, едва приспособленные для повседневного быта, оседлая жизнь, предпочтение отдыхать, поджав ноги по-турецки, нежели возлежать на арабский манер. Изящной облегающей одежде явно не хватает ткани и складок, она не добавляет человеку значительности и даже преуменьшает ту, которую в нем подозреваешь. Более просторное одеяние, уж не знаю почему, предполагает сильные страсти, величие духа. Можешь считать мою точку зрения предрассудком художника, ведь я, разумеется, рассуждаю с позиций живописца. Приталенный пиджак, широкие шаровары, похожие на юбку, и распущенный пояс — наряд, в котором старцу столь же трудно казаться величественным, как юноше не казаться женственным.

Женоподобие — вот точно найденное слово. Оно определяет характер, соответствует вкусам, точно выражает склонности, дает краткое описание физических и нравственных черт и четкое представление о маврах.

Разве не характерно для стран гинеек некое смешение полов, что приводит к ослаблению одного и унижению другого? Странное дело, стоит женщине исчезнуть из общественной жизни, как женское начало тут же проявляется в темпераменте расы. Чем меньшая роль отводится женщинам во внешнем мире, тем громче говорит в потомстве ее кровь. Презрение вызвано заблуждением. Женщина заточена в монастырь, праздна, уподоблена предметам роскоши и удовольствия. Мужчина же вынужден заполнять пустоту, подмена занятий попирает его достоинство, приводит к перерождению и сходству со слабым полом. Именно так мстит женщина, принижая род, а род наказан ущербностью общества.

Результат перед нашими глазами: почти женственный народ, почти девического вида мальчики; юноши, которых можно принять за женщин; безбородое и безусое лицо, округлые формы, красивые, но чуть вялые черты, ни силы, ни решительности. Лишенная мужественности привлекательность сохраняется до возраста, когда сама молодость стирается годами. В противовес арабам, у которых леность — привилегия мужчин, здесь работает муж, я хочу сказать, ловко орудует иглой. Он обрабатывает шерсть, красит, ткёт, шьёт одежду, впрочем как и обувь, не только себе, но и женщинам, и детям, заботится о туалетах и украшениях. Он один владеет искусством басонщика¹⁶ и вышивальщика, умеет подбирать краски, знает, как вплетать золотые нити в шелк. Станочки, шпули, мотки и клубки, маленькие клубочки, катушки, ножницы — целый небольшой арсенал инструментов, кажущихся диковинными в мужских руках, делает мавра презренным в глазах соседей, владеющих саблями. Мавру не хватает силы, но из поколения в поколение передаются качества, ей противоположные: сноровка и ловкость пальцев, тонкость вкуса и изящество движений. Он умен, уступчив и покорен. Все взвешивает при заключении сделки, но не считает ее недостойной внимания, даже если условия устраивают его лишь наполовину. Любая торговая операция вызывает у него почтительное отношение. Впрочем, дела мавра никогда не отличаются особым размахом. Он столь же небрежен у портняжного стола, сколь беззаботен в лавке, ему не присущи ни прилежание за шитьем, ни торопливость в торгах. Торговля — одновременно

¹⁶ Б а с о н — галун, тесьма.

промысел и приятное времяпрепровождение, работа призвана скорее занять досуг, чем заполнить жизнь. По правде говоря, это скорее развлечение и способ разогнать скуку бездеятельности.

Мавры не любят и почти не держат лошадей, не умеют с ними обращаться. Их хрупкое телосложение не вяжется с тяжелой сбруей арабских скакунов. Чтобы достойно восседать в седле с высокой спинкой и вдеть ноги в турецкие стремяна, необходимы кавалерийская форма и военное снаряжение. Мавры носят сандалии из черной кожи, как подобает неторопливым пешеходам, зимой — еще короткие чулки; их никогда не увидишь в сапогах. Волочащиеся шпоры сделали бы невозможной ходьбу. Вечером самые богатые отправляются в свои сады верхом на мулах, сидя боком в широком плоском седле из ткани, как в носилках, они подстегивают смиренное животное прутом, но никогда не натягивают повод и не прибегают к помощи каблуков. Еще одна примета, неведомая арабам, славящимся зоркостью неутомимых глаз, многие мавры-старики носят очки. Менялы, переписчики, школьные учителя — одним словом тольба, выводят тростником буквы на небольших квадратиках бумаги. Бумага свободно лежит на ладони левой руки, длинная медная чернильница заткнута за пояс под сердцем, где воины носят кинжал. Чернильница, тростниковый стилет, несколько листов бумаги, да еще ветхий рукописный Коран, который мало кто читает и совсем немногие понимают, — все это напоминает о словесности и разитель-но отличает мавра от темного и неграмотного араба, совсем не знающего письма. Он курит, мечтает, взирает на мир и беседует на языке жестов. Проводит в тени холодной лазури базаров долгие дни, которые мужчинам этой расы надлежит коротать вне дома. Базар играет роль форума. Он одновременно рабочая комната и общественная площадь, каждый здесь в гостях у соплеменников и в то же время у себя дома.

Кофейни, разнообразные деревья, цветы и птицы. Из-под навесов лавочек разносятся трели соловьев, заключенных в маленькие клетки, сделанные из игл дикобраза. Тут же на козлах сидят плечом к плечу юноши с вышивкой на коленях. У каждого за ухом моточек золотой или шелковой нити. Они чисты, опрятны, руки чуть светлее матового янтаря, шея, ноги и руки обнажены. Куртки окрашены в красиво сочетающиеся цвета, пояса разнообразных — от красного до ярко-ро-

зового — оттенков, белые шаровары с тысячей складок, распрямляющихся при сидении. Аристократические манеры как на отдыхе, так и за работой, безграничная томность во взгляде, и последний штрих, завершающий лишенный мужественности портрет, — порой подкрашенные веки и неизменный румянец на щеках. Они курят ароматный табак, а самые сластолюбивые — *тек-рури*, т. е. растертые в пыль листья конопли — гашиш, если употребить известный термин. Курильщик наслаждается кейфом. Кейф — это состояние полного блаженства, граничащего с опьянением, причина которого — какой-либо напиток или дурман. Подобный эффект дают шербет и трубка. Злоупотребляя словами, мы часто путаем причины и следствие, и, когда я обращался к торговцам текрури за кейфом, они прекрасно меня понимали.

Пристрастие к гашишу всегда сопровождается необыкновенной любовью к птицам. В Алжире, а особенно в Константине, каждый курильщик гашиша держит соловья. Один Наман не имеет птички, тому причина нужда, а возможно, забвение прелестей жизни. Стоит ли напоминать, что соловей известный гурман; его голос тем чище, а песня тем уверенней, чем лучше корм. Птицу кормят сырым мелко рубленным мясом, приправленным маслом. Питательная пища приводит певца в хорошее расположение духа, восстанавливает дыхание, и льется песня, прославляющая то, что одному богу ведомо!.. возможно, лишь удовлетворение сытого желудка. Но звук столь нежен, чувство ритма безупречно, порыв полон страсти, что забываешь о птице и слышишь только музыку. Поразительный певец! Кого только он не прельстил, не опутал сетями очарования с тех пор, когда поселился среди нас свободным или пленником! Разве все красноречие нежной души, все самые тонкие человеческие чувства не переданы его удивительной музыкой? Кажется, будто соловей выражает именно то, что каждый из нас чувствует. Влюбленный находит созвучие ласкам, мученик — горестям, скорбящая мать — отчаянию. «Певчий счастливых ночей!» — сказал о соловье один из самых непостижимых мечтателей нашего века. «Клюв соловья, — воскликнул юный Альбано, — уже стучит в триумфальные врата весны». Одуревший курильщик по-своему вслушивается в бессловесную песню, которая проникает через плотную завесу видений. Понял ли бы он меня, любезный друг, скажи я, что

то же пение заставило прослезиться человека по имени Оберманн, в одиночестве оказавшегося на берегу озера, от охватившего его чувства собственной силы и слабости, от сознания того, что не жил по-настоящему?

Вчера я посетил суд кади и видел, как отправляется правосудие. Дело оказалось легким, непринужденным и безыскусственным, невозможно представить более необременительных формальностей, более достойного извинения судопроизводства. Суд расположен на той же улице, что и морское ведомство, во дворе мечети. Одна и та же дверь ведет в зал суда и в церковь, за одной стеной находится и правосудие, и религия. Подсудимые и судьи таким образом близки к божьему оку. Двор вымощен и со стороны, выходящей на море, огражден балюстрадой. В центре двора фонтан и два павильона, возвышающиеся среди розовых кустов и вечнозеленых бананов, образуют «переднюю» мечети. Меньший из павильонов, не избалованный вниманием посетителей, принадлежит *муфтию*, представляющему апелляционный суд. Второй, несколько лет назад перестроенный в псевдоарабском стиле стараниями французской администрации, служит палатой суда первой инстанции; в нем восседает кади. Выступающий навес — такой легче увидеть в Азии — прикрывает широкое крыльцо в две ступени, на котором клиенты оставляют стоптанные туфли и усаживаются в ожидании объявления своего дела. Обе створки большой двери широко распахнуты, что позволяет публике присутствовать на разбирательстве, оставаясь вне зала, освещаемого через тот же дверной проем. Небольшой квадратный зал побелен известью. Обстановка очень проста: по сторонам перед рядом скамей, прижавшихся к стенам, расставлены столики-контторки писцов и секретарей суда, ассистирующих кади. У входа на деревянном табурете сидит привратник, или *шауш*, на земле расстелены циновки, на которых устраиваются на корточках клиенты. В глубине прямо против двери место кади; небольшой помост с кафедрой, низкий диван со спинкой, обитой зеленым сукном, и подушечками — все это, собственно, и называется трибуналом во Франции. В стенах видны ложные оконные проемы, образующие ниши; небольшие закрытые шкафы хранят архив, книги и бумаги. Наконец, на стене над судьей крупно начертана легенда из одного из стихов Корана.

Функция писарей (*аделей*) состоит в ведении протокола допроса, рассмотрении документов и составле-

нии обвинительного акта. Их узнают по необычному головному убору в форме тыквы из белой хлопчатобумажной ткани, по шелковым мантиям, полностью прикрывающим шаровары, по преисполненному значительности и достоинства выражению лица, которое выделяет их среди простых смертных и изобличает в них представителей судебной власти. Не забывай, что писарь (*адель*) — в одном лице служителю закона и религии, что он возглавляет культовые церемонии, похороны и присутствует на судебных разбирательствах; таким образом, он отправляет одновременно две должности, причастен к самым важным событиям жизни настоящей и жизни загробной.

Обязанности, исполняемые кади, делают его значительным лицом даже по канонам французской юриспруденции. Местный кади является ярким воплощением крупного алжирского буржуа. Он высок и худ, носит редкую черную бороду. Взгляд пронизателен и вместе с тем мягок, весь его облик выражает благородство, речь глуховата, движения неторопливы, болезненная бледность выдает в нем человека со слабым здоровьем. Белый, серый и черный — цвета его одежды. Муслиновое полотно, складками наброшенное, как у мусульманского отшельника, на огромный круглый тюрбан, скрывает кади до пояса. Кади мало говорит, задает вопросы тихим голосом и смотрит прямо на клиента, лишь когда дело кажется достойным внимания, в противном случае слушает чуть небрежно, опершись локтем на подушки, полуприкрыв глаза, то ли размышляя, то ли думая о своем, с видом человека, которого посвящают в ничего не значащие секреты.

Четыре или пять писарей, привратник, вооруженный палочкой, судья с красивым и нежным лицом, представляющий суд и власть, юриспруденцию и закон, — вот и все судебное ведомство. Никаких поверенных, представителей защиты и обвинения; никаких задержек и проволочек, никаких осложнений, поскольку нет необходимости следовать раз навсегда установленной процедуре. Участники тяжбы входят вместе, усаживаются рядом и по очереди излагают дело. Высказывания обеих сторон в ходе судебного разбирательства как помогают дознанию, так и являются защитительными речами. Ничто не напоминает расправу без суда и следствия. Это почти мировой суд, наиболее логичная, самая гуманная и точно избранная юрисдикция, если действи-

тельно основная задача правосудия — примирение. Когда согласие невозможно, то кади вершит суд, подобно Соломону, согласно своей мудрости и совести.

Женщины не допускаются в зал суда. Они занимают место на двух открытых галереях, примыкающих к залу заседаний и сообщающихся с преторием через зарешеченное окно. Женщина под вуалью, сидящая у узкого оконного проема, может самое большее просунуть пальцы сквозь железную решетку, что позволяет ей жестами оживить изложение своего дела. В день моего ознакомления с судебными порядками слушалось именно такое дело, когда стороны были представлены разными полами. Я стал свидетелем бракоразводного процесса. Истица, словно в укреплении за слуховым окном, недоступная взглядам под вуалью, с легкостью произносила упреки, не отличавшиеся особой благопристойностью, и, не дрогнув, вела повествование о супружеской жизни, которое невозможно передать на бумаге. Муж, отвечавший на вопросы кади, невозмутимо сносил обвинения в свой адрес. Происходящее вызывало улыбку. Впрочем, кади не нашел супружескую чету столь безнадежной, как пыталась представить нетерпеливая супруга. Он не пожелал расторгнуть союз, напротив, дал супругам совет крепить семью и перенес слушание на следующий год.

Муфтий, о котором я тебе говорил, стоит над судом первой инстанции и выносит окончательный приговор. Этого преклонных лет старца я встречаю на базаре. На нем красный кафтан, зеленая мантия, желтые плоские туфли без задника, на голове шелковое пурпурное покрывало. Малый павильон, где он живет рядом с кади, напоминает небольшой, молчаливый и почти неосвященный надгробный памятник мусульманскому отшельнику. Мне показалось, что святилище высшей справедливости окружает религиозное благоговение. Старец дремлет, удалившись, подобно волхву, под своды своего жилища, в позе, которой почтенный возраст и значительность места придают величественность. Когда одна из сторон проигрывает тяжбу, то, стоит пересечь двор, — дело переходит из первой инстанции на обжалование. Не все кончено, даже когда оба суда исчерпали свои возможности. Те, кто не удовлетворен людским законом, могут прибегнуть к последнему средству — обратиться к небесному правосудию и, войдя в мечеть, излить жалобы на судью богу.

А вот и дождь. В три часа пополудни упали первые крупные и редкие капли. Я как раз заканчивал прогулку, когда грозное небо вняло молитвам земли, нарушив столь ревностно соблюдавшийся обет бесплодия. Я не был удивлен, так как и вышел на улицу в ожидании дождя. Уже неделю погода предвещала перемену. Воздух стал слишком звонким, чтобы сохранять состояние покоя, да и особенная голубизна неба говорила о близком конце погожих дней. Наметанный глаз позволял различить неуловимые перемены. Я и внутренне ощущал приближение дождя, но в этом предчувствии не было ничего мистического.

Я подошел к полю, которое земледелец-араб в короткой тунике засеивал ячменем. Он заваливал землей последние борозды с помощью двух тощих коров, впряженных в маленький примитивный плуг. Он погонял животных, чувствуя, что погода благоприятствует севу, торопился закончить работу до наступления ночи, без сомнения точно рассчитав, что завтра может быть поздно. На краю уже обработанного участка поля двое арабских детей жгли большие кучи сорной травы, над кострами поднимались густые клубы едкого дыма. Я с удивлением узнал в столь неожиданном месте такой обычный во Франции запах жженой травы — первый робкий признак, осязаемо указывавший на приход осени. Я присел, глядя на изрезанное коричневыми полосами поле и наблюдая два редких явления в этом беззаботном краю: арабский плуг за работой и местных детей, делящих со своим отцом заботы хлебопашества. Низкорослые коровы шли не под общим ярмом, а, подобно лошадям, были впряжены по отдельности. Они в измождении раздували ноздри, хотя работа не была тяжелой, ведь плуг едва снимал верхний слой земли.

Вдруг я заметил, что тяжелые клубы дыма потянулись в другую сторону. Легкий, но свежий ветерок пришел с запада и побежал по отрогам холмов, издавая свист, подобно взмахам огромных птичьих крыльев. Природа была словно поражена этим порывом, лихорадочный озноб пробежал от одного дерева к другому по всей равнине. Но это длилось лишь мгновение. Волна пронеслась, и вновь воцарился мертвый штиль. В тот же миг упали первые капли дождя.

Все вокруг сразу же неузнаваемо изменилось. Алжир виделся бесцветным амфитеатром, турецкие дома побе-

лели, как полотно, утратили привычную форму, расставшись с тенью, море приобрело мертвенно-бледный оттенок, а рощи Сахеля — тускло-зеленый. Воздух еще не остыл, но уже чувствовались порывы влажного ветра. Одновременно в деревнях и на фермах задымились трубы, будто последовал общий призыв: немедленно приступить к приготовлениям к зиме. Разлетевшиеся по равнине голуби парами возвращались в голубятни. В смятении сбегались куры. Зато гуси целыми выводками торопливо покидали птичий двор, а домашние утки радостно хлопали крыльями, приветствуя дождь, но их кряканье на берегу высохших водоемов не предвещало ничего хорошего. Дрозды — первые посланники зимы — с веселым щебетом перелетали с дерева на дерево и предусмотрительно устраивались на ночь в густой лесной поросли, хотя солнце еще не ушло за горизонт. Стаи скворцов с лугов слетались стройными легионами к подножию холмов в поисках укрытия.

Лето действительно кончалось. Оно угасало смиренно под тусклым и кротким небосводом, без гроз, но с благотворными ливнями. Не прощание ли это уходящего времени года? А может быть, первый подарок зимы, пожелавшей отпраздновать свой приход добрыми деяниями?

*Того же дня,
одиннадцать часов вечера*

Проливной дождь. Ветер слабый, но дует прямо с запада — дурной знак в это время года. Море волнуется. Я слышу, как оно ворчит безлунной и беззвездной ночью, на него давят тучи, а дождевые потоки еще более поднимают его уровень. Слышен скорее глухой ропот, чем беспокойное движение волн. Впечатление такое, будто морские глубины взбаламучены грозой, которая восходит из зияющей бездны. Безмолвная равнина кажется вымершей или уснувшей свинцовым сном. Огни повсюду давно погашены, даже в той части пригорода, что видна из моего окна. Прощай, голубое небо, прощай, солнце! Прощай, все, что казалось вечным и неизменным!

13 января

Дождь продолжает лить. Ветер усиливается с каждым часом, стремясь достигнуть наивысшей зимней ноты, глубоко вспахивает воды бухты. Береговая линия исчезает в бурунах и обозначается лишь белыми вихрями

водной пыли. Горизонт сужается под напором нарастающего шквала, затягивается почти непроницаемой пеленой, словно туго натянутым занавесом. Пустынная, как и море, равнина затоплена; ведь земля, которую неожиданное орошение застало врасплох, не успевает впитывать воду, и та бежит по дорогам, превратившимся в ручьи, или стоит озерами на лугах. Хамма теперь сплошное болото. Тени испугнутых птиц пересекают грязно-серое небо. Они не в силах справиться с ветром, долго держаться на лету и падают, словно замертво, в ближайший куст. Оливы вызывают жалость, дождь придал им удивительное сходство с деревьями Севера, чью чахлую листву рвет в клочья хлесткий ледяной ветер. Движение, видимо, повсеместно приостановилось, на дороге — ни души. Каждый ждет, что буря утихнет и позволит вернуться к привычным делам, но, может быть, унылая пора более решительно проявит суровый характер.

Я заглянул в сад, превратившийся в крохотный пруд, затем на птичий двор. Пес спит в конуре, лошади — на подстилках, нежно воркуют голуби, спрятавшиеся в глубине своего обиталища. Я вновь увидел соседа, г-на Адама, на пороге полуразвалившейся лачуги. Цыплята, выскользнувшие из курятника, утешались тем, что торопливо склевывали зерна, забытые на подоконнике. Г-н Адам курил немецкую трубку. Он с грустью ожидает окончания дождя и своего изгнания. Я затворил все двери и окна и разжег большой огонь, растопив очаг благовонной древесиной, чтобы отпраздновать наступление нового сезона.

Я удобно устраиваюсь, будто и не покидал Францию, вытянув ноги к огню. Мое удивление переменам, происшедшим за последние сутки, безмерно, должно быть, расплатой за живое удовольствие явится скука. Впрочем, заключение, а иначе и нельзя назвать мое положение, продлится ровно столько, сколько пожелает затворник, — пока не навалится груз одиночества.

18 января

Уже пять дней я наблюдаю нечто не столь опасное, но такое же безысходное, как потоп: черное небо, черные воды; день угасает, не успев разгореться; слышится монотонный и усыпляющий, словно тишина, шум бесконечного дождя, потоки которого изливаются в болото; грохочут мощные водопады, низвергающиеся

в море. Прошлой ночью раздалось ворчанье громовых раскатов, я едва уловил его среди царящего грохота. Ставни, не готовые к подобному штурму, грозили разлететься в щепки при каждом новом порыве ветра, стекла прогибались, едва не разбиваясь; весь дом сотрясался, словно вырванное с корнем дерево. Оглушительен рев накатывающихся волн, и поистине страшная картина предстает взору, когда удастся разглядеть море.

Конец января

Солнце не появляется, небо мрачно, тусклые печальные тона обезобразили прекрасную страну, одетую в листву, невзирая на зиму. Счастливый край, единственным естественным выражением на лице которого является улыбка! Ветер не утихает, хмурое море по-прежнему волнуется, испуская раздраженные вздохи.

Знаешь ли ты, что отягощает душу в мрачной картине хаотично нагроможденных деталей: хлещущего дождя, мятущихся потоков, брызжущей пены, плывущих облаков? Невозможность обрести равновесие и бесконечное наблюдение за размытыми предметами, возникающими перед глазами, колеблющимися, мутнеющими, подверженными постоянной качке. Взгляду не за что зацепиться, он не находит опоры в поисках отдохновения. Расплывчатое пространство, неясная перспектива, неуловимые формы. На поверхности земли ни одного неподвижного предмета, на море ни одной устойчивой линии — ни волн, ни облаков над ним, каждый штрих искажается, едва наметившись. До сих пор я не испытывал подобных мук.

Если пытка продлится, я покину Мустафу. Невыносимо взирать на море, лишившееся покоя. В ожидании перемен к лучшему я избегаю зрительных впечатлений, стараюсь не прислушиваться, делаю все возможное, чтобы не думать о разъярившейся стихии. Я работаю и утешаюсь светлыми красками, застывшими формами и четкими линиями. В освещении привлекает меня вовсе не радостное оживление, я восторгаюсь точностью, которую оно придает контурам. Самым прекрасным из атрибутов величия является, по-моему, неподвижность. Иначе говоря, я склонен любить лишь долговечное и дарю страстью только предметы, застывшие в неподвижности.

Не знаю, ушла ли зима, но погода стоит восхитительная.

Пейзаж преобразился, равнина вновь зазеленела. Я, стало быть, незаслуженно оговорил зиму, которая свидетельствует о своей благотворности. Источники наполнились, поля ожили, деревья налились соком, и земные вены на год насытились влагой благодаря обилию пролившихся дождей. Даже самые скудные участки могут сравниться плодородием с заливными лугами, заброшенные песчаные равнины поросли тучными травами. Повсюду царит изобилие. Бескрайние просторы, окрасившиеся в цвета надежды, уходят вдаль от деревень, ферм и больших дорог, от стен Алжира до Кабильских гор, где скопились запасы снега на период первого зноя. Злаковые исчезли среди однородной степной растительности, пшеница станет теперь различимой, только налившись желтизной. Ипподром, отдыхающий от кавалерийских маневров, превратился в выпас для овец. Зацвел миндаль. Вдоль сырых оврагов домашние верблюды объедают набухшие почки молодого ясеня.

Вешняя страна словно ждала ласкового денька, чтобы воскресить безупречную гармонию с климатом. Весна здесь никогда не уходит надолго. Меняется ветер — меняется время года. Стоит усилиться северному ветру, и зима, пролетев над морем, наступит в несколько часов. Ветер стихает, и жаркое дыхание Сахары приносит в считанные минуты новое время года. Сегодня ветер столь слаб, что едва клонит струйки легчайшего дыма, но уже первый вздох позволяет догадаться, откуда он и что предвещает. Он приносит ранние весенние новости, и позволю себе утверждение, что последняя былинка с наступлением дня оповещена о назревающих переменах.

Я воспользовался короткой передышкой милосердной стихии — возможно, она долго не продлится, — чтобы совершить прогулку, словно больной на пути к выздоровлению. Не имея конкретной цели, я вышел наудачу на ближайшую дорогу и побрел медленно и осторожно, словно хворый, к которому возвращается здоровье, заново с удивлением и тихой радостью открывая прелести жизни. Самые простые вещи вызывают неопишуемый восторг. Но важнейшим событием дня

явилась хорошая погода. Знакомы ли тебе, любезный друг, последствия непредсказуемых изменений показаний барометра? Приходилось ли тебе замечать, до какой степени этот инструмент руководит нами? Может быть, вся наша жизнь зависит от таинственных сил, действию которых мы подчинены, не признавая этого и не пытаюсь определить их природу. Может быть, судьба каждого из нас хранит печальные секреты, о которых мы не склонны говорить из боязни исповедоваться в нашем раболепстве и унижить перед стихией человеческую душу, считающую себя свободной. После долгого заточения, месяца пребывания наедине с собственной тенью, малейшее душевное потрясение становится приключением, само впечатление вырастает до события. Не удивляйся, если я дошел до того, что трепет волнения ощущаю как новое, доселе неведомое удовольствие!

Я следовал дорогой, тянущейся вдоль моря. Дальше она вольется в большой торговый путь, ведущий в Кабилию. А пока она совершенно пустынна. Встречаются редкие путники-арабы, возвращающиеся с рынка, погоняющие жалких животных. Их телли (дорожные сумки) и вьюки пусты, распущенные веревки болтаются на изношенной упряжи. Еще реже попадаются мальтийские бродяги¹⁷, полукрестьяне, полуморяки; они после каждого шквала чистят берег моря, собирая обломки. Поля опустели. Земледельцам нечего делать после сева. Дождь, а потом солнце довершают благое дело. Стоит тихая пасмурная погода, но горизонт совершенно чист. Жители наших краев, где солнце не палит так нещадно, называют такую погоду девической.

На полпути к Мэзон-Каррэ я присел на небольшой выступ скалы в стороне от дороги. Если бы не множество кактусов и алоэ вокруг, можно было подумать, что я за тридевять земель от Африки, на пустынном высоком берегу, откуда открывается вид на совсем другое море. Ощущение было то же, и то же величие. Сегодня Средиземное море напоминает океан. Большие печальные валы вяло накатываются на берег. Одна волна не торопится сменить другую, исчезло ощущение силы. Рокот

¹⁷ Мальтийские бродяги — эмигранты с острова Мальта, привлеченные французами в Алжир после 1830 г. в качестве переводчиков (ввиду близости их языка к арабскому), моряков, рыбаков и мелких колонистов.— *Примеч. ред.*

прибоя угасает с каждым часом, смиренный безветрием. С мыса Матифу еще долетают легкие раскаты грома. Встречный ветер, без сомнения, задержал грозу в открытом море. У самых ног и так близко к кромке прилива, что, кажется, волны готовы их поглотить, топчутся береговые птицы, похожие на своих французских сородичей, с серым оперением и острыми крыльями. Песчаные птицы на ногах-ходулях беспрестанно погружают отточенные рогатины клювов в ноздреватую песчаную почву и издают звук, подобный редким вздохам; своей слабостью он оттеняет мощный гул моря. Трудно представить более грустное и удивительное создание, чем маленькая птичка, которая живет, бегаёт, поёт в двух дюймах от воды, никогда от нее не удаляясь, не решаясь ни выйти на сушу, ни предпринять длительное путешествие. Если ее испугнуть, она отваживается перейти вброд узкие заливчики, никогда не расставаясь с тонкой полосой влажного песка, где проходит ее жизнь. Она раскрывает крылья, только чтобы избежать накатывающейся волны. Где она прячется в бурю? Пребывает невидимым свидетелем разгула стихии. Выжидает, пока улягутся страсти, и возобновляет привычные свои отношения с морем, как только побережье становится доступным.

Я возвращался к ночи темной дорогой, окутанный густым туманом. Я уже не различаю моря, только улавливаю его гул. Алжир расцвечился звездами огней; повсюду, где находилось жилье, сумрачная местность помечалась красным огоньком. Добравшись до поля для маневров, я смутно разглядел очертания своего дома и увидел в открытом окне зажженную лампу.

7 февраля

Сегодня я получил письмо следующего содержания: «Мне сообщили о Вашем возвращении. Уже три дня я нахожусь в Блиде, где намереваюсь задержаться на одну-две недели, что позволит моей старой, обессиленной лошади восстановить силы. Жду Вашего приезда, если, конечно, ничто не удерживает Вас дома. Не далее как сегодня утром я заметил неподалеку от апельсиновых плантаций маленький домик, полностью отвечающий Вашим и моим вкусам.

В память о прошлом, когда мы были спутниками, и с надеждой на будущее сердечно жму Вашу руку.

Бу Джаба.

Мой адрес: Улица Кулугли, Бу Диаф».

Как-нибудь я напомним тебе, если ты запомнил, кто такой мой друг Бу Джаба, или на французский манер Луи Вандель. Сейчас же я спешно собираю дорожный багаж в предвидении продолжительного отсутствия и закрываю в смущении слишком тонкий дневник, который вел в Мустафе. Спокойной ночи. Завтра утром я отбываю семичасовым дилижансом.





II

Блида

Блида, 8 февраля



Я обосновался в Блиде, обжился и пишу тебе. Всю дорогу я проделал быстрой скоростью в дилижансе; все пассажиры, кроме меня, говорили на провансальском наречии, что позволило мне за пять часов пути не проронить ни слова. Право на молчание для меня — важнейшая из свобод путешественника, не мешало бы занести его в специальную статью о правах человека, которые каждый обязан уважать.

Бир-Мандреис едва удалось разглядеть, упряжка галопом пронеслась по его овражистым склонам, но кони, измученные долгим подъемом, а затем спуском по спирали сахельской дороги, остановились

минуты на три у прелестного арабского фонтана Бир-Крадем. Он восстановлен и заново побелен, но стиль полностью сохранен. Когда я разглядывал как старого знакомого элегантный мраморный фасад, позолоченный солнцем, на меня нахлынули давние воспоминания об Африке времен нашего первого путешествия.

Свежее утро, прохладный воздух, восхитительно ясное голубое небо. Одним взглядом я охватил чудесную равнину; вместе с Сицилией она была хлебным амбаром римлян и станет нашей житницей, когда обретет свои легионы земледельцев. Я люблю равнины, а та, что лежит перед глазами,— одна из наиболее грандиозных и обширных, которые мне доводилось видеть. Тщетно пытаться проехать через нее на французский манер, то есть по дороге, отмеченной такими приметами цивилизации, как наезженные колеи, почтовые станции, деревни, изредка фермы. Пока еще огромное пространство безлюдно, не видно следов человеческого труда, самые высокие деревья исчезают за таинственной линией горизонта, где отчетливо выделяются лишь крайние пределы: справа — Сахель, в глубине — горы Милиана, затянутые легкой голубой дымкой, слева — крутые темно-зеленые склоны и заснеженные вершины Атласа. Ни облачка вокруг сверкающего хребта, чуть ниже едва заметны клочья тумана; он тянется из оврагов и свертывается в белые хлопья, как дымок, вырывающийся из орудийного ствола. Низина залита водой, многие фермы словно стоят на берегу пруда. Почти высохшее летом болото Уэд-эль-Лалег сейчас занимает не более двух лье.

Я вновь увидел процветающий Буфарик. Здесь больше нет больных, мечущихся в горячке. Сегодня европейцы чувствуют себя в этом городе лучше, чем где бы то ни было, именно здесь больные со всей округи предпочитают избавляться от африканской лихорадки. В те времена, когда гибло столько людей, отравляемых двойным испарением: застойных вод и вспаханных земель, арабы, живущие тем, что нас убивает, процветали. Теперь же представь нормандский фруктовый сад, обсаженный тополями, осинами и ивами, ухоженный, плодородный, щедрый на фрукты, наполненный запахами хлеба и полевых работ, настоящую деревню и настоящих сельских жителей. Добившись в конце концов возможности использовать богатства маленькой страны, мы больше не задумываемся о ее прошлом. Мы забыли,

что понадобилось десять лет войны с арабами и двадцать лет борьбы с климатом, более пагубным, чем война, чтобы присвоить эти земли. Путешественник вспоминает об этом, только проезжая мимо кладбищ и останавливаясь в Бени Меред у основания колонны сержанта Бландана. Истинная история колонии здесь, как и повсюду, покоится в могилах. Дорогой друг, сколько пало известных и неизвестных героев, почти все они уже забыты, но жизнь любого из них не была бесполезной!

В Блиду я прибыл в одиннадцать часов. Здесь я нашел Ванделя; после отправления письма он ожидал моего приезда с каждым дилижансом. Я узнал его издали по желтой каскетке, той самой, что он носил четыре года назад. Он курил маленькую короткую трубку из вишневого дерева без мундштука. Он сохранил тот же чуть странноватый облик, который равно невозможно ни точно описать, ни забыть.

Я снял домик, предложенный Ванделем, и мы договорились поселиться вместе. Дом находится на окраине города, на пустынной площади, обсаженной апельсиновыми деревьями и отделенной от больших апельсиновых плантаций лишь крепостной стеной. С одной стороны открывается вид на равнину, с другой — на гору, до которой рукой подать. Гора возвышается над приютившимся у ее подножия городом. Наше жилище довольно сносно, хотя плоская крыша в скверном состоянии и во время дождя протекает во всех комнатах. Под домом течет подземный источник, выходящий на свет у самой двери. До меня постоянно доносится приглушенное журчание проточной воды среди камней. В шести шагах высится огромный остролистный кипарис. Солнце освещает его от подножия до макушки в любое время дня. Тень обводит вокруг ствола полную окружность и вычерчивает на площадке циферблат безупречной формы. Я размечу его камешками, и часы будут готовы.

Блида, февраль

Привычки Ванделя изменились не более, чем его внешний облик и одежда. Он ни на кого не похож. Его своеобразие неподвластно времени. Разве что несколько седых волос в коротко стриженной шевелюре и в разросшейся бороде. Но эти изменения почти незаметны. Лицу Ванделя нечего терять в свежести и полноте: вряд ли у белого может быть более темная кожа.

Он худ, насколько позволительно здоровому человеку. Путешественник еще в состоянии бросить вызов усталости, солнцу и бегущим годам. Трудно представить себе, что он когда-то был молодым, поэтому и невозможно установить, насколько он состарился. Ручаюсь, что и впредь вам не удастся определить его возраст. Он всегда отлично себя чувствует. Сухопар, расторопен, крепко стоит на ногах, как прекрасный ходок, которого обстоятельства вынудили стать посредственным наездником. Заботы Ванделя о том, что он именуется своей оболочкой, сводятся к самому необходимому. Ты сам можешь убедиться, чрезмерны ли эти требования. По сути, он обеспокоен лишь тем, чтобы держаться в форме и закалить свой организм. Руководством ему служит практическая философия. «Разве не обидно,— спросил он как-то,— что дрянные тряпки, которые мы носим, прочнее мужской кожи. Не сомневайтесь, я сумею сделать ее непроницаемой, нечувствительной, неизнашиваемой и прочной, как бычья шкура». Судя по лицу и рукам, ему удалось достичь цели. Сегодня я сказал ему:

— Я полагаю, любезный друг, что времени не удастся покорить вас. Удары судьбы для вас — что змеиные укусы для моллюска, укрывшегося в своей раковине.

— И все же,— ответил он с беспокойством,— механизм изнашивается.

Механизмом Вандель называет мозг и энергию духовной жизни. Он неправильно употребляет слова из какого-то стыдливого почтения к мыслям, ведь в глубине души он — поклонник спиритизма, как все одинокие люди.

Рассказывал ли я тебе, как познакомился с Ванделем? Это произошло во время второго путешествия — короткой экскурсии на юг. Наш караван, состоящий из мулов, а не верблюдов, шел через холмистую, лесистую местность. Долгим весенним днем кавалькада тянулась по каменистым горным тропкам. Часам к пяти мы подошли к бивуаку. Караван очутился на плато, поросшем мелким подлеском и кустарником. Никаких дорог, но повсюду узкие просветы, куда мы и устремляемся поодиночке в расчете на инстинкт лошади, идущей по следам передовых всадников. Я был в арьергарде верхом на лошади, которой можно довериться в подобных случаях. Вдруг она заржала, забеспокоилась, и из-за густого кустарника появился неизвестный наездник. Это оказался молодой человек, одетый по-дорожному, верхом на

исхудавшем грязно-белом животном, взнузданном весьма неумело на арабский манер. Человек был истощен, худ, опален солнцем, как житель Сахары. Единственная важная деталь испукала видимую бедность его снаряжения и придавала ему почти цивилизованный вид: вместо оружия у него за спиной было нечто вроде длинного барометра в кожаном чехле и объемистый цилиндр из жести.

— Извините, сударь! — крикнул он издалека. — Ваш скакун воспламеняется к кобылам?

— Да, сударь, очень, — ответил я.

— В таком случае я поеду вперед.

И, не мешкая ни секунды, он стеганул лошадь хлыстом и пустил ее рысью. В седле он держался по-английски, чуть привставая на широких арабских стремянах, ритмично сгибая и разгибая колени. Скоро фигура всадника, утопающая по пояс в глубоком седле, скрылась из виду, но я еще две-три минуты слышал мерное постукивание его барометра о коробку с гербарием.

Вновь я увидел его на бивуаке, на сей раз он раскуривал трубку за приятной беседой. Нас представили, и тут я услышал имя г-на Луи Ванделя. Я много слышал о нем. Повсюду мне рассказывали о его незаурядной жизни, полной приключений, и теперь мне представилась возможность выразить свое искреннее восхищение и радость от встречи. В тот же вечер мы сошлись ближе. Мне довелось оказать приют Ванделю, поскольку скарб мой был довольно скромным и в палатке осталось достаточно места. Он внес в палатку черный, скатанный и перетянутый ремнями бурнус, арабское седло и инструменты — все это заменяло ему постель, одеяло и подушку. Ночь выдалась великолепная, я слушал своего нового знакомого, почти не сомкнув глаз.

— Видите ли, — рассказывал он, — это моя страна: она усыновила меня; я обязан ей беспримерной независимостью, бесподобной жизнью. Таковы благодеяния, но я оплачу их, если сумею, скромной работой, которая явится творением моей бездеятельности. Обыкновенно считают, что я бездельничаю; возможно, однажды я докажу, что не напрасно терял время, и этот барометр, давший мне арабское имя Бу Джаба (человек с ружейным стволом), может, принесет в моих руках больше пользы, нежели настоящее ружье.

С рассветом Вандель уже был на ногах, я слышал, как он зовет свою кобылу, которую отпустил накануне

без всяких предосторожностей. Накормив ячменем, хранившимся в одном из отделений джебиры (дорожной сумки) — остальные были заполнены образцами камней, — он оседлал ее и подтянул подпругу. Когда мы тронулись, Вандель сопровождал нас до большого привала. Время от времени он спешивался, когда находил подходящую точку опоры, подвешивал барометр, записывал показания в истрепанную тетрадь, затем хлестал свою клячу, не желавшую переходить на рысь, и догонял нас.

— Здесь я вас оставляю, — сказал он мне, когда мы вновь оседлали лошадей перед вечерним переходом. — Я должен заночевать у той горы, похожей на орлиный клюв. — И добавил, протянув мне руку:

— Я хотел бы подарить вам что-нибудь на память.

Он извлек из кармана сначала солодковый корень и разломил его пополам, а затем моток ниток.

— Вот этим вы сможете утолить жажду, когда она станет невыносимой, а этим починить подпругу, если она лопнет на солнце. Надеюсь, мои дары помогут вам. А теперь до свидания, ведь мы, наверное, увидимся, если вы не покинете страну слишком поспешно.

— До свидания! — ответил я и горячо пожал ему руку.

Наши сдружившиеся тем временем лошади подчинились шпорам, и мы расстались. Вокруг лежала равнина, и я еще целый час видел белый круп его лошади и коробку с гербарием, сверкавшую на солнце словно зеркало.

Все произошло так, как он и предсказывал, мы встретились еще дважды во время того же путешествия: первый раз у источника, где он один остановился на отдых, второй — в дуаре, где мы разбили лагерь и куда он прибыл к полуночи. Я услышал беспокойную возню собак и цокот копыт, прервавшийся у моей палатки. Через две минуты кто-то приподнял полог, и предо мной предстал Вандель. В то время он пытался прояснить один малоизвестный исторический эпизод, связанный с пребыванием в провинции третьего римского легиона, и целый месяц бродил по окрестностям.

Сегодня, как и несколько лет назад, он бороздит страну по-прежнему вдали от городов и шумных дорог и заезжает в дуары только на ночь. Время года его не

беспокоит, во-первых, как я уже говорил, он равно нечувствителен к нестерпимому холоду и испепеляющему зною, а во-вторых, потому, что он организовал работу таким образом, что на весну и осень приходится продолжительные экспедиции, на лето — короткие прогулки по окрестностям, на зиму — то, что он называет кабинетными трудами. Это значит, что в сезон обильных дождей он укрывается в ближайшем дуаре и остается там на неделю, а если понадобится, то и на две, завернувшись в бурнус и с пером в руке. Время от времени он собирает все свои многочисленные материалы, сложные и разнообразные, и передает их на ближайшей почте в руки надежного друга. Таким образом, его сокровища разбросаны по всему Алжиру, и в день, когда он решит собрать их вместе, ему придется совершить путешествие, далеко не самое короткое.

Вандель бывал повсюду, куда может направиться отважный и безобидный путешественник, и повидал самые удивительные уголки страны. Он знает о трех провинциях все, что способна удержать энциклопедическая память. Благодаря разнообразию его познаний, неоценимым услугам, которые он способен оказать, но прежде всего своеобразию манер и причудливому образу жизни арабы устраивают ему прием, достойный дервиша и *тбиба* (врача). Он бесстрашно появляется там, где не пробиться батальону, ему нечего опасаться ни днем, ни ночью, разве что какого-нибудь воришки. Бедность служит ему защитой.

— Вернее всего, — объяснил он мне как-то, — никого не искушать. Тысяча молодцов не смогут сорвать одежду с голого человека.

Он находился в нескольких лье от Тагена, когда колонна герцога д'Омаль застала там *змалу*, наблюдал в качестве зрителя длительную осаду Зааджи. Совсем недавно, путешествуя по землям племени улед-наиль между Джельфой и Шарефом, он узнал, что под Лагуатом собралась армия. Он сразу удвоил переходы, чтобы не опоздать, и достиг вершины холмов как раз в тот момент, когда прозвучали первые залпы осадных орудий. И тогда, по его собственным словам, он спешился и со своего наблюдательного пункта с возможными в данных условиях удобствами следил за сражением.

Я видел его наброски, сделанные в тот памятный день. В первую очередь он начертил план города и изобразил панораму действий, которые были ему хорошо видны,

отметил черным карандашом сплошными линиями и пунктиром передвижения корпусов на марше и позиции наступающих батальонов. Легкая лессировка белым карандашом позволяла рисовальщику изобразить расползающийся дым над полем боя после каждого орудийного выстрела из-за городской стены или с французских батарей. Сразу после взятия города он собрал свои вещи и проник внутрь, вооружившись на сей раз ружьем, которое ему одолжили. Увидев то, что хотел, и записав все, что казалось поучительным, он направился на север и осуществил отважный прорыв через владения улед-наиль до Бу-Саада.

— Кстати, каким чудом вас занесло в Блиду? — спросил я у него сегодня.

— Это лишь случай, дорогой друг, — ответил он. — В десяти лье отсюда в горах я задремал, моя кобыла издали почуяла конюшню, повернула налево, вместо того чтобы свернуть направо, и привезла меня к входу в лощину. Впрочем, — добавил он любезно, — ни я, ни бедная кляча не жалуемся на ошибку.

Блида, февраль

Чужестранец зовет тебя маленьким городом [Блида],
А я, местный житель, — маленькой розой [урида].

Вот все, что осталось от Блиды, — двестишие души влюбленной, очаровательное имя, рифмующееся с розой опаленной.

Город больше не существует. Имя еще звучит в устах арабов нежным воспоминанием и грустью о канувших в Лету наслаждениях.

Блида всегда была городом роз, жасмина и женщин. С равнины виднелись башни и белые дома, полускрытые в чаще деревьев с золотыми плодами. Город возникал прямо против Священной Колеа, будто картина, предваряющая все дозволенные и обещанные радости рая. Вечнозеленые сады, улицы, выстланные листвой, более тенистые, нежели аллеи парка; большие кофейни, наполненные музыкой, домики, словно предназначенные для изысканных удовольствий, изобилие чудесной воды. В довершение блаженства чувственного народа — постоянное благоухание цветущих апельсиновых деревьев. Жители готовили ароматические масла, торговали драгоценностями. Воины являлись сюда сбросить груз усталости и развлечься, юноши нежились в удовольствиях. Святые отшельники жили в горах. Мечети служили лишь

напоминанием о святости, как четки в руках распутника.

Сегодня Блида в мельчайших чертах напоминает одну мавританку, которую я порой вижу в городе. Некогда она была красавицей, но утратила прежнее очарование. Теперь одевается по французской моде, на ней безвкусная шляпка, плохо сшитое платье, выцветшие перчатки. Улицы лишились тени, не сохранилось ни одной кофейни. Три четверти домов снесены, и на их месте выстроены европейские здания. Огромные казармы, колониальные улочки. На смену арабскому укладу пришла походная жизнь, наименее таинственная, особенно в поисках удовольствий. Начатое войной завершает мир. В тот день, когда в Блиде не останется ничего арабского, она снова станет красивым городом. Возможно, новый город заставит забыть о старой Блиде, когда люди, чьи сердца переполнены сожалением, уйдут в лучший мир.

К счастью, нельзя уничтожить все, что вечно будет красить город и способствовать его процветанию. Географическое положение столь безупречно, что, если еще одно землетрясение сотрет с лица земли город, на его месте возведут новый. Французскими предпринимателями эксплуатируется плодородная почва, обильные воды распределяются лучше, чем прежде. Нам принесет богатство то, в чем арабы находили лишь развлечение. К самым воротам города подходит чудесная равнина, над которой высится гора. Мягкий климат: зимних дней ровно столько, чтобы поддержать европейские культуры, а лето благоприятствует тропическим растениям. Целебный воздух: почти полное отсутствие пустынных ветров, беспрепятственное проникновение морских ветров с востока, запада и севера. На горизонте раскинулась девственная земля — 300 тысяч гектаров, не ведавших плуга. Наконец, редкая роскошь — апельсиновые плантации, говорят, правда, значительно сократившиеся, но еще поддерживающие за бывшим садом Гесперид репутацию первой в мире страны по выращиванию апельсинов. Все чудесное исчезло в дивном краю удовольствий, остается лишь утешаться полезностью сохранившегося ландшафта. Повторяю, будущее изгладит из памяти прошлое и, главное, извинит настоящее, которое — да будет справедливо замечено — нуждается в прощении.

Пока же я блуждаю по бесформенному городу. Мне еще не удастся разглядеть, чем он станет, я пытаюсь

отыскать то, чем он перестал быть, и с трудом воскрешаю ушедший образ. Я присаживаюсь в цирюльнях, болтаю с продавцами трав, забредаю на французский рынок взглянуть на первые цветы, на арабский базар — поглазеть на негритянок, на людей из далеких племен и горцев, каждое утро гонящих вниз стада осликов, груженных сухим деревом и углем. Здесь еще есть кафе, но современные, да еще какие! Избранные посетители представлены местными полицейскими. Они одеты на турецкий манер, аккуратны, обладают, как в любой стране мира, двумя атрибутами репрессивного закона: дубинкой и кинжалом, стоящим иной шпаги.

Иногда кади или другое должностное лицо в длинной мантии снисходит до заведения, чтобы выпить кофе. В руках всегда три предмета, с которыми представитель власти никогда не расстается: жасминовая трубка, четки и тунисский носовой платок. Все его торжественно приветствуют, а кахваджи целует в плечо. Если многочисленное общество представлено людьми достойными, то кахваджи появляется с флаконом розовой жасминовой воды или росного ладана, прикрытым наподобие перечницы металлической крышечкой с отверстиями. Он чинно обходит собрание с важностью, достойной торжественного церемониала, и кропит лица и одежды благовонной жидкостью. Обычно подобная учтивость приносит ему несколько мелких монет, даруемых в знак благодарности.

Время от времени, чтобы доставить себе удовольствие, я выхожу за ворота Баб-эс-Себт. И каждый раз смотрю на равнину, словно впервые. Глазам путешественника открывается завораживающий простор, полный степенности и величия. Он не может не оценить чудесный вид, даже если насладился более изысканными картинами: гробница христианки [Куббаат эр-Румиа] под Блидой, заключенная между дремлющим у ее ног озером Халула и приземистой массивной Шенуа; река Мазафран, несущая желтые воды через узкий проход в Сахель к морю; ослепительно белая Колеа, необычно сияющая по вечерам на бурых склонах холмов; трехъярусная цепь Милианских гор, которая возвышается в глубине и замыкает огромную равнину темно-синим занавесом, переливающимся серебром. Искусно очерченные пейзажи освящены благозвучными названиями. Именно здесь, любезный друг, испытали мы радость первого открытия, познали наконец истинно арабскую землю,

о которой так долго мечтали. Именно здесь с наших уст сорвался возглас: О, Палестина!

Я предпочитаю всему светлому времени суток в разрушенном городе вечерний час перед наступлением темноты, короткий миг неизвестности, разделяющий день и ночь; только он примиряет меня с настоящим. В это время года сумерки опускаются вместе с густым туманом, затягивают синим маревом и размывают очертания даже самых коротких улочек. Мостовая увлажняется, и нога скользит в полумраке, ведь эта часть города плохо освещена. Горизонт на западе погружается в фиолетовые отблески, архитектурный облик города причудливо меняется, строения словно испаряются на фоне постепенно обесцвечивающегося неба. Смутно различаешь странные силуэты людей, спешащих домой, беспорядочно скапливающихся и теснящихся на узких улицах. Вокруг слышен своеобразный с хрипотцой говор, женские голоса выделяются мягкостью произношения, а детские — резкими интонациями. Маленькие девочки с блюдами с хлебом на голове скользят в толпе с возгласом: *Baleh!*¹⁸. В сутолоке касаешься невзначай скрытых вуалью, будто тайком ускользнувших из дома женщин, которых выдает белизна одежд. И тут, если ты мечтатель или принадлежишь к миру искусства, ты можешь восстановить жизнь уже увядшего общества и предположить многое из того, чего в действительности уже нет.

24 февраля

Я вовсе не ожидал, что такое может случиться. Я повстречал мою незнакомку-мавританку с перекрестка Си Мохаммед эш-Шериф. Она живет в Блиде, и, если здесь уместен французский лексикон, завтра в полдень я буду ей представлен. Сегодня в два часа соседняя улочка огласилась барабанным боем. Кроме ударов деревянных палочек по натянутой коже до террасы долетали дробь кастаньет и голоса певцов.

— Не хотите ли немного музыки? — спросил Вандель.

— С удовольствием, — был мой ответ.

— Пойдем, раз уж нам ничего не остается, кроме негритянских концертов.

¹⁸ «Балек» — буквально «о чем думаешь» (в значении «берегись»). — *Примеч. ред.*

Я должен заметить, что мой друг Вандель, во всем очень снисходительный к арабам, с трудом прощает им отсутствие музыкального слуха.

— Вам знакомы их притязания,— говорил он мне по дороге.— Чрезмерное тщеславие позволяет им полагать, что цветы некоторых растений, например медвежьих ушек и полыни, опадают при звуках мизмуна. Та же мысль содержится в старом латинском изречении, уж не знаю, как оно до них дошло:

*Plicibus glandes cantataque vitibus uva
Decidit...*

(Желудь дубовый поет, виноградная гроздь опадает.)

Стена дома, откуда доносился шум, была разрушена со стороны улицы, и через широкую брешь на уровне окна все было видно так же хорошо, как если бы мы вошли внутрь. Мы оказались свидетелями скромного семейного праздника, где каждый исполнял свою роль. Присутствующие образовали полукруг на пороге низкой комнаты, где сидела, возглавляя собрание, созванное, без сомнения, в ее честь, молодая симпатичная негритянка с открытой грудью, кормящая голенького младенца. Две мавританки, присевшие на корточки на ковре, держали по паре огромных железных кастаньет, слишком тяжелых для их маленьких ручек. Два негра били в тамбурины и напевали, третий, полураздетый, с непокрытой головой и развевающимся поясом, исполнял в нескольких шагах от кормящей матери зажигательный танец в честь новорожденного. Над маленьким двориком возвышалась раскидистая смоковница, потерявшая листву. Крона узловатого и ветвистого дерева образовывала естественную крышу, отбрасывала своими бесчисленными разветвлениями тень на землю. В гнилой луже вокруг дерева беспокойно металась утка. Куры, связанные парами за лапки, будто пленники, которые могут убежать, прогуливались вокруг навозной кучи. Они весьма стеснены путами, каждая тянет нить к себе, что мешает их согласному движению. Как видишь, перед тобой фламандская жанровая сценка. Композиция моей картины была бы иной, но я точно воспроизвожу для тебя увиденное.

Ребенок, не занятый в празднестве, заметил нас, открыл дверь и впустил в дом. Мы коротко приветствовали друг друга, чтобы ни на минуту не прервать торжество. Танец убыстрился, участился ритм движений, исполнитель встряхнул кастаньеты с еще большим

пылом и живостью, ведь к зрителям присоединились два чужестранца. Тело неистового танцора залил пот, он напоминал окропленную водой бронзовую статую.

Привлекательные лица мавританок открыты. Они одеты по-зимнему — в кафтаны с рукавами поверх корсета. Шелковые платья расшиты золотыми разводами и цветами, все пропитано благовонной жидкостью и издает нестерпимый запах. Никто из нас в течение часа не проронил ни слова. Только новорожденный подавал голос, постанывал и тянулся к роскошной груди кормилицы. Наконец, первым, что совершенно естественно, выбился из сил негр-танцовщик. Музыка сразу же оборвалась, и праздник закончился, как завершаются все подобные торжества, на которые, непонятно почему, усталость всегда приходит раньше скуки. Мы распрощались с домочадцами, собрались уходить и мавританки, также оказавшиеся гостями. Когда они надели свои хаики, укрылись масками из белой хлопчатобумажной ткани и прошли перед нами в благородном недоступном взгляду обличье, как подобает выходить на улицу, Вандель приветствовал их по-арабски, и я последовал его примеру.

— До свидания, месье, — сказала мне по-французски невысокая и худощавая женщина. Я узнал голос, слышанный на перекрестке в Алжире. На этот раз старого Абдаллаха рядом не оказалось, и я не задумываясь последовал за мавританками.

— Знаете ли вы, с кем имеете дело? — спросил Вандель.

— Догадываюсь, — ответил я, — но у меня есть основания, которыми я позже поделюсь с вами, интересоваться той, что сказала мне «до свидания».

В конце улицы женщины расстались. Я позволил удалиться подруге и последовал за своей избранницей. Она ни разу не обернулась, во всяком случае, мне так показалось. Круглым путем она подошла к своему жилищу. Квартал был пустынен, мы находились на арабской улице у арабского дома. Она толкнула тяжелую дверь, навалившись на нее всем телом, и исчезла. Я шел следом и увидел, как дверь захлопнулась под собственной тяжестью и еще подрагивала на петлях. Сквозняк слегка приоткрывал ее через неравные промежутки времени. Я подождал с полминуты, не зная, как поступить. Вдруг дверь распахнулась: на пороге стояла женщина, устремив на меня сквозь отверстие в маске глаза,

казавшиеся мне точками, застывшими и сияющими, как бриллиант.

— Не входите,— сказала она на жаргоне *сабир*, то есть варварском итальянском,— а приходите завтра к полудню.

Признаться ли, любезный друг? Меня застала врасплох столь быстро возникшая близость, я только и сумел повторить: «Завтра к полудню».

Вандель замер, словно часовой на углу улицы.

— Ну что? — спросил он.

— Что? Завтра я иду к ней.

В двух словах я поведал ему о нашей первой встрече. Он знаком с Сид Абдаллахом, да и кто его не знает? Торговец — почтенный человек, которому можно довериться, и совет, высказанный им,— остерегайся! — многого стоит.

— Если вы непременно хотите узнать историю женщины,— добавил Вандель,— направимся к цирюльнику Хасану и разговорим его, если он в настроении пооткровенничать.

Уместно ли вести расспросы в деле, казалось бы, столь мало достойном интереса?

26 февраля

Вчера вечером Вандель проводил меня к Хасану. «Хасан» означает конь, но более точный смысл можно передать словами: самое прекрасное животное и самое красивое¹⁹. Это гордое имя далеко не всегда подходит своему хозяину. Нашего друга, цирюльника Блиды, родители, кажется, нарекли в соответствии с его высоким мнением о собственной особе. Хасан — мужчина средних лет, ни хорош собой, ни дурен, одевается с большой претензией и слишком общителен для араба; должно быть, этого требует профессия. Он видит самых разных людей. По-моему, завсегда так считают его цирюльню общественным местом и бесцеремонно назначают друг другу встречи там, словно на улице.

По обыкновению он находился в центре многочисленного общества. Было что-то вроде вечеринки, играли в шашки и шахматы, раскуривали трубки хозяина дома (у Хасана самый богатый выбор трубок в квартале),

¹⁹ «Хасан» — буквально «хороший, красивый». Фромантен спутал это слово с «хисан», которое действительно означает «конь». — Примеч. ред.

а кахваджи из соседнего заведения приносил кофе, который оплачивали сами гости.

Мы вошли в тот самый момент, когда долговязый молодой человек с худощавым лицом проигрывал партию, но наставлял соперника, отдавая свою последнюю шашку:

— Если бы все желания осуществлялись, нищий стал бы беем.

— Известная пословица,— заметил Вандель, взял под руку игрока и подвел ко мне: — Дорогой мой, позвольте представить вам моего друга, пишущего водевили, Бен Хамида, самого духовного и просвещенного человека трех провинций — талеба в духовной семинарии (завийя)... Вы можете поговорить о Париже, месье из этого города,— сказал он, указывая на меня,— а Си Бен Хамида жил там некоторое время.

Я узнал от самого Си Бен Хамида, что он учился в коллеже Сен-Луи. Он провел четыре или пять лет во Франции, постигая азы истории и географии. Истинной причины парижского воспитания, полученного моим визави, я не знаю, да и вряд ли когда-нибудь узнаю. В стране недомолвок нередки судьбы, которым не грозит стать общественным достоянием.

— Я почти все забыл,— обратился он ко мне, подыскивая слова,— скоро вовсе разучусь говорить по-французски.

Бен Хамида обладает быстрым, живым умом, способен найти удачный ответ в любом споре и, вероятно, необычайно проницателен. Воспитание, заложенное во Франции, позволило ему развить качества, довольно редкие для арабов, даже принадлежащих к высшему обществу. Открытый характер, выразительная речь, красноречивые жесты, насмешливый голос, неизменно веселые глаза. Соприкоснувшись с нашей системой образования, он вынес и сохранил лишь то, что хотел: любовь к изящной словесности и вкус к забавным пословицам и каламбурам. Почти французская легкость и литературный аттикизм²⁰ позволили Ванделю окрестить молодого человека «водевилистом». Он одет по-мавритански, шея, голова и лицо элегантно повязаны зимним муслиновым тюрбаном в мелкий розовый горошек.

²⁰ А т т и к и з м — направление в древнегреческой литературе, господствующее в I в. до н. э.

Противник, выигравший партию в шашки, оказался арабом с равнины. Невысокий, полнеющий, бородатый, обветренный человек был одет в бурнус и хаик, под которым носил, как все всадники, куртку и вышитые шелком жилеты. Тонкая шелковая тесьма с золотой кисточкой обвивала его голову вместе с веревкой, сплетенной из шерсти черного верблюда (*хрит*). На шее болтались четки, а к головному убору были привязаны два или три амулета.

— Посмотрите внимательно, — сказал Вандель, — этот человек прекрасно владеет саблей, я расскажу вам, как он ею орудует.

Среди присутствующих находились еще и обыватели, живущие по соседству, наполовину торговцы пряностями и табаком, наполовину рантье. Пожилые седеющие люди либо тихо разговаривали, либо задумчиво курили. Они зябко завернулись в домашние бурнусы. Тюрбаны в строгих складках, жилеты тщательно застегнуты, на ноги до икр натянуты чулки из суровой шерсти. Старые, стоптанные туфли расставлены в ряд перед скамьями, на расстоянии протянутой руки от каждого посетителя короткая розовая свеча или фонарь из цветной бумаги, чтобы светить себе на обратном пути, ведь ночь выдалась темная.

Я хочу передать тебе в общих чертах ведущийся здесь разговор, ведь закоренелые домоседы вряд ли станут назначать свидания у цирюльника в столь поздний час с единственным намерением посидеть кружком и помолчать. Впрочем, беседа арабов похожа на любую праздную болтовню. Пустословие объясняется не только желанием почесать языком, но и местными обычаями, описание которых неподвластно моему перу. Все начинается с приветствий; они повторяются через равные промежутки времени, как нарочитый припев вежливости, отмеряют ритм речей, паузы, подают сигнал к новому оживлению. Учтивость и благословение распространяются на все обсуждаемые вопросы, но один остается запретным — осведомляться о женщине. Затем наступает момент для обмена новостями; общеизвестные темы, но содержание иное.

Пересуды на местные сюжеты, разговоры о политике, французских делах, пустячных заботах муниципалитета, города или племени. Не обходится без забавных историй о другом мире и о том свете, пересказываются безнадежно устаревшие небылицы. Они всегда привлекают

внимание, вызывают оживление или довольный смех тех слушателей, которым лучше всего известны. Каждый знает наизусть, но не может лишить себя наивного удовольствия послушать или пересказать в очередной раз анекдот. Общение приправляется шуточками, игрой слов, построенной на созвучиях, а потому непере译имой, максимами, каламбурами, пословицами. Цветистый и литературный язык писателя Бен Хамида — воплощение первостепенного дарования арабов.

Вандель в подходящей ситуации манере с яркими звукоподражательными восклицаниями поведал о недавней осаде, свидетелем которой оказался. Он воспроизвел оружийный выстрел и, желая передать горячность ожесточенного сражения, многократно и с невероятной частотой повторил бесконечную череду «ба-ба-ба» — возгласов, которыми арабы обычно сопровождают рассказ о приключении, пропахшем порохом. Затем речь зашла о саранче (*джерад*). Говорят, она сейчас на юге, но скоро начнется ее переселение. Приняты меры, выделены отряды по борьбе с насекомыми: удастся ли вредителям ускользнуть? По этому случаю старый житель Блиды, Бен Саид, поведал историю, рассказанную ему отцом, в свою очередь узнавшим ее от родителя, который, будучи уже глубоким старцем, был свидетелем великого бедствия, беспрецедентного нашествия 1724—1725 годов — бича, сравнимого с тяготами, описанными в еврейской истории, — когда саранча уничтожила все, но в первую очередь виноградники, пожрав листья, ягоды, молодые побеги и, наконец, саму лозу. Огонь не так скор на расправу, не несет столь полную гибель. Никогда более виноградники Блиды не плодоносили, так и не возродилось знаменитое встарь местное вино. Многие миллиарды вредителей были уничтожены, но число их, казалось, не уменьшилось. Небо — черное от туч саранчи, все щели в городе забиты насекомыми, источники отравлены. Люди в меру сил мстили проклятым носителям несчастья. Саранчу жарили, варили, солили, использовали как удобрение. Наконец задул мощный южный ветер, увлек армию бешеных тварей к морю, где и потопил во множестве.

— Все они обратились в креветок, и жители Фхаса * вылавливают их, — добавил Бен Хамида, которого, кажется, очень развлекают местные предания.

Перешли к чудовищам. Со времен дракона из сада Гесперид до чудовища Ньям-ньяма Африка всегда счи-

талась прародительницей монстров. «Африка всегда порождает нечто новое», — произнес Вандель известное изречение.

Теперь настал его черед выступить в роли эрудита. Он привел цитату из Аристотеля, а затем комментарий Плиния, что поскольку редкость источников вынуждает различных животных скапливаться у немногочисленных речушек, то детеныши имеют самые причудливые формы, так как самцы совокупляются без разбора с самками другого вида. Цирюльник Хасан заметил, что иначе и быть не может, старики присоединились к мнению Хасана, только Бен Хамида не принял объяснение за последнее слово европейской науки и улыбнулся.

Последняя история. Заговорили о Си Мустафе Бен Руми, иначе, коменданте Х... и его известном приключении с Беширом. Полилась рыцарская повесть. Мы услышали ее из уст хаджута²¹, разумеется, не в качестве новой истории — ведь она обошла весь город, — а рассказа, который араб не может не повторять слишком часто. Я передаю рассказ в очень сокращенной форме.

«Комендант Х... прибыл в Алжир на второй год со дня взятия города, будучи еще мальчиком. В те времена в Алжире еще не было коллежа, и первое воспитание он получил на площади с местными ребятишками. Он познал многое из того, чему в юном возрасте обучаются без наставника, и, между прочим, местный язык и радость независимости. В семье посчитали, что его познания не заменят домашнего образования и попытались наставить ребенка на путь истинный. Наказание не понравилось мальчику, он не терпел принуждения, а потому сбежал из дома. Добравшись до алжирского Сахеля, до самого спуска на равнину, и размышляя о превратностях предприятия, он встретил двух арабских всадников, которые то ли путешествовали, то ли мародерствовали.

— Кто ты?

— Такой-то, сын такого-то.

— Куда идешь?

— Куда глаза глядят.

— Хочешь отправиться к хаджутам?

²¹ Хаджу́ты — это племя (по некоторым данным, искусственно созданное из различных фракций и групп), служившее туркам, а затем французам. «Прославились» грабежами и репрессиями. — *Примеч. ред.*

Хаджуты вызывали тогда повсеместный ужас. Мальчик смело ответил.

— Хочу.

Один из мародеров поднял и посадил его себе за спину и в тот же вечер привез прямо к палатке халифа Бешира.

— Заложник,— сказали всадники.

— Нет,— возразил Бешир,— всего лишь ребенок.

— Он будет моим сыном,— сказала жена Бешира, приняв его как подарок судьбы; над ним свершили обряд обрезания и нарекли Мустафой, то есть прошедшим через очищение.

Мустафа рос в палатке, жарился на солнце, с детских лет прекрасно обращался с саблей. Искусные наездники были его учителями, и сам он стал выдающимся всадником. В пятнадцать лет он получил коня и оружие. В восемнадцать — палатка ему наскучила, как некогда родительский кров. Повсюду свирепствовала война. Настал час выбора: отечество или вторая родина, давшая ему приют и воспитавшая его. Сильнее оказался зов крови. Он покинул дуар не под покровом ночи, а среди бела дня, сказав Беширу лишь два слова: „Я уйду“, — и устремился в Блиду, чтобы вступить в спаги. Из Блиды он отправился в Колеа и стал солдатом, но он по-прежнему оставался более арабом, нежели французом. Два года спустя было предпринято нападение на хаджутов. Необходим был надежный проводник, способный провести колонну, знающий страну, язык, а главное, повадки врага. Выбор пал на Мустафу. Произошло столкновение, началась жаркая схватка. Дело близилось к концу, когда встретились два всадника, прогремели два пистолетных выстрела, и воины готовы были схватиться. Молодой выхватил саблю, а тот, что постарше, изготовил к бою свою пику, и тут бойцы узнали друг друга.

— Мустафа!

— Бешир!

Бешир, по всеобщему признанию, прекрасный неустрашимый герой, усмиривший самых резвых скакунов, удержал коня в двух шагах от молодого человека, и смертоносное оружие лишь задело плечо противника, слегка надорвав бурнус. Бешир швырнул копье на землю.

— Возьми,— сказал он,— отнеси генералу и скажи, что ты выбил копье у Бешира.

Безоружный, со свободными руками он натянул поводья и скрылся».

Так, вечер завершился героической легендой. Расстались мы часам к десяти, рожок в турецких казармах играл отбой. Каждый зажег свою лампу, обулся, накинул капюшон бурнуса, и все вышли, кроме хаджута, который остался у цирюльника, намереваясь, по-видимому, провести в мастерской всю ночь. Уже на улице прозвучали последние слова прощания.

— И один друг — это немало, — сказал Бен Хамида, тепло пожимая руки мне и Ванделю, — и тысяча не слишком много.

Произнеся самым учтивым образом последнюю половицу, молодой талеб из завийя, бывший ученик коллежа Сен-Луи, направился, напевая, по тихим улочкам.

— Очарователен, но лицемер, — произнес Вандель, когда мы остались одни. — Человек с ласковыми речами может припасть и к сосцам львицы. На совести у араба, оставшегося у Хасана, — продолжал он, — небольшой грешок, вот почему он молчалив, знает, что за ним следит неусыпное око правосудия. Как-то вечером он возвращался в дуар с кузеном, на которого, по его словам, имел основания обижаться. Оба верхом. Он пропустил попутчика вперед, достал пистолет и разрядил его в спину обидчика. Лошадь вернулась в дуар без седока. Труп обнаружили лишь через несколько дней, заметив тучу воронья и коршунов, паривших кругами над кустарником. Невозможно было найти рану на теле, в клочья изодранном хищниками. И все же кое-кто заподозрил неладное, Амара Бен Арифа допросили, но на том дело и кончилось за неимением доказательств. Я полагаю, что причина случившегося — семейная ссора, раздор на почве ревности. Никаких сомнений, что выстрелы действительно прозвучали. Об этом мне рассказал сам Амар Бен Ариф.

— И еще несколько подробностей, — добавил Вандель, — которые наверняка вас заинтересуют. Женщина в Блиде уже целый месяц. Живет одна со служанкой по имени Асра, той самой негритянкой, что сегодня благословил священник после счастливых родов. Кроме них в доме, всем известном, проживает еще несколько еврейских семей. Женщину зовут Хауа, а подругу — Айшуна. Мы присутствовали на праздновании рождения первого ребенка Асры. Ее муж — негр-танцовщик, не щадивший себя в прекрасном танце, выражавшем радость

отцовства. Вы обратили внимание, что младенец не черен? Насмешник-цирюльник сказал, что произошло чудо. Злые шутники не преминули намекнуть об этом супругу. Говорят, тот ответил: «Терпение, терпение, он еще станет негром». А пока он справляет у колыбели сына торжественные обряды жреца Кибелы, желая растить мальчика ни больше ни меньше как юного Юпитера, под звуки танцев и бронзовых щитов. Когда понадобится, мы снова вернемся в справочную контору, но не станем надоедать Хасану и, коль скоро Бен Хамида пробудил в нас вкус к пословицам, вспомним такую назидательную максиму: «Пять ступеней ведут к мудрости: молчание, умение слушать, помнить, действовать, учиться».

Такова арабская мудрость, или, иначе говоря, политика.

Друг мой, сейчас десять утра, и через два часа мне предстоит узнать, похоже ли жилище Хауа на восхитительное полотно Делакруа «Алжирские женщины».

Того же дня, вечер

Да, друг мой, сходство поразительно. И то же очарование. Но реальность не превосходит красотой живописное полотно. Жизнь многолика и непредсказуема: шумы, запахи, тишина — вечное движение во времени и пространстве. Характер картины определен раз навсегда, выхвачено мгновение из временного потока; выбор безупречен, сцена запечатлена навеки. В ней заключен смысл сущего, скорее то, что должно быть увидено, нежели то, что существует на самом деле, скорее правдоподобие достоверности, нежели сама жизнь. Насколько я понимаю, с тщанием избранная истина — единственная реальность, заключенная в искусстве. Бессмысленны блестящий ум и великое мастерство художника, если в творение не привносится нечто, чего лишена реальность; неуловимое нечто, благодаря чему, хвала Господу, человек превосходит разумом Солнце.

Ровно в полдень я постучал в дверь Хауа. Изнутри сразу несколько голосов ответили по-арабски: «Кто там?» Сверху из спальни, занимающей весь этаж, им вторил знакомый голос: «Кто это?» Раздался скрип ставен, и тут же прозвучал приказ: «Асра, открой дверь». Негритянка не заставила себя ждать.

Через дворик я прошел к дому, первый этаж которого занимали четыре еврейские семьи. Одни женщины стирали пеленки, другие покачивали колыбельки в форме га-

мака, баюкая малышей, многочисленные дети играли у дверей. Второй этаж окружала галерея. Мы пошли по ней с Асрой, которая чуть опережала меня, шлепая босыми ногами по фаянсовой плитке. Ее фигуру облегал узкий фута из оранжевой и голубой ткани. Оказавшись перед спальней хозяйки, черная служанка полуобернулась ко мне и жестом, знакомым тебе по картине Делакруа, откинула занавес из цветного муслина.

Войдя, я увидел ожидавшую меня Хауа. Она возлежала на длинном, низком, широком диване среди множества в беспорядке разбросанных подушечек, по-видимому, только проснулась.

— Здравствуйте, — сказала она. — Присаживайтесь.

Я присел, но не слишком близко, а в ногах, чтобы лучше ее видеть.

Посреди спальни курился наргиле. Она держала янтарный мундштук между пальцев, унизанных кольцами, и наблюдала за тонкой струйкой дымка. Длинная трубка в коричневых и золотых кольцах обвилась вокруг изящной, но крепкой ножки, словно выточенной из старой желтой слоновой кости. Казалось, что живой узел стягивал плоть, подобно змее Клеопатры. Она была бледна, неподвижна, на губах блуждала легкая улыбка. Сама жизнь, которой дышало спокойное тело, мирно вздымала узкий корсаж. Туалет женщины был безупречен, нельзя было добавить ни одной детали, чтобы не нарушить гармонию. Она нарядилась, надушилась и подкрасилась с возможным тщанием. Волосы спрятаны под черно-синим платком, вероятно, она чуть более одета, чем обычно мавританская женщина в домашней обстановке. Богато раззолоченный корсет из голубого сукна под синим кафтаном без рукавов и вопреки местным обычаям золотой пояс с массивной пряжкой придерживали на тонкой талии просторный ярко-красный фута. Итак, костюм составляли три цвета, но подавлял все огненно-красный, еще резче оттеняя и без того слишком бледную кожу. Глаза подведены сурьмой, кисти рук и ступни выкрашены хной. Пятки «напоминали два апельсина».

— Как тебя зовут? — спросил я.

Она вдохнула последний клуб дыма из томпака и красивым жестом протянула мне мундштук наргиле, мягкая трубка которого по-прежнему обвивала ее ногу.

— Зачем тебе мое имя? — сказала она, поднося мундштук к моим губам.

— Интересно, столь же нежно твое имя, как голос?

Она тотчас ответила:

— Хауа.

— Прекрасное имя,— сказал я и несколько раз повторил воздушное слово, составленное из гласных и произносимое на одном дыхании. Оно легкое, как вздох, и означает пригодный для дыхания воздух и дружбу.

— Жарко? — прозвучал ее голос между двумя паузами.

— Очень. Безумен тот, кто у огня ищет прибежища от солнца.

Новый мадригал вызвал улыбку моей собеседницы, и снова воцарилось молчание.

Представь, друг мой, что, за исключением слов «сударь», «здравствуйте», «до свидания», «присаживайтесь», Хауа не знает и четырех слогов хорошего французского, и я вынужден говорить по-арабски, не желая переходить на наречие сабир, отвратительный диалект, недостойный чудесного голоса, опасаясь выставить даму на посмешище и смиряясь со своей незавидной судьбой. От этого наша беседа становится столь немногословной, что мне трудно передать ее содержание. Я набивал томпак наргиле и скручивал сигареты, которые она выкуривала. Асра подала нам кофе. Я осмотрел спальню, пройдясь от двери к закрытым ставням, скрывавшим выходящее на улицу окно. Закончив осмотр, вернулся к хозяйке.

Ее шею, подобно огромному колье, обвивало длинное ожерелье в три-четыре ряда из цветов апельсинового дерева. Цветы были сорваны утром, и, чтобы не опьянеть от сильного запаха свежих цветов, надо быть женщиной, к тому же рожденной на арабской земле.

— Возьми,— сказала Хауа, осторожно сняла благоухающую гирлянду и бросила мне, точно так поступила бы с цепочкой.

Так прошло некоторое время, я хочу сказать — час или два. Мне показалось, что она задремала.

— Вовсе нет,— сказала она.

Она лежала, откинувшись назад, полузапрокинув голову на подушки. Наступила глубокая тишина; тяжелый воздух был насыщен благовонными, тревожащими душу курениями. Слышался только усыпляющий шепот истощившего силы наргиле. Глаза мавританки сомкнулись, легкая тень спустилась на ее щеки, по коже пробежала дрожь. Ночная тень длинных ресниц слетела на щеки подобно двум черным бабочкам. Хауа больше не шевели-

лась, и менее чем через минуту после слова «нет» покойная душа уже принадлежала сну.

Когда на обратном пути я шел через двор, самый маленький еврейский мальчишка сплюнул и отвернулся. Знай, это знак глубокого презрения.

Блида, 28 февраля

Сегодня я стал свидетелем ужасной сцены. Мне сказали, что предстоит расстрел четырех негодяев, и, взглянув на них, я уже действительно не сомневался, что передо мной злодеи. Они шли по двое под проливным дождем, в бурнусах, но без обуви, босые ноги вязли в грязи, руки были связаны за спиной. Их сопровождал взвод стрелков, которым надлежало привести приговор в исполнение. В соблюдение законности в конвой входили еще линейный и кавалерийский батальоны. Толпа опережала, окружала и замыкала печальную процессию. Кorteж едва тащился. Играли похоронный марш. Преступников вели на опушку оливковой рощи, к небольшому пригорку над оврагом. Грустное любопытство влекло меня за толпой, провожавшей четверых несчастных в последний путь.

Несмотря на полуденный час, леденящий холод пронизывал до мозга костей в этот пасмурный день. Обреченным развязали руки. Прозвучала команда, все четверо сняли бурнусы, сложили на земле перед собой, а затем выстроились с интервалом в шесть шагов на краю оврага лицом к горе. Взвод из сорока восьми стрелков, по двенадцать на каждого приговоренного, изготовился в десяти шагах. Пехотинцы охватили полукругом место казни, а слева и справа по берегу реки расположились два кавалерийских взвода — шашки наизготове, — чтобы предотвратить всякую возможность побега. Разбухший от талых вод Уэд, по другую сторону которого почти отвесно вздымался горный склон, отрезал последний путь к спасению. Печальную картину еще усугубляла дождевая завеса, отнимающая всякую надежду на освобождение.

Быстро покончив с приготовлениями, офицер стал читать приговор сначала по-французски, потом по-арабски. Я хорошо видел зловещие листы, казалось, мог подсчитать их число и точно определить размеры. Не отводя взгляда от циферблата часов, я прикидывал, много ли осталось прочесть, и отсчитывал истаивающие минуты благодатной отсрочки.

Они стояли во весь рост с вызывающей дерзостью, спокойные и невозмутимые перед лицом неминуемой смерти. Левая рука опущена, правая — на уровне лба; указательный палец нацелен в небо. Такова загадочная поза, которую принимает араб, подчиняясь судьбе в спокойном ожидании последнего часа.

— Знаете, о чем они думают? — спросил Вандель. — Они говорят себе, что предначертанного не миновать, но если смерть не предрешена свыше, то, несмотря на зловещую церемонию и сорок восемь карабинов, готовых поразить мишень, они останутся живы.

После оглашения приговора на несколько секунд воцарилась полная тишина. Я почувствовал, что все кончено. Один из обреченных попытался обернуться, но не успел. Я невольно закрыл глаза и тут же непроизвольно открыл их при звуке выстрелов. Я увидел, как четверо мужчин подпрыгнули, будто клоуны, кувыркающиеся на арене, и исчезли в овраге. Затем прозвучали четыре выстрела милосердия, и горны протрубили выступление. У трупов, оставленных на обозрение до вечера, когда они будут выданы семьям, если те их востребуют, был выставлен пост из нескольких солдат.

Весь день трупы поливал дождь. К вечеру просветлело, я снова направился к месту казни. У оврага собралось несколько арабов с лошадьми и вьючными животными. Часовые удалились, когда, по их мнению, солнце зашло. Тогда без криков и плача, будто речь шла о тюке с товаром, трупы подняли с земли, взвалили на мулов и привязали, чтобы те не упали. Кавалькада двинулась шагом в сторону Шиффы. Трупы не умещались на слишком узких вьючных седлах, с одной стороны выступали голова и грудь, с другой — ноги. Они закоченели за шесть часов пребывания на холоде и, не сгибаясь, покачивались в такт мерной поступи животных. Издалека расплывчатый рисунок на фоне небесного полотна угасающего дня создавал впечатление, будто мулы перевозили доски.

Блида, март

Весна вступила в свои права. Наступило изменчивое время года: то щедрое солнечное тепло, то ливни, принесенные грозами, длящимися не более нескольких часов. Ветер никак не может установиться, мечется, сомневаясь, то ли свирепствовать по-зимнему, то ли дохнуть летним зноем, и ежеминутно меняет направление. Термометр показывает умеренно, что-то между редким

минимумом — 15—18 градусов и верхним пределом — 24—25 градусов. Начинается таяние снегов. Уэд течет полноводным потоком. Он питает множество разбухших ручьев, весело струящиеся воды все более оживляют сады. На равнине воды почти нет, даже озеро вернулось в привычное ложе. Оно лежит слева от Мазафрана позади владений хаджутов, вытянувшись узкой линией у подножия Гробницы христианки, и напоминает формой и блеском длинную шпагу.

Порой к концу недели непрерывного зноя атмосфера насыщается испарениями, и небо, особенно над городом, тяжелеет и повисает так низко, что вершина горы скрывается под своеобразным театральным занавесом. Хотя гора рядом, мы различаем лишь ее основание и затянутые непроницаемой темно-синей тенью лесистые лощины. Влажный ветер, туман, не рассеивающийся росой, а поднимающийся к облакам, указывает почти наверняка, что к вечеру в горах прогремит один-другой раскат грома и прольется дождь. Часам к четырем появляются звезды, гаснущие с истечением ночи. Ночной мрак рассеивается вместе с облаками, их разгоняет приближающийся день. Яркое солнце загорается в уже ничем не замутненном небе над четкой, ярко прочерченной линией горизонта. Можно сосчитать кедры, растущие в трех тысячах футов над головой на вершинах горной цепи Бени-Салах.

По обыкновению я провожу восхитительные вечера в Оливковой роще. В это время года (12 марта) солнце садится чуть позже шести часов, оно подыскало себе ложе на холмистой, словно беспокойное море, оконечности равнины между отрогами Музайя и гористой местностью Бени-Менассер. Сияющий шар повисает над высокой фиолетовой преградой, а в обычные дни воспламеняет своими лучами огромный треугольник, образованный горными склонами. По мере снижения солнце увеличивается в размерах; наступает короткое мгновение, когда светило не утомляет глаз, ибо оно уже не испускает ни тепла, ни света, и, наконец, красный, будто разорванный ломаной линией горизонта диск ныряет в холмы и исчезает. Сумерки еще несколько минут пронизывают легкие всполохи. Перед наступлением ночи влажность сгущается — менее чем через четверть часа после захода солнца выпадает обильная роса.

Я отправляюсь в Оливковую рощу, чтобы созерцать самую прекрасную картину уходящего дня. Некогда мы

любили это место по причинам, многие из которых утратили смысл, то ли раньше роща обладала большей привлекательностью, то ли мы были моложе. Мы наслаждались тенью, прислонившись к стволу дерева, растянувшись на небольших газонах, и предавались незатейливым воспоминаниям, а весенний ветерок стряхивал с ветвей мелкие дикие оливки, усыпавшие землю у наших ног. Тогда еще мы могли мечтать о чем-то значительном и великом в тени прекрасных старых деревьев рядом с гробницей отшельника с низким куполом, напоминавшей жертвенный алтарь. Я вспоминаю послеполуденное чтение «Эдипа в Колоне», переносившее нас в Древнюю Грецию. «Чужестранец, ты пребываешь в дивное время в Аттике, в Колоне, славном боевыми скакунами... Здесь каждый день расцветает окропленный небесными росами изысканный цветок нарцисса, древняя корона великих богинь. На этой земле произрастает дерево, не известное ни в Азии, ни на большом дорическом острове Пелопоннес, дерево, не возвращенное руками смертного, не нуждающееся в уходе, перед которым отступают копья врага. Нигде оно не вырастает столь мощным, как в этой стране. Это олива с матовой листвой».

Вдали среди деревьев ходили серьезные мужчины, одетые в белое. Виднелись белые башни города, отделенного от нас колючими изгородями опунции и алоэ. По узкой дороге, лежащей у подножия горы, проезжали полураздетые всадники — «укротители скакунов» на неоседланных низкорослых, нервно раздувающих ноздри лошадках, которые походили на своих тессалийских сородичей.

Сегодня священная роща Блиды изменилась до неузнаваемости. Все хиреет и чахнет. Бледнолистые оливковые деревья лишились роскошной кроны. Уже невозможно укрыться в тени редкой и жалкой листвы, подрагивающей на концах огромных ветвей. «Копья врага не отступили перед ними», ни Юпитер — покровитель священных олив, ни голубоглазая Минерва не помешают чужестранцам выкорчевать деревья.

Здесь давно уже не шумит арабский базар, хотя и не сыскать более живописного места для рынка. Сейчас ты можешь увидеть лачуги, военные бивуаки и арыки, прорытые, чтобы подвести воду к роще, — запоздалая помощь, неспособная воскресить гибнущие деревья. Сохранилась одна гробница, по-прежнему освещенная бесчисленными розовыми свечами и маленькими лампада-

ми, от которых распространяется, как в часовне, сладкий и таинственный запах воска и ладана. Памятник будет существовать, пока живы верования, и, возможно, переживет оливковые деревья.

Я забыл поделиться с тобой приятной новостью: прилетели аисты. Вчера я видел их первого посланца. Это случилось ранним утром, когда Блида еще спала. Он летел с юга при легком попутном бризе, редко взмахивая огромными белыми крыльями с черной кромкой. Тело птицы словно провисало «между двумя хоругвями». Стая вяхирей, ворон и мелких коршунов составляла веселую свиту, приветствующую желанного гостя гвалтом и хлопаньем крыльев. Поодаль парили орлы, устремив взгляд в сторону восходящего солнца. Я видел, как аист в сопровождении почетного эскорта устремился к Баб-эс-Себт.

У ворот после ночного перехода отдыхали арабы, они улеглись среди утомленных дромадеров под выючными седлами, предварительно разгрузив поклажу и поместив ее в центре бивуака. Когда священная птица пролетала над головами погонщиков, один из арабов заметил ее, вскочил и закричал: «Смотрите, аист летит!» Все сразу подняли головы и неотрывно следили за птицей, спрашивая друг друга: «Видишь?» Долго птица находилась в плену сомнений, то снижалась, едва не касаясь стен, то взмывала ввысь, вытянув ноги и озирая вновь обретенную родину. Казалось, аист уже собирается сесть, но тут ветер взъерошил его крылья и увлек за собой к озеру.

Аисты улетают с приближением осени и возвращаются ранней весной. Они редко показываются на равнине и никогда не живут в Алжире. Зато их великое множество в Медеа, в Константине и во всех горных городках. В Блиде, самом африканском и наименее восточном из всех алжирских городов, я затрудняюсь отыскать дом, сколь-нибудь высокую крышу которого не венчало бы гнездо. Каждая мечеть украшена одним или несколькими гнездами. Аисты оказывают честь каждому дому, попавшему в их поле зрения. Считается, что они, как и ласточки, приносят хозяевам счастье. Традиция освящена и закреплена притчей, оберегающей птиц: аисты — это тольба, обращенные в птиц за нарушение поста. Каждый год в дальних неведомых странах они обретают человеческий облик, а когда стоят на одной ноге, запрокинув голову к небу, и прищелкивают клювом, издавая не-

обычный клекот «куам... куам... куам...», — значит, души тольба, живущие в птицах, обращаются к молитве.

Некогда Юнона обратила в аиста Антигону, дочь Лаомедона и сестру Приама, в наказание за гордыню, которой преисполнила ее красота. Гению всех народов присущ дар переосмысления, поэтому повсюду существуют свои легенды: утонченная Греция, колыбель искусств, наказана в своем женском тщеславии, а набожный араб-чревоугодник понес кару за грех невоздержания во время поста.

Блида, март

Сегодня мы предприняли экспедицию вдоль Уэд-эль-Кебир. Вопреки эпитету «большая», входящему в название реки, Уэд-эль-Кебир — крошечная речушка, во Франции сказали бы ручеек, лишь зимой и в период таяния снега она превращается в бурный поток, а когда не питается талыми и дождевыми водами, становится едва заметной. Река берет начало на дне узкой неглубокой лощины, в веселой колыбели в скальном углублении, устланном листвой и заросшем камышом и олеандрами. Источник является на свет в тенистой прохладе, уединении и тишине, подобно мыслям, вызревающим в безмятежном сознании отшельника.

Еще несколько лет назад жители Блиды не покидали своего дома без ружья, считали необходимой предосторожностью держаться вместе и не расставаться с оружием, даже совершая короткую прогулку: источник находится в двух километрах от города. В наши же дни каждый с большим удовольствием отправляется к истокам Уэда, беззаботно дымя сигарой, чем гуляет в парке Тапи-Вер (Зеленый ковер).

Вдоль дороги до самого прохода в ущелье стоят мельницы и заводики, где развиваются начатки производства. Я никогда особенно не приглядывался к заводам, но полагаю, что там изготавливают кирпич. Неподалеку завершены работы по сооружению запруды, служащей регулированию воды в ручье. Вот почему прогулка приобретает интерес лишь через несколько сотен метров. Дорога уходит в лощину с очень живописными склонами, вокруг валяются обломки скал, сорвавшиеся с горных круч и разбросанные речным половодьем. Уэд течет по руслу — то песчаному, то выстланному гравием, напоминающим измельченный шифер, или же обтекает, слегка вспениваясь, мощные глыбы, если недостает силы стронуть их

с места. Скалистые откосы повсюду глубоко изрыты обвалами. Деревьев немного, лишь время от времени попадаются старые оливы, растущие почти горизонтально, вцепившись корнями в склон и нависая растрепанной кроной над тропой. Чуть дальше лощина расширяется и разветвляется оврагами. Растительность становится гуще, и каждая расщелина образует заваленную листвой воронку, на дне которой проблескивает вода.

Постепенно приближаешься к кладбищу. Оно не изменилось с тех пор, как ты его видел. Прежняя непроницаемая ограда из высохших деревьев и зарослей кустарника, мастиковых и миртовых деревьев, переплетенных лианами; в глубине тенистая роща из высоких темно-зеленых оливковых деревьев, еще более мрачных цератоний, огромных ясней и белоствольных осин, почти не уступающих размерами и горделивой осанкой платанам. В центре огороженного участка, куда солнце проникает лишь в разгар дня, спрятана укромная лужайка с разбросанными гробницами. Только три или четыре из них имеют форму небольших памятников высотой 4—5 футов, похожих на мечеть, с зубчатыми краями и конической куббой. Таково обычно место погребения религиозных деятелей или людей, прославившихся на иной стезе.

Старая хранительница кладбища присела у одного из надгробий, склонив голову на колени. На ее плечах неловко сидел халат в ядовито-желтую, ослепительно-красную и синюю полоску, голова покрыта черным платком, лицо наполовину скрывают седые волосы, в обнаженных руках тонкий и длинный стебель тростника — символ всех человеческих слабостей.

— О мать, да снизойдет на тебя благословение! — сказал Вандель. — Да будет счастливым твой день!

— Что вы здесь делаете? — спросила встревоженная старуха; наше внезапное появление испугало ее.

— Ничего плохого, — ответили мы и присели на один из стволов.

Розовая свеча горела в дупле поваленного дерева. Поверхность четырех гробниц, устремленных на восток, залита растопившимся воском; в нише на внутренней стенке самого древнего, разнообразно украшенного надгробия курится другая благовонная невидимая свеча.

— Вы ведь все знаете, — обратился я к Ванделю, — может быть, скажете, кем были эти люди?

— Людьюми, — с ноткой наставления ответил Ван-

дель. — Если вы будете настаивать, я назову их имена и расскажу скорее легенду, нежели реальную историю усопших. Есть ли в том смысл? Их время прошло, они жили в чужой вам стране, говорили на едва понятном вам языке. Не наше дело, творили они добро или зло, ведь мы лишены даже права зажечь в их честь розовую свечу.

Когда мы покидали кладбище, в ограду вошел араб; опустившись на колени, он припал губами к могиле святого и произнес третью молитву в час пополудни.

В нескольких шагах за кладбищем прячется деревушка — бывшее место отдыха аристократии Блиды. Сожженное и разграбленное в 1836 году, вторично разоренное в 1840 году, селение насчитывает не более пятнадцати жалких домишек, лишь один из них покрыт черепицей, остальные глинобитные постройки венчают тростниковые крыши. Сторожевые собаки с лаем путались у нас под ногами, дети кричали так громко, словно деревня подвергалась новой осаде.

Мы продолжали прогулку, философствуя о смерти.

— Я не верю в смерть, — говорил мой спутник. — Это темный проход, в который в определенный момент своей жизни попадает каждый. Многие люди, те, кто, подобно детям, боится мрака, испытывают смутное беспокойство. Я же трижды или четырежды находился на краю смерти и каждый раз видел по ту сторону маленький огонек, необъяснимый, но явственный, что успокоило меня окончательно.

Апрель

В последние три недели я часто виделся с Хауа; определенно мы стали добрыми друзьями. Уже само знакомство предвещало приятельские отношения. Вандель, готовый принять почти любое мое предложение, обычно сопровождает меня. Мы раскуриваем наргиле в его честь, как переводчик он имеет на это право. У наргиле три ответвления, поэтому каждый из нас располагает своей трубкой, и частенько общая беседа сводится лишь к булькающим звукам в хрустальной вазе, когда мы поочередно пропускаем дым через благоуханную розовую воду. Так, лениво раскинувшись на подушках, мы проводим удушливое послеполуденное время или вечера. Мне никто не мешает копаться в вещах Хауа, и я пользуюсь предоставленной свободой. Я открывал большие сундуки цвета киновари с медными запорами и попеременно из-

влекал на свет предметы туалета и драгоценности. Все вместе составляет удивительно богатый и разнообразный арабский гардероб: летние и зимние жакеты, изящные жилеты, украшенные золотом и серебром, с огромными пуговицами из драгоценных металлов, суконные и шелковые кафтаны; шаровары, повседневное и нарядное платье из простого хлопка, индийского муслина или тяжелой парчи, отделанной шелком и золотом; в придачу большой выбор фута, назначение которого обвивать женский стан, легкие апостольники в пару к тюрбану, головные платки и пояса — все имеет причудливые названия, лишённые смысла для непосвященных, и пестрит яркими красками. Драгоценности хранятся отдельно, завернутые в шейный платок: ножные и ручные браслеты, монисты из золотых монет, зеркальца с перламутровыми ручками; достойное место среди настоящих драгоценностей по своей роскоши и стоимости занимают туфли.

— Ты получила наследство от султана? — спросил я у Хауа в тот день, когда обнаружил роскошные и богатые наряды этой элегантной женщины.

— Все это мне досталось не от султана, а от мужа.

— Какого? — спросил ее Вандель, даже не подозревая, насколько уместна его шутка.

— Того, что умер, — ответила Хауа с ноткой грусти, как бы стараясь убедить нас, что она действительно вдова.

— А что ты сделала со вторым супругом? — спросил я.

Она секунду колебалась, побледнела, насколько может побледнеть лицо, никогда не знавшее живых красок, а затем ответила, пристально глядя то на одного, то на другого.

— Я его оставила.

— В конце концов, — заключил Вандель, — ты правильно поступила, если он тебе наскучил.

В тот же вечер Вандель навел справки у Хасана и выяснил, что Хауа действительно овдовела в первом браке и развелась через полгода после заключения второго. Больше Хасан ничего не сказал, и не знаю уж, почему упорно не называл мужчин, один из которых составил состояние, а другой — несчастье Хауа. Хауа — арабская женщина. Она родилась на равнине. Если сведения верны, ее отец принадлежал к сахарскому племени ариб; оно обосновалось (без законного основания) в Митиджа, рассеялось среди племен и промышляло мародерством

до 1834 года, когда администрация объединила всех его представителей, чтобы иметь в их лице помощника Франции. Итак, в жилах Хауа течет и немного крови сахарцев; более желтая кожа, грустный, а порой обжигающий взгляд, удивительные девические формы, которые никогда не будут испорчены обычной для мавританок полнотой, точно соответствуют ее происхождению. Мы полагаем, что супружество сблизило ее с племенем бени хелиль или, что более вероятно, с племенем хаджут.

Впрочем, вышеприведенные разъяснения касаются не нас, а скорее записи акта гражданского состояния, существуй нечто подобное у арабов. С тех пор ни разу не заходила речь о том, что приоткрылось нам случайно. Мы больше не вспоминаем о прошлом Хауа, разве что о разводе, но лишь для того, чтобы знать, что она свободна и ухаживания двух новых друзей никому не внушают подозрений. Шумный первый этаж, особенно когда раздражаются ссоры между соседками-еврейками, представляет контраст с тихим вторым этажом, где одиноко живет безмолвная Хауа, занимая галерею с негритянской Асрой и ее мужем, приходящим лишь на ночь. В любое время дня, исключая часы, отведенные на баню, мы находим ее в темном углу спальни сидящей или лежащей на диване, она подкрашивает глаза, играет зеркальцем, курит из томпака — мадонна, увешанная гирляндами из цветов. Мраморные, прохладные руки, восхитительные глаза с поволокой, неподвижные, будто утомленные смертельной праздной скукой: никого вокруг, ни семьи, ни детей. Она — редкий пример законченной и бесплодной красоты — живет, если это достойно называться жизнью, в ожидании неведомой участи. Сама судьба препятствует счастливому супружеству и лишает ее радости материнства. Чары, исходящие от этой женщины, производят странный эффект: они мимолетны и, полагая, не проникают в глубину сердца. Она соблазнительна, сама того не желая, не имея намерения обольстить. Мужчины, очарованные ее прелестями, слушают, созерцают, любят, не испытывая, однако, влечения к предмету поклонения. Она из тех причудливых созданий, которые странно выглядели бы в Европе, где женщина остается женщиной. Очарование, самопроизвольно исходящее от бесполезного и дивного существа, можно сравнить с тончайшим ароматом редкостного и изысканного цветка, возвращенного для восточного гинекея и призван-

ного украшать его и наполнять благоуханием в короткий период молодости.

— Вы говорите о цветах,— сказал как-то мой друг Вандель, когда я, как и сегодня, подыскивал сравнение красоте Хауа,— но не можете подобрать подходящего слова. Словами нельзя передать состояние, которому чужды всякие устремления и душевные порывы. Здесь необходимы бесцветные слова, и самое нейтральное будет наилучшим. Я предлагаю вам латинское *olet* (она благоухает). Добавьте эпитет для выражения прелести душистого флюида и скажите, что от нее исходит приятный аромат. Вот, я полагаю, и все, ну а нас переполняет чувствительность от близости благоухающего экзотического растения. Нам не угрожает никакая опасность, стоит лишь время от времени менять обстановку. Правда, возникают сомнения в человеческой душе.

Голос Хауа — живая музыка (я написал тебе об этом в тот день, когда впервые услышал его), скорее музыка, нежели речь. Ее голос так же легок, как пение птицы. Удовольствие во встречах с Хауа находит тот, кто испытывает слабость к неопределенным мелодиям и в ее щебете слышит шум ветра. Чтобы пробудить ее нежность, мы называем ее «*a'ini*» (око мое). А она отвечает «*habibi*» (друг мой) или «*go'ahdiali*» (душа моя); трудно представить себе что-нибудь более музыкальное и в то же время бесстрастное: именно так пел бы соловей, заключенный в клетку.

Мне сложно объяснить, что мы делаем в гостях у Хауа, как протекает время. Мы входим в дом, находимся в нем, расстаемся с хозяйкой, полные ярких и памятных впечатлений не более, чем накануне. Солнце, проплывая над двором, освещает спальню Хауа, проникает мельчайшей золотой пылью сквозь легкую ткань занавески, натянутой на дверях. Все озаряется на мгновение, внутреннее убранство — шелка, инкрустированная мебель, украшенные миниатюрами этажерки, расписной фарфор — охвачено огненными всполохами. Едва солнце опускается за террасу, спальня погружается в полумрак. Краски блекнут, золото тускнеет, дым наргиле приобретает густой синий оттенок, в печи занимается пламя. Вечер уже недалек, мы завершаем свой день.

Нам случалось ужинать у Хауа. В такие дни послеполуденное время проходит на кухне за растиранием перца, корицы и шафрана, за приготовлением кускуса. Асра печет медовые пирожки. Вандель не без оснований

хвастает тем, что был принят халифами трех провинций, и привносит в трапезу Хауа почти сказочные яства. Основу этой королевской кухни неизменно составляют мелко нарезанное мясо и изобилие сушеных фруктов; новизна блюд зависит от выбора, количества и остроты пряностей. Когда прекрасная светлоликая Айшуна — любимая подруга Хауа — случайно заходит к ужину или по светскому обычаю еще утром присылает маленькую негритянку Ясмину предупредить о своем визите, празднество становится полным: предстоит соревнование подруг в роскошестве туалетов и украшений. Именно вчера нам выпало такое удовольствие. Айшуна пришла к шести часам в сопровождении служанки, одетой в красное. Войдя в комнату, она сняла большое покрывало, сбросила у ковра сандалии из черной кожи и величественно, словно богиня, опустилась на диван. Она была великолепа. Ее ноги облегал фута, завязанный очень низко, узкий корсет, подобно ножнам кинжала, покрывали металлические пластины, легкая газовая шемизетка в серебряных мушках рассыпала блестящие звезды по обнаженным плечам и высокой груди. Причиной подобной легкости одеяния было вполне простительное тщеславие.

— Стоило ли вообще надевать одежду, — заметил Вандель при ее появлении, — если она столь прозрачна.

— Дорогой друг, — сказал я, — разве вам неведомо изречение индийцев, стыдливых почитателей прозрачности. Они сравнивают легкий газ с водным потоком. Прекрасная Айшуна разделяет их мнение, метафора служит ей одеянием.

Почти тотчас, приподняв портьеру соседней комнаты, появилась Хауа, покинувшая нас час назад. Она с достоинством предстала в царственном наряде женщин Константины, то есть в трех длиннополых кафтанах, надетых один поверх другого. Два кафтана из цветастого муслина; третий — из золотистого сукна — не имел складок и придавал неподвижность гибкому стану, как бы заключая его в ослепительные доспехи. Причудливо накрученный платок из того же золотистого сукна полностью скрывал волосы и доходил, как азиатская митра, до крутых дуг подведенных бровей. На Хауа было немного драгоценностей и вовсе не было колец — довольно редкая скромность, свидетельствующая, на мой взгляд, о безупречном вкусе. Тонкая линия сурьмы, которой были обведены великолепные глаза, удлиняла их, придавая им выражение невольной улыбки, а на лбу

священным и таинственным знаком красовалась крошечная бледно-голубая звезда. Она вошла, скользя босыми ногами по длинноворсовому ковру, и, встряхнув турецким носовым платком, пропитанным эфирными маслами, окружила себя благоуханием. Затем она приблизилась к низкому дивану, положила смуглую трепетную руку на обнаженное плечо подруги и скорее безвольно опустилась, нежели села, с таким выражением скуки на лице, которое невозможно передать.

— Дивная! — воскликнул Вандель, церемонно, будто королеву, приветствуя Хауа.

Мы ужинали на ковре, полулежа за инкрустированным столиком со свечами, покрытым негритянским хаиком, заменяющим скатерть. Прислуживали две негритянки, а муж Асры подавал подходящие случаю кувшин с водой и полотенца, вышитые цветным шелком.

После долгого ужина мы пили кофе, затем чай, непрерывно курили до десяти часов. Айшуна поднялась первой. Она закуталась перед уходом в модный в Блиде плотный хаик, но гораздо небрежнее, чем днем. Одна пола дважды обматывалась вокруг головы, другая скрывала тело, как обычный плащ. Я нашел высокую женщину более статной в величественной свободной драпировке, с выглядывющим из-под нее серебряным корсетом под обнаженной грудью, чем без покрывала. Я не сводил с нее глаз до самого конца галереи, по которой она бесшумно прошла в белом лунном свете. За ней следовала Ясмина, неся что-то тяжелое, завернутое в полу кроваво-красного хаика.

— Заметьте, — сказал Вандель, — это пирожные.

Вчера вечером, пока мы пили кофе у Хауа, разразилась гроза. В десять часов шел проливной дождь, крошечная тьма не позволяла ориентироваться, можно было только идти на ощупь вдоль стен. Нечего и думать, чтобы в такую погоду зажечь на улице лампу. Я попросил у Хауа разрешения провести ночь под ее кровом, она любезно согласилась, и мы остались.

— Не беспокойся о нас, — сказал я ей. — Си Бу Джаба будет всю ночь разрабатывать маршруты своих новых путешествий, я же — писать или лягу спать, если возникнет желание. Спокойной ночи, и до завтра!

— Спокойной вам ночи! — сказала она.

Она улеглась на диване, служащем ей постелью. Он представляет собой каменный помост, облицованный фаянсом и отделанный лепными украшениями. Сверху

положены три или четыре джерби, стеганый шелковый матрас, подушечки, дающие опору изгибам тела, и в изголовье атласные подушки. Хауа легла по арабскому обычаю, не раздеваясь, и мгновенно уснула.

Все замерло на улице и в доме. Евреи с первого этажа рано заперлись, забаррикадировали и законопатили единственную дверь, не имея иных средств воспрепятствовать проникновению воды в свое жилище. Даже дети умолкли. Ночь наполнилась барабанной дождевой дробью, водные потоки сбегали по террасам и изливались во двор, превратившийся в пруд. Я спустился вниз, чтобы запереть на засов дверь на улицу. Проходя мимо комнаты негритянской супружеской пары, я услышал, как негр Саид храпит, словно спящий лев, а Асра нежно мурлычет над колыбелью младенца, чтобы тот крепче спал.

Вандель сменил свечи, разложил рукописные карты — обычно в его карманах два-три свитка — и принялся прокладывать маршруты грядущих путешествий. Он дал мне свою записную книжку, дневник, иероглифическая путаница которого вполне соответствует характеру автора, и я не без труда знакомился с описанием его недавнего похода на восток Алжирской Сахары. Так мы скоротали дождливую ночь, мой друг — в раздумьях о новых путешествиях, я — в размышлениях о немногом, что довелось увидеть, и даже не помышляя о недоступных мне экспедициях.

Любезный друг, я не раз говорил тебе, что не считаю себя путешественником; я не более чем скиталец. Путешествия, в которых мне приходилось участвовать, ни в ком не пробуждали любопытства, ни у кого даже не возникало желания пройти по проторенному мной пути. Тщетно я брожу по дорогам мира: география, история и другие науки не обогатятся новыми сведениями. Хранимые мной воспоминания часто непередаваемы, ведь, несмотря на их безупречную точность, они не несут в себе достоверности документа, приемлемого для всех. Впрочем, ослабевая и преобразуясь, они становятся собственностью моей памяти и с большим успехом служат назначению, которое я, по праву или без оно, им уготовил. По мере искажения точной формы возникает новая, полуреальная, полувывымышленная; этой форме я отдаю предпочтение. Настоящий путешественник не таков, и описанный метод осмысления реальности подтверждает, что я не создан для дальних странствий.

— Вы бывали в Сиди Окба? — спросил Вандель, сле-

дую по пунктиру на карте от Бискры до Уэд-Грир.
— Да, во время второго путешествия.

— Помните мечеть и захоронение святого пастыря, одного из первых наместников Пророка? Обратили ли вы внимание на особую форму одного из примечательнейших памятников Зибана и знаете ли знаменитую легенду о нем?

Заметив мое замешательство, он продолжал:

— Чем же вы занимались в Сиди Окба, если вам неизвестно единственное, что представляет интерес?

— Любезный друг, день моего приезда выдался удивительно знойным и прекрасным. Раскаленное добела небо распростерлось незамутненным оловянным зеркалом над селением, беззащитным под испепеляющим солнцем. Меня повели осматривать мечеть, и я ее увидел. Мне рассказали ее историю, и я ее выслушал. Но особенно четко врезались в память последующие события. В саду нам приготовили угощение, на земле у подножия смоковницы расстелили циновки, а над головами натянули ткань, привязав углы к трем пальмам, образующим треугольник. Гостей потчевал сам каид, которого я мог бы вам описать. Неподалеку бродили спутанные взмыленные после утреннего перехода кони с раздувающимися ноздрями. Стоял полдень, и я назову вам точную дату: пятнадцатое марта тысяча восемьсот сорок шестой год.

Мы покинули змалу племянника шейха Эль-Араба, богатого и красивого, как все члены высокого рода Бен Гана. В дороге где-то на полпути от дуара к селению нас нагнал мчащийся галопом гонец-араб, который потратил на поиски все утро. Он сообщил, что должен вручить нам от коменданта записку и первую полосу газеты. Из записки и газеты с аншлагом «Французская республика» мы узнали неожиданную и очень серьезную, как вам известно, новость. После обеда в саду я внимательно перечел оба листка в кругу людей; ни один из них не говорил на моем языке, но каждый выказывал свойственную арабам чрезмерную подозрительность. Вы знаете, что в этой стране новости разносит ветер; даже пальмы уже бесшумно шелестели листвой. Я сорвал несколько пальмовых ветвей, они оказались покрытыми черной пылью, как бы соответствовали не только месту, но и обстоятельствам; я думал о своих друзьях во Франции. Случайный ружейный выстрел поднял сотни воробьев и горлиц, дремавших в тени дуплистых деревьев, и я помню, что,

глядя на испуганных, стремглав уносящихся птиц, подумал: вместе с ними меня покидает душевный покой. Точная дата политических волнений, неожиданно слившихся с африканской пасторалью, и букет пальмовых ветвей навеки отпечатались в моей памяти — вот все, что осталось от посещения Сиди Окба.

— Милая прогулка, — сказал Вандель, едва ли выслушавший первые десять слов моего рассказа. В сотый раз со времени знакомства прирожденный путешественник осудил художника.

Дождь перестал между четырьмя и пятью часами. Петухи, молчавшие с полуночи, подали голос. В соседнем фондуке забеспокоились животные, завозились на подстилках и — знакомый утренний звук — затыкали мордами в пустые кормушки. Взошла луна, истаявшая до последней четверти: над крышами показался опрокинутый рог, говорят, предвестник грозы, но он был слишком тонок, чтобы озарить ночь, и напоминал сломанное кольцо. Хауа ни разу не пошевелилась: ее туалет был по-прежнему безупречен, не образовалось ни одной лишней складки. Только ожерелья из белых цветов, которые она не снимает ни днем, ни ночью, увяли от тепла сонного тела; даже запах стал едва уловимым. Вид осыпанной любимыми, но умирающими цветами женщины, спящей без сновидений, в глубоком покое, вызвал, не знаю почему, горькие мысли, и я сказал Ванделю:

— Разве не является плохим знаком скорое увядание цветов в корсете женщины?

Вандель вместо ответа указал на восточное небо, где занималась заря.

— Вы правы, — сказал я ему, — день не должен застать нас здесь, пора уходить.

И мы осторожно вышли, словно страхась предстать перед целомудренными очами нарождающегося дня.





III

Алжир. Мустафа

Алжир. Мустафа, апрель



Я пишу тебе из Алжира, куда прибыл на негритянский праздник Бобов, который по обычаю отмечается ежегодно в апрельскую пору сбора первого урожая бобов. Почему именно бобов? В чем религиозный смысл праздника? Почему в разгар варварской церемонии жрец закалывает жертвенного быка, украшенного тканью и букетами цветов? Какую роль играют источник, очистительная вода и бычья кровь, кропящая толпу, словно священный дождь? Почему это празднество устраивают в основном женщины и для женщин? Ибо именно женщина распределяет кровь, первая черпает воду из источника, и если мужчины исполняют танцы, то женщины направляют действие. Во многих книгах приводятся подробные описания ритуала алжирского праздника Бобов, но позволь мне придерживаться в рассказе личных впечатлений.

Моему взору предстала блестящая своеобразная картина, и сегодня меня ни разу не посетила мысль о том, что эта чисто африканская церемония, представляющая собой смешение трагической торжественности и развлекатель-

ности, балета и пиршества, может быть чем-то иным, нежели великим зрелищем, созданным воображением жизнерадостного народа для удовлетворения своего тщеславия, нежели возможностью предаться безмерному веселью и неумеренности, вкусить раз в году праздничное великолепие и все дозволенные радости.

Праздник проходит на берегу моря, между полем для маневров и деревушкой Хусейн-Дей²² вокруг гробницы, спрятавшейся среди кактусов, на площадке, откуда открывается вид на бескрайние морские просторы и на Хамму.

Именно на этой возвышенности — невозможно лучше подобрать место для грандиозного представления — собираются две или три тысячи негритянских зрителей. Разбиваются палатки, устанавливаются импровизированные печи, устраиваются кухни на открытом воздухе — все происходит, как на наших сельских празднествах. Мавры, владельцы кофеен, прибывают с кухонной утварью, и сразу по окончании церемонии начинается угощение — в конечном счете самое важное событие дня. У подножия амфитеатра, расцвеченного платками и флагами, и на самом берегу моря расположились те, на кого возложено проведение церемонии, богомольцы, любопытные европейцы, арабы, желающие все увидеть воочию, и, наконец, несколько сотен негров, полных желания, энергии и решимости танцевать двенадцать часов подряд, что, между прочим, требует нечеловеческих усилий.

Процессия приблизилась, и мне едва удалось разглядеть жертвенное животное из-за плотной толпы, в которой каждый боролся за место. Несмотря на большое расстояние и на морской ветер, я услышал приглушенную, но все же устрашающую какофонию железных кастаньет, тамбуринов и гобоев, вдруг ворвавшуюся на пляж и возвестившую о прибытии кортежа. Толпа отхлынула, и я понял по ее концентрическим потокам, что бык находится посреди столпотворения. Через несколько минут кольцо разомкнулось, позволяя увидеть распростертую на песке жертву с перерезанным горлом, истекающую кровью. Самые ярые накинулись на только что забитое животное и, едва оно было обескровлено, тут же разорвали тушу на куски. Такие же, достойные быть названными

²² Хусейн — во времена Фромантена селение в окрестностях города Алжир, ныне — его район.— *Примеч. ред.*

бойней деяния совершились у гробницы и в непосредственной близости от источника, чтобы одновременно осуществить люстрации²³ и жертвоприношение. Затем многие спустились к источнику и все утро сновали с наполненными водой бутылочками. Возвращались довольные негритянки с лицами, забрызганными кровью; я обращаю твое внимание на важную деталь — пунцовая кровь терялась на пурпурных хаиках.

Представь по меньшей мере тысячу женщин, то есть значительную часть странного собрания, не одетых — ведь одинаковые покрывала скрывали великолепие бесчисленных красок, — а завернутых в красное и ярко-красное — цвета, лишённые оттенков, не смягченные примесями, пронзительно-красные, неподвластные палитре, к тому же воспламенённые солнцем и рдеющие на контрастном фоне. На сочном ковре весенней ярко-зелёной травы развернулась огромная выставка пылающих тканей, она выделялась на шероховатом синем фоне, дул ветер и по морской поверхности пробегал озноб.

Издали прежде всего замечаешь зеленеющий холм, обгаренный беспорядочно рассыпавшимися маками. Вблизи ослепительный эффект необычных цветов становится нестерпимым, и, когда собирается дюжина женщин в окружении так же одетых детей и образует единую группу, густо окрашенную киноварью, невыносимо долго смотреть на источник сияния, не боясь потерять зрение. Все бледнеет рядом с неподражаемым буйством красного, чья неистовая сила привела бы в содрогание Рубенса, единственного в целом свете человека, не страшившегося этого цвета, каким бы он ни был. Доминирующий пламенный цвет побуждает все другие краски сливаться в сочетании спокойной гармонии.

Сегодня негритянское население Алжира извлекло на свет содержимое своих сундуков; напоказ, без стеснения, с чрезмерной кичливостью бедняков, скупцов и дикарей выставляется неожиданная роскошь нарядов, украшений и драгоценностей; в гардеробе торговков лепешками и служанок хранятся сокровища, о которых никто и не догадывается, они предназначены для единственного праздника. Каждая из них, словно корабль, украшенный флагами, выставила все самое богатое, чем обладала, то

²³ Л ю с т р а ц и и — очищение посредством жертвоприношения.

есть самое причудливое и бросающееся в глаза. Ни одного грубого синего покрывала. Те, у кого не нашлось настоящих ковров, заменяют их клетчатыми, тусклых тонов хаиками, они же используются как палатки, навесы и солнечные зонты. Рабыни, нарядившиеся принцессами, радуются дню своей независимости.

Несравненная яркость восточной палитры сочетается с невообразимым и непредсказуемым негритянским многоцветьем: шелковые, шерстяные одежды пестрят красками; блузы, струящиеся рукава которых загораются искрами, вышиты золотыми и серебряными полосами, усыпаны блестками; скромные корсеты из ткани или покрытые металлическими пластинами, стянуты крючками, стесняют вздымающуюся грудь; воздушные трепетные фута из пестрого шелка обволакивают женские округлости, подобно радуге. Одежда щедро украшена: позолота, стеклянные бусы, жемчуг, золотые монеты старой чеканки, кораллы; кольцо из раковин, доставленные из Гвинеи; флакончики эфирных масел из Стамбула; ножные браслеты, арабское наименование которых *khgrôl-khgrâl* воспроизводит звук, издаваемый ими при ходьбе; сверкающие на черной коже золотые и серебряные безделицы. Представь еще три-четыре серьги в каждом ухе, зеркальца в тюрбане, браслеты, нанизанные на руку от запястья до локтя, кольца на каждом пальце, неизменное цветочное убранство и вскинутые кисти рук с носовыми платками вместо вееров, кажущиеся издали вспархивающими белыми птицами.

Кому довелось наблюдать негритянок лишь в повседневной жизни, когда они молчаливо торгуют в розницу на углу улицы, облаченные в угрюмые темно-синие одежды, тот не в силах представить, как преобразается склонный к бурным радостям народ, принаряженный и оживившийся в предвкушении праздника. Тут возникает живое лицо народа, дарованное ему природой; зной возбуждает, солнце не имеет над ним власти, а лишь будоражит, как ящериц. Странное племя, вызывающее тревожное чувство, словно неумолчно смеющийся сфинкс, полно контрастов и противоречий. Его, свободное в естественном состоянии, насильно переселяют, вынуждают привыкать к новому климату, поработают, чуть не сказал — да простит меня человечество! — приручают. Этот могучий и покорный народ безропотно терпит оковы, простодушно сносит бремя тяжелой судьбы. Он одновременно прекрасен и безобразен, с ласковым взглядом, хриплым голосом и

мягким говором; он жизнерадостен, хотя лицо его похоже на траурный лик ночи, а когда смеется, рот его сводит гримаса античной маски, придающая нечто уродливое даже самому милому человеческому лицу!

Веселье — истинная стихия этих людей. В несколько часов я увидел больше белых зубов и распутившихся цветов губ, чем за целую жизнь в европейском мире, в котором гораздо меньше места философии, нежели у негров. На торжествах были представлены все женские типы, отражающие невероятное разнообразие красоты. Черты некоторых дышали совершенством, а большинство отличалось своеобразием костюмов и манер. Я говорю только о женщинах, мужчины расположились в самой глубине картины. Покрывала обрамляли открытые лица и редко опускались ниже талии. Женщины сбились в аккуратные группки, толпились на склонах, будто в амфитеатре, ни разу не присаживаясь во время всего религиозного праздника. Зрители толпились на каждом возвышении. Обломки старой кирпичной стены служили в утренний час пьедесталом статуям, самым, может быть, прекрасным и молодым на празднике.

Это были высокие девы с сияющими глазами, упругими, словно шлифованный базальт, щеками, причесанные на египетский манер, несмотря на просторные покрывала и фута, каждый мускул этих форм так выделялся, словно их облегал влажные простыни. Они составляли единую линию, стоя лицом к пустынному горизонту; их силуэты очерчивались на голубой глазури моря с резкостью китайской росписи. Четыре или пять девушек были облачены в красное, а одна из них, в центре, стройная, худенькая, гибкая, как речной тростник, очень красивая, в черном тюрбане и пурпурном корсете с серебряной отделкой — в зеленое покрывало. Они или обнимали друг друга за талию, или сплетали кисти прекрасных рук с тонкими запястьями. Гордая посадка головы, высокая грудь; легкий изъяс фигуры, вызванный привычкой подолгу сидеть на корточках; поставленные вместе, как у богини Исиды, ступни довершают групповой портрет. Одни женщины распростерлись ничком прямо на траве, прижавшись грудью к земле, словно нежащиеся на солнце зверьки. Другие, чуть в стороне, болтали, третьи были поглощены своим туалетом, прикладывая к щекам цветы акации — придерживаясь парадоксального пристрастия именно к тому, что еще больше чернит кожу.

Безумолчный шепот, подобный птичьему щебету, наполнял воздух легким шумом, усиливал и без того необычное впечатление, которое производила армия темнокожих женщин. словно веселая утренняя заря застигла племя эфиопских амазонок или гарем сказочного султана. Несказанно красивое полотно; нечаянный союз ваяния и одежд, чистой формы и варварской фантазии ослепителен, но чужд нашему вкусу. Впрочем, сюжет заставляет на время забыть о вкусе. Оставим на сегодня правила, ведь речь идет о картине, вышедшей из повиновения, не имеющей почти ничего общего с искусством. Остережемся споров; давайте наблюдать. Так я и поступил, прогуливаясь среди праздничного люда, рассматривая, примечая детали; зрение стало средоточием жизни, взгляд погрузился без задней мысли и стеснения в водоворот красок.

Я уже говорил, что композиция строилась уступами на огромном и живописном пространстве, заросшем буйными травами, густыми зарослями алоэ и кактусов; а вокруг раскинулась лесистая равнина Хамма; фоном служит с одной стороны тенистый зеленый Сахель, на западе — Алжир, сбегаящий к берегу моря; на востоке — склоны кабийских гор; над головой чистое небо и солнце — божество идолопоклонников и истинный король празднества.

Мужчины, одетые в белое, сбились в плотную толпу на песчаном побережье, словно большое стадо, прижавшееся к воде. Танцы грянули к полудню и длились до глубокой ночи. Дьявольская музыка не умолкала ни на минуту, всегда находились охотники сменить измученных музыкантов и танцоров. Тем временем женщины расположились за трапезой.

В центре бивуака под самым роскошным пологом, над которым развевались знамена, восседал в качестве официального лица амин * негров Алжира: невысокий худой мужчина с вьющейся бородой и острым взглядом, похожий на дипломата. Он серьезен и приветлив, угощает кофе тех, кто заслуживает, на его взгляд, такой чести. Я долго рыскал вокруг и, вероятно, показался лицом значительным, раз он меня пригласил.

Я стойчески дождался вечера. Солнце нырнуло за холмы, когда я в плотной толпе в сопровождении музыкантов вернулся домой, разбитый усталостью, переполненный красочными впечатлениями, но довольный уходящим днем, с радостью, что запасся светом на сумрачные

дни, когда на ум нередко идут только печальные пейзажи.

Алжир, Мустафа

Наман умер, Наман — курильщик гашиша, тот самый, о котором я писал тебе в ноябре, что он сжигает свою жизнь в головке курительной трубки. Я видел вчера, как его пронесли по полю для маневров на носилках, покрытых красным сукном. Покойника несли друзья и соседи. По обычаю они ежеминутно менялись, не сбавляя шага, скорее, неровного бега. Говоря о соседях, я имею в виду ишсегдатаев кофейни Си Мохаммед эш-Шерифа, ведь Наман не имел иного пристанища, кроме задымленной лавочки кахваджи. Увидев знакомые лица в похоронной процессии, я обратил внимание на покойного и только тут осознал, что смерть прибрала давно уже полумертвого беднягу. До последнего часа он предавался пагубным привычкам: спал, курил, грезил, не покидая своего места и вдыхая дым, как живительный воздух. Он был поглощен любимым занятием и не казался ни более веселым, ни более грустным, чем обычно. Утром видели, как он раскуривал трубку и не расставался с ней до полудня. Вечером посетители заметили, что он не курит. Трубка, как и жизнь, угасла навсегда.

Я решил присоединиться к немногочисленному corteжу и проводить усопшего до кладбища. Церемония была короткой; носильщики внесли носилки в мечеть, где обычно раздевают умерших, словно в передней на пороге могилы. Тело, уже завернутое в саван, вынесли на руках. Два могильщика копали яму, почти как в известной сцене из «Гамлета»: один, стоя на дне, рыл, а второй относил землю в корзине. Когда могила была готова, туда опустили труп и засыпали его землей; яму закопали в десять минут. На поверхности возник холмик, будто образованный отвалом сохи.

Если у Намана не осталось наследников, что вполне вероятно, трубка попала в руки кахваджи, я ее выкуплю, и в один прекрасный день ты увидишь смертоносное орудие.

Ничего нового. Когда я поднимался к перекрестку, увидел Сид Абдаллаха, который полагал, что я уже вернулся во Францию. Он даже не спросил о Хауа. С волнением я вновь увидел свой дом, зимнюю темницу, и благоухающий сад. Луг превратился в колосющееся поле,

ожидающее жатвы. По нему бродят коровы, по брюхо утопая в траве. Воздух насыщен запахом сена. У меня нет причин оставаться в Мустафе. Вандель ждет меня в Блиде; завтра я выезжаю.

Блида, май

Не одна неделя пролетела со дня написания последнего письма из Алжира. Я провел это время насколько возможно в трудах, не покидая города, влажный и жаркий воздух которого способен склонить к апатии самого сильного человека. Состояние физического блаженства и забвения собственного «я», напоминающее ощущение после длительных ванн,— средство обольщения, сохраненное городом с давних времен. Сегодня 15 мая, значит, наступило лето. Длинные дни, тяжелый полуденный зной; надо уметь наслаждаться нежной утренней порой и мягкими вечерами и отдаваться сну в жаркое время суток, чтобы жить в согласии с местным климатом.

Вчера Вандель меня покинул, сказав, что отправляется неподалеку и намеревается отсутствовать недолго. Поскольку он даже не намекнул на отъезд, я был несказанно удивлен, проснувшись, едва забрезжил рассвет, и увидев в дверях комнаты своего друга, застегивающего походные гетры и скатывающего бурнус.

— Куда вы собрались? — воскликнул я.

— Уезжаю. Ночью я размышлял над тем, что меня охватывает оцепенение, что мной овладевают дурные привычки. Не могу сказать, куда именно я направляюсь, и не знаю, буду ли я вам писать, но в любом случае не ждите меня раньше июля. Если сами отправитесь в путешествие, оставьте ключ у Бу Диафа.

Бу Диаф — хозяин арабской гостиницы на улице Кулугли, у которого обычно квартирует Вандель, приезжая в Блиду. Имя его стоит иной вывески, ибо означает «отец гостя».

Полчаса спустя Вандель привел белую кобылу. Он увязал на спине животного скромный и легкий скарб, вскочил в седло и покинул меня. Я спросил себя, что со мной станет без Ванделя? Дом показался мне пустынным, и, осознав свое полное одиночество после расставания с другом, я понял, что тоже обрастаю тем, что Вандель называет не иначе как дурными привычками.

Сегодня вечером я совершил прогулку по городу (вот и снова зазвучало привычное «я»). Я следовал вдоль восточной стороны укреплений, тянувшихся сначала по равнине, затем по подножию горы. Я вышел в шесть и лишь около девяти вернулся к началу своего пути, из чего ты можешь понять, что шел я медленно и часто останавливался. Теплый вечер, невозмутимый, спокойный воздух. Очень рано на равнину опустился туман — доброе предзнаменование, и вскоре озеро и болотца покрылись дымкой белых испарений. Многочисленные ласточки постепенно исчезли с небосвода угасающего дня, в воздухе властвовали мириады ночных насекомых и комаров.

У Восточных ворот, у водопада, я обнаружил целый бивуак: не менее пятидесяти верблюдов, около тридцати погонщиков. Хотя уже стемнело, я сумел определить по внешнему виду, одежде, более темному цвету кожи, горящим глазам, что повстречал сахарцев.

— Откуда пришли? — спросил я.

Один из них ответил:

— Из Лагуата.

Лагуат — труднопроизносимое арабское слово из-за горланного звука «г». Я вслушивался в причудливое звучание, просил повторить название, чтобы слух насладился звуком. Впервые араб называл мне город с нежной и гордой интонацией, свойственной людям, рассказывающим чужестранцам о родной стране. Я спросил, сколько дней они в пути.

— Десять дней до Богара и два дня от Богара до Медеа.

— Дорога хорошая?

Мой собеседник сделал жест, выражающий у арабов превосходную степень, указал на гладкую дорогу, проходящую у бивуака, вытянул руку, желая выразить бесконечность длительного перехода, и сказал:

— Смотри, вон Сахара, — будто не существует на свете ничего, более прекрасного для человеческих глаз, чем необозримая пустота плоского горизонта.

— Мир вам! — пожелал я.

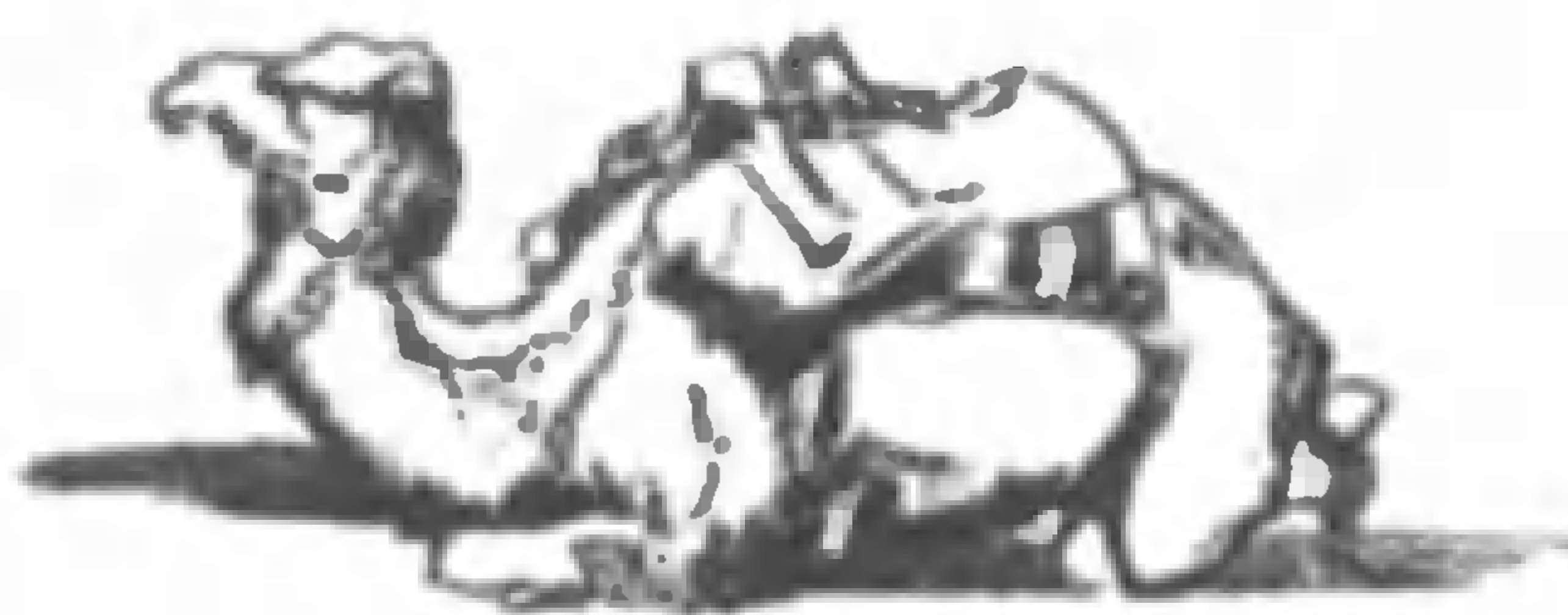
— Мир тебе! — ответил лагуатец.

На этом моя прогулка завершилась.

Прежде чем вернуться, я заглянул в кофейню Буджимы. Небольшая кофейня находится вне городской

черты, среди апельсиновых деревьев, как бы на островке посреди ручья. В заведении было пусто. Бу Джима дремал у своих печей под тусклой лампой. Я не стал будить хозяина и присел у двери. В горах то там, то здесь возникали и гасли огоньки, доносился собачий лай. Я смотрел на небо, сияющее всеми летними созвездиями. Сахарцы не выходили у меня из головы, и, сам не желая того, я отправился в путешествие. Когда я путешествую, будь то во сне или наяву, мой путь всегда лежит в одном направлении — на юг.

Полночь. Я ничего не решил, но, возможно, поднимусь завтра чуть свет, как Вандель накануне, с внезапным, но твердым намерением отправиться в дорогу.





IV

Равнина

Блида, август



Я возвращаюсь с юга, совершив — да простите мне чрезмерное тщеславие — любопытнейшее путешествие. Оно описано почти день за днем и переход за переходом в дневнике, независимом от настоящих записок²⁴. Мой сахарский дневник обрывается в Лагуате возгласом измученного тремя месяцами нестерпимой жажды путника. Я вернулся, могу в этом признаться, побежденный смертельной жаждой и влекомый на север безрассудным желанием увидеть прохладную воду, припасть к ней губами, погрузиться в нее.

Менее чем за шесть дней я проделал путь, на который

²⁴ «Одно лето в Сахаре».

ранее ушло десять. Я продвигался днем и ночью без сна и отдыха, не устраивая длительных привалов и спешиваясь не более чем на несколько коротких часов. В иссякших источниках находил грязную жижу вместо воды или, того хуже, зеленоватую пену, осевшую на дне. Я загнал коня, измучился сам, но меня не покидала уверенность, что силы вернутся, стоит добратся до цели. Выехав из Лагуата, я перестал записывать температуру воздуха. Помню лишь, что в четыре часа, в день моего отъезда, на термометре не хватало одной десятой до пятидесяти градусов.

Я уже оседлал коня, когда сам кюре передал мне записи последних наблюдений, которые храню до сих пор, как память о климате, внушавшем мне ужас все последние дни пребывания в пустыне.

Расставшись с Лагуатом после воскресной вечерни — как сказали бы в христианском государстве, — уже в пятницу в половине девятого я достиг Богари. Сразу же устроился в караван-сараяе и провел там весь день со слугой и погонщиками верблюдов, лежа на жесткой скамье в тени, где было лишь немного прохладнее, чем на солнце.

Вечером во дворе фондука появился всадник; я сразу узнал Ванделя. Проведав сначала о моем отъезде, а потом о возвращении, он решил перехватить меня в Богари, подозревая, что я не стану подниматься в Богар.

— Прекрасно! — воскликнул он, пристально меня разглядывая. — На сей раз вы похожи на путешественника.

— Любезный друг, я смертельно хочу пить! — взмолился я.

Я смотрел на Ванделя так, будто уже один вид друга, возвращающегося с севера, мог утолить жажду.

На следующее утро в половине четвертого — еще сияла луна и едва разгорался день — мы вместе двинулись по дороге, ведущей в Медеа. Мы оба с пользой провели три месяца разлуки; он обогатил свои познания, я — коллекцию этюдов.

— Кто же сумел склонить вас к путешествию? — спросил Вандель.

Я не стал говорить, что его собственный пример побудил меня тронуться в путь, а рассказал лишь о мимолетной встрече с сахарцами из Лагуата.

— И что же вы там увидели?

— Лето, — ответил я.

— Довольно туманно,— заметил Вандель,— впрочем, у каждого своя точка зрения.

Урожай давно убрали, и долина Уэд-эль-Акум вновь превратилась в безликую, иссохшую, пыльную землю. Солнце сожгло последние комли соломы, оставшиеся на жнивье. Ужасающий зной царил даже в горах под защитой деревьев. Сосны испускали удушливый запах смолы. Стрекот стрекоз сливался с хрустом сухих ветвей, создавая впечатление потрескивания при пожаре. Лишь в два часа удалось обнаружить источник, достойный своего имени.

Глубокий водоем был наполнен прозрачной ледяной водой, он притаился в тени огромных деревьев и словно покоился в корзине среди распустившихся олеандров.

— Видишь? — обратился я к сахарскому башамару. — Вот такая вода в моей стране.

Башамар зачерпнул горсть воды и сделал глоток, пробуя, как незнакомый напиток, затем оглядел каменистую тропку, вьющуюся по темным склонам холма, деревья, совсем непохожие на пальмы, и просто произнес:

— Все благо, что создано богом.

Я думал точно так же и, утолив первую жажду, сказал жителю Сахары:

— Ты прав, твоя страна самая прекрасная в мире.

На одиннадцатый день после выхода из Лагуата я прибыл домой, в этот момент кипарис, служащий мне часами, показывал чуть больше четырех.

Блида, август

— Откуда ты? — спросила Хауа, когда мы встретились.

— С юга,— сказал я и назвал Лагуат.

— Сахара — родина моего отца,— добавила она с равнодушием последователя Спинозы, которому говорят об адамовом рае.— Но почему ты меня оставил?

Я привычно устроился на диване и ответил:

— Чтобы не тревожить тебя в летнюю сиесту.

Она почти не изменилась за три месяца, разве что стала чуть более томной, да, пожалуй, гораздо легче одетой. Айшуна, как мне сообщили, танцует на скромных праздниках, то ли балах, то ли концертах, и, говорят, пользуется большим успехом. Брадобрей Хасан сказал, что беспокоился по поводу моего внезапного отъезда и долгого отсутствия. Чтобы придать вес словам, он пере-

межал свою невнятную речь французскими выражениями, например, «мой дорогой» и «черт возьми». На другой день после приезда я повстречал и писаря Бен Хамида. Очаровательный юноша выглядел свежим и отдохнувшим, словно вышедшая из бани девушка. Я заметил его издали: он шел, плавно покачиваясь, на нем была длинная накидка нежного цвета, а в руке он держал будуарный веер.

— Прекрасное лицо — добрый гений, — сказал Вандель, желая доставить юноше удовольствие.

Бен Хамида расспросил меня о путешествии, о перспективах французского поселения в Лагуате, о настроениях сахарских племен, поинтересовался их поведением, тем, что говорят о шерифе, возмутившем спокойствие на юге, чего опасаются с его стороны, и все это с естественной любознательностью просвещенного человека, небезразличного к политике своей страны. Я уверил собеседника, что Лагуат станет в наших руках надежным и прекрасно защищенным пограничным постом, что страна здорова и пригодна для жизни. Когда я сказал, что мы ею овладели вопреки желанию арабов и сумеем удержать, невзирая на климат, он лишь улыбнулся и ответил с восхитительной дерзостью:

— Многие сильные мира сего были повержены мухой. На этом он с нами распрощался.

— Этот чертенок сражается, подобно парфянам²⁵, — заметил я на его поспешный уход.

— Да, выпуская из своего лука стрелы пословиц, — сказал Вандель. — Жаль, что он так быстро показал спину, я мог бы послать десяток ему в ответ.

Теперь, когда я погостил в царстве вечного лета, оно уже не может ни научить меня ничему, ни подарить неизведанные переживания. Я не жду ничего нового от относительно изменчивого климата в краю, где солнце, словно перелетные птицы, появляется или отправляется в кочевье в зависимости от времени года. Стоит прекрасная погода, но совсем не та, что на юге. Очень жарко, но зной мягок; очень сухо, но сухость не идет ни в какое сравнение с грозным и древним как мир бесплодием, оберегающим границы Сахары. Здесь же струятся ручейки, вечерами курится озеро, с болот поднимаются испарения; горизонт заволакивает дымкой, небо уже не мед-

²⁵ Парфянские всадники имитировали бегство и выпускали через плечо стрелы; отсюда выражение «парфянская стрела».

ного цвета, а затянута в синий бархат. Сбор урожая закончен, скошены травы, убраны сельскохозяйственные культуры; равнина встречает сентябрь нагой. Ощущается дыхание осени, готовой в любую минуту вступить в свои права.

Я с легкой грустью привожу в порядок дневник и дорожные зарисовки; виденное в далекой стране выявляется при сравнении заурядность и незначительность того, что лишено истинной красоты и не наделено глубоким смыслом. Блида — своего рода нумидийская Нормандия, ее принято посещать, но вряд ли она достойна внимания путешественника, возвращающегося с юга. Великое сменяется малым. Нет такого сада, даже в Африке, который стоил бы оазиса, а пустыня способна посрамить величайшие равнины.

День занимается между четырьмя и пятью часами. Я невольно пробуждаюсь, едва начинает светать, — привычка, нажитая в краю, где нет определенных часов для сна, где никогда не засыпаешь глубоко. Комната наполняется бледным светом и неотчетливыми звуками. Я вижу, как расцветает заря над линией зеленого лесистого горизонта. Я прислушиваюсь: играют зорю. Вот уже два месяца эта мелодия заставляет учащенно биться сердце; она не знает себе подобных в богатстве острых и единственных в своем роде переживаний, навеваемых памятью. Слышится ржание лошадей и крик верблюдов; под окном проходят, мягко ступая, босоногие люди; переменчивый бриз, предваряющий явление солнца, легонько шевелит листву на апельсиновых деревьях; воздух прогрет, тиха утренняя пора. Неужели я еще в Сахаре? Ежеутренняя иллюзия мимолетна: она длится короткий миг осознания обстановки, я замечаю, что надо мной не натянут саван противомоскитной сетки, легко дышится, не слышно жужжания мух, и вновь понимаю, что нахожусь в ином мире. Я просыпаюсь с чувством безмятежности, пытаюсь отыскать в гуще мирных ощущений тайную тревогу и предчувствие близкой опасности. Жизнь уютна, климат целебен, природа милосердна. Тогда я испытываю странное сожаление и с безразличием наблюдаю, как текут чередой дни, уже не таящие ничего угрожающего.

Уличные шумы, отблески солнца, смутные неотчетливые формы, сероватый блеск зари сквозь открытое окно, приветствие из глубины души всему, что пробуждается вместе со мной, — так начинается каждый новый день. Не

моя вина, что природа властно вторгается в мои записки. Я предоставляю ей то место, которое она занимает в моей жизни. Действовать в атмосфере живых впечатлений, творить, не порывая связей со средой, зеркально точно, но осознанно отражать внешний мир, не сдаваясь в плен окружающим нас предметам, наконец, подчинить собственную судьбу законам, по которым поэты слагают стихи, иными словами, заключить яркое событие в оболочку мечтательности, заменить слова Теренция «*Нотосум: humani nihil a me alienum puto*»²⁶ на «Ничто чудесное мне не чуждо» — вот, друг мой, какова истинная мера жизни.

Сегодня я читал книгу об Алжире, опубликованную в 1830 году, и неожиданно натолкнулся на деталь, поразившую меня, несмотря на всю свою незначительность. Название книги — «Очерк об Алжирском государстве». Автор — американский консул У. Шалер. В ней приведены самые точные и верные сведения, когда-либо изложенные письменно, о положении алжирского правительства в ту прелюбопытнейшую эпоху, когда правители флибустьеров вмешались или скорее были замешаны в европейские политические распри и перешли от разбоя к дипломатии. Автор, служивший регентом с 1815 года, стал свидетелем царствования Омара и получал секретные послания от дея Хусейна. Он завершил работу над книгой в 1825 году, когда вновь была готова вспыхнуть война с Англией. Ситуация осложнилась, английская эскадра блокировала город, грозя новым обстрелом. Шалер наблюдал военные приготовления англичан из здания консульства, следил за происходящим на рейде, точно фиксировал передвижение в порту: прибытие кораблей, их число, вооружение, порт стоянки; интересовался погодой, направлением ветра, температурой, присовокупляя сведения, поступающие из касбы (крепости). Записи, ведшиеся ежечасно изо дня в день, составили своеобразный исторический дневник, изобилующий живописными подробностями, подмеченными наблюдательным взглядом.

Вот запись, занесенная в дневник 14 июня 1825 года: «Сегодня вечером мы любовались прекраснейшим феноменом природы, составляющим резкий контраст с мрачным ликом войны и естественным в этой стране беспо-

²⁶ Я человек и считаю, что ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

койством. На закате в саду консульства зацвел кактус *Selenicereus grandiflorus*. В восхитительном лунном свете расцвел эфемерный нимб; тонкий аромат цветка чувствуется на расстоянии в несколько туазов, а по всему саду разлит крепкий запах ванили.

15 июня. Большую часть дня горизонт затянут густым туманом. К пяти часам вечера туман частично рассеялся, и в открытом море видны шестнадцать английских боевых кораблей. Прекрасный цветок, распустившийся прошлой ночью, утром уже закрылся, а к вечеру засох на своем стебле».

На следующий день дипломат продолжает рассказ о блокаде. Мне кажется, что незначительная деталь, словно случайно введенная автором, оживляет размеренное повествование. Теплый туман, редкое растение, цветущее только одну летнюю ночь, бутон, раскрывающийся на короткие часы, — образуют законченный пейзаж. Разве он бесполезен? Не думаю, ведь он придает полотну местный колорит, напоминает об облеченном в плоть Алжире, служит фоном самой истории, которая не утрачивает от этого величия. Доведись мне выступить в роли историографа какого-нибудь политического или военного события, можешь не сомневаться, я безотчетно тоже отыскал бы возможность взрастить в определенный момент либо среди политического бесплодия, либо на поле брани нечто наподобие *Selenicereus grandiflorus* американца Шалера.

Сентябрь

Мы возвращаемся к хорошо тебе знакомой жизни, к старым местам, в прежние дома, не отклоняясь от колеи старинных привычек. Мы работаем, Вандель вновь обратился к геологии. Он никуда не выходит без молотка и, где бы мы ни были, словно дорожный рабочий, принимается дробить камни. Я помогаю переносить образцы. Ими усыпан пол его комнаты. Именно здесь он хранит и классифицирует камни, по-видимому даже не задумываясь о том, что рано или поздно нам придется переезжать. Из последнего похода Вандель принес кипу любопытных набросков: вертикальные разрезы гор, скалы различной формы с детальным изображением внутренних напластований. Трудно представить более четкие, точные и тщательно выполненные эскизы. Каждый контур обведен аккуратными тончайшими линиями, словно высечен отточенным резцом. Разумеется, никакой светотени, только

архитектура, воспроизведенная независимо от воздуха, цвета, впечатлений, одним словом, всего того, что составляет жизнь. Холодные и выразительные структуры напоминают геометрические фигуры. Вандель не придает художественного значения рисункам, которые называет планами, и удивляется, если я позволяю себе усомниться в похожести изображенных мест или оспариваю их точность. Я охотно признаю безошибочность, но отрицаю сходство или же, допуская сходство, отвергаю реалистичность. Наши разногласия служат отправной точкой дискуссий, приводящих нас через тернии теорий, о которых ты догадываешься, к взаимоисключающим выводам.

«И все же,— обратился он ко мне сегодня,— объясните мне, какой вы, собственно, представляете эту страну. Вы называете ее то своеобразной, то прекрасной; рассуждаете то о наивности ее народа, то об его упорстве, попеременно ссылаетесь то на независимость, то на традиции. Одной ногой стоите на земле, другой — в музейном зале. Не слишком ли рискованное упражнение? Возможно ли удержать равновесие в такой позе?»

«Дорогой друг,— ответил я,— одна из слабостей нашего времени заключается в стремлении осуществить то, на что не решались — не из робости, а из глубокой мудрости — величайшие из великих, к тому же делаем это с превеликим рвением и верой в несбыточные мечты. Когда-то вещи были не столь сложны, а люди значительнее, возможно, причиной тому их простота. Во всяком случае, они шли прямо к цели, а средства ее достижения были немногочисленны. Утверждают, что цель не изменилась; позволю себе усомниться, ведь перед нами тысяча открытых дорог, а каждый выбирает свой собственный, окольный путь, чтобы до нее добраться. В прошлом никто не задумывался, что существует еще что-то помимо виденного каждый день: прекрасные человеческие формы, равноценные красивым идеям или живописным пейзажам, то есть деревьям, воде, земле и небу. Воздуха, воды, земли — трех стихий из четырех — было уже достаточно. Каждый предмет окрашивался в свой основной цвет, каждая форма отливалась по изначальному образцу, не для того, чтобы исправить, но проявить самое главное, руководствуясь чрезвычайно скромным и вместе с тем очень гордым принципом: любое произведение искусства справедливо отводит природе инициативу в сфере прекрасного, а за нами оставляет право постижения и раскрытия его сути. Описанную умственную операцию называют

украшательством или творчеством, что ошибочно лишь наполовину, а, возможно, это вообще злоупотребление словами».

После несколько тяжеловатого вступления, втянутый в изложение принципов, к которому я не готовился — все это вылилось само собой, — я продолжал, друг мой, рассуждать, бредить, принимая факты за свидетельства, приводя в пример тех, кого мы именуем мастерами, и — как ты сможешь заметить — без всякого порядка и метода.

«Нас погубило, — примерно в таких выражениях я изъяснялся, — любопытство и пристрастие к анекдотам. Эта истина давно на устах, она справедлива, но непоправима. Раньше человек был всем. Человеческое лицо заслуживало поэмы. Природа возникала за спиной человека лишь в качестве ореола, заменяя черный фон портретистов и золотые нимбы итальянских предтеч Возрождения. Ваяние и живопись протягивали друг другу руки, казалось, что старшая сестра поддерживает живопись. Последняя не избавилась от примет общего происхождения и формирования, но обрела индивидуальное значение, сохранив отвлеченную и рассудочную выразительность скульптуры. В величайшую эпоху итальянского Возрождения братство двух искусств-близнецов было так велико, что человек, объединивший и почти сливший их воедино в своих произведениях, остается первым художником в мире, пусть не столь безупречным, как древние греки, но более совершенным. Я не думаю, что Страшный суд может быть чем-то иным, нежели гигантским красочным барельефом, композиция которого пронизана движением. В тот день, когда произошло разделение, искусство обеднело. Оно видоизменилось, когда в живопись был привнес *сюжет*, и окончательно было повержено в тот прискорбный день, когда *сюжет* стал смыслом его существования. Иными словами, *жанр* уничтожил великую живопись и извратил даже пейзаж.

Сюжет, как и *жанр*, восходит к далеким временам. Если бы мы искренне пожелали обратиться к истокам, то, наверное, тем самым проявили бы неуважение к достойным почтения именам, которые я не рискну произвести даже в кругу близких. Франция всегда была слишком рассудочной, что не принесло счастья ее великим сынам. Возможно, мы скорее бы признали гениальность за властителем дум восемнадцатого века, не обладай он такой остротой ума; вместе с тем мы почти не замечаем,

что величайшему французскому художнику семнадцатого века в равной мере присущи живость ума и здравый смысл. Здравый смысл и ум, остроумие и логика — вот истинно галльские качества, о которых итальянцы и не подозревали или, во всяком случае, никогда их не выказывали. Пуссен современен помимо собственной воли, вопреки собственным традициям, несмотря на утонченное чувство античности. Пусть он жил и умер в Риме, но остается, в сущности, нормандцем из Лез-Андели, соседом Корнеля и родственником Лафонтена. Напрасны его старания, сквозь серьезность пробивается юмор. Он задумчив, что не мешает ему рассуждать; он оригинален, патетичен, наставителен и вовсе не наивен в том простом смысле слова, который придавали ему древние. Великое искусство не рассуждает, во всяком случае, не делает умозаключений; оно представляет, мечтает, видит, чувствует, выражает, то есть использует простые и бесхитростные приемы. Чем же является сюжет, если не анекдотом, введенным в искусство, не фактом, заместившим пластическую идею повествованием, когда таковое имеется, сценой, точным описанием костюмов, правдоподобием впечатлений, одним словом, исторической либо живописной достоверностью? Возникает строгая последовательность и причинно-следственная связь. Логика, привнесенная в сюжет, прямо ведет к местному колориту, иначе говоря, заводит в тупик, ибо, достигнув этой цели, искусство исчерпывает себя, утрачивает смысл существования.

История религии, Ветхий и Новый завет поднимались над анекдотом до эпопеи благодаря возвеличиванию идеи до веры, прикосновению к сущности верований, их превращению в легенду под покровом таинственности. Но при каком условии? Лишь став *credo* взволнованной души, как у монаха да Фьезоле, или отлившись в высокую форму, как в произведениях великих безбожников Леонардо, Рафаэля, Андреа дель Сарто. Сюжет всегда был для них лишь мотивом для изображения апофеоза человека во всех его проявлениях. Когда композиция становится более подробной, приходится делать выбор: либо преобразить сюжет, как это делали венецианские рисовальщики-колористы, то есть отказаться от подлинного цвета, пренебречь историей и хронологией, что приведет к созданию эпической фантазии, в глубине которой сюжет остается незамеченным; либо не стремиться к точности, что умалит само искусство. Понимание сюжета

венецианскими живописцами показывает, сколь мало они им дорожили. Что видит Тициан, когда пишет „Положение во гроб тела Христа“? Контраст, пластическую идею — мертвенно-белое тело несут полнокровные люди и оплакивают крупные рыжеволосые ломбардские женщины, одетые в траур, подчеркивающий их красоту; именно так понимается сюжет. Вы видите, сколь незначительно стремление к достоверности; жажда новизны не больше, чем желание быть точным. Красота — вот первое и последнее слово, альфа и омега почти забытого сегодня катехизиса.

Нежданно-негаданно лет двадцать назад, исчерпав древнюю, а затем и местную историю, художники — со скуки или по какой иной причине — отправились в дорогу. Именно в этот период возникает новая страсть: я говорю о страсти к приключениям и вкусе к путешествиям. Заметьте, что путешествие начинается тогда, когда целью становится желание познать разнообразие природы. Расстояние значения не имеет. Можно не выезжать за пределы Сен-Дени и все же привезти с берегов Сены произведения, которые я называю путевыми набросками. Напротив, можно совершить кругосветное путешествие и создать произведения — назовем их просто картинами — общего характера, лишенные местного колорита и не нуждающиеся в отметках и печатях о проделанном пути. Словом, нельзя путать двух разных людей — путешественника, который рисует, и художника, который путешествует. Между ними, как вы видите, большая разница. И в тот день, когда доподлинно узнаю, к какому типу отношусь сам, я смогу вам определенно ответить, какой представляю себе эту страну».

Мы как раз находились на рыночной площади. Группа туземных детей состязалась в ловкости и сноровке — занятие, привычное для наших юнцов, и, я полагаю, космополитичное по своей сути, ведь ему предаются в Ирландии с не меньшей радостью, чем на Востоке. Игра заключается в том, что поочередно бросают шар, палку или что угодно, не слишком тяжелое, что можно легко поднять и далеко зашвырнуть. Каждый играющий вооружен палкой и стремится первым завладеть шаром, чтобы забросить его вновь. Игроки — симпатичные бойкие маленькие мавры восьми-двенадцати лет; хитрые мордашки, большие и красивые глаза, безупречный, как у женщин,

цвет лица. Руки обнажены, из распахнутого жилета выглядывает хрупкая шея, просторные шаровары закатаны до колен, чтобы не мешать бегу, маленькая красная *шешия*, напоминающая шапочку хористов, едва прикрывает макушку симпатичной бритой головки. Каждый раз, когда кто-то добежал до шара и кидал его дальше, вся ватага устремлялась за ним плотной толпой, словно стадо газелей. Они бежали, непрерывно жестикулируя, теряя головные уборы, пояса, не обращая на это внимания; неслись к цели, будто летели над землей, ибо виднелись только голые пятки в клубах пыли, невесомое облако которой, кажется, несло бегунов.

Было два часа. Рыночная торговля закончилась, площадь опустела. Каре низких домов без кровель, один или два кипариса, торчащих над террасами, гора вдали, чей неровный силуэт прочерчивал чистое небо на горизонте, огромная плоская равнина — вот и весь пейзаж. Матово-белые стены домов почти не облупились, кипарисы черны, гора откровенно зеленая, небо ярко-голубое, равнина цвета пыли, то есть почти сиреневая. Единственный островок тени среди ослепительного моря света виднелся со стороны площади, там, куда клонилось солнце. Тень, расцвеченная небесными отблесками, — если не брать во внимание оттенки, — сама стала голубой.

«Хорошо ли вы видите площадь и детей? — спросил я у своего слушателя. — Безыскусственная сцена отвечает требованиям *жанра*; обрамление обладает двойным преимуществом: простотой и местным колоритом. Возьмем, к примеру, эту словно заранее подготовленную картину, которую так же легко воспроизвести в красках, как описать словами. Какой бы мы ни взяли пример, Восток вполне может поместиться в тесной рамке.

Итак, да позвольте мне в свое удовольствие побыть педантом, что же мы видим? Детей, играющих на солнце? Площадь, залитую солнцем, где играют дети? Вопрос правомерен, ибо определяет две совершенно различные точки зрения. В первом случае пейзаж рассматривается как вспомогательный фон на жанровом полотне; во втором — пейзаж выступает на передний план, а человеческие лица приносятся в жертву, их роль совершенно незначительна, они отступают на задний план. На вопрос, порождающий множество мнений, каждый ответит согласно собственному темпераменту, наметанности глаза и особенностям таланта. Пейзажист увидит пейзаж, жанровый художник — сюжет; один различит красоч-

ные пятна, другой — костюмы, третий передаст общее впечатление, четвертый отметит движения, кто-то, возможно, лица. В зависимости от расстояния, с которого мы будем смотреть на детей, они станут всем или ничем; представим, художник расположился настолько близко, что портрет каждого приобрел доминирующее значение, — тогда картина совершенно преобразится. Мгновенно исчезнет пейзаж, сохранятся лишь намек на залитый светом фон и приметы восточного колорита. На первый план выйдет четко прорисованная группа — дети, пылко отдающиеся веселой забаве; особую ценность обретут экспрессия движения и выражение лиц тех или иных персонажей. Цепь последовательных изменений ведет нас от постепенного вытеснения среды к полному ее замещению, от укрупнения группы к ее опрощению. Даже костюм становится второстепенной деталью в композиции, ее основной интерес представлен человеческими фигурами и лицами. Одним взмахом кисти мы преодолеваем двойную преграду, уничтожаем солнце и непомерную освещенность — они не заботили ни одного художника мира, писавшего людей.

Во что же превратился фон — белая площадь, зеленые кипарисы, ослепительное полуденное солнце? Чем же стал своеобразный местный колорит, имеющий перво-степенное значение, если мы хотим привязать изображаемую сцену к определенному месту действия, и, напротив, бессмысленный, если стремиться к обобщению? Мы подошли к отвлеченным понятиям; выбор более строгой и обобщающей точки зрения побуждает, желаем мы того или нет, расстаться с природой ради композиции, рождающейся в мастерской. Мы отказываемся от относительной достоверности во имя истины в широком смысле слова, которая тем более близка к абсолюту, чем менее выражены ее конкретные, местные, приметы. Маленькая уединенная площадь в Блиде, ярко освещенная жгучим солнцем в погожий летний день, красные куртки и белые шаровары, милые дети, зной, ребячий гвалт, непостоянство ежесекундно меняющейся сцены — все это составляет совокупность многообразных впечатлений, пленяет и чарует, открывая нам индивидуальный характер восточного полотна. Мне знакомы художники, которые в данном случае обратятся лишь к самому необходимому; по их мнению, наибольший интерес представляют дети, но не юные жители Блиды, а сама их принадлежность миру детства.

Прием, благодаря которому наше сознание избирает точку зрения, определяет сцену, выделяя ее из мешающей восприятию главной среды, жертвуя декорациями, не столько показывая, сколько взывая к воображению зрителя; забота о выявлении того, что подлежит объяснению, незримое присутствие аксессуаров; искусство обозначения предмета намеком и умение создать в воображении зрителя образ, не запечатленный на полотне, великое искусство самобытного истолкования натуры, порой слепое копирование, а иногда полное пренебрежение; зыбкое равновесие правдоподобия, взывающее не к точности, а к достоверности, требующее писать, а не описывать, создавать не иллюзию, а впечатление жизни,— все это выражается обычным словом «интерпретация», которое порождает разные толкования, возможно, потому, что никто не удосужился правильно определить названное понятие.

Вопрос сводится к тому, поддается ли интерпретации Восток, и если да, то в какой мере? Не означает ли интерпретация разрушение? Я не стремлюсь к парадоксам; я изучаю. Я вовсе не пытаюсь возражать, а лишь привлекаю внимание к возможности возражения. Поверьте, мне нелегко дается злословие о стране, которой я многим обязан.

Восток весьма своеобразен. Для нас, художников, его главный недостаток в неизведанности и новизне, в том, что при первом знакомстве он пробуждает чуждое искусству любопытство — самое опасное чувство (я был бы не прочь упразднить его). Восток — явление исключительное, а история учит, что прекрасное и непреходящее никогда не создавалось с помощью исключений. Он не подчиняется всеобщим законам, которым только и стоит следовать. Наконец, он обращается к зрению и лишь в незначительной мере к разуму. Я думаю, он не способен взволновать. Я имею в виду людей, которые не жили в этом краю и не могут его понять, поскольку им неведомы задушевная непринужденность привычек и ласкающие душу воспоминания. Даже в самом прекрасном обличье Восток сохраняет нечто целостное, преувеличенное, необузданное, что делает впечатление о нем непомерным, а ведь существует категория прекрасного, не воплощенная ни в древней литературе, ни в искусстве, требующая в первую очередь производить неповторимое впечатление.

Восток, кроме всего прочего, заявляет о себе новизной

облика, самобытностью костюмов, оригинальностью типажей, исключительностью эффектов, особыми очертаниями, необычной цветовой гаммой. Что-то изменить в столь непривычном и полном решимости облике значило бы умалить, смягчить непомерную пылкость — лишить остроты, обобщить точное изображение — исказить. Итак, Восток следует принимать в целостном нетронутым виде, сомневаюсь, что можно ускользнуть от необходимости быть правдивым вопреки всему, выражать сначала своеобразие и поневоле идти за самой логикой искренности до чрезмерного натурализма, копирования природы.

Отсюда проистекает знакомое каждому жанру заблуждение.

Художник, истово добивающийся правдивости любой ценой, привезет из путешествия нечто неслыханное, не поддающееся определению, поскольку художественный словарь не располагает термином, способным описать произведение столь небывалого характера, я назову такие сюжеты *документами*. Под документом я подразумеваю приметы страны, отличительные черты, придающие ей неповторимость, все то, что позволяет заново пережить встречу старым знакомым и обрести знание непосвященным; я имею в виду верные типажи жителей, пусть даже с примесью горячей негритянской крови, интерес к которым вызван их своеобразием, инородные и странные костюмы, поведение, манеры, обычаи, особенную поступь. Несть числа этюдам, если путешественник взял за правило точность; мы несомненно узнаем по этим картинам-копиям, выполненным со скрупулезной достоверностью портрета, одежды заморского народа, головные уборы и обувь. Мы познакомимся с боевым оружием, насколько позволит мастерство художника. Даже сбруя верховых животных станет предметом изучения, более того, художник-путешественник объяснит нам назначение бесчисленных неизвестных вещей, проявив умение в сочетании с виртуозным владением кистью. А так как притягательность неизведанного разжигает злополучное любопытство, многие окажутся в сетях ложных представлений и потребуют от живописи подробностей дневниковых записей; люди захотят созерцать картины, составленные по правилам инвентарной описи, и вкус к этнографии в конце концов вытеснит чувство прекрасного.

Пейзаж подвергнется подобным же преобразованиям,

возможно, менее явным, но не менее реальным. Интерес к дальним странам огромен. Мало кто устоит перед соблазном похвастать тем, что посетил далекую неизведанную страну. Вам ли, человеку, чья жизнь наполнена открытиями, это неизвестно? Художник должен обладать редкой человеческой добродетелью — большой скромностью, чтобы утаить свою принадлежность к когорте путешественников и не выпячивать географические названия рядом со своим именем. Надо быть еще более скромным — именно такая скромность становится принципом искусства, — чтобы обобщить в картине множество драгоценных деталей, чтобы удовольствии интимных воспоминаний принести в жертву поиску неясной цели. Да не смутит нас высокое слово, необходимо настоящее самопожертвование, чтобы скрыть этюды и предъявить на суд зрителя только окончательный результат.

Но это не единственная трудность; тернии подстерегают нас на каждом шагу. Сложно, я повторяю, пробудить интерес европейской публики к неведомым странам; сложно познакомить с неизведанным краем, прибегая лишь к общеизвестным понятиям и знакомым предметам; выявить прекрасное в своеобразном и общее впечатление от мизансцены, которая почти всегда тягостна; заставить принять самые рискованные новшества привычными выразительными средствами, наконец, добиться того, чтобы столь своеобразный край стал осязаем, понятен и правдоподобен в соответствии с законами прекрасного, чтобы исключение подчинилось правилу, не выходя за его пределы, но и не сужая его рамки.

Итак, я уже говорил, что Восток своеобразен, и я употребляю эпитет в его изначальном смысле. Он не подвержен условностям, свободен от правил, меняет привычный порядок и делает перестановки, переосмысливая вековую гармонию пейзажа. Я сейчас говорю не о придуманном Востоке, жившем в наших представлениях до недавних исследований, а о белеющей пыльной стране, обычно резко окрашенной, чуть мрачной, когда утрачивается оживленность ярких красок, а бесконечные вариации оттенков и валеров прячутся под внешним однообразием. Застывшие формы не устремляются к облакам, а простираются вширь до бесконечности, их очертания кажутся преувеличенно четкими, никакой расплывчатости и мягкости, теряется

ощущение атмосферы и расстояний. Таков знакомый вам и мне Восток, обступающий нас со всех сторон. Это по преимуществу страна просторов в ускользящих и устремленных вдаль очертаниях, света и неподвижности — заметьте, воспаленная земля под голубым небом светлее, чем небосвод, что постоянно порождает перевернутые картины, — композиционный центр отсутствует, так как отовсюду изливаются потоки света; тени неподвижны, поскольку небо безоблачно. Наконец, никогда и никто до нас, насколько я знаю, не пытался бороться с важнейшей помехой, которую представляет солнце, и даже не помышлял о том, что одной из задач художника может явиться выражение известными вам скудными средствами избытка солнечного света. Я обращаю ваше внимание на практические трудности, хотя существуют тысячи других, более глубоких, серьезных и не менее достойных размышлений.

Вот уже двадцать лет три человека олицетворяют почти все, что современная критика назвала ориенталистской живописью. Уверен, что хотя бы об одном из них вы слышали. Его имя слишком нашумело во Франции, чтобы отголоски, пусть самые слабые, не дошли до вашей пустыни. Даже в приватной беседе, находясь в четырех сотнях лье от Парижа, я не позволю себе давать оценки. Скажу лишь, прибегнув к модным словосочетаниям, что один воплотил Восток в пейзаже, другой — в пейзажной и жанровой живописи, третий — в жанровой и монументальной. Они посещали и тщательно изучали чудесный край, и пусть не достигли единого понимания Востока, но все воспылали к нему искренней непреходящей любовью, породившей произведения, явившиеся откровением.

Пейзажист посетил и запечатлел на своих полотнах самые знаменитые на земле места, указывая точное наименование города, деревни или мечети. Само отношение к натуре требовало назвать оригинал. Работы художника — изысканные и совершенные иллюстрации к путешествию — могли украсить оригинальный текст, если бы таковой существовал, ведь рукописи мастера обычно не уступали картинам точностью взгляда, живостью и выразительностью стиля. Но из всего внушительного наследия, воспоминание о котором смутно уже сегодня, возможно, самыми яркими и памятными останутся небольшие картины без названий, без точного географического адреса, изображающие, например,

сумерки на берегу Нила или бедных полуденных странников в бесплодной стихии безводной страны — две зарисовки общего характера. Впечатление ночной меланхолии и ужас одиночества в пустыне — вот, может быть, именно те образы — я не назову их самыми безупречными, поскольку светлый ум и твердая рука чувствуются во всех картинах, подписанных художником, — которые лучше всего отвечают репутации художника-ориенталиста и ставят его в ряд с современными художниками.

Жанровый художник действовал на Востоке более решительно. Он разглядел определенный эффект: противопоставление света и тени здесь было четким, резким, пронзительным. Не имея возможности прямо прикоснуться к солнцу, обжигаящему руки, выразить обилие солнечного света, не имея достаточно тени, он нашел остроумный выход: выявить немного солнца с помощью обширной тени — и преуспел в этом. Абстракция определенного эффекта, основанная на резких противопоставлениях, присутствовала во всех произведениях, во всех фигуративных или пейзажных сюжетах.

Неистовый, упорный труд принес художнику успех. Многие явились плодом воображения и грез живописца, и это всегда субъективный взгляд, метод и практические приемы. Он ни правдив, ни правдоподобен. Малонатурален — да простится мне ремесленный варваризм. Его неоспоримое преимущество в том, что он, как все мечтатели, обладает склонностью к метаморфозам.

Он больше придумывает, чем вспоминает. Художник вынес из своего пребывания на Востоке странную любовь к прямым углам, прямолинейному горизонту, резким пересечениям, которые составляли, если можно так выразиться, формулу и геометрию его искусства. Все, что он создает, опознается по двум приметам: яркости эффектов и методичному сочетанию форм, и сюжет, может быть безотчетно, становится лишь поводом для приложения готовых формул. По существу, недостатком такого крайне независимого искусства является, с одной стороны, чрезмерная свобода, а с другой — ее отсутствие, словом, огромные жертвы, принесенные свету, необходимому для выражения красоты.

Третий художник, оказавшись на Востоке, взошел по ступеням бесконечной лестницы к вершине великого искусства, и здесь его взору открылся человеческий спектакль. Заметьте, я не говорю, что он разглядел человека. Он увидел человека под покровом одежд, не внешность и осанку, жесты и расплывчатые черты лица, а костюм и краски во всем блеске и великолепии. Цвет приобрел для него самостоятельное значение. Он настолько расширил его роль, наделил его такой значительностью, извлек из него столь разнообразные, возвышенные, поразительные, иногда патетичные звучания, что заставил нас, по существу, забыть о внешних очертаниях и заронил в нас ошибочное подозрение, будто не видел формы или пренебрегал ею. Основываясь на принципе потери насыщенности и интенсивности при разложении цвета резкими тенями и светом, он употребил даже для пленэрной²⁷ живописи мягкую, умеренную и ровную «елисейскую» освещенность, которую я называю светотенью открытой сельской местности. Он заимствовал у Востока ярко-голубые краски неба, тусклые тени, теплые полутона; иногда художник роняет на раскрытый зонт невесомую тяжесть хмурого солнечного луча; но чаще он нежится в холодном полусвете — истинном свете Веронезе; он без стеснения заменяет пылающее зноем пространство зеленеющими полями: использует пейзаж как отправную точку, глубокий приглушенный аккомпанемент, оттеняющий, поддерживающий и сто-крат умножающий великолепное звучание цвета. Шедевр художника, во всяком случае в рамках жанра, — светлое и ясное полотно, созданное в мастерской; оно написано в такой решительной манере, словно выполнено одним взмахом кисти, на одном дыхании. Совершенство картины точно передает, как художник, о котором я говорю, понял Восток: любовь к костюму, тщательное изображение внешности, наконец, небрежение к солнцу и его воздействию. О его произведениях говорят, что они прекрасны, но нереальны; говорят, что хотелось бы видеть его более достоверным, простодушным, возможно, более восточным... никогда не прислушивайтесь к подобным мнениям. Поверьте, высшую красоту в творениях этого живописца несет именно общий элемент.

Пейзажист — не знаю уж, по какому божественному

²⁷ П л е н э р — в живописи воспроизведение изменений воздушной среды, обусловленное солнечным светом и атмосферой.

предопределению, — родился художником Востока, ибо говорят, он даже походил на араба. *Жанровый художник* испытывает пристрастие к турецким странам — оригинальность питает эту любовь. *Художник-историк* — венецианец, упивающийся современными сюжетами, которые своим колоритом воскрешают страстные воспоминания о мастерах. Стало быть, он самый традиционный и наименее восточный из всех троих, и в этом одна из причин моего великого уважения.

Как-то весенним днем я оказался на берегу Сены со своим учителем — знаменитым пейзажистом. Он объяснял мне, какие изменения привнесли в его видение и восприятие опыт и знакомство с музеями, особенно поездки в Италию. Он говорил, что сегодня ищет лишь обобщение там, где некогда восхищался деталями, пытается отыскать типичную форму и идею, а раньше посвящал себя поискам необычного.

По самому берегу реки пастух гнал стадо овец, оно мягко отражалось в водах, тусклых под апрельским серым небом. За спиной у пастуха была котомка, на голове черная фетровая шляпа, на ногах кожаные гетры погонщиков; стадо не разбредалось, и поэтому две живописные черные собаки лениво тащились за хозяином. «Знаете ли вы, — сказал мой учитель, — что пастух, бредущий берегом реки, — прекрасный сюжет для живописца. Сена изменила имя, сюжет — свой смысл: Сена превратилась в Реку. Кто из нас сумеет выразить Восток как нечто индивидуальное и в то же время обобщенное, чтобы он отлился в простоте, подобной безыскусности течения реки?»

С такой приблизительной речью я обратился к Ванделю. Извлеки из хаоса возражений, рассуждений, разрозненных замечаний угодный тебе вывод. Я передаю тебе содержание беседы, не являющейся ни догматическим очерком, ни даже критической статьей. Мой собственный вывод таков: вполне вероятно, я потерплю неудачу в своем начинании, но поражение не будет доказательством неосуществимости самой затеи. Возможно, также в силу свойственного многим умам противоречия меня повлечет именно к редкостям, которые я осуждаю, и влечение преодолет силу идей, а инстинкт окажется сильнее теорий.

Мы условились на завтра отправиться на охоту на три-четыре дня. Сначала обойдем озеро Халула, затем холмы до Типаза, где на римских дорогах и будем бить кроликов.

Охоту возглавляет комендант...; сопровождают нас старые африканцы — офицеры туземной кавалерии, известные как первоклассные стрелки. Из сказанного выше тебе сразу станет понятно, что наша экспедиция имела военный вид, к тому же с нами еще пошли в качестве слуг, почетного караула или эскорта, смотря по обстоятельствам, десять спаги, облаченных в красные блидские плащи. Обоз мог бы быть поскромнее — он состоит из двух повозок, запряженных четверками. Собаки, силы которых мы бережем для охоты, проделают весь путь на повозках с лагерным оборудованием, багажом, арсеналом охотничьих ружей и боеприпасов, взятых из расчета минимум сто выстрелов на стрелка. И наконец, последняя подробность, которая позволит тебе судить о готовящейся бойне, — мы прихватили три огромных мешка из-под зерна, предназначенных для кроликов и водоплавающей дичи.

«Не рассчитывайте, — предупредил меня Вандель, знавший обычаи, распространенные, без сомнения, только в Алжире, — что охота пройдет спокойно и тихо, как во Франции. Легавые только отыскивают след. Все остальное охотник берет на себя: бьет птицу влёт, преследует зверя верхом от куста к кусту, чтобы измучить, затравить и, наконец, затоптать, когда тот выбьется из сил. Вас наверняка удивит оригинальный союз псовой и стрелковой охоты, притягательное смешение двух удовольствий, состязание в меткости глаза и проворстве. Не приходится щадить ни поля, никому не принадлежащие, ни изобилующую в этом краю живность. Каждый волен мчаться во весь опор, будто во вражеской стране; цель — безжалостно убивать. Этот навык приобретается на войне. Вот почему все офицеры любят охоту и знают в ней толк, а хороший загонщик кроликов и куропаток по праву считается отменным африканским солдатом. И еще не могу предвидеть, — добавил Вандель, — чего вам ждать от завтрашнего дня: затронет ли охота ваше честолюбие, или вы предпочтете следить за гоном в качестве зрителя, я же не расстанусь со своей кобылой».

По мнению Ванделя, белая кобыла — единственное

верховое животное, не прерывающее ход его размышлений.

Любезный друг, я буду следовать за охотниками, насколько это будет в моих силах, ведь мое потаенное желание — увидеть озеро, ты знаешь, чем оно вызвано. Озеро относится к редким местам, еще вызывающим мое любопытство, и я корю себя за непоследовательность. Когда-то мы намечали небольшой поход туда, но так и не осуществили свое намерение. Раз уж представился случай, я обязан по крайней мере прояснить или проверить наши общие фантазии. Я словно совершаю паломничество, чтобы приветствовать незнакомца с благоговением, которого достойны старинные мечтания. Вроде безделица, но приятно вместо фантазий, порожденных воображением, привести факт и ответить на вопрос: а что же все-таки там на самом деле?

Подозреваю, ничего особенного, то же, что и повсюду после сколько-нибудь продолжительного перехода, — поверженный энтузиазм минувших лет, увы, тяжелобольной и едва не испустивший дух.

Хорошая ли будет завтра погода? Вот что нас заботит. Уже пять дней яростно дует южный ветер: обжигающее прощание знойного лета, заканчивающегося с приходом сентября, грозовой напор равноденствия и признак наступления красивого и умеренного времени года, называемого здесь *вторым летом*. Я уже говорил тебе об этом губительном ветре. Он радует и будоражит ум, если не слишком треплет тело. Жители Блиды посылают ему проклятия; он причиняет им страдания, они защищаются всеми доступными средствами: не выходят из дома, затыкают оконные проемы, сдерживают дыхание. Испепеляющий зной не дает послабления ни утром, ни вечером. Прошлой ночью я убедился в его постоянстве, в полночь под апельсиновыми деревьями было 37° по Цельсию — температура, немыслимая для данного часа и времени года. Я попытался представить, что должны испытывать гнущиеся, едва не ломающиеся деревья, ведущие сражение, которое не под силу описать живописцу, изнуренные от напряжения, раздираемые ветром, рвущим их из земли. На какой-то момент показалось, что все деревья трещат и ломаются: я услышал душераздирающий стон. «Интересно, — подумал я, — какая сила одержит верх, разрушение или жизнь?» Жизнь оказалась сильнее, и, уверяю тебя, я испытал облегчение: ни одно дерево не было вырвано из земли,

но тысячи ветвей валялись и тысячи тысяч листьев кружили в воздухе, по дорогам катились сотни незрелых плодов; высокий кипарис, растущий по соседству, — поплотнение прочности и гибкости — гнул, словно стебель тростника, тут же распрямляясь; казалось, он же сносит без мучений. Затем дыхание ветра стало более ровным, и дерево, сильно наклонившееся под его натиском, выпрямилось только к утру, в тот самый час, когда ураган внезапно совсем стих. Впрочем, хотя я ненавижу ветер, но прощаю ночному гостю, возможно, из-за его происхождения и говорю вихрю пустынь: «Добро пожаловать», — как гонцу, приносящему вести прямо из Сахары.

Еще одна особенность времени года, придающая окружающей местности угрожающий вид. Каждый вечер мы наблюдаем на плоском горизонте огни пожаров: арабы жгут густой кустарник; это их метод быстрого поднятия целины, без применения кривого садового ножа и плуга. Пламя, следуя направлению ветра, распространяется с юго-запада на северо-восток. Днем видна только расплывчатая пелена дыма, которую можно принять за туман. Вечером огонь виден отчетливо, и горизонт Сахеля зловеще озарен.

Сегодня вечером хамсин улегся как по заказу. Небо почти голубое; воздух снова стал воздухом, а не взвесью песка. Я прощаюсь с тобой до завтра. Встреча у Баб-эс-Себт, время оговорено — шесть часов. Мы можем положиться на солнце — чудесного попутчика, который никогда не подведет. Обращаешься к нему со словами: «До завтра!», а можно сказать: «До будущего года!» Если кто и опоздает к назначенной встрече, то только не вечное светило.

Бивуак на озере Халула, октябрь

Мы прибыли на место; исполнилось мое давнее желание. Охота начинается завтра. Пока наши спутники готовятся, я расскажу тебе о нашем марше по равнине; он оказался довольно короткой неторопливой прогулкой.

Мы выступили ровно в шесть часов в сопровождении шумного эскорта (о нем я уже говорил) — в общей сложности двадцать восемь-тридцать лошадей, — производившего оглушительный шум и поднявшего облако пыли, от которого удалось отделаться только в густом

кустарнике. Погода выдалась на редкость хорошей, ясной и благостной. На равнине выпала обильная роса, солнце — величайший благодетель в мире после бога — посеребрило благодаря волшебному свойству своих лучей вечернюю росу. Сверкающий мираж короткий час переливался на наших глазах всеми цветами радуги, но никого не ввел в заблуждение. Солнце обошлось с ним так, как реальность поступает с ложью, и равнина очень скоро предстала в своем истинном облике: не мертвая, но иссушенная, скорее невозделанная, нежели бесплодная, не пустынная, а оставленная в небрежении. Впрочем, она походила на кантоны, которые путники пересекают на пути из Алжира, правда, кустарник чуть реже, чем при выезде из Сахеля, меньше болот, чем в окрестностях Буфарика, зато кругом обширные ланды. Говоря ланды, я подразумеваю земли, не возделанные плугом, не защищенные, в лоно которых не заронено культурное семя и которые излишне не утомляются даже в краю природной щедрости; здесь произрастают только неприхотливый дикий лук среди вечных карликовых пальм, способный привести в отчаяние будущих колонистов; дикий артишок с бесцветными стеблями и ворсистыми плодами; розмарин, лаванда, дрок с желтыми цветами; наконец, колючий кустарник с наполовину облетевшей и без того редкой листвой, создававшей иллюзию жалкого существования, уже давно принявший окраску пыльных и неодушевленных предметов.

Летом землю молотили проливные дожди, душили стоячие воды, целых пять месяцев ее иссушало, покрывало трещинами, испепеляло неистребимое солнце.

Огромные голые пространства, по которым мягко ступают конские копыта, как по скошенному лугу, похожи на жнивье с оставшимися низко срезанными стеблями соломы. Я не знаю, что произрастало на лугах до тех пор, пока солнечные ожоги и жвачные животные не уничтожили растительный покров, виден лишь во множестве чертополох на высоких стеблях, увенчанных, словно древко арабских знамен, белыми шарами шелковистого пуха. Трудно представить более бесплодную и причудливую картину. Летний ветер собирает обильную жатву, не производя даже легкого шуршания среди редких стеблей; он разносит блестящие, шелковистые волокна и распыляет никому не нужные семена по заброшенной стране. Далее идут еще более худосочные мергелевые

почвы ²⁸, голая местность, затем время от времени попадаются низины, где подземные воды пробуждают к жизни печально зеленеющую непритязательную растительность болот. Все это ни красиво, ни уродливо, ни радостно, ни грустно; но на обширном пространстве, щедро залитом светом и наполненным воздухом, исчезают такие незначительные детали, однако почти неизмеримая перспектива оправлена в видимую и определенную раму, краски так легки и формы четки, что невозможно представить с большей отчетливостью беспредельный простор. Сама бесконечность сведена до размеров картины, просто и строго заключена в определенные пределы: поразительное зрелище, ведь до этого доводилось видеть только безграничные или совсем небольшие равнины, иначе говоря, чрезмерное или недостаточное величие.

Я уже говорил тебе, что, когда пересекаешь равнину, складки местности растворяются на огромном пространстве. Справа на севере мы оставляем заросли кустов — на самом деле это леса, затем на большом расстоянии друг от друга различаем одинокие фермы французов, вырисовывающиеся неясными белыми пятнами, словно забытое в поле белье, и еще реже — скопления черноватых точек, напоминающих кучи сожженной травы, — это дуары. Когда на плоском горизонте вроде бы возникает фигура араба — зрение утомлено оттенками небесной лазури, зелени не хватает, и тень ничтожна, — она оказывается то старым оливковым деревом, оберегаемым местными суевериями, то бесплодными женщинами из соседних племен, вывешивающими *ex voto* лохмотья, лоскуты, вырванные из покрывал, то неизвестно как оказавшейся здесь группой финиковых пальм, растущих из одного корня, словно составляя друг другу компанию, и мучимых чуждым суровым климатом. Время от времени мы выходим к дорогам, все они ведут в Блиду, но протоптаны на таком расстоянии друг от друга, что армия прошла бы между ними незамеченной. Блида возносится к небу, по мере того как путник удаляется и спускается в более низкую часть равнины; город очерчивается все четче над небольшим плато, близко подходящим к горе; его выразительный и ясный силуэт вырисовывается на синеющем занавесе садов.

²⁸ Мергель — осадочная горная порода, переходная от известняков и доломитов к глинистым породам.

В восемь часов мы перешли пересохшее русло р. Шиффа, во что трудно поверить тем, кто бывал здесь в сезон дождей. Невозможно представить себе что-либо более безобидное и приятное для глаз: мелкий гравий, мельчайший песок, аркадийская гирлянда олеандров, усеянных звездами цветов, и два ручейка, неприметно бегущих в широком заброшенном ложе, способном вместить полноводную реку. В двух лье слева открывается вход в ущелье, которое было свидетелем многих катастроф и где сегодня чуть бьется истощенная вена.

В девять часов запахло порохом, правда, без особых последствий; прозвучало лишь несколько выстрелов — короткий пролог к завтрашней охоте. В отдалении, заслышав стук колес нашего обоза, из зарослей кактусов, беспорядочно разбросанных вокруг забытой гробницы отшельника, вспархивает выводок рябчиков. Те охотники, что оказались наготове, открыли огонь наудачу. Пернатая стая, почувствовавшая ветер свинца, произвольно расступилась, словно пропуская заряд дроби, затем сомкнула строй и унеслась, часто взмахивая крыльями. Еще мгновение солнце освещало светлое оперение птиц, и все исчезло.

Карфагенский рябчик, или малая дрофа, или стрепет, — редкая во Франции птица, предмет вожделения многих охотников, именно поэтому я с почтительностью обращаю твое внимание на названный вид в письме, посвященном исключительно охоте. Стрепет играет видную роль в наших провинциальных празднествах вместе с еще более почитаемой птицей, стократ более редкой и почти мифической; я имею в виду большую дрофу, которую здесь называют убаром, и сами арабы, наименее пристрастный к охоте народ, проявляют к нему интерес. Шоу, отрицающий тождество африканской птицы с дрофой, так описывает убара: «Туловище бледно-желтое в коричневую крапинку, крылья — черные с белыми пятнами, воротничок — белесый в черную полоску, клюв — плоский, как у скворца, лапки беспалые».

Пусть она называется дрофой или как-то иначе, диковинность лишь увеличивает цену ее красоты, и она тем более желанна, что подобна ускользающему мигу удачи. Однажды у озера Шотт-эль-Ходна среди руин римского города Тобна я увидел двух птиц, неожиданно вспорхнувших из развалин; разумеется, они были вне досягаемости, и я стал свидетелем расставания птиц-

отшельников, которых свел случай в мимолетной дружбе; одна полетела направо, другая налево, и пустыня развела всех нас троих навеки. И все же несколькими днями позже один убар был подстрелен у меня на глазах, а случилось это так. Мы двигались колонной под звуки фанфар, выставив авангард, и до сих пор я не могу понять, как птица позволила застигнуть себя врасплох и сбить с толку. Вместо того чтобы мчаться прочь от колонны, она повернула к ней и вдруг появилась над батальонами, тяжело и медленно взмахивая крыльями, словно парализованная ужасом, утратив всякую осторожность и надежду на спасение. Так убар торжественно проследовал от головы до хвоста отряда, чудом достиг арьергарда невредимым, и тут один маркитант, издали завидевший птицу и имевший время прицелиться в движущуюся мишень, сбил убара, и он упал в двух шагах впереди его мула. Это оказался великолепный экземпляр, величиной с небольшую индейку, весом от четырех до пяти фунтов. Всклопоченный воротничок охватывал шею птицы наподобие гофрированного вола-на à la Генрих IV.

В одиннадцать часов мы сделали привал в глубоком русле Уэд-Джер с илистыми берегами — в одном из притоков Шиффы. Река иссякла, от зимнего половодья остался ручеек в один или два дюйма, у которого мы застали большое стадо коров, пришедшее на водопой. А крутые берега поросли большими оливковыми, тамарисковыми и мастиковыми деревьями. Около трех часов дня мы вновь оседлали лошадей, чтобы продолжить свой путь по равнине. Слева остался лагерь хаджутов, вдали виднелись палатки и табуны лошадей, словно бродящих, как в Камарге; несколько заблудившихся верблюдов приблизились к нам и мирно взирали на проходящий отряд. Крупные коричневые животные как бы позировали на фоне бледной земли и нежно-голубого неба, демонстрируя мощный костяк, заросшие горбы, гривастые лопатки, узловатые и мозолистые колени, большие мягкие ступни, огромную, странную голову с подвижными губами и нежными глазами. Они словно удвоились в размерах и обрели ту монументальность, которая появляется, когда разглядываешь в упор слона. Вся равнина, то есть десять лье безбрежного ландшафта, умещалась между ног животных; силуэт высоких гор, словно обведенный одним взмахом кисти, образовывал фон необычной картины на уровне брюха.

Травы не было, и верблюды просто прогуливались с беззаботным, рассеянным и скучающим видом, свойственным непривередливым жвачным животным. Воздержанность животных чудесным образом принимает символическое значение: не видно, чтобы они изголодались, поэтому их поведение можно приписать задумчивости.

Вся равнина — поле битвы; и хаджутам это известно как никому. Именно здесь мало-помалу мы одержали победу в нескончаемом сражении при Заме²⁹. Когда придет время плуга и мотыга взрыхлит землю, в которую до сих пор было посеяно слишком много железа и так мало зерна, будут найдены останки наших легионеров, шпаги, ядра, множество скелетов животных.

Сегодня за время семи- или восьмичасового перехода мы встретили только трех пастухов: старика и двух молодых людей, его сыновей. Старший, лет двадцати, охранял стадо широкохвостых овец и черных коз, стоя на обломке обрушившейся стены, остатке развалин неизвестного происхождения — то ли римских, то ли вандалских или же византийских, турецких, а может быть, и арабских (археологу было бы что узнать об истории пяти великих народов, исследуя происхождение небольшой стены). Он играл на примитивной свирели, извлекая из нее не столько музыку, сколько неритмичные звуки, которые, вероятно, волновали сторожевого длинноухого пса, и он подвывал им. Чуть в стороне стоял старик, опершись на руку юноши, лет шестнадцати. Оба были одеты в узкие, короткие пастушеские одежды: куртки, стянутые в поясе, фетровые шапочки, сандалии на ремнях из кожи ягненка. Старик прищурил глаза и казался слепым, а юноша был так красив, что Вандель, поровнявшись с ним, обратился к нему со словами: «Да снизойдет благодать на тебя и отца твоего, Иаков, сын Исаака!»

Ошибся ли я, друг мой, заявив, что библейские образы отыскать невозможно?

Чуть позже мы оказались среди лесной поросли на северо-западном берегу озера, в невысокой, но густой чаще мастиковых, тамарисковых, миртовых деревьев и дрока. Пожар летнего зноя насквозь пронизал заросли,

²⁹ Сражение при Заме — произошло осенью 202 г. до н. э. и завершилось победой римской армии Сципиона Африканского над объединенными карфагенскими и нумидийскими войсками во главе с Ганнибалом.— *Примеч. ред.*

повсюду видны следы его огня: голые ветви или по-рыжевшая листва. Пламя одело деревья в осенний наряд, а солнце, чтобы сгустить красный цвет, разливало горящую пурпурную краску предзакатных лучей.

Шесть часов вечера. Ни один листочек не шевелится в зарослях, на которые мирно опускается ночь. Не чувствуется даже легкого дуновения ветра. И тут благодаря абсолютной тиши спокойного вечера я расслышал необычайный нарастающий звук. Представь себе, что до тебя глухо доносятся какие-то взволнованные голоса, ропот, вздохи — и все это в сочетании с хлопаньем крыльев и плеском воды; нечто вроде взволнованного щебета или шепота, похожего на тихий говор неведомого племени, неизвестно где собравшегося, еще невидимого, но к которому мы приближаемся.

«Это шумит озеро,— сказал мне Вандель.— В вечерний час его можно услышать по крайней мере за десять минут до того, как увидишь».

Озеро возникло сразу же, как только мы вышли из леса. Оно открылось нам в самом широком своем месте (около одного лье). Протяженность его неясна, так как на западе озеро сливается с горизонтом. Неподвижная, словно стоячая, вода; кристально чистая и зеркальная поверхность точно повторяет великолепные красные отблески заходящего солнца, и, наконец, восхитительное зрелище — неисчислимы стаи птиц на водной глади. Все известные и неизвестные мне птицы разделились по видам; у каждого вида свои привычки, гнездовья, крики, пение, повадки и ареал — весь этот странный народец готовился отойти ко сну. Я различал легионы и легионы их в центре озера, и множество темных точек напоминало водную растительность на поверхности болота. В этой части озера обитали утки, мандаринки, синьга, маленькие темные нырки. Я узнавал их даже на расстоянии по небольшим головкам, по манере держаться на воде, по особой форме тела ныряющих птиц, похожих на маленькие корабли. Вблизи, в зарослях тростника, копошились тысячи невидимых обитателей, болотные кулики бродили и летали с резкими криками, рывками измахивая крыльями, как крючьями, так же внезапно падали вниз, как проворно взлетали. Вдали выступали серые цапли, или священные ибисы: вытянутый клюв, напряженные ноги, узкое, как копье, тело. В открытой бухточке на расстоянии выстрела из карабина медленно плавали два больших лебедя с выгнутыми шеями и

белоснежным оперением, чуть розоватым со стороны заходящего солнца. Природа наделила эту пару красотой и статью; она выглядела четой, призванной царить над маленьким народцем.

В это же время батальоны скворцов спускались с холмов и пролетали над нашими головами, производя в кронах тополей шум ветра. Словно армия, проходящая торжественным маршем, они следовали один за другим с интервалом в несколько секунд, но вскоре вся масса образовала непрерывную широкую ленту, которая развернулась над озером от берега к берегу, затем все растаяло в мареве. Чуть позже шум утих, и само озеро скрылось в тумане.

Наступила ночь. В нескольких сотнях метров от нас, чуть правее, почти у подножия Гробницы христианки, я заметил холмик с пятью раскидистыми оливами и кострами, пылавшими под ними: это был бивуак.

Ночь, 11 часов

«Я вспоминаю, как в детстве,— рассказывал мне вечером Вандель,— одинокая ферма, находившаяся всего-навсего на расстоянии двух ружейных выстрелов от приморской деревушки С. М... представлялась мне краем света. Вся ферма — несколько домишек, окруженных деревьями, навозные кучи и припасы фуража. Дома были едва заметны: осенью за виноградником и большими полями открывалось совершенно голое пространство. Местонахождение жилища выдавали старые ореховые деревья, с которых соленый морской ветер рано сорвал листву, и несколько рядов молодых коренастых вязов с подрезанными макушками. Впрочем, эта ферма, насколько мне известно, не волновала никого, кроме меня. Под деревьями раскинулась маленькая лужайка, а в ветвях иногда гнездились птицы: удода, горлицы и вяхири. Воображаемые картины, возникавшие в моей голове, пока мне не разрешали уходить так далеко, сводились к двум неясным и от того еще более смущавшим меня чувствам: огромности расстояний и неизвестности. Наконец настал день, когда охотники взяли меня с собой. Это случилось в октябре; поля опустели — снят второй урожай, и местность посуровела, стала величественной. Из небольшого леска вязов вылетела птица — лесная сова, я понял это позже, когда вспоминал день долгожданного освобождения, который стал своего рода дебютом и прологом к моим будущим путешествиям.

В тот день взметнувшаяся в небо птица показалась мне, ребенку, огромной и необычной. Я был поражен размахом шелковистых крыльев, легким полетом создания, состоящего из одних перьев, тревожным обликом птицы, которую застали врасплох. Беспокойный дух одиночества и неизвестности, исчезая навсегда, не мог предстать мне в обличье, более схожем с духом химер, принять более фантастический образ. Первое же посещение фермы развеяло чары: неважно, рассеялась ли таинственность от того, что моя нога ступила на возделенную землю, или же просто я уже подросток и изменил свои старые представления; фермерский домик не отличался от других ферм, с той лишь разницей, что настойчивая память сохраняла иллюзию необъяснимой притягательности».

В этот вечер и со мной приключилось нечто подобное описанному Ванделем. Озеро в моей жизни путешественника выступило в той же роли, которую сыграла ферма С. М... в юности Ванделя. Несколько сотен шагов до фермы, не более шести или семи лье до озера, и в обоих случаях постоянное, неосознанное желание увидеть, узнать, убедиться. Аналогичные обстоятельства породили чувство одиночества и у меня. Возможно, оно пройдет завтра, унесенное миллионами крыльев. Рассеется ли очарование? Не знаю, но готов в это поверить. Отряд в тридцать лошадей не может не нарушить трепетное ощущение неизвестности.

Мы сделали привал на самом берегу озера, у подножия холмов, в излюбленном месте отдыха путников из Шершели и Милианы. Бивуак находится так близко от Гробницы христианки³⁰, что виден ее тупой треугольник на полотне звездного неба. Сахель венчал треугольник, в точности напоминающий маленькие каменные пирамиды, которые вежами помечали плавные перекаты сахарских степей. Он заметен с одинакового расстояния с моря и суши. Вот уже пятнадцать веков этот древний маяк служит путеводителем морякам и караванам и как

³⁰ «Гробница христианки» — мавзолей, служивший, по данным алжирских историков, местом захоронения правителей Нумидии III—II вв. до н. э., а впоследствии — правителей Мавретании Цезарейской, в частности Юбы II. По преданию, в мавзолее похоронена и Клеопатра Селена, дочь египетской царицы Клеопатры и римского проконсула Марка Антония. Ее называли «римлянка», а по-арабски «румийя» означает и «римлянка», и «христианка». Отсюда — название (до наших дней спорное) этого мавзолея.— *Примеч. ред.*

бы приглашает их бросить якорь или разбить стоянку. Небольшая, хорошо утрамбованная, утоптанная конскими копытами, истыканная палаточными колышками и выжженная бивуачными кострами круглая площадка, с пепелищами, отбросами, старыми подстилками — всем тем, что оставляют после себя кочующие путники; живительный источник в двух шагах от озера, чья горьковато-соленая вода непригодна для питья; кряжистые оливковые деревья, возможно, современники темной династии, покоящейся под курганом, сложенным из камня, — именно так выглядит лагерь.

Поздно. Луна взошла часов в девять. Два дня отделяют нас от полнолуния, ночное светило еще окончательно не округлилось и похоже на небрежно очерченный круг. Восхитительно нежный, чистый и безмятежный лик радует глаз. Костры, разожженные в самом чреве оливковых деревьев, огромные дупла которых служат камином, угасли, разве что сверкнет искра, другая. Вокруг нас сгустилась холодная октябрьская сырость, туманная пелена, пронизанная бледным полуночным светом. Никогда еще ночь не обволакивала утомленные солнцем глаза более дремотным сумраком, не опускала на землю такое лилейное покрывало.

*Бивуак на озере,
вторник, вечер*

Мы спали в холодных палатках чутким бивуачным сном, сквозь который почти столь же отчетливо, как накануне, воспринимали ночные шумы, вспышки и даже шепот. Между полуночью и часом утра в лагере поднялся большой переполох — подрались кони; три самых резвых скакуна порвали путы и бросились в заросли тростника, а оттуда с исступленным ржанием в сторону холмов. Погоня длилась два часа. Сквозь сероватое полотно палатки я увидел вновь вспыхнувшие огни больших костров и уловил ароматный запах смолистой древесины. Наши арабы по-прежнему бодрствовали, расположившись кружком у самого огня, они жались к очагу, спасаясь от двух врагов, грозных и особенно яростных в это время года и в этой местности, — сырости и комаров.

Луна клонилась к западному горному массиву. Я отбросил полог палатки в тот самый момент, когда алая заря только разгоралась над Блидой. Небо, сначала окрасившееся в оранжевый цвет, быстро бледнело по

мере восхода солнца. Вспомни две прекрасные гравюры Эдвина Ландзеера, которые кажутся цветными благодаря верно подобранному и мастерски переданному валерам: одна из них называется «Святилище» («The Sanctuary»), другая — «Вызов» («The Challenge»). Вряд ли я сумею создать более точный и живописный образ озера и передать острый силуэт гор в предрассветный час, едва забрезживший полусвет, пришедший на смену ночи. И вдруг заиграли зóрю, подали сигнал, возвещающий о наступлении утра, а несколько минут спустя розовый солнечный диск вырвался на свободу в небо, сверкающее серебром.

Я говорил тебе, что мои спутники намеревались превратить охоту на озере в бойню. Надежды не оправдались, охота закончилась почти полной неудачей. Никто не предвидел помехи, сделавшей облаву невозможной. Выйти на открытую воду можно было только на лодках, а лодок не было. Две или три плохонькие плоскодонки, которые случайно не затонули и не увязли в иле, забрали охотники, прибывшие ночью и уже отправившиеся за ибисами. Утки, мандаринки, ибисы и цапли — все водоплавающие птицы, а также все те, кого инстинкт заставляет держаться подалеке от берега, оказались вне досягаемости. Оставалось одно — прочесать заросли тростника. Но это далеко не самый оригинальный способ охоты и, пожалуй, наименее надежный. Только к полудню — ведь пришлось подготовиться к непредвиденному купанию — мы приступили к охоте, вернее сказать, погрузились в воду.

Озеро окружено сплошной стеной тростника шириной восемь-десять футов, такое впечатление, что его нарочно рассадили тесными, симметричными рядами, чтобы создать неприступный частокол, оберегающий подступы к воде. Мне не приходилось видеть такой чащи, сквозь которую было бы так трудно прокладывать путь, столь докучливой растительности, сковывающей движения. Каждый стебель имеет отчетливо градуированную шкалу глубины, отметки нанесены грязевыми кольцами от самого высокого до самого низкого уровня болота, крайнего предела, до которого обмелело озеро в данный момент. Едва мы вступили в заросли тростника с заостренными обоюдоострыми листьями и прямыми стеблями, напоминавшими органные трубки, в поле зрения остался лишь клочок чистого неба над головой и темная вода, в которую погружаешься по пояс. Невозможно ни пра-

вильно избрать направление, ни вообще сориентироваться, ни призвать на помощь товарищей или поддержать оступившегося. Приходится продвигаться на ощупь, пробовать ногой плотность илистого дна, чтобы не угодить в болото, постоянно быть на ногах, высоко подняв ружье и подтянув ягдташ к самым плечам.

Вандель вместо ружья прихватил длинную палку, которой он пользовался как посохом. Пока было возможно, мы все шли одним курсом. Время от времени в зарослях мелькало крыло или птица проносила над самой головой и спускалась за зеленой тростниковой ширмой. Иногда раздавался выстрел, и тотчас же взлетали сотни невидимых уток, оглушительно, словно множеством весел, стуча крыльями по воде.

Затрудняюсь сказать, сколько мы проложили троп, в какой части озера и в каком направлении. Знаю только, что добросовестно шли с полудня до пяти вечера, скрытые и стесненные чащей, по пояс в воде. Сначала мы ориентировались по солнцу, а когда оно скрылось из виду,— по оттенкам небесного свода. За час до наступления темноты мы наткнулись на одного из охотников на ибисов. Он устроил засаду на водной прогалине у края тростниковых зарослей. К одной из опор маленькой хижины на сваях, сплетенной из стеблей, с дырявой крышей, была пришвартована лодка. Охотника, замершего в глубине укромного шалаша, не было видно, только из амбразуры торчал ствол длинного ружья, придававший плавучей цитадели грозный вид.

— Эй! Привет тебе, сын Немрода,— крикнул Вандель.

— Здравствуй,— ответил араб, и ветви слегка зашевелились.

— Как охота?

— Загляни в лодку,— ответил охотник.

Мы увидели на дне лодчонки трех распластавшихся птиц: двух ибисов печальной расцветки и великолепного лебедя.

— Он убил озерного царя,— сказал я Ванделю, глядя на прекрасную птицу, пораженную в самое сердце; кровоточащая рана делала ее еще более красивой.

Солнце клонилось к закату и освещало только верхушки зарослей. Длинные тени ложились на воду, и она цепенела, окрашиваясь в холодные тона. В половине шестого мы вернулись к палаткам. Между оливковыми деревьями натянули веревку и развесили дичь. Я насчи-

тал шестьдесят три тушки: султанки, выпи, пастушки, несколько уток и куликов.

*Бивуак на озере,
среда, вечер*

Сейчас я узнаю, что принесла охота, и, поскольку настоящему письму уготовано стать лишь охотничьим реестром, присовокуплю новые подробности к предыдущему посланию.

Мы спешиваемся после двенадцатичасовой скачки по красивейшей местности. Сегодня мы видели руины Типазы, похожей на все разрушенные города, и горную цепь Шенуа, напоминающую увеличенный до колоссальных размеров хребет ла-Сент-Бом в Провансе, более суровой формы и сверкающий всеми цветами радуги, отличающимся удивительной нежностью тонов. Римский город расположен в трех лье от лагеря, если удаляться от Сахеля в сторону Шершели. Хребет Шенуа разделял древние города Цезарейской Мавретании — Юлию-Цезарею и Типазу. Горная вершина могла служить общей обсерваторией двух городов. Шершель отошла арабам, а Типаза была брошена. Ее разрушили до основания, разорили, опустошили, почти стерли с лица земли. Обычный человек, не археолог, распознает разве что ворота, внешние дороги и могилы. Гробницы вскрыты, будто усопшие воскресли, — крышки сдвинуты и перевернуты. Пустые ложа через какое-то время будут служить лишь поилками для лошадей. Человеческий прах уже давно заменен песком, принесенным морским ветром. Несколько надписей, представляющих интерес для исследователей, капители, обрушившиеся с колонн, колонны, разбитые на куски, редкие обломки резного мрамора, остатки стен из узких каменных блоков, густо заросшие шарообразными мастиковыми деревьями, два ряда могил, теряющихся в песчаных дюнах, кучи белой пыли, лежащие холмами забвения на уже мертвых предметах, — вот все, что осталось от народа, который некогда был величайшим завоевателем, колонизатором и слыл одним из лучших строителей в мире. Прекрасный пример для тех, чьи мысли, нравы, институты не отличаются основательностью римского гения.

Мы пообедали на развалинах, и я подстрелил двух молоденьких куропадок с ярким оперением у открытой гробницы некой Гортензии, которую оплакивает, так гласит надпись, скорбящий Туллий. Здесь моему взору

предстало редкое зрелище, я нигде не видел ничего подобного: на огромных, как молодые вязы, мастиковых деревьях устроились целые стаи куропаток. Теперь веревки, натянутые через бивуак, увешаны трофеями — славная получилась выставка. Вечером я насчитал 394 тушки куропаток, кроликов и зайцев.

Блида, конец октября

Через два дня после возвращения с озера мы с Ванделем вновь отправились на равнину. Суббота — день большого базара (*себт*) у хаджутов. Торг заканчивается праздником, и сам каид прислал нам приглашение на вечернюю диффу.

На праздник, организованный несколькими соседними дуарами, собирается вся округа в надежде развлечься за чужой счет, поучаствовать в скачках, попалить из ружей — вот и все удовольствия, которые может себе позволить небольшой, на три четверти истребленный народ. Для воинственного племени, лишённого истинных переживаний военной жизни, пресный мир подобен небытию. Одна только война всегда воспламеняла сердца хаджутов, никогда не знавших мирных ремесел. Хаджут с самого рождения становился воином. Долг женщины — матери и жены, дочери и сестры воителя — седлать боевых коней, собственными руками снаряжать бесстрашных мужчин, молиться за них, встречать восторженными возгласами, оплакивать павших и перевязывать раны после славных сражений. Таковы радости полной приключений жизни, суть которой — война; большая ли малая, она всегда являлась смыслом жизни и движущей силой, источником наживы и придавала некое очарование человеческому бытию. Вот почему фантазия — конечно, несравнимая с войной, но ставшая ее отражением — единственное сегодня действие, способное утешить ветеранов, оставивших боевые утехы, и молодежь, никогда не участвовавшую в сражениях.

«Вы не найдете там ничего нового,— сказал мне Вандель.— Все давно вам известно: люди, собравшиеся в тени палаток, конный праздник, предвосхищающий ночные пляски, обильная трапеза — неизбежное празднество чрева. Но мы должны выполнить долг вежливости перед ожидающим нас каидом. Может быть, нам удастся и повеселиться, ведь у меня много друзей среди хаджутов. Взять хотя бы ловкача Амара Бен Арифа, который покажет вам сноровку жонглера и удаль наездника».

Любезный друг, Амару Бен Арифу в самом деле суждено было стать героем дня, но в более мрачной роли, нежели предрекал Вандель: он стал виновником трагедии, разыгравшейся у нас на глазах, и поверг нас в горестный траур.

В полдень мы прибыли на базар и отыскивали каида. Таким образом, мы оказали вождю двойную честь, придя на прием по случаю себта и поприветствовав его в собственной палатке. Себт проводится на песчаной равнине — земле хаджутов, простирающейся между Музайя и озером. Само слово указывает, что базару отведен седьмой день недели. Главенствует обычно арабский чиновник или каид, выполняющий обязанности судьи в торговые дни, изобилующие спорами, дразгами, мошенничеством, мелкими тяжбами, неотделимыми от всякой коммерции. Любые стычки пресекаются на месте.

Арабский базар напоминает наши сельские ярмарки; те же или схожие порядки, та же толпа деревенских жителей, бродячих торговцев, разносчиков и перекупщиков. Вообразите другой народ, сельских полицейских и жандармов замените на шаушей, вооруженных палками, и всадников бея; сельскую мэрию — на передвижную палатку каида; французские дары природы — на африканские; представьте стада верблюдов, придающих своим неподражаемым обликом и ворчаньем особые черты знакомой толчее домашнего скота — тощих коз, овец, ослов, мулов, лошадей, коров и быков, и вы получите полное представление о базаре в седьмой день недели. Теперь остается лишь нарисовать огромную торговую площадь, бескрайние окрестные просторы, прекрасные дали равнины Митиджа, алжирские ланды, яркий свет, нестерпимое, неумолимое даже в октябре солнце и, наконец скопление военных и походных палаток конической формы, которые являются любопытной приметой, отражающей нравы примитивного общества. В Европе, где палатка всегда воспринимается как подозрительное жилище людей без определенных занятий, предполагается, что ее обитатели не имеют ни очага, ни постоянного крова, а всякий скиталец — в большей или меньшей степени бродяга.

Чтобы ваше представление о восточном базаре было более ярким, вообразите особый говор арабской толпы, новые, почти одинаковые белые одежды, наконец, предметы промыслов, чье своеобразие заключается прежде всего в чрезвычайной простоте.

Мясники выставляют на рыночных лотках мясо; кузнецы, сапожники, хозяева кофеен, торговцы жареным мясом прибывают со скудной утварью и инвентарем; южане привозят шерсть и финики, жители равнин — зерно, горцы — масло, древесину и уголь. Садоводы Блиды доставляют фрукты и овощи: апельсины, цитроны, жареный турецкий горох — жареное зерно Священного писания, чечевицу, вызывающую в памяти похлебку Исава. Еврейские и арабские разносчики торгуют галантереей, москательными товарами, пряностями, эфирными маслами, дешевыми украшениями, разнообразной выделки хлопчатобумажными и другими тканями со всей страны. Каждый устраивает под открытым небом или навесом простенькую лавочку. Один-два сундука или корзины для хранения товаров, циновка, где раскладывают образцы, четырехугольное полотнище в качестве солнечного зонта — вот, пожалуй, вся обстановка ярмарочного торговца.

Немногим богаче скарб ремесленников. Кузнец — именно его я приведу в пример — одет в дорожную одежду: куртку и сандалии с ремешками, на голову наброшено покрывало. Орудия своего промысла он носит в капюшоне плаща. Это железные заготовки, молоток, гвозди, горелка, мизерный запас древесного угля, наконец, походная наковальня, похожая на молоток, рукоятка которого служит опорой. Он извлекает свой инструмент, как только появляется желающий подковать лошадь. В земле вырывается ямка для установки кузнечного горна, рядом вбивается наковальня; кузнец присаживается на корточки, зажимая ее коленями, и выбирает кусок железа из своих запасов. Раздуть огонь мастеру помогает подмастерье — сосед или любой прохожий, услужливо предоставивший ему силу своих легких. После того как железо накалено и обработано, все происходит, как у кузнецов в Европе, но с меньшим тщанием, а главное, — с меньшим совершенством. Как правило, подкова имеет вид изъеденного ржавчиной тончайшего полумесяца, словно вырезанного из стоптанного кожаного башмака, выброшенного за ненадобностью. Когда не хватает угля, его заменяют торфом или верблюжьим пометом — топливом, истлевающим, словно сигара. Замена легко распознается по зловонному запаху.

Торговые лавочки, покупатели, торговцы, пешие и конные, рабочий скот и скот на продажу — все скуче-

но в страшном беспорядке. Огромные дромадеры свободно разгуливают по базару, заставляя уступать себе дорогу, подобно исполинам в стране карликов; повсюду бродит скот; ослик, привязанный к колышку, соседствует со своим собратом, ожидающим покупателя; царит такая неразбериха, в которой только заинтересованные могут опознать друг друга, а праздничношатающемуся не под силу отличить продавцов от покупателей. Торг ведется полушепотом, крестьяне прибегают к обычным своим хитростям, а торговцы — к свойственным им недомолвкам. Сделка обдумывается за курением трубки, согласие достигается за чашкой кофе, договор, как и во Франции, скрепляется многозначительным рукопожатием. Оплата совершается с неохотой, деньги передаются неторопливо. Задолго до появления на свет деньги, называемые в этой стране *дуо*, таинственно позванивают в носовых платках (именно они обычно заменяют здесь кошелек). Их тщательно прячут, хранят и оберегают.

В центре бивуака всего на несколько часов устанавливается палатка *кайда*, над которой красуются три медных шара и полумесяц, а перед ней — арабское трехцветное знамя, всегда сопровождающее военачальников. У входа стоят две стреноженные и оседланные прекрасные лошади. Внутри пол устлан коврами и подушками, в каждом углу разложено оружие, а на опорном столбе висят широкополая соломенная шляпа и прелестная чашка чеканного серебра на длинном шнуре из красного шелка с золотой кистью. Любезный друг, таково обычное убранство военных палаток; палатка *кайда* напоминала преторий, так много собралось здесь страждущих добиться аудиенции, каждый с кошельком в руке ведет беседу о самом важном событии дня, о сведении счетов, недочетах, ошибках и дрызгах.

Каид восседает в центре палатки, отдает приказания, рассылает шаушей, иногда принимает посетителей и отсчитывает собственноручно неизвестный мне налог в медной монете, немедленно попадавшей в золоченый кошель, о котором я сначала подумал, что он предназначен для табака. Каид, очень высокий, худой, красивый мужчина лет сорока пяти, вершил дела со скупающим видом, который всегда к лицу человеку, облеченному властью и с большим достоинством. Поражало властное и вместе с тем мягкое выражение чудесных глаз на желтом лице. Каид был одет, словно левит, —

во все белое, что его несколько молодило; на нем не было бурнуса, только хаик, летняя гандура и покрывало. Безукоризненная белизна тканей и легкая небрежность — такова одежда повелителя в домашней обстановке. Каид оказал сердечный прием Ванделю, меня же принял благосклонно.

Он не имеет точного представления о том, чем мы занимаемся в его стране, — один с пером и барометром, другой с коробкой красок и карандашами, — но признает за человеком право стремиться к знанию и понимает, что в его краях можно многое узнать. Впрочем, здесь достаточно хоть немного отличаться от окружающих, не заниматься признанным промыслом или торговлей, и каждый ваш шаг сразу вызывает любопытство. Иностранцу ничего не стоит оказаться в подобном положении среди арабов. Все, что оставляет след на бумаге, видится этому народу письменностью, и, следовательно, письменное сочинение затрагивает общественные интересы. Поэтому и художник может оказаться шпионом. Политика составляет глубинный пласт жизни арабов — их надежды, чаяния и сомнения.

Когда прием закончился, каиду подвели коня. Его всадники вскочили в седла, оркестр выстроился за спиной вождя. Знаменосец поднял знамя и занял свое обычное место — между каидом и музыкантами. Двое верховых, в авангарде, вскинули ружья. Я вообразил, что единственной целью этого не совсем уместного кортежа являлось оказание почестей нам, и мы проделали небольшой путь до места проведения праздника неспешным церемониальным шагом под непрерывные звуки тамбуринов, гобоев и флейт.

Для проведения скачек избрали открытую, почти без кустарника местность неподалеку от дуаров. С одной стороны поставили открытые палатки (шатры гостеприимства, где находили приют на ночь все желающие), а с другой — просторную палатку из темной шерсти, закрытую со всех сторон, за исключением небольшой лазейки с противоположной стороны от скакового поля. На скаковое поле выходила глухая стенка, однако в ветхой ткани было достаточно прорех, чтобы заранее собравшиеся в палатке женщины могли все хорошо видеть, но их самих разглядеть никто не смог бы. Неподалеку резвилась стайка детишек, подобно цыплятам у курятника. Два-три сторожевых пса надзирали за подступами к ней.

Прямо против женского шатра, с реющим над ним небольшим красным флагом, воткнули в землю шелковое знамя каида. Два стяга определяли ширину ипподрома, уходившего в бесконечность, и отмечали финишную черту, на которой кони, управляемые крепкой рукой, должны застыть, как вкопанные, а наездники, по обычаю, салютовать ружейными залпами сначала каиду, а затем женщинам.

Четыре часа. Приготовления близились к концу. Диффа готовилась в закрытой палатке, откуда доносился невнятный шум и вырывался, как через кухонные отдушины, терпкий запах рагу и дым от сырых дров. Медленный и монотонный ритм национального танца (чуть более благопристойный сокращенный вариант египетского танца пчелы) сопровождался пением и хлопаньем в ладоши, а взрывы ликования порой перекрывало отчаянное кудахтанье цыплят, бьющихся под ножом поваров. Все мужчины племени хаджутов, способные держаться в седле, были в сборе; плотный строй из почти двухсот скакунов замкнул южную оконечность скакового поля. Бивуак наполнялся людьми в военном снаряжении; по траве неуклюже расхаживали арабские наездники в тяжелых сапогах с длинными, волочащимися по земле шпорами.

В это самое время с равнины со стороны Блиды приблизилась небольшая кавалькада: две женщины в городских костюмах, закутанные в просторные покрывала, верхом на мулах, впереди негр, боком сидящий на осле, и пешая негритянка.

— Асра и негр Саид,— сказал Вандель, узнавший на почтительном расстоянии служанку Хауы и ее мужа.

— В таком случае легко можно догадаться, кто эти две всадницы,— ответил я.

Они вступили в лагерь, но не спешили у женского шатра, а проехали сквозь толпу, и, уж не знаю, кто проводил дам прямо к небольшой палатке, поставленной в стороне, внутри которой были постелены ковры и разложены подушки, словно в ожидании желанного гостя. Впрочем, никто не придавал особого значения прибытию новых гостей, по толпе лишь пробежал шепот, что появились танцовщицы.

Едва женщины присели, как одна из них сбросила покрывало, и в своем любимом воздушном прозрачном наряде, так идущем ей, предстала прекрасная Айшуна. Вторая женщина лишь распахнула покрывало ровно

настолько, чтобы ее узнали, оценили изящество одеяния и заметили на шее кроме кольца и ожерелий цветущую гирлянду не менее двадцати восьми локтей в длину.

— Тебе лучше было бы остаться дома,— сказал ей Вандель.

Хауа молча неуловимым жестом выразила свое безразличие, словно говоря: не было веских причин приезжать на празднество, но и чувствовать себя здесь неуютно нет оснований. Я заметил на ее устах удивительную улыбку, заключающую в себе всю прелесть и вместе с тем холодность Хауа, печальную улыбку женщины, предчувствующей уготованный ей судьбой скорый конец.

Каид не приблизился к палатке, как, впрочем, ни один старец, ни один мужчина. Вокруг образовалась пустота, причина которой — скорее отчуждение, нежели учтивость. Вблизи поднятого полога бродили только молодые люди шестнадцати-двадцати лет с худыми, бледными и увядшими лицами, выражавшими апатию, с подведенными черными глазами, галантными манерами, в сбившихся набок головных уборах. Они улыбались блистательной Айшуне, с которой, казалось, все были знакомы, и разглядывали — это их право,— чуть смущаясь, но в то же время и бесцеремонно, хрупкую и строгую, видимо, никому не известную чужестранку.

— Они так и останутся здесь,— спросил я Ванделя,— вдали от остальных женщин, как бродячие комедианты или дочери «неприкасаемых», выставленные среди бела дня на обозрение любопытных солдат, под бесчестящие дерзкие взгляды наглых красавчиков?

— Что поделаешь с предрассудками? — ответил Вандель.— Они господствуют повсюду, ни вы, ни я ничего не изменим. Нет, друг мой, Хауа не допустят в палатку матерей семейств. Возможно, там ведутся разговоры, которых она устыдилась бы, и ее бледное лицо залила бы краска, доведись ей стать свидетельницей их игр, но она открыла свое лицо, когда другие скрыты покрывалом, она охотно принимает в своем доме, когда другие запирают все двери. Покровы определяют основное различие, если они опущены — женщина порядочна, стоит их приподнять — и ей отказывают в добродетели. Вы видите: отличие мнимо и лишено смысла, но тем не менее является священным принципом и долгом. Однако,— добавил Вандель,— не будем осуждать предрассудки. Они лицемерны, несправедливы и жестоки, порой,

не имея на то права, приносят в жертву людей, которых выбирают наугад, но, в сущности, они полезны. Согласен, что нетерпимость — лицемерная добродетель, но вместе с тем — последняя дань уважения закону морали, отдаваемая народом, утратившим старые обычаи.

Прозвучали первые выстрелы, означавшие начало скачек.

Женщины поднялись, взяли свои покрывала и смешались с толпой.

— До свидания,— по обыкновению сказала мне Хауа.

— До свидания,— ответил я, как всегда, хотя сейчас стоило сказать ей «прощай», ведь мне суждено было увидеть Хауа только полумертвой и неузнаваемой.

Сначала мы смотрели состязания челяди, людей, занимающих самое скромное место на иерархической лестнице, а потому экипированных хуже всех в племени: низкорослые беспородные лошадки, бедно одетые седоки, старые ржавые ружья, простая веревка вместо узды и поводьев. Только быстрая езда еще может привлечь внимание к этим наездникам. Они держатся верхом, словно оседлали стремительных птиц, не управляют лошадьми, почти не придерживают их, позволяя лететь во весь опор. Легкая поступь животных производит не больше шума, чем взмахи крыльев. Любая лошадь хороша для такого наездника, пусть полубъезженная, пусть по возрасту едва пригодная для верховой езды, лишь бы была резва. Сгодится самое скверное ружье, лишь бы не разорвалось при выстреле, да был бы порох. Не имея ни сапог, ни шпор, слуги пользуются прутом и острыми стремянами; плеть они заменяют возгласом *аррах*, который заставляет встрепенуться даже не самых резвых лошадей. Не может быть и речи о том, чтобы гарцевать и выказывать храбрость, лишь бы мчаться во весь дух и разрядить ружье у цели, сорвав, проносясь мимо женской палатки, поощрительные возгласы — восхищенные крики вместо аплодисментов — в ответ на приветственные залпы.

Представители любого класса с любым достатком имеют право участвовать в играх. Даже высшая аристократия выказывает в подобных случаях удивительное добродушие. Каждый развлекается ради своего удовольствия: слуга скачет бок о бок со своим хозяином, если только его лошаденка способна выдержать темп, заданный хозяйским конем, согласно принципу, существующе-

му во время войн, когда перед лицом врага меркнут кастовые различия и не имеет значения происхождение — летящий галопом скакун стирает всякое неравенство.

Впрочем, короткая прелюдия длилась не более нескольких минут; она только раззадорила публику и дала коням почуять запах пороха. Каид занял место у древка знамени, а рядом с ним его сыновья, два милых мальчика шести и десяти лет. Одежда, обувь, головной убор и высокие желтые кожаные чулки старшего мальчика придавали ему облик юного воина. Он восседал с царственным видом, будто спектакль давался в его честь, откинувшись для большего удобства на седобородых слуг, которые, лежа на животе за его спиной, заменяли ему подушки. В дальнем конце ипподрома, где готовые пуститься вскачь кавалеристы разбились на небольшие группы, раздались крики.

Старт был великолепен; двенадцать или пятнадцать всадников устремились вперед стройной шеренгой. Это были лучшие всадники и кони. Конная сбруя поражала пышным убранством; люди облачились по-праздничному, то есть в боевые костюмы: просторные шаровары, хаики за спиной, пояса снаряжены патронами и застегнуты очень высоко поверх жилетов. Они приближались бок о бок, что довольно редко случается у арабов, сапог к сапогу, стремя в стремя, прямо держась в седле, вытянув руки, бросив поводья, с пронзительными криками, отчаянно жестикулируя, — и все это они проделывали с поразительной самоуверенностью; у большинства ружья лежали на головных уборах в форме тюрбанов, а свободными руками они орудовали пистолетами или саблей. В десяти шагах от нас ружья взметнулись над головами седоков, и через мгновение всадники застыли и взяли нас на прицел. Солнце играло на ружейных стволах, перевязях, на золотых и серебряных украшениях; в солнечных отблесках сверкали ткани, расшитые седла, золотые стремяна и узда. Конники пронеслись молнией, произведя общий залп, который окутал их белой дымкой, а нас осыпал порохом. Женщины зааплодировали.

Второй старт последовал сразу за первым, да так быстро, что ружейные дымы смешались, а новый салют вторил едва смолкшим выстрелам почти моментальным эхом. Третий отряд шел следом в вихре пыли, и все ружья были направлены в землю. Во главе скакал

негр Каддур, прирожденный наездник, известный по всей равнине; его серая кобыла творила чудеса. Знаменитая кобыла — небольшое худое животное, необыкновенно тонкое и гибкое, мышинной масти, со стриженными гривой и хвостом. Потускневшее серебро, бубенцы, амулеты, множество болтающихся цепочек украшали лошадь и издавали неповторимый звон. На Каддуре были пунцовая куртка и пурпурные шаровары. Его вооружение составляли два ружья — одно на голове, другое в левой руке, а в правой он держал пистолет, из которого и произвел выстрел, затем, перебрасывая из руки в руку, разрядил одно за другим оба ружья, подбросил их, словно жонглер трости, и исчез, простершись на шею лошади, прижавшись подбородком к самым позвонкам.

Пальба уже не умолкала. Раз за разом, без передышки, накатывались волны всадников, сменявших друг друга на фоне занавеса из пыли и воспламененного пороха. Женщины, не перестававшие хлопать в ладоши и издавать характерные пронзительные крики, целый час вдыхали раскаленный воздух поля битвы. Попробуй представить себе то, что записки с их холодной формой и неторопливыми фразами никогда не смогут оживить; попробуй ощутить неудержимую бурю в праздничном беспорядке, очарование скорости, слепящий блеск ярких красок под солнечным дождем. Представь сверкание оружия, танец световых бликов на движущихся всадниках, распахнутые на скаку хаики, свист ветра в складках материи, исчезающее, словно вспышка молнии, сияние бесчисленных блестящих предметов, ярко-красные тона, оранжевые оттенки, напоминающие пламя, ледяной белый цвет на фоне серого неба, бархатные и золотые седла, конские уздечки, украшенные помпонами, расшитые шоры, залитые потом или покрытые пеной пластроны, сбрую, удила. Добавь к роскошному видению — усладе глаз — оглушительный шум: крики всадников, возгласы женщин, треск выстрелов, ужасающий топот стремительно мчащихся коней, звон и бряцание тысяч и тысяч металлических предметов. Помести всю сцену на фоне хорошо тебе знакомого, спокойного и светлого, но слегка затянутого пыльной пеленой пейзажа, и, возможно, тебе явится в причудливой неразберихе веселого праздничного действия, пьянящего не менее, чем война, ослепительное зрелище, называемое арабской фантазией, — зрелище, которое ожидает своего живо-

писца. Я знаю только одного человека, который сумел бы понять и выразить его суть, только ему достало бы изобретательности, воображения, мощи и дерзости, поэтому он один достоин права на такую попытку.

Если свести композицию к самым простым элементам, выделить одну группу, а в ней единственного всадника, то полет хорошо сложенного скакуна, летящего галопом, представится непревзойденным зрелищем, согласным движением двух созданий — самых разумных и совершенных по форме творений бога. Разлучите их, и гармония единения разрушится; но позвольте человеку слиться с конем, вдохните в его торс энергию и волю, а всему остальному придайте сочетание ловкости и силы, и вам явится существо, которому нет равных в силе, в способности мыслить, подвижности, смелости и быстроте, свободе и покорности. Артистическая Греция не смогла придумать ничего более естественного и величественного, тем самым показав, что конная статуя — высочайшее творение человека в искусстве ваяния. И этого реального монстра, который не более чем дерзновенный аллегорический союз крепкого скакуна и красавца-мужчины, Греция сделала воспитателем своих героев, творцом наук, наставником самого ловкого, храброго и прекрасного из людей.

Иногда всадники — как и подобает уверенным в себе первоклассным актерам, не сомневающимся в том, что их ожидают аплодисменты, — пронеслись мимо нас по одному и по двое, и казалось, будто двумя лошадьми правит одна рука или что они идут в одной невидимой упряжке. Наездники заслуживают поименного представления: Каддур — вновь собиравшийся пуститься вскачь на своей поджарой кобыле; Желлул — на темно-гнедой лошади под шелковой малиновой попоной; Бен Саид Хелили — весь в розовом на лошади цвета воронова крыла; однорукий Мохаммед Бен Дауд — древний осколок далеких войн, которому подавали заряженные ружья, и он стрелял, как из пистолета, на вытянутой руке, не имея возможности прицелиться с плеча. Старого Бу Нуа, тестя каида, сопровождали трое сыновей, очаровательные, легкомысленно одетые юноши, исполнявшие роль пажей. Он восседал на крупной, тяжело экипированной лошади, с широкими копытами и мощной шеей. Животное выступало величаво, подобно собратьям с картин Рубенса.

Седок выделялся не только высоким ростом, но еще

и полнотой, и огромным животом. На светлом лице, обрамленном веером бороды, светились ясные и круглые орлиные глаза. На нем был необычайно просторный, сильно развевающийся от встречного ветра хаик, две или три куртки, отделанные золотом; золоченая перевязь, словно нагрудные доспехи, отражала солнечные лучи. Он скакал, чуть привстав в стремях, потому что тяжелые одежды и дородность не позволяли ему выпрямиться во весь рост; одна рука лежала на головке передней луки седла, в другой он держал великолепное ружье, которое даже не соизволил зарядить. На левом плече, дополняя роскошное боевое снаряжение, висела кабийская сабля в серебряных ножнах. После каждой скачки всадники возвращались шагом или резвым галопом. Они задерживались на мгновение посреди поля, поднимали своих скакунов на дыбы, чтобы еще более возбудить и без того разгоряченных животных, натягивали поводья, вонзали шпоры в крутые бока, а затем гарцевали, принимая к исходной позиции боевой порядок.

Среди описанного великолепия, беспорядка и гама прогуливался верхом и отважный Амар Бен Ариф. Я не видел его с нашей встречи у Хасана. В моей памяти запечатлелся образ игрока в шахматы: сдержанные жесты, бесстрастные речи. И когда Вандель указал мне на Бен Арифа, я его не узнал.

Верхом он казался ниже ростом и менее элегантным, чем многие другие, но по крепости сложения ему не было равных. В его облике чувствовалась уверенность. В седле или на ногах, сидя или стоя, даже в положении самого неустойчивого равновесия он сохранял борцовскую мощь и в то же время легкость движений. Лицо наполовину скрывал приподнятый хаик, над ним остались лишь удивительной бледности скулы, кончики стоящих торчком усов и горящие угли глаз. Скромная одежда из темного сукна была чуть расцвечена вышивкой, зато за поясом помещался целый оружейный арсенал. Бен Ариф правил, как опытный наездник, лошадью серой масти, сбруя которой — наполовину из фиолетовой кожи, наполовину из металла — напоминала искусно обработанную сталь. Он пригоршнями засыпал порох во французское двуствольное ружье и стрелял на скаку. Ежеминутно он появлялся в поле нашего зрения, то один, то в окружении всадников, но даже в толпе его легко можно было узнать по немного странному выражению

лица, по лошади, сверкающей голубоватой сталью, по двойным слепящим вспышкам выстрелов. К тому же он заявлял о себе звонким галопом, потому что вопреки почти повсеместному обычаю его лошадь была подкована.

Бешеная скачка длилась уже целый час. Амар казался таким же неутомимым, как и вначале; он ни разу не спешился, не дал своему скакуну ни минуты отдыха.

— Бен Ариф,— кричали ему,— пожалей лошадь, она истекает кровью. Осторожней, ты вспорешь ей брюхо.

На что он неизменно отвечал:

— Ничего, у меня есть другая.

Затем уносился во весь опор, заставляя лошадь нестись галопом если не быстрее, то во всяком случае с большей порывистостью, нежели в предыдущих заездах.

Наконец он остановился, не из-за усталости, а скорее из жалости к животному или осторожности, как мы поняли чуть позже. Он осмотрел бока лошади, на которых каждый удар шпор отпечатался бугорками всклоченной шерсти, бороздами красноватой кожи, а то и струйками крови в тех местах, где раны были особенно глубоки. Он остановил кровь пучком травы, сильно кровоточащие раны залепил комочками замешенной на слюне земли, быстро вытер углом хайка пену с крупа животного, ослабил подпругу, чтобы облегчить ему тяжелое дыхание, и приласкал скакуна, поцеловав в ноздри и прошептав имя, которое я не расслышал. Затем наездник вскочил на сменную лошадь; ее держал под уздцы конюший. Свежий, холеный гнедой жеребец вишневого оттенка был снаряжен, будто в военную экспедицию. Длинная джебира свисала с луки седла, под подпругу была просунута испанская сабля без ножен с чуть изогнутым лезвием и костяной рукояткой.

— Не наделал бы этот безумец глупостей,— заметил Вандель, провожая взглядом всадника, взявшего с места в карьер.

Амар Бен Ариф вновь появился через несколько минут. Когда он проезжал перед нами, разрядив в качестве приветствия свою двустволку, кайд сделал ему знак рукой и сказал:

— Подожди немного, Бен Ариф, я с тобой.

День клонился к закату, праздник близился к концу, и я не переставал удивляться тому, что кайд так долго не принимал участия в скачках.

Он не стал менять туфли без задника и каблука,

только застегнул пояс, подобрал, чтобы удобнее чувствовать себя, полы хаика, небрежно наброшенного и придававшего ему, несмотря на возраст, юношеское надменное изящество. Каид сел верхом на белую лошадь, ту самую, на которой приехал с базара. Его примеру последовали трое молодых людей, тоже еще не участвовавших в состязании. Они медленно выехали в поле и замерли. Юноша, племянник каида, по правую, Амар по левую руку вождя — всего пять всадников. Я услышал, как каид спросил у спутников: «Вы готовы?» И пять лошадей тронулись одновременно. Они двигались единым фронтом, не меняя начального порядка. Каид был не вооружен. Прозвучали три ружейных выстрела: стреляли трое молодых людей. Амар не присоединился к общему залпу. Он быстро положил ружье поперек седла, подобрал поводья, словно изготавливаясь к прыжку. Лошадь сделала скачок влево, а поскольку она находилась всего в двух шагах от первого ряда зрителей, то опустилась всеми четырьмя копытами в гущу толпы. Раздался душераздирающий крик — до сих пор он стоит у меня в ушах, — затем вопли, а еще через мгновение по толпе пробежал ропот. Люди расступились, и я увидел корчившееся на земле и вдруг затихшее тело в белом одеянии.

— Ах! Мерзавец! — воскликнул Вандель.

— Держите его! — закричал каид, устремившись к Амару.

Но никто не успел его схватить. Он пролетел мимо, чуть не опрокинув нас, обернулся, чтобы посмотреть, кто бросился за ним, и пронзительно свистнул. Его первая лошадь, несмотря на усталость, вырвалась из рук конюха и стрелой понеслась за хозяином. Через несколько секунд мы увидели в облаке пыли небольшую группу всадников, несшихся, отпустив поводья, по равнине. Чуть впереди, самое большее на расстоянии пистолетного выстрела, мчался, пригнувшись к седлу, прямо к горному массиву Бен Ариф, а рядом с легкостью дикого животного летела оседланная сменная лошадь.

Трагическое происшествие свершилось так быстро, что я одновременно увидел, можно сказать, охватил одним взглядом скачок лошади, бегство Амара, смятение людей, теснившихся вокруг жертвы, и услышал разом невнятные крики: «Мерзавец! Держите! В погоню!» — и раздававшиеся в толпе голоса: «Она мертва!»

Я посмотрел на Ванделя; он понял меня и сказал:

— Да, это она.

Лошадь Амара нанесла страшный удар в лицо именно бедной Хауа. Над правой бровью зияла рана, череп был раздроблен. Кровь залила ее с головы до ног. Женщина постанывала в полном беспамятстве, взгляд блуждал, а лицо покрыла смертельная бледность. Ее перенесли в крошечную палатку и уложили на матрас. Тут же кто-то бросился к кухням, чтобы раскалить докрасна клинки, намереваясь использовать арабский метод лечения ран прижиганием. Но каид и Вандель, осмотревшие женщину, произнесли один за другим свой приговор:

— Бесполезно.

Только через час Хауа пришла в сознание, взгляд стал осмысленным, и ее прекрасные потухшие глаза взирали на нас сквозь кровавую пелену.

— О, мой друг, я убита! — сказала она мне.

Она еще раз сделала над собой усилие и сказала так, чтобы ее услышали:

— Он меня убил!

Вокруг раненой собралось много народа, толпа любопытных обсуждала, шумно объясняла несчастный случай, в котором никто не усматривал неловкость Бен Арифа.

— Никаких сомнений, он убил ее, — сказал мне Вандель. — Умышленно... Возможно, он уже давно собирался это сделать... Она была его женой... Так говорят; мы узнали бы об этом значительно раньше, если бы проявили побольше любопытства. Он убил ее первого мужа, чтобы жениться на ней. Хауа оставила его, узнав, что он убийца. Сегодня Амар убил ее, чтобы доказать, что убийство не слишком тяжелая ноша, когда речь идет о страсти или ненависти.

Праздник закончился около шести часов. Ночь раскинула свои покровы, словно опустила занавес, возвещающий об окончании спектакля с трагической развязкой.

Любезный друг, я утратил всякий интерес к происходящему, и остаток печального бдения можно описать в нескольких словах... Едва спустилась темнота — в то самое время, когда раненая агонизировала в своей палатке, угасала на глазах у Айшуны и причитающей негритянки Асры, — объявили диффу, и все отправились на пиршество. Час или два я не слышал ничего, кроме приглушенного разговора расположившейся на траве толпы и шагов поваров, снующих с блюдами в руках. За диффой настало время танцев. Айшуну, об отсутст-

вии которой все очень сожалели, заменил шестнадцатилетний мальчик-танцовщик. Два гигантских костра осветили ланды, кустарник горел ярким и ясным пламенем. Широкий круг образовался у огня; зрители расположились между женской палаткой и скромной обителью Хауа, где колеблющееся пламя двух или трех свечей едва освещало двух плакальщиц, распростершихся над безжизненным телом умирающей.

Тем временем танцовщик мелким шагом пустился в обход зрителей. Он задерживался перед каждым и исправно исполнял одну и ту же пантомиму под протяжный аккомпанемент хора и монотонное прихлопывание в ладоши. Каждый в благодарность за равное для всех удовольствие протягивал ему монету. Танцовщик принимал плату, мелкие серебряные монеты покрывали лоб и щеки, и сбор продолжался, пока на лице еще оставалось свободное место.

Между одиннадцатью часами и полуночью вернулись всадники, измученные четырехчасовой погоней, но так и не поймавшие Бен Арифа, ускользнувшего через горный проход.

В небе сияли великолепные звезды, но ночь выдалась необычайно влажной и холодной. До утра мы просидели на траве, содрогаясь от выпавшей ледяной росы. Уставший танцовщик закончил свое выступление, иссякли песни, только костры потрескивали среди полной тишины: по меньшей мере три четверти присутствующих дремали в неудобных позах.

Часа в четыре, когда равнина погрузилась в состояние глубокого покоя, мы в последний раз вошли в палатку. Догорал огарок свечи. Айшуна спала. Спала, упав в изнеможении Асра, измученная усталостью, с растрепанными волосами и исцарапанным в кровь лицом. Хауа была мертва. Голова упала на плечо, руки оцепенели, глаза закрылись в вечном сне. Она была почти такой же, когда мы видели ее спящей на шелковом ложе, усыпанном белыми цветами, но на сей раз цветы пережили женщину, которую украшали.

Блида, конец октября

Вот я и остался в одиночестве, друг мой. Вандель покинул меня. Мы расстались только сегодня. Я точно не знаю, куда и зачем он отправился. Он собрался, потому что время года позвало в дорогу, потому что судьбой предначертано ему провести жизнь в пути и

умереть, по его собственным словам, когда пробьет час.

О своем решении Вандель сообщил мне три дня назад. Он собрал все, что накопилось в его комнате: коллекции, рукописи, короткие записи, и перевез в другое место. Пополнил запас табака — единственное, чего ему порой не хватает в сердце пустыни. Сегодня в семь часов утра он был готов.

— Если хотите, — сказал он мне, — мы поднимемся по склонам Бени Муса до телеграфа или до кедров и расстанемся наверху, то есть как можно позже.

Я оседлал коня и отправился его провожать.

Когда мы пересекали площадь арабского базара, многие выходцы из разных племен узнавали моего друга:

— Здравствуй, Сиди Бу Джаба, — говорили они, — куда ты собрался?

— Я уезжаю.

— Ты покидаешь Блиду?

— Да.

— Будешь ли ты проезжать?..

И каждый называл свое племя.

— Может быть, — отвечал Вандель, — если будет угодно богу.

— Счастливого пути, Сиди Бу Джаба. Да поможет тебе Аллах, да снизойдет на тебя благодать, да будет ровен твой путь!

— Храни вас господь! — вторил Вандель. — Я вернусь до наступления лета.

Одному он говорил: в конце декабря, другому — после снегов, кое-кому — в сезон дождей. Перед тем как въехать в лощину, Вандель остановился, словно осененный какой-то мыслью, и сказал:

— Знаете, ровно восемь месяцев назад я проезжал эту местность и решил заехать в Блиду всего на неделю.

Тебе знакома крутая дорога, по которой мы следовали, — длинный подъем спиралью, берущий начало в русле Уэд и описывающий широкие петли на северном склоне горы. Четыре или пять часов кружения верхом на лошади приводят путника на вершину, господствующую над Блидой. Где-то на уровне половины высоты находится ледник, раньше здесь селились мальтийцы — поставщики снега, угольщики и охотники. На узком открытом

месте стоят одна-две хижины, готовые дать приют страннику. В одно ясное мартовское утро — но так давно, что я даже не могу сосчитать прошедшие годы, — мы с тобой видели здесь парящих в небе орлов и собирали уже увядшие цветы. Из Блиды виден горный пик, где раскинул свои длинные гибкие руки телеграф, изнывающий от безделья в период непроницаемых зимних туманов. На самой вершине конусообразной горы, среди кедров, сохранилась старая гробница отшельника, когда-то доступная, а сейчас заросшая густым кустарником. Плато шириной не более ста шагов окружено кедрами и вымощено горячими плоскими белыми камнями, до такой степени вымытыми дождями и прокаленными солнцем, что они походят на бесплотные и иссохшие останки живых существ, долгое время пролежавших под открытым небом. Жесткая короткая трава — единственная способная выжить на каменистой почве в суровых условиях горного климата — да сероватый лишайник и жалкие пучки какого-то колючего мха, кряжистые кедры с темной раскидистой кроной и стволами цвета ржавого железа составляли скудный и мрачный покров скалы. Ветер, снег, дождь, солнце, которое, кажется, палит здесь нещадней, чем на равнине, молнии, время от времени поражающие деревья и расщепляющие стволы будто сказочным топором, наносят кедрам смертельные раны, но не могут лишить их жизни. Кора отваливается и рассыпается пылью вокруг ствола. Прохожие обламывают сучья, пастухи калечат деревья, дровосеки рубят на дрова. Кедров мало-помалу исчезают, но цепляются за жизнь с упорством многолетних растений: корни обладают прочностью камня, а соки, словно убегающие от неизбежной смерти, устремляются к ветвям, которые по-прежнему зеленеют и плодоносят.

Мы уселись у подножия мудрых, достойных уважения, старых деревьев. Выдался прекрасный день, но мне он казался грустным, возможно потому, что ни мой друг, ни я не испытывали радости. Тепло и очень тихо. Я никогда не забуду это обстоятельство, потому что именно ему обязан самым сильным впечатлением, какое возможно испытать в жизни от величия и полного покоя, разлитого вокруг. Тишина была столь торжественна, а неподвижность воздуха такова, что мы невольно понизили голоса.

От того места, где мы находились, у самого подно-

жия гробницы, горизонт описывал безупречную дугу, за исключением единственной выступающей точки, темного конуса Музайя. На севере расстилалась равнина с едва различимыми селениями, дорогами, прочерченными бледными царапинами, за ней — весь Сахель, убегающий темной лентой от Алжира, местоположение которого определялось белыми строениями, до горной цепи Шенуа, чье подножие четко вырисовывалось, словно мыс между двумя заливами, еще дальше между Африканским побережьем и бесконечными небесными далями раскинулась, насколько хватал глаз, голубая пустыня моря. На юго-востоке белела горная цепь Джурджура, напротив возвышалась мрачная пирамида Уарсениса. Восемьдесят лье чистого, безоблачного неба без единого пятнышка разделяли два пограничных каменных столба, отмечавших границы кабийского края.

Под ногами лежало пятнадцать лье горных порогов, рельеф которых было невозможно уловить, потому что ступени громоздились одна над другой, тонули в какофонии непостижимых оттенков синевы. Мы могли бы увидеть Медеа, не будь город скрыт массивом Надор и не затерялся в лощине, которая сама была склоном высокого заснеженного плато.

Прямо на юге, далеко за смутной чередой округлых форм, складок местности, долин и вершин — географии, сведенной до масштабов панорамной карты бескрайней гористой страны, называемой Теллем и Атласом, — очертания становятся мягче, почти лишены изгибов, словно синеватые нити, натянутые между высокими выступами, последний из которых, справа, служит пьедесталом цитадели Богара. Еще дальше начинается равнина. Наконец, на последней границе бесконечных просторов, где земля утрачивает твердость и окраску, а восхищенный взгляд может принять горы за струйки серого дыма, моему взору представал расплывчатый мираж — Вандель произносил названия с уверенностью географа-путешественника — семи голов Себа-Руус, а следовательно, ущелье Гельт-эс-Стель и проход в страну племени улед-наиль. Перед нами простиралась половина французской Африки: Восточная и Западная Кабия, алжирский массив, Атлас, степи и прямо напротив моря — Сахара.

— Вот моя территория, — сказал мне Вандель. — Мир принадлежит путешественникам.

И он широко раскинул руки, словно обнимая все

видимое пространство африканской земли, которая стала его достоянием.

Несколько минут он всматривался в белую точку на севере, казалось, она парит между небом неопределенных тонов и необычайно бледной поверхностью моря.

— Это корабль, возвращающийся во Францию,— сказал я.

Вандель сильно прищурил глаза, чтобы ослабить воздействие слепящего света, и сказал:

— Возможно. Мне приходилось видеть суда и из более далеких стран.

Затем он повернулся спиной к морю и больше на него не смотрел.

— Как вы думаете, свидимся ли мы вновь? — спросил я.

— Все зависит от вас. Да, если вы возвратитесь сюда; нет, если мне придется ради встречи поехать во Францию, куда, вероятно, я никогда не вернусь. Что мне там делать? Я больше не принадлежу вашему племени. Я слишком расточительно обходился со своей культурой,— добавил он, улыбаясь,— мне ее теперь не хватит, чтобы жить на родине, где, говорят, вы обладаете ею в избытке.

С приближением вечера Вандель поднялся, предварительно отметив высоту стояния солнца.

— Сейчас четыре часа или около того,— сказал он мне.— Идите. Вам как раз хватит времени, чтобы спуститься к Уэду и рысью миновать лощину. Мне же предстоит небольшой переход, пару лье по отлогому склону, и я — в дуаре.

С этими словами он свистом подозвал кобылу, она тут же явилась и по привычке повернулась к хозяину левым боком. Едва устроившись в седле в форме кресла, он зажег трубку и на мгновение застыл, казалось, ни на что не глядя. Затем резко протянул мне костистую загорелую руку и сказал:

— Кто знает? Если будет угодно богу! — вот великие слова; в них заключена вся человеческая мудрость.

Тотчас он начал медленный спуск, откинувшись на заднюю луку седла, освобождая тем самым от лишней нагрузки животное, колени которого подгибались на крутом склоне.

— Удачи! — еще успел он мне крикнуть.

И тут словно счастливое воспоминание пришло ему на память, он придержал кобылу и добавил:

— Не забывайте, что лучше призвать на помощь удачу, нежели сотню всадников. Это не мои слова, а нашего жизнерадостного друга Бен Хамида.

— Прощайте,— произнес я в последний раз, протянув к нему обе руки.

Вандель повернул лошадь и стал медленно удаляться. Через пять минут я уже ничего не видел и не слышал. Легкий ветерок, первое живое дыхание, пробежавшее в воздухе после полудня, стряхнул две или три кедровые шишки, покотившиеся по склону и затерявшиеся на ныряющей тропе, по которой спускался Вандель. Я посмотрел в южную сторону, куда отправился мой друг, затем на ожидавший меня северный склон.

— Си Бу Джаба уехал? — спросил, придерживая стремя, сопровождавший меня араб.

— Да,— ответил я.

— А куда направляешься ты?

— Я возвращаюсь в Блиду и через три дня буду во Франции.

Любезный друг, сейчас десять часов. Турецкий рожок, который я больше не услышу, играет сигнал к отбою. Спокойной ночи, и до скорого свидания.



ДВА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АЛЖИРЕ СЕРЕДИНЫ XIX в.

Алжир прошлого века привлекал многих деятелей французской культуры. Таинственная экзотическая страна по ту сторону Средиземного моря веками оставалась для французов непознаваемой и загадочной. Редкие путешественники, а гораздо чаще — военные и моряки, побывавшие в алжирском плену, были источником не столько правдивых сведений, сколько сенсационных сообщений, анекдотов или драматизированных повествований о «гнезде пиратов» или «центре работоторговли». Но с началом французского завоевания Алжира в 1830 г. и последующей его колонизацией возникла необходимость в получении более серьезной информации и вообще в более глубоком изучении страны, которую стали называть «заморской новой Францией». Алжир превратился в объект пристального внимания не только французских капиталистов, генералов и политиков, но также и ученых, инженеров, архитекторов, литераторов, художников. Географы, археологи, историки и этнографы заинтересовались Алжиром несколько позже, когда завоевание, длившееся свыше 50 лет, было уже в основном завершено.

Писатели Франции, в том числе такие известные, как Бальзак, Гюго, Флобер, Мюссе, Мериме, Мопассан, Додэ, либо приезжали в Алжир, уделяя ему значительное внимание в своих письмах и дневниках, либо посвящали ему свои произведения. В ряду последних достойное место занимают и две книги об Алжире Эжена Фромантена, выдающегося французского художника и образованного, широко мыслившего человека демократических убеждений. Обе книги Фромантена — своего рода этап в познании французской общественностью подлинной алжирской реальности прошлого века, вернее — этап приближения к такому познанию.

Для того времени характерны были еще недостаточность знаний об Алжире, непонимание французами, даже прослужившими в этой стране два десятилетия, психологии и особенностей поведения алжирцев, их бытового уклада, их нравов, обычаев. Все это познавалось буквально на ощупь, эмпирически, что и чувствуется в посвященных Алжиру произведениях Фромантена «Одно лето в Сахаре» и «Год в Сахеле». Хотя материал этих произведений формально основан на пребывании художника в Алжире с октября 1852 г. по октябрь 1853 г., фактически он обобщил в них свои впечатления и от прежних (1846—1848) поездок в эту страну.

В какой мере эти литературные произведения Фромантена могут считаться правдивым отражением того, что происходило тогда в стране? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. И «Год в Сахеле», и «Одно лето в Сахаре» — не просто литературно обработанные, но и беллетризованные дневники. И в них сильно сказались упомянутые выше

малая изученность Алжира к тому времени, скудость достоверной информации о нем. Без преувеличения можно сказать, что тогда лишь закладывались традиции научного изучения Алжира европейцами. И дневники Фромантена, безусловно, сыграли свою роль в этом деле. Но роль их довольно специфична. Фромантен не столько описал Алжир того времени со всеми его противоречиями и проблемами (он был достаточно далек от этого), сколько показал, каким Алжир представлялся тогда французам, как они смотрели (вернее, могли смотреть) на него.

Описывая свою поездку 1852—1853 гг., художник не стремился касаться политических, экономических и военных событий. Однако иногда он обращается к ним, вернее, рассуждает на темы, связанные с этими событиями. «Его легче уничтожить,— пишет он об алжирском народе,— чем заставить отречься, я повторяю, что он скорее исчезнет, чем сольется с французами». Поняв главное, Фромантен тем не менее не всегда понимает связь тех или иных событий с психологией алжирца, сопротивляющегося колонизации. В частности, отметив, что алжирцы «пренебрегают торговлей» (что не было подмечено почти ни одним другим французским автором), художник видит объяснение этому только в фатализме, замкнутости и страхе. Но, дабы верно понять это сугубо временное для алжирских городов явление, надо вспомнить, что большинство традиционных мусульманских городов (особенно их торговых кварталов) к тому времени почти обезлюдело, потеряв значительную часть торговцев и ремесленников, убитых или пострадавших в непрекращавшейся войне, разоренных, запуганных, вынужденных бежать, иногда даже в другие страны, из-за конфискации французами их домов и собственности. Кроме того, многие из них действительно верили в скорое изгнание «неверных», предпочитая поэтому не вступать с ними в контакт.

Конечно, как художника и писателя Фромантена интересовали прежде всего природа, люди, краски. Он не ограничивается, просто не может ограничиться сухим, протокольным изложением того, что видел и слышал. Но в то же время, описывая жизнь алжирцев, их внешность, обычаи и нравы, костюм и манеры, художник не может абстрагироваться от внутреннего мира этих людей, от того, что их волнует. И здесь мы сталкиваемся еще с одной стороной свидетельства Фромантена как путешественника и очевидца. Он был, в сущности, одним из первых «цивильных» французов и первым из представителей творческой интеллигенции Франции, который приехал в Алжир, отнюдь еще не завоеванный и вовсе не остывший от пламени 20-летних боев.

Эти бои, временно утихнувшие в период пребывания художника в Алжире, в дальнейшем не раз возобновлялись и длились еще около 30 лет. Для нас важно отметить, что до Фромантена из его соотечественников в Алжире были в основном военные, чиновники, колонисты, дельцы, жандармы. Их редкие письменные свидетельства о жизни страны явно необъективны. Это — обычно воинствующие колониалистские писания, пропитанные антиарабским расизмом. Ничего подобного у Фромантена нет. Эпиграфом к его произведению можно было бы взять одну из его фраз: «Вот штрих за штрихом точная картина, представляющая моему взору».

В каждом слове и каждом штрихе Фромантена чувствуется художник и романтик со своим особым видением мира, инстинктивным стремлением к его эстетизации, к легендам, чарующим образам и постоянным обращением к античности, как источнику классического понимания красоты и совершенства. Об этом следует помнить, читая в его дневнике о военной колонне, якобы замершей «в немом восторге» у ворот Эль-Кантары, о красивой девушке «с глиняной амфорой на обна-

женном бедре», которая представляется скорее романтическим видением античных времен, нежели реальной мусульманкой (т. е. весьма стыдливой) сахарских предгорий середины прошлого века. Не поэтому ли художник сравнивает бедуинов Алжира с обитателями далекой «страны Ханаан» (т. е. библейской Палестины) и подчеркивает, что арабский костюм «так же красив, как греческий», хотя вряд ли между ними можно обнаружить сходство? Столь же романтичны (но мало связаны с реальностью) сравнения Фромантена арабов с древними греками, Алжира — с идиллической Аркадией, одежды алжирцев (хаика) — с древнегреческой туникой.

Сделав поправку на своеобразие авторского восприятия, на несколько субъективную, но весьма яркую и интересную окраску его впечатлений, следует тем не менее признать произведения Фромантена одновременно и этнографическим очерком, и одними из первых во французской литературе описаний быта и обычаев алжирцев, и любопытным историческим источником, и важным человеческим документом, который в свое время способствовал лучшему пониманию Алжира французами, несмотря на все неточности, вполне понятные при уровне изучения страны в то время. Но в конце концов не так уж важно, что этимология ряда названий выводится автором неверно: Телль — это не «последний» (тали), а «холм, возвышение»; Сахара — это не от «сухур» (предрассветное время еды в пост), а от «сахра» (пустыня). Важно другое — правдивое описание жизни алжирцев, их чувств и поведения, их обычаев, столь превозносимых автором. Парадоксальность и спорность его суждений не так уж часты. Зато им присущи обоснованность, меткость и непредвзятость. И если можно иногда встретить у него фразу, явно заимствованную у лейтенанта Н. или прочих колониалистски настроенных французов, то это — лишь досадная оговорка. Вместе с тем стоит принять во внимание и сам метод подхода автора к окружающим людям. Он сам определил его, как бы случайно обмолвившись: «Сначала замечаешь лишь своеобразие костюмов, оно пленяет и заставляет забыть о людях».

Фромантен старается не забывать о людях. Но, не являясь историком и тем более востоковедом, он иногда повторяет расхожие штампы французской литературы середины прошлого века, в частности, когда речь идет об «арабах» или «маврах». Практически разница между ними — не национальная (ибо и те, и другие говорили по-арабски, исповедовали ислам и имели много общего), а историческая и социальная: «арабами» автор считает сельских жителей, а «маврами» — горожан. Этнически и те, и другие — арабы Алжира. Только среди крестьян преобладали потомки арабизированных берберов, а среди горожан — эмигранты из Андалусии, с XIII в. находившие в Алжире спасение от Реконкисты в Испании (Фромантен называет их «испанскими маврами»). Столь же неточен автор, говоря о «бискри» как о народе. Речь же идет об уроженцах города Бискри и его окрестностей, в основном — арабоязычных берберах из группы шавийя, по традиции занимавшихся в Алжире (как и выходцы из сахарского города Уаргла) переноской грузов, доставкой воды и прочими «услугами».

Совершенно точно подметив, что алжирцы «действительно нас ненавидят», автор указывает и на обратную сторону медали: стремление алжирцев замкнуться, закрыться за глухими, без окон, стенами даже от доброжелательного, но все же любопытного взора чужеземного иноверца. Как бы между строк читается интуитивное ощущение автора: враждебно настроенный к французам народ — это мир потерпевших, обездоленных, нокаутированных иностранным вторжением людей. И, хотя они сами страдают от этой своей враждебности, они имеют на нее моральное право.

Фромантен не только наблюдает за алжирцами всех рангов, от халифа до слуги, за их обычаями, повседневными занятиями, пышными выездами и трудовыми буднями. Он вслушивается в их рассказы, вглядывается в их лица. Отступая от документальности ради художественности, он домысливает, достраивает их образы, стремится сделать их понятными читателю. Художественное начало в его произведениях не противоречит документальному. Над всеми деталями, романтическими преувеличениями, оговорками, неточностями и парадоксами текста властно доминирует светлый оптимизм и гуманизм автора. «Кого я надеюсь здесь найти? — задает он риторический вопрос. — Араба или Человека?». Для Фромантена человек — прежде всего. И, обращаясь к своему современнику — французскому читателю, Фромантен первым из писателей Франции призвал увидеть и оценить в алжирце Человека во всем его духовном богатстве и многообразии, Человека, имеющего право на уважение и национальное достоинство.

Это тем ценнее, чем больше мы узнаем из текста о реальном положении в Алжире середины прошлого века. Сравнение, например, города Блиды с утратившей былое очарование красавицей говорит о ностальгии автора по не затронутому европейским влиянием «настоящему» Востоку. Вместе с тем он далеко не всегда воспринимает действительность сквозь пелену романтизма: «Плодородная почва, обильные воды, распределяемые лучше, чем до сих пор, используются французскими предпринимателями. Нам принесет богатство то, в чем арабы находили лишь развлечение». Фромантен совершенно упускает из виду, что до французского вторжения арабы не только «развлекались», ибо известно, что сельское хозяйство Алжира с XVII в. было хорошо налажено и, в частности, не только могло прокормить страну, но и снабжало хлебом Францию. Но автор, несомненно, прав, говоря о лучшем использовании французскими колонистами почв и водных ресурсов Алжира, в том числе ранее неиспользуемых, а также — об обогащении новых владельцев отобранных у арабов земель.

Один из наиболее заметных недостатков Фромантена — необъективная оценка деятельности национального героя Алжира эмира Абд аль-Кадира. Не останавливаясь специально на этой весьма примечательной фигуре, автор то и дело о нем упоминает, причем, как правило, не сочувствуя ему и во многом повторяя расхожие клише официальной французской историографии того времени. Но эта историография всячески искажала и принижала значение Абд аль-Кадира для алжирской истории. Причина этого в том, что французские войска, вторгшиеся в Алжир, очень долгое время не могли сломить сопротивление племен внутренних областей, особенно начиная с 1832 г., когда эти племена на западе и в центре Алжира возглавил 24-летний талантливый политик, поэт и военачальник Абд аль-Кадир, сын Махиддина, вождя племени хашим и мукаддама (руководителя) военно-религиозного братства Кадыйрийя.

Избранный эмиром, Абд аль-Кадир нанес колонизаторам ряд поражений и заставил их признать созданное им государство. Очевидно, именно поэтому он заслужил у французов репутацию «первого полководца современной Африки». Так характеризует его и Фромантен. Тем не менее жажда покорения Алжира, его экономического и военного подчинения толкала французских колонистов к возобновлению войны. Поэтому они систематически нарушали ими же заключенные с эмиром договоры («договор Демишеля» 1834 г., Тафнский договор 1837 г.) и провоцировали военные действия. Однако были и мирные передышки. Абд аль-Кадир пользовался ими для реформы администрации, судопроизводства и взимания налогов, для строительства новых крепостей, на-

лаживания торговли и монетного дела, реорганизации и перевооружения армии¹.

Наиболее трудной для Абд аль-Кадира были борьба с мятежными феодалами, в том числе со знаменитым марабутом Мухаммедом ат-Тиджани, которого Фромантен называет в соответствии с нормами алжирского диалектного произношения Теджини. Этот, по словам Фромантена, «великий религиозный деятель» возглавлял могущественное военно-дервишское братство Тиджанийя, под чьим духовным влиянием находились многие племена на западе Алжирской Сахары. Имея в своем распоряжении многочисленное воинство и множество неприступных крепостей, марабут не считался с властями в Алжире еще до прихода французов. К тому же влияние братства Тиджанийя уже тогда вышло за пределы Алжира, распространившись на многие племена Марокко, Сенегала и Судана (т. е. нынешних Мавритании и Мали).

Фромантен в основном верно рассказывает о событиях, связанных с осадой эмиром главного оплота Мухаммеда ат-Тиджани. Эта осада, однако, длилась не девять, а семь месяцев — с июня 1838 по январь 1839 г. Что же касается интерпретации этих событий, то здесь в авторском тексте чувствуется влияние, с одной стороны, различных сахарских легенд, распространявшихся сторонниками сохранившего свое влияние в Сахаре братства Тиджанийя, а с другой — французской официальной пропаганды, благожелательной к братству Тиджанийя, которое одним из первых признало в Алжире власть колонизаторов, исходя из своей доктрины, гласящей: «Любая власть — от Аллаха». Так оно относилось и к власти правившего Алжиром 7 лет (и упомянутого Фромантенем) «маршала-агронома» Тома-Робера Бюжо, проводившего против алжирцев тактику «выжженной земли».

Хотелось бы отметить, что поединок между Абд аль-Кадиром и Мухаммедом ат-Тиджани не состоялся вовсе не потому, что марабут был «увешан амулетами», а потому, что у него, феодала, уже старого и привыкшего только повелевать, не было никаких шансов против 30-летнего Абд аль-Кадира, сила, смелость, меткость и прочие боевые качества которого были легендарными почти так же, как и его полководческий талант, интеллект, образованность и поэтический дар. Марабут был вынужден пойти в конце концов на капитуляцию (при довольно выгодных для него лично условиях) не потому, что «эмир поклялся совершить молитву в мечети Айн-Махди», а потому, что среди осажденных начался голод и у них кончались боеприпасы. Да и технически армия Абд аль-Кадира превосходила тиджанийское воинство: артиллерия эмира непрерывно бомбардировала город, подрывники вели подкопы и сумели взорвать часть городской стены.

Эмир сровнял сдавшуюся крепость с землей не из мести или вероломства, как это описано у Фромантена, а с целью подорвать политическую мощь тиджанийцев, зиждившуюся также и на силе их крепостей. И вряд ли можно назвать меч Абд аль-Кадира «обесчещенной свято-татственной войной». Это была война не против религиозного деятеля или даже политического соперника. Это была война против предателя-феодала, фактически (а впоследствии и формально) примкнувшего к чужеземным захватчикам. И когда Фромантен, окончив рассказ об Абд аль-Кадире, восхваляет «святость», «добрые деяния» и «жизнь затворника», каковыми якобы прославился Мухаммед ат-Тиджани, то он ошибается. История всех рассудила и каждого поставила на свое место:

¹ См. подробнее: *Хмелева Н. Г.* Государство Абд аль-Кадира Алжирского. М., 1973.

Абд аль-Кадира — на пьедестал народного героя, марабута ат-Тиджани — в длинную очередь религиозных ретроградов и феодальных авантюристов, не желавших бороться за свободу своей родины.

Благородство и гуманизм Абд аль-Кадира проявились и после того, как он, будучи взят французами в плен, был выслан на Ближний Восток — сначала в Брусу (Турция), потом в Дамаск (Сирия). Здесь он спас в 1860 г. тысячи христиан во время учиненной мусульманскими фанатиками резни. За это эмир получил высокие награды от правительства России, Греции, Англии, Пруссии и, кстати, Франции. Все это лишний раз свидетельствовало о выдающихся личных качествах эмира.

Борьба алжирцев против колониального закабаления продолжалась и после поражения и пленения Абд аль-Кадира в 1847 г. В 1849 г. марабут Бу Зиян, ранее служивший в армии эмира, поднимает восстание в оазисе Зааджа, которое французы не могли подавить 5 месяцев. Ожесточенное сопротивление повстанцев и зверства усмирителей получили широкий резонанс во Франции. Недаром Фромантен, упоминая о Заадже, делает битву в этом оазисе как бы мерилom «ярости» и «успеха» последующих борцов против колонизаторов. Но до «умиротворения» Алжира было еще далеко. С 1851 г. французам приходится вести длительную шестилетнюю войну против горцев Кабилии (берберской области на севере Алжира), возглавляемых вождем Бу Баглой и народной героиней Лаллой Фатимой. В 1852 г. шейх Мухаммед Бен Абдаллах, используя имя Абд аль-Кадира как святого марабута, поднимает кочевые племена Сахары на *джихад* (священную войну) против захватчиков-иноверцев. Главным центром восстания был Лагуат. Фромантен красочно, со слов участников и очевидцев, описывает подробности штурма Лагуата, во время которого французы понесли огромные потери.

Приехав в Лагуат всего через несколько месяцев после подавления восстания, художник потрясен увиденным. Еще свежи раны, еще видны разрушения. Те, кто участвовал в восстании, или убиты, или бежали вместе с вождем повстанцев — шерифом (т. е. духовным правителем) Уарглы, отдаленного сахарского оазиса. Но во всем чувствуется напряженность и настороженность. «Не поручусь, что в один прекрасный день им не захочется свести счеты», — говорит автору лейтенант при виде внешне приветливых арабов. Основания так говорить были: вскоре многие из лагуатцев поддержат новое восстание шерифа Уарглы, которое завершится очередной резней, столь же кровавой, как в Заадже и Лагуате, но на этот раз дальше к югу, в старинном центре караванных путей Туггурте, где войсками карателей были окружены и уничтожены в 1854 г. основные силы мятежных племен.

Да и на этом борьба не кончилась. Завершив в 1857 г. завоевание Кабилии, колонизаторы уже в 1859 г. столкнулись с восстанием на западе страны племенного союза берберов бану снасен, а в 1864 г. — с конфедерацией племен улад сиди шейх, которых Фромантен в 1853 г., т. е. за 11 лет до начала их восстания, называет «знаменитыми», «благородными», «сильными, смелыми и воинственными». Под предводительством своих бесстрашных вождей, Си Слимана и Си Мухаммеда, погибших со славой, улад сиди шейх сражались до 1867 г., а по некоторым данным — вплоть до 1870 г. Эстафету борьбы от них как бы восприняли 250 арабских и кабийских племен Восточного Алжира, которые, насчитывая в общей сложности 800 тыс. человек, дали французам около 340 сражений в марте 1871 г. — январе 1872 г., поставив под вопрос само существование в стране колониального режима². В народе потом

² Ланда Р. Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации (1830—1918). М., 1976, с. 265.

долго славили имена возглавивших восстание Мухаммеда Мукрани (погиб в бою), его брата Ахмеда Бу Мезрага (выслан на каторгу в Новую Каледонию) и шейха Хаддада, главы религиозного братства Рахманийя (умер в плену у карателей)³. Лебединой песней сопротивления алжирских племен французскому завоеванию явились восстания 1876 и 1879 гг. берберов шавийя в горной области Аурес (через которую в 1853 г. Фромантен проехал без препятствий, любуясь великолепными ландшафтами и городком Эль-Кантара), но особенно — второе восстание улад сиди шейх в 1881—1883 гг. во главе с марабутом Бу Амамой⁴.

Таким образом, и через 30 лет после поездки Фромантена в Алжир сопротивление коренных жителей этой страны попыткам ее колонизации продолжалось. Да и потом, когда колонизация вроде бы восторжествовала и наступил ее, по выражению Шарля-Робера Ажерона, «золотой век», он уже нес в себе семена будущего разложения и гибели колониального режима.

Что же осталось от разнообразных и многоплановых, часто противоречащих и враждебных, франко-алжирских контактов прошлого века? Осталось именно то, что находилось в центре внимания Фромантена как писателя и художника: взаимопознание, взаимодополнение и (в начальной стадии) некоторая взаимоадаптация различных культур и цивилизаций, различных духовных миров и психологий, несхожих обычаев и типов человеческого поведения. И произведения Фромантена ценны помимо своих художественных и философско-публицистических достоинств еще и тем, что он одним из первых среди деятелей французской культуры сделал шаг на пути к столь ценным в наше время взаимопознанию и взаимопониманию весьма отличающихся друг от друга народов.

Р. Г. Ланда

³ Борьба алжирцев в 1871 г. и в последующие годы особенно хорошо изучена алжирскими историками Яхьей Буазизом и Белькасемом Саадаллахом, а во Франции — известными магрибистами Шарлем-Андре Жюльеном и Шарлем-Робером Ажероном. В советской историографии эту проблему исследовали В. Б. Луцкий, Н. Г. Хмелева, Н. Н. Дьяков.

⁴ Подробнее см: *Хмелева Н. Г. Вооруженная борьба алжирского народа за независимость в XIX в. М., 1986.*

ГЛОССАРИЙ *

- Амин* — букв. «ответственный», «доверенное лицо», «смотритель», «хранитель». В Алжире — глава какой-либо общины, племени, религиозной группы
- Башамар* — начальник каравана
- Бордж* — букв. «башня». Может обозначать также крепость, бастион или форт
- Гафла (кафила)* — караван, колонна, конвой
- Гюятен эль-дьяф (кайятин аль-адьяф)* — шнуры для гостей. Здесь — палатки для гостей
- Дар-дияфа* — букв. «дом гостеприимства», т. е. гостиница
- Дейра* — букв. «округ, среда, круг, окружение». Здесь — резиденция военачальника или вождя племени
- Джебира* — накидка
- Джерби* — ткань, выделяваемая на о-ве Джерба (Тунис)
- Джериди* — шерстяной плащ
- Джихад* — священная война
- Диффа* — торжественный обед в честь гостей
- Змала* — букв. «товарищество». Здесь — резиденция вождя или военачальника
- Зуав* — солдат специальных горнострелковых частей колониальных войск; набирались в основном из алжирских французов
- Ид аль-кебир* — «великий праздник», называемый также «праздником жертвы»
- Кабилы* — берберские племена, населявшие горные области Джурджуры и Бабора к востоку от г. Алжир. Горожане — мавры — считали их дикими и нецивилизованными, способными на колдовство и обман
- Каид* — букв. «начальник, командующий». До прихода французов в Алжире так назывались вожди племен
- Кахваджи* — «содержатель кофейни» на турецком языке. Это слово вошло в арабский язык
- Ксур (дуар)* — название горных селений в Сахарском Атласе и его отрогах
- Кускус* — блюдо из мяса, соуса, крупы и овощей
- Марабут* — букв. «стоящий на страже, взаимно связанный» (подразумевается — с другими членами религиозного братства). Так с XI в. называются в Магрибе своего рода местные святые и воинствующие дервиши, претендующие на обладание божественной благодатью («барака»), якобы дающей им возможность непосредственно общаться с Аллахом. Марабуты издавна составляли привилегиро-

* Составлен Р. Г. Ландой.

ванную часть феодальной аристократии стран Магриба
Махзен — букв. «казна». В странах Магриба означает также «правительство»
Мзабиты — последователи магрибинской разновидности религиозной секты ибадитов, восходящей к хариджитам VII в.
Мизмун — ударный арабский инструмент
Оссуарий — место для погребения костей умершего у зороастрийцев
Панки — мн. ч. от «панк» — индийский веер
«Сиди» — букв. «господин мой». Принятое у арабов вежливое обращение
Спаги — искаженное европейцами «спахи» (от перс. «сипахи» — воин, солдат). В турецкой армии корпус тяжелой кавалерии
Тарги — букв. «туарег». Здесь — туарегская сабля
Телли — выделяемая в Телле (на побережье Алжира) ткань с вышитыми узорами. Здесь — сумки для перевозки грузов
Тольба — мн. ч. от «тaleb» — «учитель» (букв. «требующий»). (Фромантен имеет в виду мусульманских законоучителей — толкователей Корана и шариата)
Фондук — (по-арабски «гостиница»). Это слово, как и некоторые другие, вошло в разговорный язык французов Алжира
Фута — покрывало
Фхас (или *фахс*) — пригород, загородное имение, зависимое от города селение
Хабир — букв. «сведущий, знающий, знаток». Здесь — проводник
Хаик — букв. «ткань». Здесь покрывало
Шелиль — попона
Шериф — духовный правитель

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. А. Никитин. Красота пустыни в сердце художника</i>	3
--	---

ОДНО ЛЕТО В САХАРЕ

Предисловие к третьему изданию	26
I. Из Медеа в Лагуат	34
<i>Медеа, 22 мая 1853 года</i>	34
<i>Эль-Гуа, 24 мая, вечер</i>	39
<i>Богар, 26 мая, утро</i>	46
<i>Джельфа, 31 мая</i>	52
<i>Джельфа, того же дня, пять часов</i>	69
<i>Джельфа, того же дня, семь часов</i>	72
<i>Хамра, 1 июня 1853 года</i>	77
<i>Хамра, ночь того же дня</i>	80
<i>2 июня 1853 года, привал, десять часов утра</i>	80
<i>Сиди-Маклуф, 2 июня 1853 года</i>	85
<i>Привал, 3 июня 1853 года, девять часов утра</i>	86
<i>Лагуат, 3 июня, вечер</i>	87
II. Лагуат	91
<i>3 июня 1853 года, вечер</i>	91
<i>4 июня 1853 года</i>	94
<i>Июнь 1853 года</i>	97
<i>Июнь 1853 года</i>	107
<i>Июнь 1853 года</i>	114
<i>Июнь 1853 года</i>	120
<i>Июнь 1853 года</i>	129
<i>Ночь, конец июня 1853 года</i>	135
<i>1 июля 1853 года</i>	139
<i>Июль 1853 года</i>	140
<i>Июль 1853 года</i>	143
<i>Июль 1853 года</i>	144

III. Таджемут — Айн-Махди	148
<i>Айн-Махди, пятница, июль 1853 года</i>	<i>148</i>
<i>Айн-Махди, июль 1853 года</i>	<i>166</i>
<i>Айн-Махди, июль 1853 года</i>	<i>173</i>
<i>Таджемут, июль, вечер</i>	<i>179</i>
<i>Лагуат, июль 1853 года</i>	<i>181</i>

ОДИН ГОД В САХЕЛЕ

I — Алжир. Мустафа	186
<i>Алжир. Мустафа, 27 октября 1852 года</i>	<i>186</i>
<i>Мустафа, 5 ноября</i>	<i>189</i>
<i>8 ноября</i>	<i>194</i>
<i>Мустафа, 10 ноября</i>	<i>195</i>
<i>11 ноября</i>	<i>209</i>
<i>15 ноября</i>	<i>214</i>
<i>16 ноября</i>	<i>217</i>
<i>Декабрь</i>	<i>220</i>
<i>Того же дня, вечер</i>	<i>228</i>
<i>Мустафа, конец декабря</i>	<i>230</i>
<i>4 января</i>	<i>232</i>
<i>Алжир. Мустафа, январь</i>	<i>233</i>
<i>12 января</i>	<i>242</i>
<i>Того же дня, одиннадцать часов вечера</i>	<i>243</i>
<i>13 января</i>	<i>243</i>
<i>18 января</i>	<i>244</i>
<i>Конец января</i>	<i>245</i>
<i>4 февраля</i>	<i>246</i>
<i>7 февраля</i>	<i>248</i>
II — Блида	250
<i>Блида, 8 февраля</i>	<i>250</i>
<i>Блида, февраль</i>	<i>252</i>
<i>Блида, февраль</i>	<i>257</i>
<i>24 февраля</i>	<i>260</i>
<i>26 февраля</i>	<i>263</i>
<i>Того же дня, вечер</i>	<i>270</i>
<i>Блида, 28 февраля</i>	<i>273</i>
<i>Блида, март</i>	<i>274</i>
<i>Блида, март</i>	<i>278</i>
<i>Апрель</i>	<i>280</i>
III — Алжир. Мустафа	289
<i>Алжир. Мустафа, апрель</i>	<i>289</i>
<i>Алжир. Мустафа</i>	<i>295</i>

<i>Блида, май</i>	296
<i>Того же дня, ночь</i>	297
IV — Равнина	299
<i>Блида, август</i>	299
<i>Блида, август</i>	301
<i>Сентябрь</i>	305
<i>Октябрь</i>	319
<i>Бивуак на озере Халула, октябрь</i>	321
<i>Ночь, одиннадцать часов</i>	328
<i>Бивуак на озере, вторник, вечер</i>	330
<i>Бивуак на озере, среда, вечер</i>	333
<i>Блида, конец октября</i>	334
<i>Блида, конец октября</i>	349
<i>Р. Г. Ланда. Два свидетельства об Алжире середины XIX в.</i>	355
Глоссарий	362

Фромантен Э.
Ф91 Сахара и Сахель. Пер. с франц. А. И. Горячева.
Предисл. В. А. Никитина. Послесл. Р. Г. Ланды.—
М.: Наука. Главная редакция восточной литерату-
ры, 1990.— 367 с.: ил.
ISBN 5-02-016594—8

В однотомник путевых дневников известного французского писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820—1876) вошли две его книги — «Одно лето в Сахаре» и «Год в Сахеле».

Основной материал для своих книг Фромантен собрал в 1852—1853 гг., когда ему удалось побывать в тех районах Алжира, которые до него не посещал ни один художник-европеец. Литературное мастерство Фромантена, получившее у него на родине высокую оценку таких авторитетов, как Теофиль Готье и Жорж Санд, в не меньшей степени, чем его искусство живописца-ориенталиста, продолжателя традиций великого Эжена Делакруа, обеспечило ему видное место в культуре Франции прошлого столетия.

Книга иллюстрирована репродукциями с картин и рисунков Э. Фромантена.

2 р. 30 к.



Эжен Фромантен



САХАРА И САХЕЛЬ

Главное своеобразие и достоинство книги «Сахара и Сахель» как раз в том и состоит, что она была написана живописцем, чей профессионально натренированный глаз видел тысячи мелочей, на которые, может быть, не обратил бы внимания даже достаточно наблюдательный писатель, не говоря уже о путешественнике-любителе.